

AdMarginem

Александр Проханов

**ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
★ ИМПЕРИИ**

ТРЭШ
коллекция

- [Последний солдат империи. Роман](#)
 -
 - [Пролог. ГОВОРЯЩИЕ ДЕЛЬФИНЫ](#)
 - [Часть первая. ПРОЗРАЧНЫЕ МАГИ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [Часть вторая. ГИГАНТСКИЕ ЛИЛИПУТЫ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [Часть третья. ГИБЕЛЬ КРАСНЫХ БОГОВ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [Часть четвертая. МОСКОВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [Часть пятая. ОТРУБАНИЕ СПЕЛЫХ ГОЛОВ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)

- [Эпилог. ПАРАД 1991 ГОДА](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Последний солдат империи. Роман

Ad Marginem

УДК 821.161.1-31.Проханов

ББК 84 (2Рос-Рус)644

П84

Ведущий редактор М. Котомин

© А.Проханов, 2003

© Издательство «Ад Маргинем.,

Пролог. ГОВОРЯЩИЕ ДЕЛЬФИНЫ

— Дорогой Виктор, ваша аналитика, ваш взгляд на противоборство политических центров изумительны. Но почему вы считаете эту борьбу мнимой? У вас эти два центра как бы сливаются в один...

Профессор Тэд Глейзер из «Рэнд корпорейшн» сидел напротив, положив пухлые, похожие на сэндвичи, руки на листок бумаги, где им, Белосельцевым, минуту назад были начертаны стрелки, круги и овалы, имена политических деятелей, наименования союзов и групп. Мгновенный оттиск борьбы, разрушавшей монолит государства.

— Ведь два эти центра власти, — белый палец с розовым ногтем мягко ударил в бумагу, — находятся в постоянном конфликте, не так ли?

Толстая роговая оправка, прозрачные линзы, голубовато-влажные, в красных прожилках, в липких белых ресничках глаза профессора, как два моллюска в стеклянных колбах, чутко следят, пульсируют, откликаются на его жесты и мимику, поглощают энергию, одеваясь перламутровой слезной пленкой.

— Прошу, поясните, Виктор...

Белосельцев водил пером по листу, прочерчивая стрелы противоборства, круги и эллипсы, помещенные в них имена политических лидеров. Изображенная им социальная машина вращалась, двигала валы и колеса, расходовала запасы энергии. Ее элементы скрипели, искрили, роняли мертвые израсходованные детали, наращивали в своей глубине новые узлы и сцепления.

Один из двух Президентов, — Первый, как нарек его Белосельцев, вел изнурительный бой со Вторым. Первый все еще командовал армией, оставался лидером партии, управлял экономикой, был хозяином разведки. Но угрюмые, таившиеся в недрах государства силы иссякали, дряхлели, подвергались распаду. Давили на легковесного целлулоидного лидера, побуждали действовать. А тот остатками слабой воли, лукавством, слабеющими рычагами власти удерживал их в неподвижности. Вмороженные в монолит государства структуры, как ржавые двутавры, бездействовали. Люди структур, военные,

партийцы, разведчики наполнялись ненавистью, тоской, чувствовали свою обреченность.

Второй, лишенный властных структур, не имея ни разведки, ни армии, был окружен молодым, рвущимся к власти сословием, — богачами, дельцами, торговцами, либеральной прессой, профессорами и экспертами — кислотным, кипящим варевом, едко растворявшим в себе остатки омертвевших структур. В этом вареве мерцали идеи, всплывали проекты, планы реформ, присутствовали воля и жар.

— Вот здесь, в этой малой ячейке, соединенной с обоими враждующими центрами, таится разгадка процесса, — Белосельцев коснулся пером эллипса, заключавшего в себе надпись «Золоченая гостиная». — Здесь находится группа советников, обслуживающая одновременно Первого и Второго, управляющая мнимым конфликтом. На публике, на телеэкране оба Президента борются насмерть, но в «Золоченой гостиной», за общим столом, дружно сидят их советники и управляют марионетками.

Белосельцев не мог объяснить, почему узел, управляющий конфликтом, представляется ему высокой золоченой гостиной, с зеркалами и хрустальными люстрами. Мраморный высокий камин. Часы в виде бронзовых, обнимающих циферблат купидонов. Длинный полированный стол из красного дерева. Вдоль стола на высоких стульях, откинувшись на гнутые спинки, в париках и мантиях, сидят советники. Из гостиной две инкрустированные резные двери ведут в две разные залы. Слышится шум, рев толпы. Среди вспышек и гула, в лучах прожекторов, на трибунах — два Президента. Вещают в народ, убеждают, обвиняют друг друга. Советники, как суфлеры, в тонкие трубки подсказывают им слова, гусиными перьями пишут записки, встряхивая париками, посылают к двум разным трибунам.

Он знал каждого из них, их стариковские сановные лица, скрюченные носы, брюзгливо сжатые губы, презрительно-умные взгляды. Склеротическими лиловыми жилками, тяжелыми перстнями на пальцах, одинаковым у всех выражением неутоленной плотоядности и чуткой прозорливости они были похожи на тех стариков, что наблюдали сквозь щелки за обнаженной Сюзанной. От них исходил запах туалетной воды и тлена, дух тайных стариковских пороков, болезней и порчей, которыми они отравляли воздух, заражали своих покровителей. Этот тлен и лиловые, проступавшие на их лицах

пятна возникали повсюду, где они появлялись, губили всякую живую материю.

Своим сплоченным, тесным кружком они раскладывали общий пасьянс, составляли гороскопы на обоих Президентах, подшучивали над обоими, менялись местами, переходили от одного к другому. А те, на трибунах, осыпаящие друг друга упреками, были связаны незримыми нитями. Управлялись из единой гостиной.

— Они играют единую партию, — повторил Белосельцев, сжимая глаза. — Виртуозность задачи в том, чтобы с минимальными тратами, не прибегая к гражданской войне, отобрать структуры у Первого и передать их Второму. Блокировать партию, перенацелить на Второго разведку и армию.

— И как же, по-вашему, осуществится эта игра с передачей разведки и армии? — Профессор Тэд Глейзер ласкал листок, касался пухлыми подушечками пальцев, будто читал на ощупь, исследовал каждую оставленную пером шероховатость, в которой мог укрываться закодированный смысл. Его глаза, увеличенные очками, как влажные голубые моллюски, вылезли из раковин, наблюдали Белосельцева, стараясь проникнуть в него.

Два заговора сплетались вокруг обоих, захваченных борьбой Президентах. Два тайных подкопа велись навстречу друг другу из двух половин враждующего общества. Открытая, видимая миру борьба в парламентах, на экранах, на митингах, в бесчисленных стычках и схватках не приводила к победе. Сторонники государства, реальные обладатели власти, отступив на последний рубеж, за которым следовал распад страны, крах экономики, хаос и взрыв, — уперлись о камень, сплотились, не пускали реформы. Реформаторы в нетерпении, плодя законы, бушующая на улицах, закатывая истерики в прессе, были бессильны. Их не слушали рабочие в угрюмых ржавых цехах, солдаты в замызганных гарнизонах, крестьяне в стылых деревнях и селеньях. Две равновеликие силы сдвинулись, осыпая друг друга ударами, застыв в равнодействии ненависти.

— Повторяю, Тэд, здесь, в «Золоченой гостиной» ответы на все вопросы. Вы ведь входи в гостиную? Консультируете наших вельможных старцев? — Белосельцев с усилием улыбнулся, заслоняясь от Глейзера этой неуверенной жалкой улыбкой.

— Виктор, вы близки к официальным кругам. Я хотел задать вам вопрос, — профессор Глейзер мягко улыбнулся, демонстрируя доверительность, академическое партнерство, связь двух интеллектуалов, чья умственная культура не может принадлежать вульгарной политике, а только целям познания. — Какое настроение у вашего генералитета? Терпение генералов может лопнуть. Как, по-вашему, способны они на решительные действия?

— Наши генералы, Тэд, ничем не напоминают Пиночета, — Белосельцев закрывался от проникающего излучения сложной, из сумбурных мыслей и чувств, помехой. — Они слепо послушны своему министру и Президенту. Разве вы не видите, как они, ручные и вялые, по-совиному хлопают глазами на съездах, выслушивая оскорбления в свой адрес? Как беспомощны перед веселыми молодыми журналистами, которые водят их на поводке, как глупых налимов? Как безропотно передают судьбу армии дипломатам в жилетках? Как добровольно, с тупым сладострастием, раскалывают свои ракеты и подводные лодки? Сытые, откормленные, как домашние собаки, получающие пищу из рук хозяина, они не способны на решительный шаг.

— А маршал Жуков? Известно, что он был готов к военному перевороту. Вспомните «заговор генералов».

— Нет, — разуверял Белосельцев. — Не было заговора. Жуков был верным и безропотным сыном партии. Обладая абсолютной военной властью, обожаемый народом, он не решился восстать против партии. И это человек, который выиграл мировую войну. Уверяю вас, Тэд, генералы не способны на решительный шаг.

— А партия? Кто, по-вашему, сможет сменить Генсека? Ведь в партии, как мы видим, созрело понимание, что ее обманули. Уверен, она должна попытаться вернуть себе власть.

— В партии иссякла энергия, — вяло бросил Белосельцев, маскируя ответ в жалкий камуфляж, продолжая исследовать тончайшее излучение, исходящее из пальцев профессора, как едва заметные лучистые щупальцы. — В верноподданной партии силен инстинкт послушания. Партийная дисциплина вручила судьбу организации в руки немногих вождей. Партию умертвляют, а она, истекая кровью, ползет, как овчарка, навстречу стреляющему в нее хозяину. Умирает, но лижет ему руки.

Аналитик из «Рэнд корпорейшн» выклеывал у него крупницы знаний. Там, в Калифорнии, в компьютерных залах эти крохи сомкнутся с другими, сложатся в картину распада. Старцы в «Золоченой гостинной» получают новые рекомендации. Белосельцев, подумав о старцах, ощутил запах тления, смешанный с туалетной водой.

— А как настроения в директорском корпусе? Я знаю, промышленники крайне недовольны конверсией, разрушением оборонного комплекса. Их союз с армией и партией был бы решающим в балансе сил.

— И здесь вы переоцениваете ситуацию, Тэд, — Белосельцев чувствовал, что своим однообразным отрицанием он совершает ошибку. Не желая давать информацию, косвенно ее предоставляет. — Увы, уже не осталось тех директоров и министров, которых отковал в свое время Сталин. Не осталось государственников, готовых идти под расстрел, но радеющих за интересы страны. Сейчас иной контингент — делают деньги, пустились в коммерцию, готовы за доллары продать сверхсекретный перехватчик. Со стороны военно-промышленного корпуса нет серьезного сопротивления.

Он был прав, профессор обнаружил обман, выхватив из ответа нужную ему крупницу информации. Глаза в окулярах, выпученные от внимания, истекавшие голубоватой слизью, уменьшились, втянулись вглубь, словно моллюск углубился в раковину, унося сладкий кусочек добычи.

— Я с вами согласен, Виктор, — профессор прекрасно владел русским, лишь слегка повышал интонацию к окончанию фразы, выгибая ее, словно проволоку. — Самое важное, — как безболезненно передать управление армией, разведкой, промышленностью из рук консерваторов в руки друзей реформ. Как осуществить переход власти от Первого, как вы говорите, ко Второму, за которым несомненное будущее. Есть некоторые сценарии. Опыт Румынии, Венгрии. Есть компьютерные проработки.

Белосельцев, изнуренный словесной борьбой, видел, что он проиграл. Тоскуя, смотрел, как в далеких, начинавших желтеть тополях, осыпанные желтизной, золотятся кресты собора. Он был сбит в поединке ударом «организационного оружия». Вся мощь чужой цивилизации, блеск ее компьютерного интеллекта обрушились на него,

давили, лишали рассудка. Превращали его одинокий разум в клубок смятения и ужаса.

Глейзер не скрывая праздновал победу. Довольно улыбался, шутился на экзотические кресты барочного храма.

— Виктор, хочу вам сделать предложение. Переезжайте жить в Америку. Это предложение исходит не от меня, а от руководства «Рэнд корпорейшн». Ваши уникальные знания, ваши методы анализа советской действительности, ваши оригинальные методики, уверяю, расцветут в Калифорнии. Мы дадим вам лабораторию с отличной компьютерной базой. Вы не будете ни в чем нуждаться. У вас появятся прекрасные условия для работы и отдыха. Хотите — Лос-Анджелес, хотите — Беркли или Сан-Хосе. Вы сможете поработать над книгой. Там много русских, давних выходцев из России. Есть и недавние, полюбившие Америку. В Калифорнии снова дуют русские ветра.

Он мягко засмеялся сытым смехом утолившего голод человека. Основная пища была усвоена, оставался десерт, на сладкое.

Белосельцев испытывал страшное напряжение, словно его кости и плоть были вправлены в громадную, красного цвета, машину, состоявшую из одиннадцати часовых поясов. Ногтями, зубами он вцепился в шестерни и валы, в Уральский хребет и Памир, старался их удержать и скрепить, но они расползались, хрустели, разрывали его вены и жилы. И боль была непомерной.

— Вы лучше меня знаете, Виктор, в Советском Союзе все кончено. Ваши статьи и прогнозы о крушении централизма подтверждаются. Здесь будет непрерывный распад на долгие годы, вражда всех со всеми. Будет голод, холод, уличные бои. Будут аресты и казни. Будут гореть музеи и библиотеки. Будет вакханалия лидеров. Новый Лжедмитрий или батько Махно захватят Москву, какой-нибудь шизофреник с двуглавым орлом и эсесовскими молниями въедет в Кремль. Но, увы, культуры здесь больше не будет, и науки тоже. В лучшем случае, после изнурительной смуты здесь создадут этнографический заповедник с замечательными русскими храмами и византийским церковным пением. Но атомной энергетики, космодромов, футурологических центров здесь больше не будет. Первая волна русской эмиграции бежала от хаоса и унесла на Запад идеи и ценности Русской империи, сделала их достоянием мира. Вы унесете идеи и ценности Советской империи, и мы их с

благодарностью примем. Ведь вы последний рыцарь этой империи. Виктор, переезжайте в Америку. Билет на самолет и виза будут вам заказаны.

Выходит, Белосельцев и был последний солдат империи, последний ее ополченец, бегущий с тонкой колючкой штыка по сугробам навстречу черным машинам. И нельзя повернуть назад, нельзя поправить обмотку. С клетотом в промороженном горле выставил штык и бежал, чувствуя лбом дуло танковой пушки.

— Согласен, — произнес Белосельцев, отводя глаза от шевелящихся губ профессора, не видя себя, но чувствуя по леденеющему лбу, что страшно бледнеет, — Россию победили вторично. В начале века удалось разложить империю, расколоть территории. Мы потеряли в этом распаде четыре цветущих сословия, духовную элиту, великую культуру, плодоносящий этнос. В хаосе Гражданской войны мы потеряли два миллиона убитых, навсегда унаследовали их предсмертный ужас, превратившийся в каменноугольные пласты глубинного социального страха. Запад вполне мог себя поздравить, — Россию вычеркнули из истории. После такого народы не воскресают, империи не возрождаются...

Он чувствовал, как иссякают его силы. Перед тем как истаять, собирались в сверхплотный пучок. В этом снопе раскаленного света лица его истребленной родни. Его деды и прадеды, ямщики, купцы, офицеры, приходские священники, барышни Бестужевских курсов. Их милые полузабытые лица, перед тем как кануть в неизвестность, успели отразиться в его лице. В цвете волос и глаз, в овалах подбородка и губ. Звучали в его интонации их исчезнувшие голоса.

— Но не чудо ли? Империя воскресла, народ возродился. На восстановление империи, на строительство городов и заводов, на обретение науки и армии, на победу в Великой войне, на выход в космос и мировой океан мы потратили еще тридцать миллионов жизней. Их ужас и боль отложились в наших костях и глазницах. Мы выдержали страшный удар Европы, и она раскололась о нас, как гнилое яйцо...

Сидящий перед ним благополучный умный профессор перелетел океан, чтобы наблюдать его муку, учинить ему утонченную пытку, выпытать сокровенную тайну. Это был враг, чей разрушительный ум, проницательность, жестокая наука и знание сокрушали державу. Без

сил, опoенная ядами, она была повалена на операционный стол. Над ней трудились мучители, распиливали, размалывали, извлекали внутренности, впрыскивали наркотики, перекрывали дыхание, забивали железные костыли. Огромное тело бессильно мычало, брызгало слезами и кровью, сотрясалось судорогой. Это он, Белосельцев, лежал на окровавленном верстаке в липком поту и испарине, и ловкие пальцы хватали его трепещущее сердце.

— Россия вам мешала. Иррациональные грезы о Русском Рае, одухотворенная мечта о бессмертии мешала вашей рациональной организации мира. Ваш «мировой порядок», шествующий триумфально, натолкнулся на Россию, на ее стихию, упрямую память о прошлом, на ее бездорожье, ракеты, разоренные храмы, где Бога больше, чем во всех ваших соборах, на ее космодромы, где готовится посадка космопланов Второго Пришествия. Русские нефть, лес, медь и никель — они вам спать не дают. Вы разработали концепцию, способную нас уничтожить. Направили на нас стволы «оргоруужия», и мы под страшным обстрелом. Мои статьи и та книга, что я завершаю, вскрывают ваш замысел. Поверьте, я знаю, откуда направлен удар. По каким объектам и целям. Знаю всех, сидящих в «Золоченой гостиной»...

Он был последний солдат империи, и в него, последнего, умирающая Родина впрыснула предсмертную силу. Вдохнула импульс жизни. Наделила волей и ненавистью.

— Ну что ж, мы разрушимся. Но знайте, наше разрушение страшно коснется и вас. Наши осколки и трещины промчатся по всей земле, достигнут Америки и взорвутся в центре Манхеттена. Наши останки упадут вам на головы, расколют и ваши кости. Ибо когда взрывается Урал, трещат Аппалачи. Когда иссыхает Волга, мелеет и Миссисипи. Когда отравляют Байкал, яд течет в Мичиган. Такова геополитика Российской империи. Исчезнет Советский Союз, но тут же возникнет Германия, расшвыряет все ваши хлипкие построения в Европе, наденет на нее железный колпак. Исчезнет наша империя, но встанет исламский мир, великий халифат от Каспия до Пиринеев, и вы захлебнетесь от исламской ненависти. Исчезнет наша империя. но Япония припомнит вам Хиросиму, войну на Филиппинах, и тогда Перл-Харбор покажется вам салютом в Диснейленде. Повторяю, трещины от нашего взрыва добегут до Америки, потрянут в ваших

домах чайные сервизы, заклинят ваши компьютеры, и вы содрогнетесь от подземных толчков. Да, мы в России будем стрелять друг друга, жечь библиотеки, музеи. Но у нас есть не только музеи, но и реакторы. Взбесившаяся, охваченная гражданской войной Россия, в последней тоске и безумии, взорвет свои станции, запустит свои ракеты, и этот салют в честь Конца Света развесит над Америкой свои сверкающие великолепные люстры. Наша империя, уходя из истории, утащит вас в преисподнюю.

Он стих, почти не дышал, израсходовав в крике остатки жизненных сил.

Профессор Глейзер серьезно, внимательно слушан его крик и угрозу. Белосельцев почувствовал, как во время безумной вспышки был потерян контроль, произошла утечка сведений. Не владея собой, он в чем-то проговорился. Моллюск в розовой слизи вывалился из ракушки, слизнул добычу унес ее в глубину оболочки.

— Простите, Тэд, — сказал Белосельцев. — Я не хотел вас обидеть. Здесь у всех нервы на пределе. Вся Москва на нитке висит.

— Я вас понимаю, Виктор. Я знаю, вы хотели побывать в Американско-Российском университете, на семинаре по партийному строительству. Вот приглашение, — Глейзер положил на стол лакированный квадратик пригласительного билета. — Там и повидаемся. Повторяю, вас ждут в Штатах. Билет ка «Пан-Америкэн» будет заказан.

Профессор поднялся, раскланиваясь. Благополучный, холеный, он уносил добытое знание о двух заговорах, двух тайных подкопах. Белосельцев провожал его взглядом. За профессором по паркету к порогу тянулся легкий слизистый след, какой оставляет улитка, ползущая по утренней влажной тропинке. Этот след уводил в город, в таинственный бункер, где размещалась невидимая грозная пушка, долбившая стены Кремля.

* * *

Оставшись один, Белосельцев пытался вспомнить приснившийся ночью стих. Грустное грозное восьмистишье, от которого проснулся с сердцебиением. Он помнил его несколько секунд во тьме, перед тем как снова заснуть, а наутро забыл. Только остались больные горькие ритмы и близкие слезы в глазах.

В дверь кабинета постучали. Не дожидаясь приглашения, весело, бодро, заноса с собой энергию трудолюбия и успеха, вошел Трунько, социальный психолог, чью книгу о психологии политики он недавно рецензировал, сопроводив комплиментарным послесловием. Трунько был моложав, лысоват, начинал тучнеть и лосниться. На пальце его аппетитно желтело толстое золотое кольцо. Было видно, что его работа, уклад, образ жизни доставляют ему удовольствие, и он щедро хочет поделиться с другими своим здоровьем, довольством, пришедшими в голову мыслями. Но все это вдруг начинало казаться искусно созданным, сочно раскрашенным образом, за которым таилась иная, потаенная сущность, другое таинственное существование.

— Виктор Андреевич, зашел убедиться, что умнейший человек современности жив и здоров! — Трунько от порога успел проследить, что глаза Белосельцева направлены на черно-изумрудную бабочку. — А кстати, вы никогда не задумывались, почему в русском фольклоре и в орнаменте отсутствует бабочка? В африканском, американском и даже китайском есть, а вот в русском нет. Русский человек, замечавший орла, ворона, медведя, лисицу, лягушку и щуку, не заметил бабочку. А ведь косцы в лугах были окружены бабочками. Казалось бы, что может быть заметнее. Но не заметили. Здесь есть фигура умолчания, какая-то тайна. Кстати, иногда мне кажется, что в прежнем воплощении я был бабочкой.

Трунько говорил полушутя-полусерьезно. Его рассуждение о бабочке на миг погрузило Белосельцева в зеленое сверканье подмосковного луга, в сладкое благоухание пыльцы. На горячем солнце, задыхаясь от боли он стоит среди желтизны, синевы, и в сачке, в полупрозрачной кисее слабо шелестит и трепещет алая бабочка. Все это было чудесно, если бы нелегкое туманное облачко, витавшее над головой Трунько. Слабое колебание света, замутненное потоком лучей. Он внес их вместе с собой в кабинет, прощупав излучением потолка и стены. На его темени вращалась едва заметная чашечка антенны и, как мигалка, впрыскивала лучи.

Он был коллекционер бабочек, и эту страсть возжег в нем Белосельцев, подарив несколько драгоценных экземпляров из своей домашней коллекции. Между ними установилась связь не просто коллег и ученых, изучавших современное общество, но и двух любителей изощренной охоты, ловцов и эстетов.

— Когда я слышу о ваших вояжах по войнам и горячим точкам, — продолжал Трунько, — я не показываю вида, что знаю, почему вы колесили по этим местам. Все думают, что Белосельцев, аналитик разведки, изучает конфликты, измеряет своим интеллектуальным аршином дугу нестабильности, а на самом деле он берет сачок и ловит бабочек в сельвах и джунглях. Не ваша вина, что лучшие популяции бабочек обитают в тропиках и саваннах, где граждане «третьего мира» ожесточенно стреляют друг в друга. У вас уникальная коллекция. Ее можно описать в монографии: «Политическая энтомология военной борьбы второй половины XX века». Когда я был у вас, то подумал, что земля, как живым шелком, покрыта порхающими бабочками, а сквозь этот волшебный покров, прорывая его, взлетают ракеты, чадят дымы городов, стартуют бомбардировщики.

Лишь краткий миг ум и душа Белосельцева отдыхали среди луга, и зрачки, чуть прикрытые веками, созерцали бабочку в прозрачной паутине сачка. Тревога вернулась, а вместе с ней и пытливая подозрительность, отыскивающая источник опасности, крохотную антенну на голове Трунько, опылявшую его незримым, бесцветным снотворным.

— Что думаете о психологическом состоянии общества? — спросил Белосельцев, зная, что Трунько ведет кропотливые таблицы социально-психологических измерений, где сложной системой знаков изображается тонус общества. — Каков на сегодня знак «пси»? — повторил Белосельцев, чувствуя, что подвергается гипнотическому воздействию.

— Индекс «пси» упал почти до нуля. Психосоциальная жизнь переходит из явных форм в галлюциногенную, почти летаргическую, — Трунько стал серьезным, его умные глаза сосредоточились, а в чашечке антенны, как в глубине цветка, загорелась огненная тычинка. Они коснулись сокровенной темы, где, по его мнению, зрели небывалые открытия. Он завершал статью о психологии истории, где предлагал метод психологических предсказаний грядущего исторического события. Белосельцев ценил оригинальный подход Трунько. Но теперь, борясь с гипнотической волей, видя алую тычинку в пульсирующей глубине цветка, знал, что Трунько явился из тайного бункера, где укрыта невидимая страшная пушка. Облучает, выведывает знание о «заговорах». Делает множество моментальных снимков его

мозга, разноцветных послойных срезов, голографических объемных картинок с изображением тайных подкопов.

— Народ за последние месяцы настолько измучен очередями, безвластием, настолько сбит с толку сменой доктрин и лозунгов, что психологическая сопротивляемость его скользит к нулю. Например, люди в очередях перестали бранить правительство. Очереди замолчали и напоминают покорные вереницы в концлагерях, безвольно идущие в крематорий. Или вот, например, совершенно исчезли политические анекдоты. На Старом Арбате затовариваются на лотках деревянные болванчики, изображающие крапленого лидера. На политические куклы исчез спрос. У общества возникла нечувствительность к социальной боли. Оно вяло колеблется в малом диапазоне «пища — сон». Как во сне, в нем бродят обрывки чувств и инстинктов, и оно не способно к сопротивлению.

Трунько рассказывал о тестах, провезенных в среде военных, партийцев, промышленников, парламентариев. И везде, по его словам, наблюдалась социальная апатия, неспособность к сопротивлению.

— Когда очень долго пытаются, возникает невосприятие боли, — повторил Трунько. — Наше общество пытали несколько лет, и оно уже не общество, а — сумма, которую можно делить или множить.

Действие гипноза усиливалось. Красная тычинка антенны нежно пульсировала, удлинялась, чутко и слабо касалась его лобной кости. Безболезненно проникала вглубь, превращалась в легчайшее перо, в опахало, которое оведало полушария мозга. Убаюкивающий ветер сладко усыплял. Таившиеся в сознании образы всплывали во сне, и антенна вычерпывала их из разума, как светящиеся на морской поверхности ночные водоросли.

Белосельцев боролся с гипнозом. Снова представил — огромное, красно-окровавленное тело повалено на операционный стол. Оглушенное, усыпленное, отравленное анестезией, оно бессильно, недвижно. Над ним склонились мясники и мучители. Кромсают, рвут сухожилия, пилят кости, выковыривают органы. Родина на кровавом верстаке между трех океанов. И это жуткое зрелище не позволяло уснуть, ум, окруженный усыпляющими лучами, продолжал бодрствовать.

— Вы полагаете, общество не способно к гражданской войне? — Белосельцев посылал навстречу лучам встречный защитный импульс.

— Еще недавно вам казалось, что господствует психология гражданской войны.

— Момент апатии несомненно пройдет. Произойдет новое накопление агрессии. Но сейчас царит психологический ступор, анемия.

Трунько был посланцем старцев из «Золоченой гостинной», носителем той «пси-энергии», которая управляла сознанием, считывала тайные мысли, навязывала психозы и мании, побуждала к безумным действиям. Белосельцев подвергался облучению, терял над собой контроль. Боролся с болезненной слабостью, стараясь встречным поиском проследить направление лучей, обнаружить секретный бункер. Слышал, как потрескивают в глубине земли два встречных тайных подкопа. Два подземных стальных крота роют навстречу друг другу. И кто-то третий, невидимый, следит за движением подкопов, считает время до взрыва.

— Я вам так благодарен, Виктор Андреевич, за те идеи, которыми вы меня одарили, особенно за ваш замечательный термин «организационное оружие». Его существование для меня несомненно. Пусть другие ваши последователи изучают экономические или культурные аспекты «оргоруужия». Я же, используя ваши рекомендации, веду эксперименты над «пси-оружием», которое уже теперь способно разрушать устойчивые образования в общественном сознании. Приходите на наш семинар, в шереметьевском дворце, в Останкино, и вас удивит увиденное.

Легчайшая стамеска била его в основание черепа. Снимала костяной купол. Открывала студенистые полушария мозга с фиолетовыми и красными ручьями кровеносных сосудов. Трунько умелыми пальцами рылся в слизистой массе, извлекал из нее запаянную капсулу, мягко улыбаясь, клал в карман.

— Не забуду, Виктор Андреевич, как во время Первого съезда вы сказали, что туда непременно следует направить антропологов, психиатров, этнографов, театральных режиссеров, разведчиков. «Это — сказали вы, — зашифрованная модель будущей катастрофы». Я получил аккредитацию на съезд и понял, вы были правы.

Белосельцев считал съезды элементом «оргоруужия». Съезды убили страну.

Нескончаемое безумие, абсурдистский театр, где ссорились народы и лидеры, зашифровывались и устранялись проблемы, вбрасывались ложные цели, тратилось социальное время. Генералы, адвокаты, поэты с искаженными лицами скандалили, косноязычно умоляли и требовали, вываливая наружу кучи гнилья, сдирали с себя парики и одежды, обнажали больные, в струпьях тела. Народ, припав к телевизорам, из которых хлестала гнойная жижа, отравлялся, сходил с ума. Ошалелыми толпами, под флагами всех расцветок, ходил взад-вперед по городу, орал, сходилась стенкой на стенку, падал в изнеможении в подворотнях. Съезды были огромной клиникой, копившей и умножавшей болезнь.

— И это вы, Виктор Андреевич, посоветовали мне исследовать прессу и телепрограммы, расшифровать коды, которыми зомбируется нация. Я вскрыл целые системы шифров и символов, действующих на подсознание.

Да, он помнил свои советы. Пресса изглодала страну. Советники из «Золоченой гостиной» передали газеты и радио в цепкие лапки умных и злых комментаторов. Те просочились в семьи, ворвались в институты власти. Истерли в труху идеалы и символы веры. Так бесчисленные муравьи превращают в скелет упавшую в муравейник подбитую птицу. Народ корчился среди газетных листов, телепрограмм, ежечасно сходя с ума, не понимая, откуда мука, кто и зачем отнимает любимую музыку, родные образы, привычные интонации речи. Всякий вечер старики на своих колченогих креслах устраивались перед экраном и умирали тысячами, не выдержав радиации.

— Помните, Виктор Андреевич, вы порекомендовали мне познакомиться с оккультными учениями, как-то обронули вскользь, что разрушение будет основываться на магических знаниях, распространенных в элитных кругах. И вы оказались правы, — по стране был нанесен экстрасенсорный удар невиданной силы. Тысячи магов и колдунов управляют распадом, берут под контроль политических лидеров, писателей и ученых, социальные группы и целые регионы. Если вы придете на мой семинар в Останкино, я покажу вам их возможности.

Да, он, Белосельцев, это предвидел. Оккультисты овладели страной. Тусклое зарево ворожбы, тайного колдовства, чародейства

сочилось над обманутой Родиной. Ведьмы, маги, астрологи и экстрасенсы плодились, как бациллы, проникали в дома, заражали университеты и научные центры, министерства и мастерские художников. Здравый смысл, которым создавалась наука, сотворялись школы искусств, — этот смысл был охвачен синеватым свечением тления, цветом болезни, огоньками болотных гнилушек. Мозг, пораженный безумием, неспособный к рациональному знанию, отступал в вялый бред.

— Мой вывод, Виктор Андреевич, — Трунько оглянулся, не подсматривает ли за ними соглядатай, отчего антеннка с красным огоньком в глубине скользнула по стене, оставив на ней затейливый гаснущий вензель. — У нашего общества абсолютно исчез психологический иммунитет. Сорваны защитные экраны, вскрыты «роднички». В ближайшее время возможен концентрированный психологический удар, цель которого — паралич. В результате общество смирится с любым диктатором, перед которыми Сталин или Пол Пот — милые овечки. Народ окаменеет и безропотно, безразлично станет смотреть, как расчленяют страну отдают Сибирь и Курилы, Закавказье и Среднюю Азию. Людям будет запрещено говорить на родном языке, их станут изгонять из квартир, и не будет протеста, не будет партизан. Я знаю, такой удар подготовлен. Идет последнее накопление энергии.

Враг прислал ему еще одного гонца, с последним предупреждением, предлагая сдаться. Он знал, что беда неминуема. Искал того, кому о ней рассказать, кому открыть чертеж катастрофы. Перебирал имена и лица, знакомых военных, партийцев, председателей партий и фракций. Но не было среди них того, кто бы мог его выслушать, внять его слову, узнать беспощадную истину. Все были глухи и слепы, скопом скользили в погибель. В угрюмых, непроницаемых для взгляда пластах шевелились два заговора, два упорных железных крота, двигавшихся навстречу друг другу

Общество, которое он изучал, имело внешний, вполне различимый и понятный рисунок, в который укладывалась политика партий, лозунги, демонстрации, съезды. Но в своей глубине оно было непознаваемо, бесконечно. Брало свое начало в непроглядно-далеком прошлом, в скифских курганах, варяжских челнах, в «культуре боевых топоров». Сливалось с природой, с Космосом. Было огромной живой

материей с отмирающей и возникающей плотью, окружавшей бессмертную плазму, лучистую энергию, чистый дух. В этом обществе присутствовали древние неистребимые векторы и будущие неразличимые цели. Оно напоминало машину сконструированную по законам разума, но было иррациональным, неразумным, под стать мировой стихии. Загадочный, непредсказуемый Космос вторгся в судьбы живых поколений, сливался с мощью моторов, с энергией заводов и станций, создавая необъяснимые брожения истории, вспышки войн и восстаний, подобные вспышкам на Солнце. Белосельцев чувствовал политику как тонкие воздействия, управляющие огромной социальной машиной, в недрах которой клочкотали вулканические энергии, способные двигать историю. Легкое нажатие клавиши, и кончается каменноугольный период, завершается империя Рима, осыпаются рубиновые звезды Кремля.

— В вашей монографии должна быть глава: «Астрологические портреты политических лидеров». Ведь по-прежнему остается невыясненным, в какой степени психологические характеристики вождя определяют выбранный им политический курс, — Белосельцев спрятал свой страх в скорлупу академической лексики. — Я рекомендовал бы вам составить астрологическую карту советских вождей от Ленина, Троцкого и Сталина до ныне властвующих. Таким образом, раскроется звездный аспект социалистического строительства, а также обнаружится астрономическая динамика, в недрах которой возник антилидер, творец разрушения. Это было бы абсолютно новым, экстравагантным исследованием.

— Вы, как всегда, угадали мои намерения, Виктор Андреевич. Я только что составил гороскоп на Первого, как вы его называете. Эти астрологические халдейские таблицы порой удивительно верны. В данном случае мы имеем дело с классическими Рыбами в месячном исчислении и с Козой — в годовом: Рыбы — это двойственность, незавершенность, неверность и вероломство. Способность ускользать, уплывать от решений, предавать друзей и соратников. Море, вода будут местом, где станет решаться его политическая судьба. Рыбы — обитательницы вод, а вода, по древним представлениям, синоним Хаоса, из которого проистекают формы, стремящиеся воплотиться в Космос, и в нем же, в Хаосе, исчезают. Рыбы открыты для разрушительных сил преисподней. Все, к кому они прикасаются

своими плавниками, после краткого периода света и блеска погружаются во власть темных сил. Рыбы поддаются внушениям, переменчивы, честолюбивы, обидчивы. Их доброта и обаяние мнимы. В них — вероломство и мстительность. Коза в сочетании с Рыбами дает тип, лишенный личного творчества, однако блестяще его имитирующий. За таким человеком стоит, как правило, другой, невидимый никому человек, управляющий первым. Смерть Рыб проходит беспокойно, часто ужасно, ибо их забирают назад первобытные стихии воды и Хаоса.

Пока Трунько излагал свою теорию, ссылаясь на расположение планет и созвездий, упоминая Солнце, Сатурн, Юпитер, созвездие Козерога и Льва, Белосельцев живо представил Первого, лукавого фигляра, возникшего, как размалеванный клоун, из темных неосвященных кулис партийного мира. Его многословный бойкий говорок с внезапным, как помарки, косноязычием, в который то и дело, выжигая устойчивые партийные штампы, залетали вычурные иностранные термины, — отпечаток чьих-то настойчивых воздействий. Подкупающая, мнимо-искренняя мимика, эмоция сердечности и внимания, правдоподобная маска сострадания и сочувствия, под которой не скрыть постоянную тревожную чуткость, зоркую подозрительность, холодную бдительность. Он ненавидел его суждения, наполненные пустотой, жесты, воспроизводящие эту пустоту. Лакированные лимузины, в которых, красуясь, он проезжал по Москве, его беседы с народом через головы сытых охранников. Туалеты его жены, бестактно-ослепительные среди тусклого, бедно одетого люда, и ее вымученные деревянные речения с непременным желанием оказаться перед телекамерой. Белосельцев ненавидел в нем беспардонное расходование чужих, накопленных до него энергий, собранных по крохам богатств, которыми он покупал свою популярность в заморских, безбедно живущих странах. Его славолубие, жажда непрерывного успеха, упоение властью, для поддержания которой он предавал самых близких соратников, отступался от друзей, сдавал союзников. Губил доставшееся даром. Не восполнял, а только сорил и тратил.

Вскормленный и взлелеянный партией, он умертвлял среду, давшую ему жизнь. Получив в управление огромную таинственную страну, наполненную страданием, легкомысленно и бездарно

направлял ее в пропасть. Разорял хозяйство, останавливал заводы и станции, разбазаривал науку, пускал по миру ученых и инженеров, выталкивал за границу на потребу чужой цивилизации. Верховный Главнокомандующий, он умертвлял великую армию, закрывал космодромы, взрывал ракеты и лодки, ликвидировал группировки, отдавая без боя противнику театры военных действий. Он открывал секретные сейфы для чужих спецслужб и разведок. Выставлял генералов на растерзание бесноватой прессы. Отнимал у доверчивого народа последний достаток, передавая аморальным дельцам народное добро и богатство. Вероломно, обманом допустил в политику ненавидящих государство людей, а в культуру — воинственных русофобов и сатанистов. Учредив растленные парламенты, взрывая и умиряя съезды, он рассорил народы, заварил изнурительную кровавую распрю, из которой выход был только в гражданской войне.

Белосельцев ненавидел этого фигляра, блистательно-лживого, пустопорожного, наполненного дымом чужих идей, с крутыми глазами рыбьего малька и лиловым пятном саламандры, возникавшей каждый раз из огня, в котором горела подожженная им страна. Он был отвратительной загадкой русской истории, знавшей на троне палачей, ленивцев, расслабленных, но никогда — предателей, умышленно, в интересах врага, погублявших Отечество. Он был носителем неземной сатанинской силы, прекрасным и обольстительным, как бес, безжалостным и неподвижным, как смерть.

И так велика была ненависть Белосельцева, так жарко и страстно он отрицал фигляра, что возникло видение, — два замызганных бэтэра, харкая гарью, мчатся по Садовому кольцу, народ прижимается к стенам, и два трупа, мужской и женский, на железных блестящих тросах колотятся по асфальту, сбиваясь в лохматые комья.

«Господи, что это я!» — очнулся Белосельцев, запрещая себе думать так и чувствовать, торопливо вымаливая у кого-то прощение за жуткие видения и мысли.

Мука и страх отразились на лице больной гримасой, которую тотчас сфотографировал собеседник, унося вместе с ней добытое знание. Глаза Трунько наполнились неискренним состраданием. Прижимая руку к груди, он проникновенно сказал:

— Дорогой Виктор Андреевич, какие бы напасти на вас ни свалились, рассчитывайте на меня. Не смею мечтать, но вдруг вам

захочется от всего отрешиться, на все махнуть рукой, и тогда мы вместе, на один только день, отправимся куда-нибудь под Серпухов, на Оку, где водятся удивительные голубянки, и половим бабочек, — Трунько весь излучал сочувствие. — А вот такую игрушку видели! — Трунько извлек из кармана какую-то дудку, с прикрепленным вялым пузырем, и начал дуть. Сморщенная резиновая оболочка стала расширяться. На ней обнаружилось лицо, знакомые чувственные губы, чуть выпученные глаза, лысый лоб с фиолетовой кляксой. Трунько продолжая дуть, голова пухла, увеличивалась, как от водянки, глаза вываливались из орбит, плотоядные губы уродливо и страшно растягивались, мета жутко расползалась по бугристому лбу. Нетопырь, вурдалак, глубоководная, распираемая давлением рыба качалась на кончике трубки. Вот-вот взорвется и лопнет.

Трунько выпустил трубку изо рта, воздух с легким свистом стал выходить. Пузырь опал, сдулся, сморщился.

— На Арбате купил, — по-детски радовался Трунько, засовывая игрушку в карман. — Прощаюсь, Виктор Андреевич, но ненадолго. Жду вас в Останкино, — прижимая руку к груди, гость покидал кабинет. От него на полу остались золотые отпечатки перепончатых утиных лап.

* * *

Стих, который приснился ему ночью, был где-то рядом. Быв записан на лежащей под сердцем скрижали. Но скрижаль не прочитывалась, стих не всплывал, и от этого — мука.

Он чувствовал подспудное движению заговоров, как неуклонное сближение электродов в корпусе взрывателя. Медные пластины сжимались, между ними утончался просвет. Солнечный город, редяющие тополя, кресты соседнего храма, синеватая гарь Садового кольца, рынок в потеках фруктового сока, вся Москва с ее злыми очередями, неопрятными площадями, ветхими фасадами, на которых золотилась плесень упадка и разложения, — все было заминировано, умещалось в тонкий просвет взрывателя. Пластины сомкнутся, и взрыв расколет город, превращая его в жуткую, из разноцветных осколков и клиньев, картину кубиста.

Без стука, весело похихатывая, мигая лукавыми глазками, вошел человек, маленький, шустрый, весь в коричневых морщинках и складках, держа кожаную изящную папочку.

— Не мог не зайти, Виктор Андреевич, не мог не выразить моего почтения!

«Они все идут посмотреть на меня, как на прикованного в клетке, обессиленного медведя», — подумал в первую секунду Белосельцев, не признавая развязного гостя. Но во вторую — узнал в нем Ухова, коммерсанта и общественного деятеля, с которым познакомился месяц назад на конференции. Тогда они обменялись шутками, визитными карточками, и вот теперь он, летний, загорелый, энергично шевеля морщинами, занял кресло в его кабинете, весело и пытливо разглядывая хозяина плутоватыми глазками. — И по делу, и бескорыстно, Виктор Андреевич, из одного лишь желания повидаться! — он похохатывал, показывая желтые, как у большой белки, зубы.

По поведению гостя, по направлению морщин на плутоватом лице, по тому, как слегка косо он уселся в кресло, Белосельцев понял, что Ухов был посланцем оттуда, где совершались подкопы. Поднялся на свет из штольни, — складки лица, морщины, корни волос, сгибы модного пиджака были в фунте подземных работ.

— Рад, что зашли, — сказал Белосельцев, стараясь не выдать открытия.

Лицо Ухова состояло из бесчисленных хаотических складок, сжималось и разжималось, будто вывернутый наружу складчатый голодный желудок. Переваривало, всасывало, чутко реагировало, выделяло кислоты и соки.

— Принес вам подарок, Виктор Андреевич. Эмблема нашего фонда! — Ухов положил перед Белосельцевым лакированный значок — темный овал, и в центре медовая иконка Богородицы с младенцем и надпись: «Взыскание погибших».

Так назывался фонд, президентом которого был Ухов. Этот фонд отыскивал безвестные солдатские могилы — немецкие, итальянские, испанские, — тех, кто погиб в России во время минувшей войны. Фонд, основанный Уховым, уже получил известность в прессе, привлекал внимание дипломатов, собирал деньги зарубежных жертвователей. Иконка светилась, как капля меда, упавшая на стол Белосельцева.

— Читал вашу статью, Виктор Андреевич, посвященную военному контролю над обществом. Скажу откровенно, ока меня

поразила. Ведь это, если без обиняков, призыв к военному перевороту. Среди моих друзей-демократов она произвела шок.

Это и было тем, за чем явился Ухов, — вывести, на какой глубине, в каком направлении движется встречный «подкоп».

— Неужели вам, Виктор Андреевич, вам, просвещенному человеку, ученому, нужен диктатор? Неужели наша бедная Родина, пережившая семидесятилетнюю диктатуру; не заслужила ничего, кроме еще одной тирании?

Он изумлялся, порицал, дружески осуждал Белосельцева. Прощал его заблуждения. Ценил его ум, глубину. Среди смешков и ужимок подглядывал и выводывал. Процеживал сквозь морщины и складки добытую информацию. Проглатывал драгоценный осадок.

— Никакой диктатуры! — Белосельцев, мнимо раздражаясь, втягивался в полемику, помещая пришельца в мощное магнитное поле. Заставлял все его лукавые ужимки, маскирующие морщинки и складки выстраиваться в определенную фигуру, в застывший на секунду рисунок, где должна была обнаружиться правда. Кем он послан, лазутчик? В чем конструкция заговора? Где пролегает «подкоп»? — Никакой диктатуры! При полном развале хозяйства, остановке электростанций, голоде, беспорядках кто-то ведь должен взять на себя управление. Кто-то должен разгрести аварии на атомных станциях. Водить поезда. Кормить из полевых кухонь голодных. Защищать в своих гарнизонах беженцев. Кто-то должен остановить гражданскую войну. Это сделает армия, но не потому, что она стремится к диктатуре, а просто она займет опустевшее место, откуда сбегут деморализованные и трусливые политики.

Статья, опубликованная неделю назад, заслоняла армию от нападков прессы. Исследовала этапы разложения армии со времен Афганской войны и Чернобыля до бакинских и тбилисских событий. Была частью его представлений об «оргорузии», разрушавшем структуры власти. Командующие округами, генералы Министерства обороны, Главком сухопутных войск благодарили его за статью. Демократическая пресса развернула травлю.

— Вы умница, золотая голова! — Ухов почувствовал действие магнитного поля, распустил все свои морщины и спрятал их вглубь лица, отчего лицо стало походить на стиснутый гладкий кулак. — Зачем вы связали себя с мертвечиной? С обреченными людьми? Со

вчерашней политикой? Онидохлые, тухлые, за ними нет ничего. Ну, может быть, еще раз попробуют напоследок чавкнуть затворами, лязгнуть вставными челюстями. Но их сметет, всех этих генералов, партийцев. Все кончится огромным судилищем наподобие Нюрнбергского. Посмотрите — все талантливые, дееспособные, честные люди уходят от них, присоединяются к нам. Из партии, из промышленности, из КГБ, из армии. Идут к нам, и мы их принимаем, находим для них место. Идите и вы к нам, Виктор Андреевич! Поверьте, для вас найдется достойное и почетное место!

Белосельцев видел — его испытывали. Ждали, чтобы он обнаружил свою связь с заговорщиками. Выводывали, что он знает о заговоре. Но он не знал ничего, только угадывал смертельную опасность, исходившую от лазутчика.

— Мы нуждаемся в ваших знаниях, в вашей репутации. У нас много практиков, много энергичных людей, но не хватает теоретиков. У нас деньги, молодежь, нам помогает Запад, а у тех — одни дряхлые старики и унылые догматики. Идите к нам, Виктор Андреевич, пока не поздно, до взрыва!

Этот посланец говорил о взрыве. Был из того «подкопа», что двигался под кремлевской горкой, под Неглинной, пересекал Садовую, Пушкинскую. И надо спуститься в метро, прикинуть к мраморной стенке и, вслушиваясь в гулы и скрежеты, угадать направление беды.

Эта мысль, безумная на первый взгляд, казалась привлекательной. Вскочить, спуститься в метро, двигаться по кольцевой, радиальным, среди подземного блеска, припадая ухом к витражам и мозаикам, ощупывая бронзу и мрамор, прослушивать недра Москвы, надеясь уловить вибрацию подземных работ.

«Бред!.. — думал он. — Помрачение!.. Но мысль превосходна!..»

— Вы знаете, почему не пройдет диктатура? — воспользовавшись тем, что Белосельцев снял магнитное поле, Ухов разом выделил все морщины. — Мы вкусили свободу; и уже не наденем ярмо. Мы — другие! Вы — другой! Я — другой! Знаете, как я прожил жизнь? В коммуналках, в бараках, среди запахов сортиров и щей. Ароматы счастливого детства! Отчим, пьяница, посылал меня побираться. Были нужны деньги на водку, и я отморозил руки! Учительница в школе, комсомолка грудастая, заставляла петь песню: «Летят самолеты, сидят в них пилоты», — а рядом пацан-дебил в штаны мочился! Я первый

костюм в двадцать три года надел, а то все сатиновые шаровары и бутсы из прыщавой кирзы! Девчонки от меня отворачивались. Не знал, что такое — слово в полный голос сказать, все надо мной надзирали, ходил да оглядывался! А теперь, знаете, как живу? — Ухов откинулся, будто хотел оглядеть простор, на который вывела его судьба, и все его морщины зашевелились, словно лицо, подобно каракатице, готово было сорваться и прянуть в сторону. — У меня известнейшая в Москве коллекция авангарда. Я могу прямо сейчас, от вас, поехать на аэродром, не в Шереметьево или Внуково, а на другой, никому не известный, и улететь в Германию или во Францию! Приезжайте на мою подмосковную виллу, и я покажу вам бассейн, выложенный изразцами из мусульманской мечети времен Тамерлана! Если захочу; ко мне приедет кордебалет и будет плавать в этом бассейне в чем мать родила, среди древних изречений Корана! Мы — люди, познавшие цену свободы, — не примем диктатуру!..

Белосельцев изумился этой исповедью. Только что прозвучал «капиталистический манифест», «символ веры» нового класса, рождавшегося из распада и тлена умиравшего общества. Среди муки и смерти исчезавшей огромной жизни возникала другая — мелкая, жадная, стойкая.

Белосельцев испытал брезгливость и вместе с тем любопытство. Перед ним из невзрачной куколки, из тусклой личинки рождался новый социальный вид. Этот вид сжирал его мир, изгрызал его ценности. Был новый, нарядный, яркий, как хищный кусающий жук.

— Делайте ставку на нас! — почти приказывал Ухов. — У нас реальные деньги, на которые мы можем купить политиков, прессу, интеллигенцию! Нам нужна идеология, политическая теория! Из нашей среды вышли дееспособные лидеры, но мы уже готовим им смену, растим новых политиков. Идите к нам, Виктор Андреевич, еще не поздно!

Останавливались блоки атомных станций. Ржавели у пирсов океанские корабли. Зарастали бурьяном космодромы. Закрывались лаборатории и научные центры. Гибла цивилизация, воздвигнутая в кровавом поту, которой он, Белосельцев, отдал всю свою жизнь. Вместо нее натягивали матерчатый лоскутный цирк шапито, тряпичный балаган, где плясали размалеванные шуты и корчились полуголые карлицы.

«Как, — думал он. — Как им удалось перехватить разведку и армию? Парализовать партию? В чем смысл их тайного заговора?»

Он сидел, улыбался, слушая незваного гостя, наблюдая сложную пульсацию морщин, выдававшую тайные побуждения загадочной, его убивавшей жизни.

— Я пришел к вам с конкретным делом, Виктор Андреевич, — Ухов раскрыл изящную папку, извлек из нее листки. — Наш фонд «Взыскание погибших» проводит свою первую и, быть может, самую значительную акцию. Есть немецкое кладбище под Курском. Там похоронены тысячи немцев, танкисты, летчики, пехотинцы, целая дивизия, павшая на Курской дуге. Это кладбище безымянное, ни креста, ни камня, даже холмиков не осталось. Наши доблестные воины, когда пришли на это кладбище, пустили по нему танки и тягачи, сровняли с землей. Фонд хочет восстановить это кладбище. Воздать должное немецким солдатам, не по своей воле брошенным в поля России. Кончились времена ожесточения и ненависти, наступает эра милосердия!

Иконка Богородицы, словно капелька меда. Младенец обнимает материнскую шею. Надпись: «Взыскание погибших». Его отец погиб под Сталинградом в штрафном батальоне в ночь перед Рождеством. Какое-то зимнее поле, желтая над полем заря, и отец бежит, выставив неловко винтовку, проламывая валенками снег. В детстве и юности он выкликал отца, ждал его появления. Позже блуждал по бескрайней заволжской степи в поисках могилы отца.

— Чем же я буду полезен в вашей акции? — спросил Белосельцев.

— Это гуманный повод объединить наше разобщенное общество. Левых и правых. Либералов и консерваторов. Националистов и государственников. Пусть все забудут на время вражду, сойдутся на могилах в поминальном богослужении. Чтобы никогда не повторилось смертоубийство, не повторилась война! Вот здесь, — Ухов пододвинул Белосельцеву листки с компьютерным набором, — благословение Патриарха. Согласие германского канцлера. Одобрение немецких банкиров. А это, — он благоговейно дотронулся до листка, — президентское согласие принять участие в акции. Если вы и близкие вам люди, противоположные по убеждениям мне и моим друзьям, если мы встретимся и хоть ненадолго преодолеем нашу вражду, протянем

друг другу руки, я уверен, всему обществу станет легче, ала станет меньше!

— Еще столько русских непогребенных костей, столько безымянных могил! — сказал Белосельцев, разглядывая подпись Первого на красивом белоснежном листке. Перед его глазами встали неоглядные смоленские топи, ржевские леса, полярные гранитные лбы, где насыпаны кости русских дивизий и армий, белых и красных, штрафных и гвардейских, резервных и ударных. — Нельзя ли начать с них?

— Само собой! Русские косточки — родные косточки! И нам великий грех и позор, что наши отцы и деды, непогребенные, под ветром и снегом косточками белеют. Да вот беда, нету пока таких собирателей, таких поездов и бульдозеров, чтобы косточки эти отыскать, собрать да в одну могилу ссыпать! А на немецкие кости деньги найдутся. Мы клич в Германии бросим: «Приезжайте на ваши немецкие родные могилы! Тут они, ваши Гансы, Фрицы и Курты ненаглядные!» И они поедут. Старухи-вдовы, сыновья-бизнесмены, дети-студенты. Мы это кладбище оборудуем, — дорожки, надгробья. Автобан проведем. Отели, гостиницы. Церковь поставим, лютеранскую. А тут и банк неподалеку. Тут и ресторан. И туризм, и сувенирная торговля. И зал для концертов. Инвестиции в заброшенные земли. Переработка сырья. Современные технологии. И поставка молибдена в Германию. И так вокруг, казалось бы, кладбища, вокруг мертвых, казалось бы, могил — очаг новой жизни! Мертвецы, опустошавшие наши земли, заплатят за это уже после смерти!

Ухов возбужденно, в большом количестве выделял из себя морщины и складки, увеличивался в размерах, словно внутри него шло бурное создание тканей, и их избыток извергался на поверхность лица.

— В новой экономике, которая, что там греха таить, бывает и грязной, и черной, и неопрятной... А как же иначе? Как первичный капитал наработать?.. В новой экономике важно иметь нравственное прикрытие, гуманитарную цель. В нашем фонде — это память об убиенных солдатах. Это нравственно и гуманно. А бизнес — это второе, невидимое миру занятие!

— Великолепно! — сказал Белосельцев. — Здравый смысл и одновременно романтика! Точный расчет и полет фантазии!

Ухов всматривался в Белосельцева. Морщины слабо трепетали, как загадочные органы жизни, с помощью которых усваивались и потреблялись рассеянные в пространстве энергии.

— Я тоже думал об одном проекте, но не с кем было поделиться. Казалось, меня могут не понять, осудить. Но вам сообщу.

— Что за проект? — ласково спросил Ухов.

— Путешествие по архипелагу ГУЛАГ! Туристический маршрут по местам заключений для иностранцев... Чем можно удивить чужеземца в России? Развалюхами-церквями? Убогими городами? Допотопной техникой? А вот ГУЛАГом удивим! Эта экзотика стоит денег. Я бы основал туристическое агентство. Вклад небольшой, а прибыль огромная!

— Это как же? — поощрял его Ухов, вываливая на лице складку за складкой, словно он весь перетекал наружу выворачивался наизнанку, и скоро его модный летний костюм, дорогие запонки, часы на золотом браслете окажутся глубоко внутри, а на поверхности будут влажно пульсировать и блестеть слизистые оболочки и ткани с красно-синими ручьями дрожащих вен и артерий.

— Самых богатых, пресыщенных миллионеров — колесными пароходами и тюремными баржами по сибирским рекам — на Север! Пароходы «Ягода», «Ежов», «Берия»!

— Оригинально! — загорелся Ухов. — Они бы сели, поплыли. Я знаю их психологию.

— Сажать их не в каюты, а в камеры! Кормить баландой и пайкой. В камере — параша. В дверях — глазок. И конвоиров — поглубже и пожилистей!

— Они бы приняли эту игру! Фотографировались бы с конвоирами, в бушлатах, с номерными бирками.

— Где-нибудь в низовьях Оби или Лены выгрузить на берег, с овчарками, и этапом, по раскисшей дороге среди комарья. Мат, автоматчики, лай собак! Гнать их в лагерь километра два!

— Не больше! Пусть выпачкаются, вымажутся, это им понравится. За это они деньги заплатят!

— Пригнать их в зону. Колючки, вышки, бараки! Проверка, осмотр! Раздевание! На кого-то накричать. Кого-то пихнуть. Кого-то в карцер!

— Да можно и расстрел устроить! К стенке кирпичной поставить, и холостыми! Играть так играть!

— Выйдет начальник лагеря, надзиратели пострашней, и с переводчиком будет объявлено, что это вовсе не игра, что их таким образом заманили, что это операция советских органов безопасности по ликвидации банкиров и промышленников Запада. Что им отсюда больше не выбраться! Пусть расстанутся с надеждой вернуться на Родину. Отныне и до скончания дней им предстоит жить в этих дощатых, крашенных грязной известкой бараках!.. Бедные чужеземцы в это поверят, по-настоящему ужаснутся, быть может, с кем-нибудь станет дурно. С бранью, пинками, под треск автоматов и лай овчарок их погонят в барак. А когда они пройдут сквозь зловонный туалет, вонючий тамбур, — вдруг окажутся в ослепительном зале, где люстры, накрытые яствами столы, очаровательные девушки в русских кокошниках, и ансамбль балалаечников в расшитых рубахах заиграет народные песни! Пережив ужас, иностранцы будут пить русскую водку, закусывать черной икрой, подписывать контракты, жертвовать колоссальные деньги на бывших узников ГУЛАГа!

Ухов смотрел на него с восхищением, будто и впрямь верил в реальность проекта, мысленно подсчитывал стоимость, возможную прибыль.

А с Белосельцевым случился приступ смеха. Сначала тонкая, играющая на губах улыбка. Дрожащий легкий смешок. Щекочущий горло смех. Громкий, неостановимый, во весь голос хохот. Хриплый, из горла, с прыгающим кадыком, клекот. Ухов смотрел на него с сочувствием и одновременно с презрением.

Белосельцев понял, что проиграл. Дождался, когда клекот утихнет, слезы впитаются в носовой платок. Сидел, переживая свое поражение, стараясь унять пробежавшую судорогу.

— Извините, — сказал он Ухову. — Со мной это было однажды, в Кампучии, после боевых действий. Непроизвольная реакция организма.

— У меня к вам просьба, Виктор Андреевич, — Ухов успокоил морщины, спрятав в их глубине добытое знание. Так упаковывают старый кожаный саквояж, перед тем как пуститься в дорогу. — Через несколько дней у нас состоится интересная встреча в одном бизнес-клубе. Будут представители новой экономики, предприниматели,

молодые банкиры. Прибудет главный казначей партии, Финансист, как вы его называете. Приходите, познакомьтесь с людьми. И полезно, и интересно. И еще. У вас хорошие связи с военными, с людьми из Совета Обороны. Устройте мне встречу с Зампредом. Я хочу включить его в наш гуманитарный проект. Конверсия, которой он занят, нуждается в инвестициях с Запада. Я предоставляю ему уникальные связи.

— Поговорю, — кивнул Белосельцев. — Вряд ли Зампред заинтересуется немецким кладбищем. Но инвестиции ему интересны.

Провожая Ухова до дверей, он видел как тот оставляет за собой на полу тонкую царапину, проскребает ее невидимым острием.

* * *

Белосельцев смотрел на дверь, сквозь которую, подобно теням, удалились Глейзер, Трунько и Ухов, оставив на полу кусочки слизи, рваные царапины, золотые отпечатки перепончатых птичьих ног. Эти метины уводили из его кабинета, спускались по лестнице, через вестибюль тянулись на тротуар, ныряли в салоны автомобилей, вновь появлялись у подъездов учреждений и офисов, проникая в потаенные гостиные. Эти следы были оставлены заговорщиками, указывали на заговор, на множество вовлеченных в него людей. И он сам, как бабочка, был опутан тончайшими тенетами заговора, беспомощно трепетал, пытаясь разять тончайшие золотые плетенья.

Одна половина заговора, откуда являлись гонцы, была ему недоступна. Без знания пароля, тайных опознавательных жестов, молчаливых условных знаков было невозможно проникнуть в секретный бункер, где собирались заговорщики, — его сразу узнают, выловят, уберут без следа. Другая подземная половина угадывалась по неявным вздутиям почвы, по слабым трясениям и гулам, охватившим все здание государства. В армии, в партии, в оборонной промышленности, в разведке, как и в нем, скопились угрюмые силы, большие энергии. Там его примут и выслушают. По легким намекам, по едва уловимым признакам он поймет конфигурацию заговора, угадает имена заговорщиков, встанет в их ряд, предложив им свой опыт разведчика, знания аналитика, попытается уберечь от провалов стремления одряхлевшей власти. И первым, к кому он пойдет, будет Чекист, — так конспиративно, без имени, он называл главного

разведчика страны, с кем был хорошо знаком, чьим расположением и доверием пользовался.

В дверь кабинета опять постучали, словно кто-то, уходя, тут же возвратился, изменив облик. Дверь приоткрылась, и Белосельцеву померещилось, что за порогом был не светлый солнечный коридор, а сумрачная вечерняя подворотня с тусклым, желтым фонарем и странной, укутанной в плащ фигурой подстерегавшего татя. Наваждение исчезло, и из тьмы на солнце и свет шагнул улыбающийся Ловеико, политолог, сотрудник известного института и, как предполагали, офицер и эксперт разведки, его давнишний знакомец.

— Здравствуйте Виктор Андреевич! — источая радушие, произнес визитер, наполняя кабинет бодрой, светящейся энергией целеустремленного человека, бесцеремонно захватывая принадлежащее Белосельцеву пространство. — Простите, что без звонка.

Белосельцеву, изнуренному предыдущими встречами, был тягостен этот визит. В душе, словно притаившаяся болезнь, ныл и дрожал приснившийся ночью стих, не мог найти себе выхода, шевелился под сердцем, как тромб. Хотелось зашторить окна, улечься на диван, закрыть глаза и ждать, когда стихотворение медленно всплывет среди успокоенных видений и мыслей, как ночная глубоководная рыба. Но нельзя было отказать визитеру, нельзя было не пожать белую блестящую руку, не ответить улыбкой на улыбающиеся дружелюбные уста.

— Удивительные у нас отношения, Виктор Андреевич, — Ловеико удобно устроился в кресле, с веселым интересом осматривая коробку с бабочками, фрагмент космического аппарата, осколок древней иконы, словно составлял опись имущества, уже не принадлежавшего Белосельцеву. — Лет десять, а то и двенадцать, встречаемся в самых фантастических местах, говорим на самые сокровенные темы, а вот домами не дружим, не зазываем друг друга на чай. И если бы не моя сегодняшняя настойчивость, встретились бы в очередной раз где-нибудь в Париже или Каракасе.

Элегантный, уверенный в себе, он мало изменился с тех пор, как познакомились в Зимбабве на вилле дипломата, где обсуждали проблемы прифронтовых государств, возможности Москвы повлиять на военный конфликт. Белосельцев помнил, как в сумерках они

спустились в сад, стояли на плотном газоне перед молодой араукарией. Отвечая Ловейко, он трогал чешуйчатую почку, и ему казалось, что от его прикосновений почка набухает, наливается сочным теплом, как женский сосок.

Еще одна встреча состоялась в Вашингтоне, на симпозиуме, проводившемся под эгидой центра аналитики американских военно-морских сил, где рассматривались очаги мировой нестабильности, природа локальных войн. Белосельцев в докладе наметил сдвиг всей конфликтной «дуги нестабильности» к границам Советского Союза, тенденцию перенесения ее на территорию СССР. Они сидели с Ловейко в гостиничном номере, пили виски, заедая солеными фисташками, а потом гуляли по солнечно-белой столице, зашли в Музей современного искусства и долго, порознь, бродили по пустым спиралевидным галереям, изредка сталкиваясь, награждая друг друга поклонами и улыбками.

И, конечно, они встречались в Москве, в МИДе, в институтах, в академии Генштаба, обменивались новостями и мнениями, понимали друг друга с полуслова. Оба принадлежали к избранному слою аналитиков разведки, окружавших власть, неявно, своими оценками и экспертными записками направлявших эту власть в нужную сторону, — негласные, невидимые миру творцы политики.

Теперь Ловейко сидел в его кабинете, и его умные глаза были направлены на зеленого махаона, в ту мерцавшую драгоценную точку, куда пыталась спрятаться жизнь Белосельцева.

— Вы понимаете, Виктор Андреевич, только чрезвычайные обстоятельства заставили меня прийти без предупреждения, — моложавое сухое лицо гостя изображало волнение, а глаза продолжали весело и зорко блестеть, и эта двойственность убеждала Белосельцева в том, что и этот визитер был послан к нему старцами из «Золоченой гостиной», чтобы учинить утонченную интеллектуальную пытку и вырвать необходимое признание. — Все очень тревожно, Виктор Андреевич, все нити натянуты, вот-вот порвутся. Когда вы принимали у себя Тэда Глейзера из «Рэнд корпорейшн», вы не могли не обсуждать проблему заговора. Вернее, двух заговоров, наложенных один на другой. Все это создает невероятно запуганный, сложный фон, в котором нелегко разобраться политологам.

Белосельцев не удивлялся услышанному. Явившийся к нему человек, знавший о его встречах и мыслях, был оборотень — один и тот же агент, менявший обличья, принимавший образ американца из «Рэнд корпорейшн», сослуживца, составлявшего гороскопы политиков, лукавого дельца, делавшего бизнес на продаже могил. У него было множество лиц и масок, под которыми, если их снять, зияла страшная, наполненная землей, мертвая голова.

— Я прочитал вашу последнюю статью об армии, наделавшую столько шума, — продолжал Ловейко. — Вас называют чуть ли не идеологом военного путча. Какая глупость! Они не представляют, о ком говорят, не знают, что имеют дело с ученым, чьи открытия в области конфликтологии составляют вклад в современное понимание мира. Ваши взгляды на преодоление мировой конфронтации, на выход в новый постпаритетный мир очень плодотворны, а ваша гипотеза о конвергенции советской и американской разведок в наднациональный штаб, с помощью которого мир будет выведен из тупика, — самая плодотворная из тех, с которыми я сталкивался в последние годы.

Белосельцев смотрел на его млажавое сухое лицо, понимая, что должен спросить, откуда он знает о его сокровенных мыслях, о тайных открытиях, о теориях борьбы и соперничества. Он должен был спросить, но странный наркоз сковал его зрачки, заморозил сознание, словно Ловейко кольнул его легкой прозрачной иглой, впрыснул в кровь голубоватую струйку.

— Вы правы, — продолжал Ловейко. — Конвергенция состоялась, интеллектуалы американской и советской разведок нашли друг друга. И пока военные строили ракеты и лодки, осваивали новые театры военных действий, они разработали свой проект, который отличается от вашего. — Ловейко слегка поклонился, как бы извиняясь за то, что не идеи Белосельцева были востребованы в этом проекте. — Вы, если образно говорить, носитель евразийской идеи, сторонник евразийской империи, воитель и пророк континента. Мистик суши и берега. А мы, — Ловейко спокойно и твердо посмотрел в глаза Белосельцева, — мы люди океанов, чувствующие ветер Атлантики. На геологическом языке борьба континентов, сражение великой Америки с континентом Евразии изнуряет планету, приводит к разрушению континентальных платформ, с которым необходимо покончить. Соперничество должно завершиться, и в будущем единый надмирный купол накроет

изнуренное борьбой человечество, объединит его для грядущего совершенствования. Наш проект как бы смещает ось Земли, направление земного вращения. Силы, которые заложены в него, колоссальны. Ему служит мировой капитал, теория управления миром, информационные технологии, экстрасенсорные знания, «активные мероприятия» разведок, вплоть до развязывания войн и взрывов в мировых столицах. Здесь, в СССР, все готово для осуществления проекта. Вы, с вашими знаниями, вашими открытиями, нам нужны. Я пришел вам об этом сказать.

Белосельцеву хотелось спросить у Ловейко, кто эти «мы», о которых он говорил. Кто стоит за его спиной? Кто эти интеллектуалы разведки? И есть ли среди них розенкрейцеры. И есть ли среди них альбигойцы. И в чем сакральный смысл борьбы континентов. И как на языке эзотериков именуется мировой капитал. И кто здесь, в Москве, и там, в Атлантике, главный Магистр. И кто его послал к Белосельцеву. Он хотел об этом спросить, но холодный сладкий наркоз, прохладный пьянящий эфир запечатал уста, залил зрачки голубым стеклом.

— Что поделать, Виктор Андреевич, милая вашему сердцу империя рухнула, — тонко мучил Ловейко. — И поверьте, мне ее тоже жаль, ведь я был ее частью. Но, может, не следует убиваться? Останется память, образ, культура империи, как было с Египтом и Римом. Ведь ее, согласитесь, нельзя было сохранить. Нельзя было целиком, во всем непомерном объеме перенести в новейшее время, включить в новый объединенный мир. Ее надо было разломить на несколько ломтей и собрать заново, как собирают стекло в витраж. Если и эти ломти окажутся велики, придется и их дробить. До городка, до уезда, до отдельной семьи и личности! Есть такая камнедробилка, и она уже запущена. Все, что не проходит по своему размеру, форме и качеству, перемалывается в пыль, в труху, в пудру. И это трагедия. Чтобы уменьшить страдания, чтобы переход континентов, народов, мировых систем в новый режим и порядок происходил безболезненно, нужны огромные знания, ваши знания в том числе, Виктор Андреевич. «Организационное оружие», как вы его называете, есть новейшая культура, способная без применения разрушительных боевых средств достичь победы над могущественным противником. Советский Союз распадается, но остается Китай, Индия. У Атлантического проекта на весь двадцать первый век сохранится противник. Ваши идеи, Виктор

Андреевич, должны служить объединению человечества. И не дай Бог они попадут к китайцам, или к индусам, или к северным корейцам! Не дай Бог ими воспользуется мусульманский мир!

Белосельцев понимал, что перед ним враг, любезный, умный и вкрадчивый, следивший за ним эти годы, не пропускавший ни слова его, ни поступка. И теперь он берет его в плен, диктует свои условия, и надо очнуться, собрать последние силы, вышвырнуть его за порог. Но он сидел, оцепенев, словно в эфирной маске, надышавшись голубого холодного яда, и коробка с бабочками развернула перед ним свой солнечный, заиндевелый витраж.

Белосельцев понимал, что пойман. Явившийся к нему человек знал о нем все. Нет смысла бороться, а нужно уступить и смириться. Сберечь своих близких, свою рукопись, драгоценную коллекцию бабочек. Борясь с наркотическим сном, сквозь голубую льдину, запаявшую рот, он спросил:

— Это случится скоро?

— На днях.

— Что сделают с руководством армии?

— Их отсекут.

— А партия?

— Она будет бездействовать.

— Как это будет?

— Посмотрите внимательно схему, которую вы утром показывали Глейзеру.

— Я должен сообщить Чекисту, Зампреду, Партийцу!

— Они не поверят. Они верят другому лицу и пойдут за ним.

— Я не стану с вами сотрудничать. Буду бороться.

— Нет смысла. Мы уже победили. У нас есть средства вынудить вас к сотрудничеству. Вы не один. У вас есть мать, есть любимый племянник, есть женщина, которой вы дорожите.

— Уходите!

— Я ухожу. Не сомневаюсь, Виктор Андреевич, мы станем работать вместе. Ученые вашего уровня — самое ценное, что породила евразийская почва. Да, совсем забыл. Вот приглашение на вернисаж, в галерею. Помните, мы в Вашингтоне любовались на Энди Уорхола? Там будут важные люди, — он мягко поднялся с кресла и направился к дверям. Белосельцев услышал чмокающие удары о пол. За Ловеико

остался след, вбитые по шляпку стальные заклепки, уводившие через порог в коридор, и дальше, в секретный бункер.

* * *

Люди, посещавшие его один за другим, казались знакомыми. Но их внешность была обманчива. Их лица были созданы серией пластических операций, голоса подобраны в результате прослушивания фонограмм, суждения явились следствием тщательных наблюдений за теми, кого они подменили. Они были сконструированы в особой лаборатории двойников и нацелены на него, Белосельцева.

Быть может, это были вовсе не люди, а существа наподобие дрессированных дельфинов. Их выпускали из аквариумов, облекали гладкие, сверкающие тела в пиджаки и брюки и направляли к нему в кабинет. Каждый имел свой особый прибор наблюдения, оптику, светофильтры, детекторы лжи, аппарат по считыванию мыслей, устройство по угадыванию намерений, чуткие сенсорные датчики, теменное око, владел гипнозом, даром ясновидения. Они оставались в кабинете определенное время, исследовали объект, рассекая его невидимыми лучами, фотографируя послойно полушария мозга, создавали голографические образы его представлений, а потом уходили. Возвращались в аквариум, где умелые операторы отбирали у них датчики с информацией, совлекали с их утомленных тел человеческое платье, отпускали обратно в воду, наградив сочной серебряной рыбиной.

В этой мысли утвердил его очередной посетитель, чье появление сопровождалось вибрацией пространства, словно в жидкий воздух, как в воду, кинули камень, и стеклянные волны побежали по кабинету, с тихим плеском ударили в лицо. Вошел молодой человек в джинсах, в расстегнутой замшевой куртке, с маленькой сумочкой через плечо. Сквозь струящийся воздух виднелась круглая, коротко стриженная голова, оттопыренные красно-прозрачные уши, чуткий, с длинными прорезями нос. Телевизионный журналист Зеленкович стоял у порога, радостно улыбаясь, с подкупающей наивностью полагая, что его появление желанно в каждом доме, в каждой семье или офисе.

— Мы как-то договаривались, Виктор Андреевич, вы мне давали визитку, и вот я решил воспользоваться...

Белосельцев всматривался в визитера, желая с первых секунд определить тип прибора и конструкцию датчика, которыми было оснащено существо, характер излучения, которым пользовался дрессированный дельфин в джинсах.

Красные, светящиеся насквозь уши были источниками гамма-излучения. В прорезях носа клубились едва заметные электромагнитные вихри. Сумочка была полна самописцев, фиксирующих сейсмические колебания. И сам визитер был наполнен нетерпеливой, избыточной энергией, словно внутри него работал и кипел миниатюрный реактор. — Еще вчера вас пытался найти, пригласить в нашу передачу, но безрезультатно, — Зеленкович осматривал кабинет, словно уже получил согласие на съемку и выискивал удобные точки и ракурсы для телекамеры. Расчерчивал комнату от дверей к стене, от окна к столу. На деле же протягивал невидимые нити лазерных лучей, помещая Белосельцева в незримую клетку, улавливая его в тенета, из которых было невозможно уйти. — Внизу, у подъезда, машина с аппаратурой. Дайте, пожалуйста, короткое интервью в нашу экспресс-передачу. По поводу вашей статьи о возможности военного переворота. Прогнозы, оценки. Пять минут, не больше.

Зеленкович был из команды молодых телеведущих, запустивших телепрограмму «Миг», в которой умело, с блеском, используя новейшие информационные технологии, уничтожались репутации известных советских политиков, военачальников, деятелей культуры. На студию, в открытый эфир приглашались вельможные сановники, напыщенные и косноязычные, не привыкшие к диалогу, не знающие законов публичной политики. Их освещали яркими лампами, как на допросе у следователя. Выпускали молодых, ироничных, виртуозных журналистов, которые начинали покусывать и подраивать неуклюжую жертву, все больше и больше, доводя ее до иступления, провоцируя истерику, заикание, беспомощность. Показывали огромной телеаудитории закоружность и убогость их мышления, неосведомленность, угрюмый консерватизм. Отпускали опустошенного, измученного партийца или генерала. В знак своего торжества врубали авангардную рок-группу, где в бурлящем кипятке молодого протеста варилась ободранная тушка очередного оскотленного консерватора.

— Вы в самом деле полагаете, что я посвящен в план военного переворота? — Белосельцев старался быть предельно осторожным и точным, чтобы не задеть тончайшие лучи, проходящие над его головой, помещающие его в прозрачную лазерную клетку.

Явившийся к нему человек был охотником, одержимым страстью, погоней. Он охотился за образами, отнимал их у пойманных жертв, передавал в свою магическую лабораторию «Миг», где этот образ трансформировался, превращался в клише, получал отпечаток дегенеративности и стерильности и возвращался владельцу. Теперь этот «охотник за образами» пришел к нему. Готовился соскоблить с него лик, напялить на окровавленное, с содранной кожей лицо целлофановую маску.

— Никто не утверждает, Виктор Андреевич, что вы напрямую связаны с заговором. Так ставить вопрос некорректно. Но зато известны ваши тесные связи с виднейшими государственниками, от которых, как мы чувствуем, исходит некая угроза. Вы, аналитик, ученый, знаете больше других.

Журналисты программы «Миг» использовали телевизионные технологии, которые Белосельцев называл колумбийскими. Они были почерпнуты из американской информационной стратегии, разработанной в недрах идеологических и разведывательных служб. С их помощью воздействовали на подсознание, на инстинкты, на дремлющие архетипы, будили их с помощью музыки, ритма, древнего иероглифа, оккультного знака. Используя двадцать пятый кадр, запуская в видеоряд моментальные изображения мертвой головы, изуродованного тела, раздвинутых промежностей, отвратительного чудища, можно было пробуждать в человеке древние страхи, животные похоти, лютую ненависть, гипнотическую прострацию. Включая грохочущую ритмическую музыку яростных рок-групп, вводя зрителя в транс, ему тут навязывались разрушительные представления об обществе, семье, смысле жизни, после чего целые сословия становились в оппозицию к власти, молодые супружеские пары начинали испытывать друг к другу отвращение, а пожилые люди, выигравшие войну, вешались.

Эмблемой программы «Миг» была таинственная, цвета осенней луны голова, с загадочным вздутием на темени. Она действовала на Белосельцева как цепенящая и опасная сила, приплывшая в земное

бытие из потусторонних глубин мироздания. Он пытался объяснить ее значение, искал в источниках ее происхождение, пока не обнаружил в древне-японском трактате описание, из которого следовало, что это вселенский Дух Зла, а загадочное вздутие на темени — жаба, символизирующая космическую ненависть.

Зеленкович, нетерпеливый, развязный, обаятельный, чувствовал себя хозяином кабинета.

— Так вы позволите подняться оператору, Виктор Андреевич? Мы не отнимем много времени. Несколько слов о заговоре. — Ему никогда не отказывали. В его программу послушно, словно их вели на заколдованной ленточке, приходили умудренные лидеры партии, прославленные стратеги Генштаба, создатели советских киноэпопей и романов. И все они умирали на глазах у зрителей, когда над ними всходила лунно-синяя голова злого восточного божества.

— Вы угадали, — Белосельцев боролся с ощущением легкого ожога, которое причиняли ему на расстоянии прозрачно-красные уши гостя. Заслонялся от темных продолговатых прорезей в носу Зеленковича, работавших как электромагнитные облучатели. — Действительно, истоки заговора здесь, в моем кабинете. Здесь готовятся будущие декреты и воззвания к народу. Здесь хранятся списки тех, кто подлежит интернированию. Отсюда, в «час Икс» двинутся танковые колонны, занимая перекрестки в Москве. Отсюда на броне пойдут захватывать аэропорты, почтамты, телевизионные центры подразделения спецназа. Вон там, на полке, в синенькой папочке — список газет, подлежащих закрытию. А в той, красненькой, — перечень тридцати виднейших демократов, которых поместят на военную базу в окрестностях Москвы. А вон в той, изумрудно-зеленой, на папиросной бумаге, на трех языках начертано имя диктатора. В шкафу, прислушайтесь, в режиме прием-передача круглосуточно работает рация. На связи — командующие округов, обкомы партии, областные управления КГБ. Может быть, в самом деле рассказать об этом перед вашей телекамерой?

На секунду лицо Зеленковича изобразило изумление. Он поверил, глаза его испуганно и жадно оглядывали шкаф с работающей рацией, разноцветные папки с именами политических заключенных, среди которых, разумеется, было и его, Зеленковича, имя. И лишь секунду спустя понял, что Белосельцев зло пошутил.

— Блистательная шутка, Виктор Андреевич! Жаль, что нет телекамеры! Записал бы я вашу шутку и выдал в эфир! Заставил бы ужаснуться всю честную публику! Вы удивительный человек, Виктор Андреевич, — Зеленкович не льстил, а выражал неподдельный восторг. — Ваша монография о колумбийских технологиях, выпущенная для служебного пользования, зачитана нами до дыр. Мы учимся на ваших примерах. Именно поэтому мы не решались приглашать вас в нашу программу, ибо понимаем, что все наши приемы и ухищрения будут вами разгаданы, и вы выиграете баталию. К тому же, мы вовсе не желаем нанести вам поражение. Хотя вы и противник, но благородный, достойный, и мы мечтаем иметь вас в союзниках.

Белосельцев вслушивался, надеясь разгадать тайную программу нового гостя.

— Вы так не похожи на своих идеологических товарищей, так выделяетесь из их серой массы. Эти ваши советские индюки ни на что не годны. Кажется, они поражены инстинктом смерти. Когда приходят к нам на передачу покружиться своими лампасами, орденами и титулами, они искренне верят, что народ ими любит. Не чувствуют, как они глупы, смешны, порой отвратительны. Воображают, что овладели умами, а на самом деле уходят из студии, неся под мышкой свои отрубленные головы, кто с лысиной, кто с генеральской кокардой. Им кажется, что они управляют партией, культурой, армией. «Борис, ты не прав!», «Учение Маркса бессмертно, потому что оно верно!», «Экономика должна быть экономной!», «Великая историческая общность — советский народ!». Не догадываются, что лучшая часть партии уже не с ними, а с нами. В экономике правят теневики, а не Госплан. «Советский народ» похоронен во время тбилисских и бакинских событий. Когда ваши генералы и члены Политбюро выведут на улицу войска, экипажи танков будут петь песни Цоя, а офицеры по рации станут цитировать академика Сахарова. Все, что смогут сделать кремлевские индюки во время своей краткосрочной и нестрашной диктатуры, — это показать по телевидению оперу «Иван Сусанин» или концерт народной песни.

Белосельцев не верил своим ушам. Он словно подслушивал тихие разговоры старцев в «Золоченой гостинной». Болтливый Зеленкович

прокручивал ему запись бесед, в которых обсуждались сценарии заговоров, исследовались потенциалы сторон, готовились контрмеры.

— Тот, кого вы называете Магистром, успел до начала событий поставить умных, талантливых журналистов во главе газет и журналов. Насытить радио и телевидение одаренными и виртуозными специалистами, преданными нашим идеям. В первые же минуты диктатуры, когда танки загрохочут по улицам Москвы, их сожгут не из гранатометов, не бутылками с «коктейлем Молотова», а массированным информационным ударом, и танкисты пойдут сдаваться девушкам, которые под платьем не носят бюстгалтеров. Мы, журналисты, являемся истребителями танков. Мы — те, кто на развалинах империи СССР создаст свои телевизионные империи, для которых уже есть деньги, есть технические средства, есть теоретики и исполнители. Эти империи раскроются как огромные зонтики и накроют собой красные руины... Ну что, Виктор Андреевич, — меняя тон, становясь нагло-самонадеянным весельчаком, произнес Зеленкович. — Может, все-таки повторите на камеру вашу замечательную шутку про аресты, про диктатора? Про имя на трех языках. На каких? На русском, английском, китайском?

— На суахили, — усмехнулся Белосельцев, довольный тем, что успел зафиксировать оборвавшийся поток информации. — Как-нибудь в другой раз.

— Приходите к нам в студию. Разумеется, не в качестве подопытного барана, а как наблюдатель. Посмотрите как мы работаем. Что-нибудь подскажете, посоветуете. Через несколько дней к нам явится интересный пациент. Маршал, как вы его называете. Приходите!

Зеленкович светился оптимизмом и неукротимой энергией, которую вырабатывал кипящий в его утробе портативный реактор. Его прозрачные уши просвечивали нежной алой мякотью. Ноздри жадно вдыхали воздух, словно он нюхал цветок. Молодое лицо было розовым от веселого возбуждения. Перед тем как уйти, он сделал взмах рукой, обрывая все лазерные струны, гася тончайшие пронизывающие комнату лучи. Лик его вдруг потемнел, наполнился синим дымом, лунным мертвенным снегом. На Белосельцева глянула кривыми злыми глазами голова восточного бога, на макушке которого прилепилась жаба, раздувая от ненависти липкий зоб. Зеленкович

вышел, и Болосельцев видел, как капала из него горящая сера, дымились на полу синие ядовитые огоньки, указывая путь а потаенный бункер.

* * *

Рабочий день завершился. Поток говорящих дельфинов иссяк. Они вернулись в свой лазурный бассейн. С них сняли приборы слежения, отключили боевые системы, и они облегченно плескались среди голубого кафеля, принимая из рук дрессировщиков живую ставриду и скумбрию, доставленных с Черного моря. Белосельцев, опустошенный схватками, изнуренный в неравном состязании, подошел к окну, смотрел, как покидают институт сотрудники, растворяясь в золотистом снеге накалившегося за день города. Увидел, кик к подъезду подкатила черная встревоженная «Волга», расшвыривая бледные вспышки. Следом причалил длинный, словно из черного кварца, лимузин. Охранники, окружив машину, выпустили из нее маленького человека, а котором он, не умея разглядеть лицо с верхнего этажа, безошибочно, с радостно дрогнувшим сердцем узнал долгожданного визитера, вот уже несколько дней обещанный визит откладывался, вынуждая Белосельцева один на один, без поддержки, сражаться с атакующим неприятелем.

В дверь кабинета с властным стуком, не дожидаясь позволения, вошли два охранника с крохотными микрофонами на ушах. Не здороваясь, оглядели и холодными не верящими глазами все углы и стены. Один подошел к окну и задернул штору, что-то вполголоса сообщил на расстоянии не зримому собеседнику. Оба, в черных костюмах, белых рубашках и галстуках, с легкими вздутиями ни груди и под мышками, покинули кабинет, и тут же ни пороге появился тот, кого оберегала недоверчивая охрана. Чекист, как называл его Белосельцев, могущественный руководитель госбезопасности, шел к нему, тихо улыбаясь, словно приносил извинение за неизбежную бестактность бесцеремонных телохранителей.

— Прошу меня простить, Виктор Андреевич, за то, что наша встреча дважды откладывалась. Мне пришлось срочно вылететь в Германию, улаживать ряд проблем, связанных с Хонеккером.

Он был маленький, хрупкий и плечах, с аккуратной бело-розовой, безволосой, круглой головенкой, на которой наивно сияли детские голубые глаза. Цветом кожи он на номинал китайскую фарфоровую

статуэтку, аккуратно и любовно раскрашенную мастером эпохи Цин. Его тонкие, нежные пальчики с легкими вздутиями ни концах напоминали лапки лягушонка, чутко щупающие листочки и водяные пузырьки. И трудно было поверить, что в этих некрепких, чисто промытых пальчиках сосредоточена колоссальная мощь величайшей в мире разведки, управлявшей глобальным конфликтом, как управляют подземными взрывами или сходом горных лавин.

Чекист подсел к столу, радостно озирая Белосельцева, который был изумлен внезапностью визита.

— В следующий раз мы повидаемся не в душном московском кабинете, а у меня на даче, и я вам покажу коллекцию моих садовых цветов. — Чекист говорил и улыбался так, словно каждое мгновение, каждое рождавшееся на губах слово доставляло ему наслаждение, и он вкушал всякую залетавшую в него молекулу жизни, выпивая ее медовую сладость. — Сотрудники, возвращаясь из служебных командировок, зная мою слабость, привозят мне в подарок цветы. Недавно подарили куст джалалабадских роз, знак внимания Наджибуллы. И несколько белых лилий из тибетского монастыря, — вместе с трактатом о божественности белого цвета, написанного современным монахом.

Белосельцев чутко слушал, стараясь среди тихих шелестов знакомого голоса различить отдаленные раскаты грозной и опасной темы, ради которой он просил Чекиста о встрече, и которая, как крохотное облачко у горизонта, медленно разрасталась в грозу.

— Бразильские орхидеи, привезенные с Амазонки, я не решился поместить на открытый воздух и оставил в оранжерее, в скорлупе кокосовых орехов, наполнив эти висящие горшки влажным тропическим мхом. Зато кадку с араукарией из Южной Африки я на время поставил в саду перед верандой, и мы будем вечером любоваться на нее, попивая виски со льдом.

Белосельцев пугался этих эстетских суждений, которые могли бы украсить досуг двух стареющих эпикурейцев на какой-нибудь адриатической вилле. Ему начинало казаться, что разговор уже коснулся сокровенной тайны, ради которой он просил Чекиста о свидании. Но тот, опытный разведчик и конспиратор, чувствуя присутствие незримых соглядатаев, прибегает к иносказаниям, использует «язык цветов», употребляет один из древних шифров

военной разведки, где цветы, их ароматы и расцветки означали кавалерийские дивизии, стенобитные орудия, маршруты войск, наименование крепостей, одаренность полководцев.

Чекист рассказывал о голубых гиацинтах Амстердама, которые высадил вокруг фонтана, а на деле речь шла о ликвидации афганских полевых командиров в районе Хоста силами спецподразделения «Альфа». Он увлекся повествованием о египетской магнолии, которая впервые зацвела в его подмосковном саду, но это означало, что агент, внедренный в английскую Ми-6, добывает бесценные сведения о Шестом американском флоте. Он описывал цветение крокусов, присланных из Сан-Суси под Потсдамом, но это означало неудачу усилий по обвалу Сингапурского банка и приостановку валютных спецопераций в Тихоокеанском регионе.

— Ну что, одолели? — спросил он внезапно Белосельцева, поводя круглыми, похолодевшими вдруг глазами, указывая ими на стены, потолки, зашторенное окно, где еще, казалось, висели гаснущие струнки лазерных ловушек. — Сколько было сегодня?

— Пять, — сказал Белосельцев.

— Я знаю, это утомительно. Рептилии, оснащенные сенсорными датчиками и аппаратами угадывания мыслей, способны свести с ума любого. Но вы прекрасно держитесь. Потерпите еще немного.

— Дело не во мне, — Белосельцев вдруг заторопился, испугавшись, что время, отпущенное на встречу, бессмысленно тает. — Вы знаете, я отошел от оперативной работы. Сосредоточился на научной аналитике и экстравагантных теориях, которые, к сожалению, имеют у практиков слишком малый спрос. Но именно благодаря этим теориям у меня складывается многомерная картина грядущих драматических событий, о которых я должен вас предупредить.

Чекист смотрел на него внимательными сочувствующими глазами, за годы их знакомства не утратившими своей наивной, детской голубизны и напоминавшими глаза белорозовой куклы, которые могут вдруг закатиться белками внутрь, и тогда он заснет сидя или на ходу, за секунды восстанавливая силы. Так они сидели когда-то в шатре афганских белуджей, на пыльной кошме, перед дымящимся пловом, и темный, морщинистый, как чернослив, туземный вождь, наливая им в стаканы теплую водку, выторговывал очередную поставку оружия. В проеме шатра белесо и раскаленно светила степь,

по ней, окруженные пыльным заревом, шагали верблюды, уныло звеня бубенцами. И тогда он впервые увидел этот мгновенный поворот глазных яблок, перевернувшихся внутрь зрачками. Хозяин зрачков, в темной шиитской чалме, замер как истуканчик, не донеся до маленьких губ стакан с водкой.

— Противник наращивает активность, дестабилизирует ситуацию по десяткам направлений, блестяще используя «организационное оружие», в существование которого наши высоколобые эксперты отказывались верить. Снимая послойно идеологические доктрины и догмы, вбрасывая одна за другой иллюзорные цели, он отравляет общественное сознание, порождая в нем хаос и панику. Блокируя поставки товаров на потребительский рынок, изъав из продажи водку, он сеет глухое недовольство в народе. Травмируя партию преступлениями тридцатых годов, насаждая сознание коллективной вины, он лишает ее воли, обрекая на распад и уныние. Бросая армию на подавление национальных конфликтов, делая ее виновницей пролития крови, добивается паралича комсостава, что обрекает войска на бездействие в «час Икс». Очевидно, что к началу осени сложится повсеместная неустойчивость, и противник спровоцирует ситуацию, когда малым толчком, ограниченными усилиями произойдет перераспределение ролей. Первый Президент, первый центр утратит власть, и ее перехватит Второй. Она перетечет в параллельный центр, и это будет сопровождаться распадом страны, ликвидацией общественного строя и гигантским геополитическим переделом, соизмеримым с мировой войной... Наша кремлевская власть удручающе старомодна, трагически бездейтельна и бессмысленна. Ею двигают инстинкты, упование на грубую силу, слепая вера в инерцию. Ее обыгрывают постоянно. Она заблуждается относительно своих возможностей, чувствует опасность, готовится к жесткому действию, но, лишённая стратегии, непременно допустит роковую ошибку, и ее силовое действие использует враг, уничтожив ее, а вместе с ней государство и строй.

Бело-розовый фарфоровый истуканчик безмятежно смотрел фиалковыми голубыми глазами. И было неясно, что внутри у этой статуэтки, — живое сердце, с пульсирующей капелькой крови, или затейливая пружинка, соединенная с зубчатым колесиком.

— Все это время я размышляю, кто у противника является ведущим стратегом? В чьих руках находится «организационное оружие»? Кто неуклонно, не допуская ошибок, ведет наступление по всем направлениям, готовя завершающий толчок, после которого сойдет лавина, а когда пыль осядет, мы будем жить в другой стране, с другим названием, другой элитой, а от нашей красной империи, которой мы с вами служили, останется пара расколотых рубиновых звезд. Кто этот суперстратег? Кто Демиург катастрофы?

Чекист бесстрастно молчал. Глаза его опрокинулись белками в глубину дремлющего черепа, закрытые розоватыми фарфоровыми плошками, и он спал несколько минут, черпая энергию из теплых дремотных глубин. Белосельцев не мешал этому скоротечному сну, вспоминая одну из последних встреч, когда вернулся из Никарагуа, едва исцелившись от приступа тропической малярии, и Чекист выслушивал его аргументы о невозможности переброски в Манагуа кубинского полка МиГ-21, что привело бы к немедленной большой войне в Центральной Америке.

Это воспоминание посетило Белосельцева, а когда кануло, Чекист внимательно смотрел на него отдохнувшими голубыми глазами, нежными, как небо после теплого ливня.

— Я и сам раздумываю, Виктор Андреевич, кто этот Демиург, как вы его называете. Если заподозрить в вероломстве Первого, то оно налицо, но не столь рафинировано, чтобы управлять всей кибернетикой заговора. Он, конечно, хитер, двусмыслен, этот аппаратный игрок, но у него интеллект комбайнера и культура партийной номенклатуры. Если предположить, что им является Второй, то это еще невероятней. Он свиреп, властолюбив, беспощаден, наполнен неукротимой энергией, но примитивен, способен лишь на грубые комбинации и понятия не имеет, что такое, как вы говорите, «организационное оружие». Быть может. Демиургом является хромой Магистр? Он бесовски хитер, оснащен колумбийскими технологиями, знает общество в его уязвимых, больных проявлениях. Ему принадлежат многочисленные комбинации по созданию сепаратистских народных фронтов. Он расставляет свои кадры на телевидении и в газетах. У него обширные зарубежные связи, и он, по нашим сведениям, завербован английской разведкой. Но и у него недостаточен опыт и интеллект, чтобы вести управление катастрофой.

И либо вообще не существует такой персоны, и Демиургом является коллективный разум, или, если угодно, электронный сверхинтеллект, либо этот малозаметный человек глубоко законспирирован и носит личину скромного функционера какой-нибудь межрегиональной группы или тихого кликуши из общества «Мемориал».

— Верните меня на оперативную работу! Мы давно знаем друг друга. Я вам безраздельно верю, обязан вам жизнью. Вы могли проверить меня в самых жестоких переделках. Я не засвечен, уже несколько лет как отошел от разведки. У меня контакты во всех слоях общества, включая культуру и церковь. Верните меня на оперативную работу, и я узнаю, кто Демиург, где расположен бункер с «организационным оружием», где, в какой «Золоченой гостинной» собираются старцы. — Белосельцев испугался, что, используя свои экстравагантные термины, он насторожит Чекиста, который усмотрит в нем романтического фантазера. — Прошу, верните на оперативную работу!

— А вас вернули. Вы на оперативной работе. Я приехал, чтобы вам об этом сказать.

— Как?

— Мы запустили врагу информацию, что вы в игре и посвящены в кремлевский заговор. Являетесь главным аналитиком предстоящего военного переворота. То, что вас атакуют, это следствие нашей работы. Мы привлекли к вам внимание противника.

— Зачем?

— Интерес к вам резко возрос. Ваши статьи читают американцы в посольстве и «Рэнд корпорейшн». Вами интересуется Магистр. О вас спрашивают оба Президента, Первый и Второй, — Чекист вращал в воздухе маленькими хрупкими пальчиками, словно крутил невидимое колесико, которое, через систему валов, шестеренок и усилителей, разгоняло невидимый маховик разведки, от которого сотрясались континенты, обваливались режимы, тонули подводные лодки, загорались восстаниями и революциями государства Азии, Африки и Америки. В этих изящных ручках находилось незримое веретено, запущенное когда-то Дзержинским, раскрученное, словно летящий над миром смерч, Берией, превращенное в сверкающую, с радужными отблесками фрезу Андроповым. Чекист, словно волшебный жрец, хранил и берег сокровенный ген разведки, управляя ее таинственным

вращением. Разведка, как героскоп, размещенный на летящем самолете государства, не давала ему сбиться с курса, вела к стратегической цели.

— Считайте, что вас отозвали из действующего резерва и вернули на оперативную работу. Используя повышенный к себе интерес, вам надлежит проникнуть в среду противника, в законспирированный, как вы говорите, бункер, в секретную «Золоченую гостиную». Вы станете для противника своим и узнаете, кто является Демиургом. Мы нанесем упреждающий удар. Схема удара готова. Надлежит окончательно уточнить цели. Андропов знал, что в обществе, глубоко и скрыто, залегает грибница регресса. Он думал над тем, как ее выявить. Как спровоцировать противника, чтобы тот себя обнаружил. Перестройка и есть провокация по вскрытию глубоко законспирированной агентуры. Теперь все на виду, дело остается за малым.

Такие фарфоровые божки, бело-розовые истуканчики украшали кабинеты китайских императоров и вельмож, и если их слегка колыхнуть, то фарфоровая голова начинала покачиваться, круглые синие глаза начинали мигать, а внутри раскрашенного туловища раздавалась тихая мелодичная музыка. Белосельцеву казалось, что он слышит эту чудную музыку сложнейшей комбинации, задуманной в недрах интеллектуальных центров разведки, к которым он себя причислял. Избранные, посвященные, проверенные великим служением, они, разведчики, управляли ходом истории, исправляли ее дефекты, восстанавливали неумолимый маршрут, которым двигалось «красное государство», созданное Вождем.

— Через несколько дней я приглашу вас к себе на дачу. Соберутся известные вам политики, которых именуют кремлевскими консерваторами. Те, кого вы помещаете в один из «подкопов», вменяете им один из заговоров. Я хочу вас представить. Хочу показать им, что вы близки мне. Вы войдете с ними в контакт, оцените их возможности, увы, весьма невысокие. Постарайтесь им помочь, окажите им интеллектуальную поддержку. В «час Икс» вы понадобитесь как посредник между двумя центрами, первым и параллельным.

— Мне уготована роль двойного агента?

— Тройного. Ибо непосредственно вы будете связаны только со мной. А тех и других рассматривайте как объекты, о которых вы

собираете информацию. Пока все. Мне надо ехать. Боюсь, что мой садовник так и не выставил на воздух кротон, подаренный Арафатом. За всем нужен глаз да глаз.

Чекист поднялся и словно породил слабую вибрацию воздуха, на которую откликнулись снаружи охранники. Раскрыли дверь, просунув в кабинет выпуклые, колесом, груди в одинаковых рубашках и галстуках. Фарфоровый божок прошел мимо них, переступая порог маленькими, точеными туфлями, и исчез. Белосельцев машинально искал, какой он оставил след. Но между подошвами и паркетом оставалось тонкий солнечный слой воздуха. Чекист прошел не касаясь пола, не оставив следов.

Часть первая. ПРОЗРАЧНЫЕ МАГИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мастерская размещалась в каменном подвале, среди старых доходных домов и товарных складов, по соседству с Кремлем. Поблуждав среди подворотен и тупиков, Белосельцев толкнулся, наконец, в высокую, грубо крашенную дверь и оказался в ярко освещенном пространстве, напоминавшем округлый туннель, в котором, удаляясь, уменьшаясь, пребывало множество предметов, картин, непонятных изделий, живых людей, манекенов, мигающих ламп, тарелок с едой, пустых и полных бутылок. В лицо ударил запах еды, вина, духов, сигарет и еще какой-то особый смешанный аромат лаков, пластмасс и древней каменной затхлости лабазов и лавок.

Тут же, у порога, словно поджидая его, стоял Ловейко. Стройный, сухощавый, он холодными глазами вцепился в него, насаживая на тонкую светящуюся спицу. Рядом с ним стоял бородастый субъект в атласном пиджаке, чем-то напоминавший эстрадного фокусника. На его мертвенном, бело-синем лице ярко и воспаленно краснели влажные губы. Он держал бокал в худых пальцах, на одном из которых чернел тяжелый, как спелая слива, перстень.

— Милости просим, Виктор Андреевич, — с радушием хозяина приветствовал его Ловейко. — Я только что о вас говорил господину Шулику. Концептуализм, как утверждает Шулик, есть скрытая сущность явлений, непосредственно выраженная в творческом акте и разложенная в иерархический ряд... Я правильно вас понял? — Ловейко обратился к бело-голубому субъекту. — А я ему отвечаю... Я знаю лишь одного концептуалиста, Виктора Андреевича Белосельцева, который сейчас придет и который действительно умеет распутывать разные клубки и заговоры и выявлять сущность... Все, что вы видите, — Ловейко повел вокруг недопитым бокалом, — это пустяки, неталантливые капризы на утеху богачей. Хотя я и присмотрел пару холстов без особых скабрёзностей и куплю их для моего нового офиса...

— Шулик, — представился Белосельцеву человек с перстнем, озирая его медленным изучающим взглядом. Белосельцев почувствовал, как что-то вдруг стало охлаждаться в его лице, в глубине

висков и глаз, словно тело начало остывать. Зрачки человека высасывали из него тепло, и добытые таким образом калории делали его губы красными и цветущими. — Моя мысль сводится к следующему. Знание о предмете можно достичь через интеллектуальное усилие, познание, выявляя закон предмета. Но при этом теряются тонкие энергии, не укладывающиеся в закон. Или же предмет можно понять интуитивно, через вторжение, как при половом акте, и тогда вся энергия предмета окажется усвоенной.

— Он трахает свои натюрморты, — цинично улыбнулся Ловейко. — Поэтому у них слегка потраханый вид.

Шулик не обиделся. Черный атласный пиджак плотно сидел на его сухощавом теле. Лицо было белой маской. Черный перстень на голубоватом пальце отражался в бокале с вином. И весь он был похож на факира, на мага, готовый к фокусам и чудесам. Белосельцев чувствовал, как все холоднее становится его скулам, лбу и глазам. Губы Шулика были в чем-то сладком и липком, как в варенье.

«Не является ли этот подвал со сводчатым заплесневелым потолком маскировкой, скрывающей интерьер «Золоченой гостиной» с овальным столом и ампирами стульями, на которых восседают величавые старцы, управляющие ходом истории. Не мелькнет ли среди экзотических гостей тот, кто выдаст себя огромным наморщенным лбом, могучими надбровными дугами, под которыми угрюмо пылают всевидящие глаза Демиурга», — думал Белосельцев, оглядываясь вокруг. Но ничего похожего не видел. Ровно, вязко двигались гости вокруг столов с закусками и выпивкой. Мерцали блицы. Играла тягучая музыка. И не было тех, кого задумал уничтожить Белосельцев. Но он ждал их появления.

— Все, что вы здесь видите, это робкие формы! — Шулик указал на развешенные картины, отмечая их перстнем. — На потребу иностранцев или наших чиновников, глотнувших за границей авангарда. Не обижайтесь, — строго и мертвенно он посмотрел на Ловейко. — Настоящий концептуализм Москве еще неизвестен. Он еще впереди. Впереди — огромный распад, гниение, разложение. Умирает советское чудовище, и его труп, выброшенный на берег истории, начинает смердеть. С него слезает кожа, отпадают куски тухлого мяса, вылезают голые ребра. Это время большого искусства. Дохлое чудовище и клюющие его птицы, шакалы, жуки, черви, тысячи

трупоедов, — все становится объектом искусства. От радужной пленки гниения до розовых чавкающих внутренностей, в которые вцепились клыки и клювы. И этот концептуализм распада будет принадлежать нам, художникам сдохшей империи. Никто другой в мире не сравнится с нами в изображении этого грандиозного трупa.

Он был бледен прозрачной голубизной. В его лице лунный лед. Губы были в липком красном веществе. Поклонился, худой, в атласном узком в талии пиджаке, похожий на чародея, и отошел.

— Он замышляет здесь какое-то представление, — с почтением посмотрел ему вслед Ловейко. — Ждут именитого гостя. Хорошо, что вы пришли, Виктор Андреевич. О вас спрашивали, вас хотят увидеть, — Ловейко зорко осмотрелся, опасаясь соглядатаев. — Вам представится уникальная возможность, не пропустите!

Посреди мастерской стоял белый открытый рояль, приготовленный для игры. Рядом с роялем на полу неизвестно для чего, была расстелена клеенка и круглился эмалированный таз. Тут же висела картина, на которой пьяный босой генерал с лампасами держал на руках полуголую девку, и та отковыривала звезду с его золотого погона.

Дальше, среди малопонятных скульптур, склепанных из зубчатых колес, стоял фарфоровый расколотый унитаз с остатками рыжей грязи.

На стене, занимая пространство до потолка, висела композиция, сделанная из целлофановой пленки, напоминавшая огромный кишечник. Далее следовала серия ярких, раздражающе пестрых полотен, с изображением женских и мужских гениталий.

Двигаясь вдоль экспозиции, рассеянно рассматривая бесформенные изваяния и невнятные сюжеты картин, он вдруг нашел то, что искал. На маленьком сервированном столе, окруженное ножами и вилками, стояло блюдо, и на нем, политая майонезом, в колечках лука, посыпанная петрушкой, лежала черная чугунная гантель. Табличка извещала, что все это, вместе взятое, называется «Ужин № 5».

Снаружи слышался шум. Дверь распахнулась, и в мастерскую повалили дюжие молодцы с толстыми шеями, бритыми затылками и плохо упрятыми кобурами. Они бесцеремонно вдвинулись клином в пеструю толпу гостей, раздвинули ее, образуя горловину, и в расчищенный, обезвреженный коридор вслед за охраной вступил

невысокий, прихрамывающий человек, лысоватый, добродушный и ласковый, облаченный в костюм и жилетку, под которой уютно круглился животик. Улыбался, весело моргал умными коричневыми глазками примата, и казалось, хромая, он упирается в пол стиснутым кулаком волосатой обезьяньей руки. Волосы у него были редкие и жесткие, как на стволе старой пальмы. И была в нем странная смесь легкомысленного добродушия и беспощадной жестокости.

Едва появился этот высочайший гость, как все присутствующие прервали свои разговоры, отложили тарелки, отставили недопитые рюмки. Жадно потянулись к вошедшему. Выстраивались, подвигались, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Хромоногий визитер милостиво улыбался, позволяя любить себя, расточая вокруг щедрое, адресованное сразу всем благодушие.

Захваченный общим стремлением, вытягиваясь вместе с другими в живую очередь, Белосельцев узнал Магистра, главного реформатора. Приближенный к Первому президенту, оказывающий услуги Второму он был тем советником, что обслуживал сразу оба центра власти, управлял конфликтом, умно и осторожно вел Первого к поражению. Инициировал множество оригинальных процессов, разрушавших страну. Мutil и обессиливал партию. Способствовал сепаратистам в Грузии и Прибалтике. Умно, с помощью верных журналистов, вел телевизионную и газетную пропаганду превращая в смешные карикатуры недавних кумиров страны. Вбрасывал в захмелевшее от свобод общество лозунги; «Европа — наш общий дом!», «Демократизация и гласность!», «Социализм с человеческим лицом!» — каждый из которых уничтожал то Варшавский договор, то систему государственного централизма, то культовые основы советской истории.

Едва увидев Магистра, Белосельцев понял, что именно его ожидал здесь найти. Вот он — Демиург, могучий и лукавый, все ведающий и ясновидящий, обольстительный и ужасный, распространявший свое волшебство на каждого, кто попадался ему на пути. Белосельцев, ненавидя, готовый убить, одновременно испытал на себе действие его чарующей власти.

Журналист-аграрник пожимал Магистру руку, не отпускал, старался продлить прикосновение к пухлым вялым пальцам, словно

впитывал кожей исходящую от руки прану. Его выпученные глаза обожали, по-женски любили, сочились елеем:

— Я был на презентации вашей книги и. поверьте, давно не испытывал такого ощущения праздника!

Магистр милостиво кивал, прощал соратнику эту невинную лесть. Он не смотрел на журналиста и кого-то искал в толпе.

Женщина-депутат, похожая на раздраженного индюка, надвинулась всей своей тучной плотью, словно старалась прижаться к Магистру, пометить его прикосновением, запахом, отпечатком выпиравших сквозь платье сосков.

Сделать его, хотя бы ненадолго своей собственностью. Ее мясистый свисающий нос от возбуждения и прилива крови стал сизо-лиловым.

Вы помните, я говорила, в подкомитете сидят одни шовинисты. Если мы хотим добиться решения по Латвии, мы должны действовать в обход подкомитета, опираясь на прибалтийских друзей.

Магистр улыбался и ей, не отстранился от ее могучей, как утес, груди, от налитых конских бедер. И казалось, на секунду он вскочил на нее, оседлал, ударил пятками по разгоряченным бокам, и они, издавая крик индюка и ржанье лошади, умчались и московскую ночь.

Генерал, круглый, наподобие колобка, обсыпанного белой мукой, ловкий и юркий, подкатился к Магистру, торопился высказать восхищение.

Военные под большим впечатлением от вашего выступления у Академии. Ваши мысли о метафизике войны возвышаются до высоты Бердяева. Мы не привыкли к такому уровню разговора. Но я думаю, для американских аудиторий это было бы нормально!

Магистр кивал, соглашался, перебегал глазками с одного лица на другое. И вдруг увидел в толпе Белосельцева. Его глаза дрогнули, словно фары переключились с ближнего свете на дальний. Лучистые лампадки превратились в два холодных ртутных луча. Они зафиксировали его и погасли, вновь превратившись в теплые лучистые площадки.

Священник, похожий на сердитого козлика, тряс рыжей бородкой, горбил костистую спину, заходил мелкими смешками, от которых топорщились у виском рыжеватые упрямые рожки:

— Я бы нем посоветовал, уж простите мою навязчивость, появиться перед телекамерами в окружении церковных иерархов. Может быть, в Троице-Сергиевой или Оптиной пустыни Пусть люди поймут, что вы значите для современного православия. И сразу отпадет половина этих дурацких наветов, обвинений в масонстве.

Магистр соглашался, поощрял кивками священника, как учитель поощряет старательного, но не слишком способного ученики, Сам же смотрел на Белосельцева, словно приглашал подойти поближе.

— А ведь, пожалуй, вы правы, отче! — произнес Магистр. — Меня пригласил владыка посетить Оптину. Я, пожалуй, поеду. Ведь журналисты не знают, что именно я выступаю за восстановление Оптиной, за передачу храмов церкви, за открытие монастырей. Зато запустили слух, что я масон, русофоб, отказываю России в самобытном пути развития. Ну какой я масон? И кто их видел, масонов? Но кому-то нужно, чтобы я был масоном. Поеду в Оптину, пусть люди увидят, кто не на словах, а на деле содействует возрождению церкви!

Он говорил полушутя, разыгрывая обиду на тех, кто распускает о нем недобрые слухи, пытается посорить его с народом, что на самом деле невозможно. Ибо народ давно разобрался, кто его друг, а кто недруг. Кто, подобно масонам-большевикам, разорял православные храмы, а кто теперь, с наступлением демократии, способствует их возрождению. Его ирония, его театральность были адресованы Белосельцеву, который все больше убеждался, что перед ним Демиург, всепроницающий, всеведущий и всемогущий.

— Видимо, наше национальное сознание, продолжал Магистр, — предрасположено во всем видеть заговор. Нам неинтересно, нестерпимо искать объяснения в закономерностях жизни. Мы объясняем историю проявлением злокозненной воли, замыслами заговорщиков и злодеев. Это или масоны, или евреи, или иностранные шпионы. Вот и теперь в обществе сеется новый миф о каком-то заговоре, о подкопе, который подрывает устои. Внушается мысль, что действует кучка умных злых заговорщиков, задумавших погубить государство. И ведь что удивительно! Магистр прямо через головы других обратился к Белосельцеву — Даже самые умные, проницательные готовы уверовать в заговор. А на самом деле просто власть одряхлела, партия выродилась, станки на заводах состарились,

люди изверились, воров и врунов развелась тьма-тьмушая, новые поколение народились, и, глядь, мы уже в другом обществе, и нет никаких заговорщиков, а просто неукротимое движение матери-истории, для которой все мы — неразумные дети!

Он произнес это с такой изящной легкостью, что стоящие поблизости захлопали, а Шулик, в своем иссиние-черном камзоле,дохнул на огромный, как бычий глаз, перстень, отчего камень подернулся морозной дымкой:

— Вот именно, неразумные дети! Именно, мать-история! Каждая минута — историческая! Каждый миг жизни — ценность! Приглашаю вас, друзья, посмотрим экспозицию!

Все двинулись за ним следом, рассматривая картины, а он взмахивал плавно руками, похожий на черную летящую птицу. Его сюртук отливал синеватым вороньим оперением.

Белосельцев чувствовал, что умные, ласково-лукавые глазки Магистра подцепили его и тянут, влекут, приглашают. От них исходит напряженная властная сила, магическое очарование, таинственный магнетизм, которому невозможно противиться. Почти лишенный воли, он следовал за вереницей гостей вдоль стен туда, куда следовал прихрамывающий человек в жилетке. Кивал, восхищался, благодарно внимал бледнолицому факиру с красным бутоном губ.

«Вот сейчас, — в полузабытьи думал Белосельцев. — Сейчас будет блюдо с гантелью... Подойду и ударю...»

Они миновали картину с пьяным генералом. Обошли расколотый унитаз. Осмотрели женский портрет, где вместо глаз были возбужденные соски, а вместо губ — гениталии. Блюдо с гантелью приближалось. Белосельцев чувствовал как слабеет, как лишается воли. Его мысли и намерения были прочитаны, и ему мешали совершить поступок. Примеривался для последнего шага, последнего движения руки, которым вырвет литую гантель из-под жидкого майонеза, опустит на лысеющий череп, между лукавых мигающих глаз. Уже потянулся, но у него на пути возник Ловеико, заслоняя блюдо:

— А вот эту картину, я уже говорил Виктору Андреевичу, я бы хотел купить и повесить в моем кабинете, — он обращался одновременно и к Магистру, и к Белосельцеву, сводя их вместе. — Ах, простите, я хотел вам представить, — стушевался он перед Магистром.

— Мой давний товарищ — Белосельцев Виктор Андреевич!.. — и испарился, а вместе с ним улетучились остальные, словно их превратил в ничто чернокрылый факир. И они остались вдвоем в пустоте, как в безвоздушном пространстве. Белосельцев стоял перед ласковым человеком в жилетке.

— Это странное искусство, которое должно нам нравиться... Эта гантель под майонезом... Так и хочется ее схватить и шарахнуть кого-нибудь по лбу, — тихо смеялся Магистр.

Белосельцева не удивляла его проницательность. Демиург читал мысли, угадывал события, перед тем как им было суждено случиться. Опережая время, оказывался в будущем, создавал в нем такие условия, чтобы событие совершилось. Выкапывал в будущем лунку из которого вырастало событие.

— Нам на веку выпала удивительная доля! Прожили огромную жизнь, заблуждались, жертвовали, ненавидели, проливали свою и чужую кровь и в итоге все-таки открыли главную истину. О единстве мира, единстве людей, о единстве всякой жизни. Хорошо бы остатки сил посвятить воплощению этого единства. Как разобрать барьеры и изгороди, построенные между народами? Как покончить с враждой и ненавистью, бессмысленной тратой исторического времени на войны и революции, на ложные идеалы и цели? Как соединить человечество в единую совершенную организацию, о которой мечтали лучшие люди земли?

Белосельцев слабо улавливал смысл произносимых слов. Он чувствовал, что на него воздействуют, его переделывают, переиначивают изнутри. Словно в мозг проникла мягкая теплая рука и лепила заново, как из пластилина. И это было не больно, почти сладостно, словно гибкие нежные пальцы размягчали жестокие узлы, запекшиеся кровоподтеки, окаменелые тромбы, и освобожденный мозг начинал струиться легкими сладостными переживаниями, как под маской с веселящим газом.

Выкатывая глаза и гримасничая, возник журналист-аграрник. Видимо, приготовил какую-то шутку которая просилась на уста, щекотала их, и он облизывал их длинным, белесым языком. Собирался принять участие в разговоре, но Магистр небрежно, слабым мановением, отослал его прочь, и тот жалобно откатился, прижав уши, подогнув хвост и виновато поскуливая. Они снова остались вдвоем,

словно висели в прозрачной сфере, а под ними, голубая, круглилась Земля.

— У нас есть неограниченные финансы — крупнейшие банки мира делают нам отчисления. Есть разведка — лучшие агенты мировых спецслужб, в том числе и советских, работают на нас. Есть военная мощь — офицерский корпус, стратеги, военная технология обеспечат стабильность новой организации мира. Но главное наше богатство — мировая элита, «патриоты мира», как я их называю. Цвет человечества, оснащенный высшим знанием. Элита мира зародилась в глубокой древности, в библейские времена, от поколения к поколению, из рода в род, хранила свой идеал. Подвергалась гонениям, почти исчезала, как было и у нас в эпоху свирепого сталинизма, но вновь возрождалась, продолжала трудиться. Соединяла человечество в единую организацию. В этой элите, меняющей сегодня магистральный курс человечества, каждый человек на учете, каждый ум, каждая просветленная воля. Вы принадлежите элите. Я знаю вас давно, слежу за вами, восхищаюсь. И вот вы пришли к нам. После всех колебаний, метаний, непомерных усилий ума вы сделали выбор — выбрали нас!

Белосельцев внимал как во сне. Глубоко внизу, туманная, окруженная нежной дымкой, голубела Земля. Он висел в безвоздушном пространстве, и рядом с ним в волшебной пустоте находился немолодой, тихо говоривший человек, которого он только что собирался убить, а теперь любил, берег, был готов повиноваться, следовать за ним, перемещаясь со скоростью звука в беспредельной пустоте, среди проблесков комет, метеоров. Звуки голоса были сладко знакомы. Черты лица напоминали тех, из семейного альбома, кого он любил. Не понимая смысла тихих речений, он хотел одного, — чтобы они продолжались, чтобы длилось это освобождение, легкость, парение в невесомости.

— Люди, с которыми вы еще недавно были связаны, — Главком, Партиец, Зампред, — кажется, так вы их называете, эти люди ничтожны, не способны к решительным действиям. Их специально нашли и поставили на завершающем отрезке проекта. В решающий час они разбегутся, и их место займут другие, достойные. Вы — достойный! Самое дорогое — не деньги, не роскошь, не женская красота, не добро, а знания! Знание законов бытия обеспечивает власть. «Организационное оружие» — это власть. Я приглашаю вас во

власть, в самый центр управления, откуда посылаются команды и в никарагуанскую сельву, и в небоскребы Манхеттена, и в афганские кишлаки, и в закрытые клубы Лондона и Амстердама. Вы с вашими знаниями примите участие в управлении глобальными процессами.

Толстеный лепечущий генерал, жарко краснея лампасами на коротких кривых ножках, подскочил было, что-то собирался произнести. Но Магистр грозно остановил его взглядом, и тот лопнул как мыльный пузырек, оставив в воздухе мутное облачко.

— Да, вы проникли в заговор. Аналитическими построениями обнаружили его формулу. Действительно, заговор существует. Он осуществится на днях. Не будет ни крови, ни взрывов, не будет убийств. Будет шум, толкотня, истерическая болтовня и галдеж. Будет страх, сумасшествие, и в этой кутерьме мы возьмем власть. Бескровно, гуманно вернем нашу многострадальную Родину в лоно истории. Приступим к осуществлению мирового проекта, где Отечеству нашему уготована великая роль. И я рад, что вы вступили в наши ряды! Конечно, работа, которую мы затеваем, не делается в белых перчатках. Это черное, жестокое, иногда кровавое, дело. А как же иначе? Меняются полюса Земли, сдвигается вектор истории, формируется единый центр мирового развития. Тут сила, жестокость и кровь! Ибо речь идет о самой сущности бытия. И всякий, кто покусится на эту сущность, будет безжалостно уничтожен! Я ничего от вас не скрываю. Через несколько дней мы будем жить в другой стране, в другом мире. Я приглашаю вас в наш штаб. Мы примем вас как соратника. Через несколько часов будет поздно. Дверь бункера будет завинчена изнутри, и все, кто остался снаружи, будут сметены ураганом!

В опустошенной груди Белосельцева пульсировала, билась кровинка, похожая на малый красный ромбик с фронтальной гимнастерки отца, который он хранил с самого детства как спасительный амулет. Теперь он хватался за этот ромбик, погружался в красный охранительный цвет, в кровавое тельце подлинной, а не мнимой жизни. И оно, горячее и бессмертное, переливалось в него из отца, спасло его. Наваждение закончилось, чары расточились. Белосельцев владел собой.

— Благодарю за доверие. Воспользуюсь приглашением и спущусь в ваш бункер, — с поклоном сказал Белосельцев, радуясь, что не поддавался обольщению. Стоящий перед ним человек принадлежал к

высокой иерархии, был посвящен. Но он не был Демиургом, которого еще предстояло найти.

Внезапно заиграл рояль, бравурно, колокольно, раскатисто. За белым инструментом сидела худая рыжая женщина с декольте. Были видны розовые прыщики на ее плоской груди. Она била что есть мочи по клавишам, вскидывала зеленые кошачьи глаза, и волосы ее подымались под воздействием невидимого электричества.

На клеенку, на освещенный лакированно-белый четырехугольник двое полуголых атлетов вывели на цепях огромную хрюкающую свинью. На розовом жирном боку свиньи яркой красной краской было написано: «СССР». Такие надписи делали на дирижаблях, которые летали над конструктивистской Москвой. Шулик, с мертвенным голубоватым лицом, облаченный в атласный сюртук, сжимал в кулаке зеркальный блестящий нож.

— Многоуважаемые господа, — его голос звучал сквозь грохот рояля. — Сейчас вы увидите перформанс, факт современного концептуального искусства, в котором стирается грань между иллюзией и действительностью, бытием и небытием, художником и зрелищем. Ближе, прошу вас, ближе!

Все сгрудились у клеенчатого ковра, на котором топталась и хрюкала свинья. Водила по сторонам розовым рылом, моргала белесыми ресницами. Намалеванная красная надпись вздрагивала и трепетала на дышащем боку.

— Господа, СССР, со своими неизживаемыми комплексами, своими свинскими противоречиями, своей тупой материковой историей, вот это животное! Комплексы и противоречия СССР невозможно ни развязать, ни распутать, а только рассечь!

Рыжая женщина за роялем исходила в экстазе, дергала тощими плечами, ломала клавиши. Шулик взмахнул ножом, упал на свинью, сильно провел ей ножом по горлу. Из раны двумя фонтанами ударила кровь. Обрызгала белый рояль, пианистку, ее худую открытую грудь. Свинья забилась в целях, упала на бок, хрипела, свистела. Из разрезанного горла неиссякаемо хлестала кровь, заливала клеенку пол, башмаки гостей. Шулик, перепачканный кровью, лежал на свинье, возил и возил в свином горле длинный красно-блестящий нож.

Белосельцев, расталкивая визжащих гостей, двинулся к двери. Отпихнул здорового охранника и, слыша за спиной рояль, свиной

хрип, вопли и визги гостей, покинул подвал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Останкинская башня улетала в небо, превращаясь в тончайший металлический луч. Кирпичный храм тускло золотился крестами. Вдоль музейной усадьбы с воротами и каменными кентаврами шелестел автомобильный поток. Временами, странно и фантастично, среди машин появлялись старомодные кареты на огромных деревянных колесах, блестя слюдяными оконцами, запряженные шестерками лошадей. Сворачивали в ворота усадьбы, останавливались перед парадным крыльцом. Открывалась легкая дверца, и из нее, с помощью слуг и лакеев, выскальзывала нарядная дама, выпрыгивал верткий кавалер, спускался на землю грузный вельможа. Мелькали плюмажи, кружева, шитые золотом камзолы. Белосельцев, входя в усадьбу искал, не вспыхнет ли аметистовым светом прожектор, не застрекочет ли кинокамера, не раздастся ли раздраженный и властный крик режиссера: «Стоп!.. Еще один дубль!..» Но нет, кино не снималось... Кучера отгоняли от подъезда опустевшие кареты. Слуги подбирали лопаточками конский навоз. Горели при входе граненые фонари на узорных деревянных столбах. Разряженный дворецкий в треугольной шляпе, в напудренном парике, выставил вперед ногу в белом чулке, обутую в туфлю с золоченой пряжкой, в поклоне махнул по ступеням страусиным пером, приветствуя Белосельцева:

— Здравствуйте, батюшка Виктор Андреевич! Спасибо, что пожаловали! Милостиво откликнулись на смиренное приглашение... А то уж начали волноваться, не случилось ли чего по нынешним злым временам. Хотели, было, послать карету с караулом Преображенских гвардейцев. Да вы, слава Богу, сами, своей персоной, явились.

Белосельцев изумленно всматривался в разряженного, со страусиным плюмажем, дворецкого. И вдруг узнал в нем Трунько — веселый, насмешливый взгляд, плотоядные губы, золотое кольцо на быстрой хваткой руке. И все это — среди пышного парика, золоченых галунов, великолепных перьев.

— Не удивляйтесь, Виктор Андреевич. Этот маленький маскарад — необходимая условность, к которой мы прибегаем во время наших экстрасенсорных сеансов. Стиль восемнадцатого века позволяет

острее почувствовать магическую культуру графа Сен-Жермена, алхимиков Кельна, волшебство Калиостро, времена, когда была предпринята грандиозная попытка создать живую машину, оживить механизм, одухотворить куклу. Тогда люди приблизились к слиянию спиритуализма и механики, к искусственному сотворению жизни. Увы, человечество пошло по пути бездумной техники. Вместо одухотворенных, мыслящих и верящих машин мы создаем цивилизацию роботов. Здесь вы увидите, как мы стараемся вернуть человечеству утраченные возможности. Не удивляйтесь, почувствуйте себя как дома. Вы среди своих. Вас знают и ценят, — он указал Белосельцеву на парадные двери, где, пропуская его во дворец, склонились молчаливые разодетые слуги.

Белосельцев был в этой усадьбе в детстве, когда мать водила его по музеям, показывала церкви в Коломенском и Дубровицах, картины Третьяковки и коллекции Кусково. Он помнил музейную тишину Останкино, запах теплого тлена, остановившееся время, висевшее в пыльном солнце среди екатерининских портретов, инкрустированных столиков, выцветших атласных обоев. Теперь, пройдя во дворец, он поразился многолюдью, ожившим гостиным, пылающим среди хрусталей свечам, обилию дам и кавалеров, словно шагнувших из золоченых рам на инкрустированный пол танцевального зала.

Здесь были кринолины, кружева, декольте, стянутые тугими лифами открытые груди. Среди дамских нарядов, роскошных, как клумбы, разноцветными мотыльками мелькали военные мундиры, камергерские ленты, изящные туфли с пряжками, ботфорты со шпорами, пышные жабо, кружевные манжеты, лихие офицерские усы, завитые пряди до плеч, роскошные, белые, как пена, парики.

Белосельцев понял, что попал на костюмированный бал или маскарад. Среди бальных туалетов возникали фантастические персонажи в облачении античных богов и героев, арапы, карлы, звездочеты, сарацины, китайские мандарины и другие создания, будто раскрашенные картинки восточных сказок, рисунки чернокнижников, ритуальные маски языческих волхвов и шаманов.

Все это двигалось, шевелилось, менялось местами, отбрасывало на потолки и стены зыбкие тени, заслоняло подсвечники, озарялось блеском зажженных свечей, издавало странный металлический звук, как если бы позванивало множество шпор, или терлось друг о друга

множество льдинок, или тонко поскрипывали и похрустывали работающие велосипедные цепи. Собравшиеся что-то совершали, взаимодействовали, посылали в разные концы зала сигналы, смысл которых был непонятен Белосельцеву. Дама колыхала костяным веером, прикрывая им улыбающиеся сочные губы, делала тайные знаки удаленному от нее кавалеру. Тот лез рукой за борт шитого серебром камзола, вытаскивал карту с бубновым тузом, показывал ее стоящей рядом нимфе в полупрозрачном розовом одеянии. Вдруг сверкало зеркальце в чьих-то быстрых руках, посылало игривый зайчик света. Моментально вспыхивала и гасла короткая радуга, и Белосельцев успевал разглядеть хрустальную призму, которую прятал в кружева вельможа в тяжелом парике. Кто-то держал в тонких пальцах румяное яблоко. Кто-то покачивал серебряной клеткой, в которой синей искоркой металась живая птичка. Мавр, маслянисто-черный, в белом балахоне, показывал на бледной ладони малахитовую змейку с рубиновыми глазками. Китайский мандарин, набеленный и нарумяненный, держал цепочку, на которой покачивался хрупкий скелетик лягушки, как если бы его источили и обглодали муравьи. Среди этих странных амулетов и символов Белосельцев вдруг углядел хвостовик противотанковой гранаты в руках миловидной фрейлины. А на груди античного фавна — приборчик с электронным экраном, на котором пульсировала голубоватая синусоида.

Все казалось неправдоподобным и фантастичным.

— Все это наши изделия, Виктор Андреевич, — Трунько нашел его среди многолюдья, стряхивая с его плеча упавшую капельку воска. — Одухотворенные машины, сотворенные в наших секретных лабораториях. Думающие и чувствующие механизмы, созданные в наших мастерских по рецептам средневековых механиков. Мы репетируем и синхронизируем действия, чтобы в «час Икс» все вышли из «подкопа». Действовали слаженно и стремительно. Мы ждем приезда главного механика, чтобы показать ему наши возможности. Оставайтесь здесь, наблюдайте. Я вас отыщу, и мы пройдем по лабораториям. — Трунько весело посмотрел на Белосельцева и ушел, колыхая страусиным плюмажем, покачивая маленькой шпажкой, на которой красовался фиолетовый бант. А Белосельцев, предвкушая удачу, ожидая, наконец, увидеть Демиурга, продолжил свои наблюдения.

Осторожно перемешался в фантастической толпе гостей, среди запахов горячего воска, духов, терпкого пота, со странными примесями машинного масла и токарных эмульсий. Остановился подле трех персон, изображавших граций, в полупрозрачных бирюзовых туниках, с венками из благоухающих роз, словно их срисовали с греческой вазы. Взялись нежно за руки, будто вели хоровод, женственно колыхали грудью и бедрами, но их стопы, обутые в легкие сандалии, изобличали мужчин — грубые волосатые пальцы, плохо подстриженные желтоватые ногти. Всматриваясь в их наруганные, под высокими прическами лица, Белосельцев узнал трех известных поэтов, в недавнем прошлом кумиров молодежи, собиравших на стадионах восторженные толпы любителей поэзии. Они и теперь держали в руках изящные томики с поэмами «Ланжюмо», «Сто шагов» и «Братская ГЭС», где каждый, на свой лад сверкая рифмами, романтично воспевал Ленина, стройки коммунизма и незыблемость советского строя.

— Евгений, Андрей, — чуть заикаясь, говорила грация с пухлыми, напоминавшими хобот губами, уставя на собеседников темные печальные глаза, — мы должны понимать, что от всей советской литературы, которая на глазах превращается в горы бумажной трухи, останемся только мы, наши стихи, наше предвкушение свободы. Сегодня, когда я принимал душ, мне явилось двустиише: «Мы — гипертоники, мы — дети электроники». Что это? Такого я еще не писал.

— Роберт, — отвечала ему грация с блеклым бабьим лицом, вяло шевеля вислыми, лягушачьими губами. — Мы так страдали от проклятого строя, переносили лишения по-ахматовки и по-цветаевски стойко, что теперь, когда уже причислены к сонму поэтов-мучеников, можем посвятить себя вечному. Новой поэзии, новой красоте. Подумать о бессмертии. «Когда я по пляжам Ниццы шагал, мне явился Шагал. Когда я лежал на пляже в Хосте, я думал о холокосте». Прочитаю эти стихи в Иерусалиме в день нашей победы над антисемитами.

— Братья, — произнесла грация с колючим носом, вся в нервных морщинах и складках, среди которых сверкали, как карбункулы, яростные глаза, — на станции Зима у меня есть любимое место. Там постоянно идут белые снега. Там мне пришло откровение, — если

буду я, то будет и Россия. Поэтому я должен беречь себя от баррикад и восстаний. Хочу уехать в Иллинойс. Там завершу мою исповедь. «Жил я яростно и шипко. Запах роз и запах «Шипра». Горечь слез и тайна шифра». Ну и так далее. Мы должны уничтожить в советской литературе все, что связано с погромами и сталинизмом. Чтобы наследники Сталина остались без наследства.

Античные одеяния граций, камеи и геммы в прическах, волнообразные покачивания бедер, выпуклые, пропечатанные сквозь тунику соски маскировали иную, потаенную сущность, которая проявляла себя в тихих постукиваниях, какие издают работающие моторчики, в легких ядовитых дымках из-под подолов, как если бы там были спрятаны выхлопные трубы, в таинственном металлическом свечении, проступавшем сквозь прозрачные покровы. Опасливо сторонясь механических поэтов, Белосельцев перешел на другое место, где в хрустальных канделябрах плавилась жаркие свечи.

Еще одна пара гостей стояла у мраморной колонны, освещенная коптящим пламенем факела. Один изображал звездочета, в остроконечном черном колпаке с серебряными кометами, лунами и светилами. В прорезях мантии виднелась бледная, длинная ладонь, держащая циркуль. Другой был наряжен в эфиопа, маслянисто-темный, в фантастической, огненно-алой чалме, напоминающей корабль, в белоснежных шелках, из которых появлялась черная худая рука, сжимающая золоченый трезубец. Звездочет то и дело раскрывал циркуль и измерял невидимые, парящие в воздухе фигуры. Эфиоп подносил трезубец к лицу и делал на щеках ритуальные надрезы, отчего на черной коже выступала кровь. Это не мешало им негромко беседовать, столь тихо, что лишь отдельные фразы долетали до Белосельцева.

— Вы знаете, Гавриил Харитонович, мне их даже по-человечески жаль, — говорил звездочет, и Белосельцев с изумлением узнавал в нем высокопоставленного работника ЦК, курирующего промышленность. — Этот доверчивый народ создавал из нас интеллигенцию, доверял высокие посты в партии, в культуре, в дипломатии. А мы теперь неблагодарно уходим от народа, унося свои знания, свои накопления. Народ остается гол, слеп, лишен элиты, не понимает, что с ним собираются делать, как ослепленный бык, которого ведут на заклание. Иногда, признаюсь вам, мне от этого больно, — он склонил колпак с

серебряными звездами, сделал несколько замеров циркулем, будто перед ним возникла невидимая пирамида и он измерял ее грани и основание.

— Дорогой Аркадий Иванович, — мягко гуркая на эфиопском наречии, отвечал чернокожий мудрец, и Белосельцев под красной чалмой узнал известного экономиста, прокладывающего путь реформам. — Право слово, народ не стоит жалеть. Он — объект, а не субъект истории. Народа всегда было много, а элиты всегда мало. Когда история требовала больших трат народа, женщины начинали усиленно рожать и народ восстанавливался. Нам не нужно столько народа, не нужна такая большая Россия. России должно быть меньше в десять, в двадцать раз. И соответственно меньше народа. Вот тогда мы сможем создать эффективную экономику и построить гражданское общество, — он провел по щеке трезубцем, нанося очередной ритуальный надрез.

Белосельцев видел, как под облачением звездочета что-то поминутно мерцает и вспыхивает, словно дуга электрической сварки. Вытекает дымок сгоревшего металла, пахнувший едкой окалиной. Эфиоп, раздиравший трезубцем лицо, обнажал на скулах стальные легированные пластины. Когда говорил, во рту его начинало светиться, и он выдыхал прозрачно-фиолетовое облачко плазмы. Чувствуя сквозь одежду больной ожог, как если бы его облучили куском урана, Белосельцев поспешил отойти.

Но здесь, в гуще костюмированного праздника, невозможно было уединиться. Он тут же оказался в соседстве с сатиром, который был умело задрапирован в космату ю шкуру, весело пялил круглые умные глазки на коричневом лице с кудрявыми бакенбардами и бородкой, шаловливо постукивал раздвоенными копытцами. Рядом с ним увивался воздушно-легкий купидон, с шелковыми крылышками бабочки-капустницы, в веночке из крохотных роз. То и дело подпрыгивал, отталкиваясь от пола босыми ножками. Натягивал хрупкий лук с серебряной стрелой. Щекотал сатира острием, засовывая стрелку в его волосатую горячую ноздрю. Сатир чихал, хохотал, отгонял купидона, а тот перелетал через кудлатую, с рожками, голову сатира и небожно колол в шерстяную спину.

— Я вам докладываю, — купидон, несмотря на свой детский, фарфорово-розовый вид, говорил прокуренным хрипловатым баском.

Белосельцев с изумлением узнал высокопоставленного офицера госбезопасности, который недавно, в нарушение всех принципов конспирации, вышел в публичную политику с разоблачениями кровожадного и преступного КГБ. — На этой неделе я сдал ФБР еще одного агента, завербованного мной три года назад. Он поставлял нам бесценные сведения из штаб-квартиры «Неви Анелайсес», что позволило Северному флоту сократить избыточное число ударных подводных лодок, действующих под полярной шапкой. Я думаю, в Америке предстоит шумный шпионский процесс, и мы пообрубаем-таки щупальца КГБ, — он счастливо засмеялся, тряхнул стрелкой, и несколько солнечных клейких капелек упало на руку Белосельцева, тотчас превратившись в нарывы и язвочки, как если бы воспалилась прививка от оспы.

— Примите и мой доклад, — сатир, несмотря на свой звериный лесной облик и крепкие мохнатые клубни в паху, говорил тонким голосом скопца. Белосельцев легко узнал в нем известного эколога, выступавшего за консервацию полигонов в Семипалатинске и Байконуре, обвинявшего военных в разрушении уникальных экосистем пустыни. — Мне удалось добиться посещения американскими экспертами завода ракетного топлива. Я знаю, что правительство вынуждено подготовить приказ о закрытии вредного производства. Военные хрипят от ненависти, но, бедненькие, не догадываются, что их еще ожидает, — сатир от щекочущей нос стрелы громко чихнул. Мелкие брызги лопали на пиджак Белосельцева, ткань стала дымиться, как если бы ее оросили серной кислотой.

Эти античные персонажи пахли не лесом, не звериной берлогой, не сладким нектаром лугов, а источали едкие запахи химии, от которых слезились глаза и першило горло. Под шерстяной шкурой сатира и атласными крылышками купидона просвечивали цилиндры из нержавеющей стали, где хранился запас химического оружия. Несколько капель его было способно отравить Волгу или Байкал. Рассеянное в виде аэрозоля над Москвой или Красноярском, оно могло превратить огромные города в безлюдные каменные теснины.

Одни из гостей разбились на группы, нашли друг друга. Негромко работали моторчиками, шевелили антенками, включали индикаторы и экраны компьютеров. Другие все еще искали партнеров, беспокойно перемещаясь по залу. Мимо пронеслась, не касаясь земли, русалка с

распушенными зелеными волосами, розовыми губами, жадно ищущими поцелуя. Круглились ее обнаженные груди, соски были прикрыты крохотными перламутровыми раковинами, чешуйчатый хвост драгоценно переливался. Белосельцев узнал в ней ту, что боролась с привилегиями кремлевских вождей. Она была нежна и пленительна, но вдруг из нее со стуком выпал тяжелый коленчатый вал, вылилась черная маслянистая жижа. Она вцепилась в отломившуюся деталь и, грязно ругаясь, потащила ее из зала.

Тут же ходила большая, как бык, женщина на толстых ногах, изображавшая пастушку. Это была известная правозащитница и революционерка, требовавшая казни всех членов партии. В перерывах между психлечебницами и приводами в милицию она устраивала шумные выступления на площади Пушкина. Теперь же кокетливо приподнимала подол с греческим меандром, соблазняя своими прелестями игривых пастушков. Один — в миру мелкий предприниматель, ратующий за экономическую свободу — польстился, поправил на голове веночек полевых цветов, спрятал в холщовую суму тростниковую свирель, нежно обвинил ее огромный торс. Но пастораль внезапно оборвалась. Из пастушки с грубым лязгом выпали огромные слесарные тиски с зажатым ржавым болтом, и она, прижимая их к животу как прижимают выпавшую грыжу, поволокла куда-то прочь, выкрикивая проклятья режиму.

— Простите, что покинул вас, Виктор Андреевич, — перед ним возник Трунько, оживленный, неутомимый, с лихим пером на широкополой шляпе. — Я должен был убедиться, что все готово к прибытию главного механика. Он проведет инспекцию наших достижений. Если не возражаете, давайте посмотрим наши секретные лаборатории.

По изъеденным каменным ступеням они спустились в подвалы дворца.

— Прошу, — Трунько приоткрыл дверцу в каменной кладке, пропуская вперед Белосельцева. — Здесь идет переписка советских книг. В советское «священное писание» вставляются фрагменты, искажающие смысл «коммунистического евангелия». Те, кто станет читать и молиться, впадут в слабоумие, и красная империя, лишенная священных заветов, распадется.

Помещение, где они оказались, было озарено свечами в высоких кованых подсвечниках. Уставлено столами, за которыми сгорбились писцы в колпаках, с розовыми потными лысыми, в потертых жилетках, с похожими носатыми лицами. Окунали гусиные перья в стеклянные чернильницы, вписывали со скрипом строки, абзацы, а то и целые главы. Посыпали новоиспеченный текст мелким песком из глиняных песочниц.

— Тут мы исправляем книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Почти ничего не меняем, только в конце вписываем сцену, где парализованный герой, мучимый похотью, занимается мастурбацией. За этим занятием его застаёт секретарь комсомола, который присоединяется к Павке Корчагину, — Трунько, гордясь своим изобретением, заглядывал через голову писца.

— А здесь, — Трунько перешел к другому, грубому, как верстак, столу, — мы занимаемся «Тихим Доном». Незначительные купюры по ходу романа, и абсолютно другой финал. Григорию Мелихову и Аксинье удастся спастись. Они перебираются за границу, где знакомятся с раввином, который учит их основам иудаизма. Они участвуют во французском Сопротивлении, переселяются в Израиль, где герой под именем Грегор Мелихов становится видным деятелем сионизма. Если у романа появляется такой финал, то не нужно оспаривать авторство Шолохова, — Трунько положил руку на лысую горячую голову писца, и тот по-собачьи затих, прикрыв маслянистые глазки.

— А это самый талантливый исправитель книг, — Трунько похлопал по упитанной розовой щечке пухлого молодого человека с заячьей губой. — Он обрабатывает «Молодую гвардию» Фадеева. Подробно рассказывает, как Любка Шевцова совокуплялась с немецкими офицерами в борделе и как Олег Кошевой добровольно явился в гестапо и сдал своих товарищей. Вместе с немцами участвовал в казни молодогвардейцев, помогал солдатам сбрасывать вагонетки в шахту на головы казнимых подпольщиков, — польщенный похвалой юноша лизнул руку Трунько, и тот, отирая ее платком, произнес: — Ну зачем так? Я же обещал, что тебя примут в Союз писателей.

Они перешли в соседнее сводчатое помещение, напоминавшее лабораторию алхимика.

— Здесь мы работаем с государственной символикой СССР. Меняем геральдические коды. Вводим едва заметную коррекцию, которая напрочь искажает смысл символа, а вместе с ним базовые установки, на которых зиждется советское общество.

Среди реторт с ядовито-зелеными и золотыми растворами сидел волосатый гравер с бархатной тесемкой на лбу. Волосы его были изъедены кислотами. Сквозь линзу дико и мокро сверкал увеличенный, с красными прожилками глаз. Перед ним на верстаке лежал бронзовый герб СССР. Земной шар, окруженный колосьями, был обращен к зрителю не восточным полушарием с очертаниями Советского Союза, а западным, с материками Америки. На колосьях поселились плевелы и спорынья. На лентах с названиями советских республик были выбиты тончайшим зубильцем надписи: «Проклятье КПСС», «СССР — империя зла», «коммуно-фашизм», «Сталин — палач». Мастер напрягал зрение, выпучивал глаз, и Белосельцев видел, как лопнул в его белке еще один кровяной сосуд, заливая око алым бельмом.

— Флаг — предмет наших особых забот, — Трунько подвел Белосельцева к деревянной раме, на которую был натянут красный государственный флаг. Тут же горел небольшой очаг с горстью жарких углей. Кудесница, похожая на портниху, с высокими грудями, в яркой помаде, орудовала ножницами, поблескивала иглой, тянула с катушек разноцветные нити. — Красный флаг над рейхстагом поднял, как известно, сталинист Кантария. А спустит его с Кремлевского дворца представитель сексуальных меньшинств столицы Артур Малюгин, — Трунько пощекотал портнихе подбородок, и та жеманно повела бедром, шаркнула туфлей на высоком каблуке.

Ее колдовство над флагом сводилось к тому, что она надрезала полотнище, выщипывала из него красную нить, кидала в очаг, где нитка сгорала летучим пламенем. На место выдранной красной нити вплеталась синяя и белая. Флаг оставался алым, но постепенно терял животворный цвет, мертвенно бледнел, обретал едва заметную трупную синеву.

— А это — кумирня, где мы создаем новых героев взамен обветшалым, — Трунько провел Белосельцева в подземную залу. — Если мы лишим Советский Союз его красных святых, его коммунистических мучеников, то исчезнет мистическая основа советского строя. Мы совершаем здесь ритуал сожжения красных

подвижников, одновременно заменяем их подвижниками нового времени.

Подземная зала напоминала древнеегипетский храм с высокими колоннами, чьи капители были каменными цветами лотоса. На стенах, как в усыпальницах фараонов, были начертаны иероглифы, божества с орлиными и волчьими головами, воины, жрецы, священные кошки, изображения лун и светил. В нишах горели дымные факелы, роняя на каменный пол маслянистые жаркие капли. На ковре, застилавшем ступени, рядами, одна над другой, стояли обнаженные, смуглые, темноволосые девушки с белыми лилиями в распущенных космах. Они держали курящиеся благовонные палочки, пели, тихо покачиваясь, и в этом монотонном бессловесном пении чудилась печальная молитва, взывающая к неизвестному божеству

В центре зала находился жрец в маске, изображавшей кошачью голову, в пятнистой шкуре леопарда и в плоских сандалиях на мускулистых ногах. Залу пересекала деревянная ладья с резным завитком на носу, делавшим ее похожей на большую виолончель. В ладье стояли три обнаженных юноши, худощавые, стройные, с недвижными широко открытыми глазами. Казалось, они оцепенели, убаюканные девичьим пением, сладким дымящимся зельем, мерными мановениями жреца, державшего в кулаке позолоченный ключ.

Тут же горел открытый очаг, и лежала стопка папирусов с чьими-то плохо различимыми лицами.

— Этот огонь доставлен из центра Земли, из горных пещер Ирана, — пояснял Трунько, стараясь не мешать мистерии. — Он — часть мирового огня, пожирающего утомленных богов.

Жрец, танцуя, напрягая голые бицепсы, в поворотах развевая гибким хвостом леопарда, приблизился к стопке папирусов. Воздел над ними ключ, поворачивая, словно отмыкал незримые врата. Схватил верхний папирус, и Белосельцев увидел, что на нем было лицо Зои Космодемьянской, знакомое по школьным учебникам, с короткой стрижкой, хрупкой девичьей шеей, на которую было больно смотреть. Жрец поднес папирус к очагу, отпустил. Легкая ткань коснулась огня. Прозрачное пламя взметнулось, полетело под своды храма, а жрец мчался за ним, гнал его опахалом из павлиньих перьев, изгоняя огненный дух.

На следующем, подлежащем сожжению папирусе был изображен капитан Гастелло, в летном шлеме, в комбинезоне, каким видели его в «Комнатах боевой славы» во всех гарнизонах. Жрец кинул папирус в огонь, и пламя, напоминавшее тоскующий дух, метнулось ввысь, а человек-леопард неистово скакал, мотал опахалом, изгоняя метущийся призрак. Поворачивал ключ, закрывая врата, чтобы тот не вернулся обратно.

Так, под ритуальное пение девушек, бессловесные молитвенные заклинания, были сожжены Александр Матросов и Лиза Чайкина, генерал Карбышев и Яков Джугашвили. В огне исчезали папанинцы, Стаханов, Валерий Чкалов, двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев.

Последним сгорел Гагарин. Казалось, в языках огня, под темные своды летело его улыбающееся белозубое лицо, словно это была огненная нерукотворная икона. Жрец выкрикивал заклинания, плевал в него, кидал в него опахало из перьев, а оно ушло в камень сводов, оставив гаснущее пятно.

— Теперь алтари свободны, — Трунько пояснял ритуал. — Прежние боги свергнуты. На их месте мы воздвигнем новых богов и героев.

Девушки пели бессловесно, выводя нежными печальными голосами таинственный музыкальный иероглиф, в котором чудилось мистическое изображение круга, полумесяца, темного и светлого Солнца, вечного восхождения в жизнь, вечного нисхождения в смерть, бесконечной реки, по которой проплывает ладья, перевоза бестелесные души. Юноши зачарованно, с огромными невидящими глазами стояли в ладье, приносимые в жертву древнему богу.

Жрец сбросил копачью маску, под которой открылось лицо известного в Москве оккультиста. Он часто выступал по телевидению, погружал в гипноз многолюдные залы, лечил от болезней именитых людей. Теперь он сбросил пятнистую шкуру, скинул сандалии, остался голым, поигрывая смуглым натренированным телом.

— Сейчас он совершит магическое действие, через которое герои порывают с прошлым. Запечатывают себя от искушений и соблазнов, чтобы беззаветно служить новой вере, поклоняться новым богам. И, если нужно, принести себя в жертву, — Трунько был взволнован. Предстоящий ритуал затрагивал тайные энергии мира. Взывал к древним исчезнувшим культам. Будил богов, уснувших в пирамидах, в

мертвых городах, на дне безвестных могил. — Обряд называется «зашитие». О нем есть упоминания в свитках Мертвого моря.

Обнаженный жрец уселся на каменный пол в позе лотоса, отчего тонкие мышцы его натянулись, и он стал похож на анатомическое пособие. В руках его появилась блестящая кривая игла с дратвой. Он крепко сжал губы, вытянул их вперед, вонзил иглу, продергивая дратву сквозь мякоть, кровь, кусочки красной выдранной плоти. Белосельцев почувствовал в своих собственных губах острую боль, которая склеивала рот, не давала ему разомкнуться. От этой боли забылись вдруг все известные прежде слова, он стал нем и безгласен. В зашитом рту, на разбухшем от боли языке трепетало, росло, рвалось наружу какое-то древнее, огромное слово, состоящее из одних гласных звуков, как рев носорога.

Жрец закрыл один глаз, оттянул веки с ресницами и пронзил их иглой, продергивая дратву. То же совершил с другим глазом. Веки, стянутые грубым сапожным швом, дрожали от набрякших внутри глазных яблок, сквозь дратву текли слезы и кровь. Белосельцев почувствовал, как погас в его глазах мир, исчезли объемы и краски и в темной мгле загорелся далекий дикий огонь, словно в бесконечной дали приближалось красноватое злое светило.

Жрец зашивал себе уши, ловко сверкал иглой, и Белосельцев чувствовал, как в его собственных ушах возникала мертвая тишина, словно туда заливали горячий воск, который тут же каменел, отсекал его от звуков жизни, и только слышался ровный жестокий шум дующего во Вселенной ветра, который и был глухотой мира.

Жрец шире раздвинул промежности, щепоткой пальцев ухватил крайнюю плоть, оттянул и вонзил иглу, зашивая детородный орган грубым рубчатым швом. Белосельцев испытал ожог в паху, словно приложили раскаленное железо, и его запечатанный пах похоронил, как в могиле, все его страсти, похоти, вожеления, стремление к продолжению рода. Тайнственная мужская сила, побуждавшая его скитаться, мечтать, неутомимо искать присутствующую в мироздании женственность, отхлынула из омертвело паха в сердце, наполнив его страстным ожиданием чьей-то властной, неумолимой воли, которой был готов подчиниться.

Жрец действовал иглой как умелый сапожник. Зашил себе ягодицы, продевая красно-блестящую иглу в желобок между двух

полушарий. Сдвинул ляжки и стянул их дратвой, так что ноги оказались склеенными одна с другой. Сшил вместе все пальцы ног, превратив их в одну огромную ласту. А потом — и рук, придав им форму совка, куда из проколов медленно натекала кровь. Пришил подбородок к груди. Пятки выгнутых ног — к лопаткам, превратившись в бесформенный куль, куда были упрятаны все внешние органы, все формы и выступы тела, а виднелись одни только воспаленные швы.

Теперь жрец работал иглой внутри чехла, в который сам себя поместил. Двигался, вздувался буграми. Зашил свое сердце, словно кожаный кошель. Белосельцев почувствовал, что его собственное сердце стиснули чьи-то каменные пальцы, оно вспыхнуло жуткой болью и погасло. Жрец зашил кишечник, запечатал желудок, вонзал иглу в легкие, стягивал дратвой почки и печень. Теперь он был весь зашит, сжался, стиснулся.

Белосельцев взглянул на трех юношей, застывших в ладье. Они казались мертвыми, бледно-голубыми, словно их превратили в языческих кумиров с закрытыми глазами, в бело-мраморных идолов, которым место на капище, и девушки с лилиями в волосах пели таинственные заклинания, прославлявшие этих богов.

Кожаный чехол, покрытый заплатами, испещренный рубцами, грубо исчерченный швами, начал дрожать, сотрясаться. По нему прокатывались волны страданий, словно в мешке бился пойманный хищный зверь. Жрец собрал всю энергию, напряжинил все мышцы и мгновенным, резким усилием вывернулся наизнанку, так что все его внутренние органы оказались снаружи: фиолетовая липкая печень, коричневые скользкие почки, багровое, отекавшее сукровью сердце, пузырящаяся пена легких. И это означало, что Внутреннее стало Внешним, а Внешнее погрузилось вовнутрь. Мир был вывернут наизнанку, обнаружил сокровенную сущность. Теперь в нем действовали обратные законы, он стал Антимиром. И в этом вывернутом, переименованном мире действовало иное божество, управлял иной царь. Юноши, белые, словно соляные столбы, стояли в ритуальной ладье. Но теперь глаза у них были широко раскрыты, оттуда били жестокие зеленые лучи.

Белосельцев на секунду потерял сознание. Очнулся на лестнице, ведущей из подвалов наверх. Трунько подносил к его носу ватку с

нашататырным спиртом.

Они появились в зале в момент, когда среди гостей, из уст в уста, понеслось: «Едут, едут!.. Наконец-то!..» Кавалеры и дамы, фавны и пастушки потянулись к дверям. Но им навстречу вышел церемониймейстер в золотом шитье, с малиновой перевязью, ударил в пол жезлом и громко, возвышая голос до восторженного, самозабвенного крика, стал изрекать:

— Его Величество король Саксонский, курфюрст Бранденбургский, лорд Йоркширский, барон Дерптский, виконт Прованский, султан Турецкий, эмир Бухарский, имам Персидский, рыцарь Мальтийского ордена, архиепископ Кентерберийский, кардинал Авиньонский, член Синода Русской Православной церкви, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС... — от волнения голос церемониймейстера перешел на клекот, и Белосельцев не расслышал имени.

Толпа вельмож и придворных дам расступилась в поклонах, освобождая просторный коридор. Золоченые двери распахнулись, и на блестящий паркет, инкрустированный драгоценными породами дерева, ступил тот, кого Белосельцев в своих зашифрованных списках именовал Шашлычником. Не в маскарадном облачении, а в обычном партикулярном пиджаке, чуть помятом, без галстука, с расстегнутым воротом, с выпученными водянистыми глазами, толстогубый, с пучками всклокоченных седых волос и с тем знакомым выражением испуга и наглости, властолюбия и подобострастия, лукавства и неутолимого честолюбия, с которым появлялся на съездах, пресс-конференциях, международных форумах. Испытав разочарование, не увидев в нем Демиурга, Белосельцев почувствовал жаркую страстную ненависть к этому отвратительному кавказцу, чьими усилиями уничтожалась держава. Выводились победоносные войска из Афганистана, отдавая ключевую азиатскую страну неприятелю. Предательски, в угоду Америке, резались тяжелые ракеты в шахтах и на подводных лодках. Объединилась Германия, суля в грядущем реванш за проигранные мировые войны. Готовилась передача Японии Курильских островов, что делало бессмысленным содержание Тихоокеанского флота. Это был беспощадный и хитрый ненавистник красной империи. Враг, разрушавший геополитические рубежи обороны. Предатель, открывавший ворота недругу. В эти крепостные

проемы, распахнутые в высотном здании на Смоленской площади, непрерывно, среди бела дня, просачивались агенты, лазутчики, диверсанты, провокаторы, принося с собой гибель.

Шашлычник благосклонно принимал знаки почитания. Прошел среди склонившихся гостей, и Белосельцев почувствовал, как от него пахло луком и жареной бараниной, разглядел на лацкане пиджака пятно от томатного соуса.

— Друзья, — обратился он к затихшему залу, выворачивая мокрые губы, с наслаждением коверкая русскую речь. — Приближается кульминация. Мы должны быть готовы, и в час, когда пробьет гонг, мы найдем друг друга, станем действовать слаженно, как одна большая машина. Нам будет отпущено три дня, и за это время мы освободим мир от коммунизма. Сейчас мы проведем последнюю генеральную репетицию, убедимся в наших возможностях!

Он отступил. На его место вышел полуголый якутский шаман с бубном. Стал колотить в пол голыми пятками, бить в гулкий бубен. И под эти удары, которые превращались в рокот, гром, яростное грохотанье, колебавшее субстанцию мира, под эти колдовские стуки натянутой тюленьей кожи присутствующие стали поспешно раздеваться. На пол полетели плюмажи, шляпы, корсеты, кружевные воротники, шитые камзолы, розовые туники, прозрачные хитоны, легкие сандалии, пышные тюрбаны, курчавые парики. И враз обнажилось множество фантастических машин и механизмов.

Тут были синеватые стальные твари, похожие на огромных божьих коровок. Титановые кузнечики с отточенными перепонками и натянутыми рычагами, готовые к скачку и удару. Вороненые, как ружейные стволы, жуки с грозными нацеленными хоботками. Горбатые существа, напоминавшие колючих дикобразов и ежей, с металлической шерстью, которая топорщилась и искрила. Крысообразные машины, покрытые пластмассовыми чехлами, в которых раздраженно светили красные глазки индикаторов. Чешуйчатые, напоминавшие глубоководных рыб механизмы, от которых исходило фосфорное сияние. Странные, как гигантские комары, полупрозрачные трубки на длинных ходулях, из которых торчал и колючие жала, острые буравчики. Светляки с зеленоватыми светящимися попками и разнообразным набором щипчиков, клещей и резцов на маленьких упрямых головках. Множество механических

птиц, — железных скворцов, медных дятлов, бронзовых тяжеловесных пеликанов с хромированными клювами, из которых раздавался жестяной стук и тускло мерцало.

Все скопище шевелилось, искало друг друга, трогало щупальцами, усиками, перепончатыми лапами. Терлось скрежещущими боками, стучало доспехами, сталкивалось легированными животами. Между ними происходило соитие. Они соединялись винтами. Схватывались заклепками. Спаивались мгновенной точечной сваркой. Цеплялись крючками и зацепками. Прилипали присосками. Склеивались, проникали друг в друга, издавали скрипы, шелесты, скрежеты, шипение, чмоканье, хлюпающие и металлические звуки. Корчились, вцепившись друг в друга хвостами и клювами. Сладострастно извивались, растопырив чешую и светящиеся рубиновые жабры. Вставляли на дыбы, раскрывая легированные вороненные перепонки. Царапались, кусались, исходили горячими маслами, пенными эмульсиями. Выбрасывали пузыри газа, выхлопы вонючего дыма.

Между ними возникали электрические разряды, пульсировала вольтова дуга, трепетало розовое облачко радиации. Они открывали навстречу друг другу синие экраны, дрожащие индикаторы, на которых электронной строкой бежали неведомые письма, огненные иероглифы, вспыхивали пентаграммы, кабалистические символы, летели потоки стозначных цифр, отрывки колдовских текстов и заклинаний.

Скопище срослось, сочетаясь в жутком шевелящемся совокуплении. Ерзало, хрустело, танцевало. Вспыхивало и гасло. Дыбилось горой. Свертывалось в трепещущие клубки.

Белосельцеву было страшно смотреть. Он чувствовал слепую беспощадную мощь этих сконструированных существ, что двигались по его любимой земле, покрывая ее чешуей, сжирая и выстригая деревни и рощи, города и космодромы, храмы и заводы, оставляя за собой мертвое измельченное вещество, над которым колыхался терпкий кровавый пар.

К нему вдруг подскочила женщина в пышном кружевном воротнике английской королевы, в широкобедром кринолине, с осиной талией, с высокой прической, увенчанной крохотной алмазной короной. Эта была известная поэтесса, славная своим жгучим

демократизмом и неистовым стремлением найти и покарать антисемита. Она пленительно улыбалась Белосельцеву, импровизировала на ходу эротический стих:

— Я — Римма! Я — прямо из Рима! Я — весома и зрима! Мне все по плечу! Я очень тебя хочу!

Протянула к нему длинную напряженную ногу с босыми шевелящимися пальцами. И этими длинными гибкими, с алым педикюром, пальцами ухватила пряжку его брюк, ловко расстегнула, стала их совлекать. Белосельцев отпрянул. Поэтесса, охваченная удушающей страстью, стала срывать с себя одежды. Под корсетом, прозрачным лифом, легким, как пена, воротником, под тяжелым шелком бального платья открылись металлические пластины, клепанные сочленения, сварные швы. Высокая прическа упала, и обнажилась гладкая островерхая лысина, напоминавшая головку бронебойного снаряда. Под мышками у нее вспыхивало, несло гарью, паленой пластмассой. Вместо лобка у нее был виток спирали Бруно, на котором кровенели чьи-то изрезанные останки. Ноги двигались как чавкающие поршни, выдавливали горячую масляную смесь. Вместо ягодиц был «черный ящик», куда записывались все звуки и произносимые вокруг слова. Из-под ящика, из короткого обгорелого патрубка вырывался пахучий дымок. В промежностях со свистом вращалась ослепительная секущая фреза, выстригая все, что под нее попадало.

Поэтесса надвинулась на Белосельцева своей сталью и блеском. И тот побежал. Пробился сквозь жуткий ворох. Выскочил из задних дверей в ночной парк, где шелестели под темным ветром сырые деревья и мутно белели мраморные статуи. Помчался по аллеям, подальше от жутких пылающих окон дворца. Очнулся в глубине парка. Подумал, что сходит с ума, что все пригрезилось и он просто одурманен Трунько, прижавшим к его ноздрям вату с эфиром.

Овладел собой и вернулся к дворцу. Дворец был темен. В нем не раздавалось ни звука. Двери были наглухо заперты. Ворота затворены на щеколду. За решеткой, переливаясь фарами, мчался ночной поток автомобилей. И только перед каменным въездом, на булыжнике, темнело яблоко неубранного конского навоза, оставшегося от запряженной цугом кареты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

И на этот раз Белосельцев не нашел разгадки «Золоченой гостиной». Ему предстоял новый поход. На этот раз — в телецентр, куда звал его Зеленкович. Останкинская башня напоминала огромную луковицу, мощно выпиравшую из земли. Бетонный стебель сочно стремился в небо. Утончался, перетекал в тонкую трубку, окруженную сверкающими венчиками. Из них все выше и бестелеснее мчалось к облакам бесцветное стальное острие. На нем, едва заметный, темнел пронзенный человек. Шевелил руками и ногами, как нанизанный на булавку умирающий жук.

У входа в стеклянный объем телецентра Белосельцев был встречен самим Зеленковичем, который радостно шагнул навстречу, пламенея прозрачными оттопыренными ушами:

— Как я рад, Виктор Андреевич, что вы откликнулись на мое приглашение, что вы с нами!.. Мне успели сообщить о вашем посещении праздника механических марионеток!.. Теперь у меня нет от вас тайн!..

Они шли по бесконечным коридорам, делая резкие, под прямыми углами, повороты. Возносились на лифтах до верхних этажей. Снова рушились вертикально вниз. Шагали вдоль прямых геометрических линий, которые никак не могли пересечься в бесконечности. Двигались день, другой, целую неделю, делая привалы, разводя костры, разбивая на ночь палатки. Чуть вставало солнце, они снова пускались в путь, окруженные стеклом, которое, если наступала зима, покрывалось пушистым инеем, и Белосельцеву хотелось пальцем написать: «Я тебя люблю». А когда возвращалось лето, стекла становились влажными, как в оранжерее, и он чувствовал аромат фиалок.

Наконец, они оказались в студии, напоминавшей реанимационную палату обилием аппаратов, экранов, проводов, световодов, кресел с откидными спинками, мониторов с электронными графиками и большим горящим табло с надписью: «Тихо! Идет операция!»

— Сегодня у нас в программе несколько гостей, — пояснял Зеленкович,водя Белосельцева по студии, показывая ему множество столов с телефонами, индикаторами, компьютерами, магнитными

катушками. — Первым прибудет Маршал. Он, как известно, пользуется влиянием в вооруженных силах, этакий оплот консерватизма. Определенные слои молодежи видят в нем героя войны, безупречного патриота, радетеля советского государства. Наша задача — отнять у него образ, показать публике его убожество, сделать смешной и неопасной восковой фигурой в Музее мертвых вождей. Мы используем хорошо известные вам колумбийские технологии, опыт таких телекомпаний, как Си-Эн-Эн.

Он включил компьютер, в котором содержалось полное досье на Маршала. Его фронтовой путь. Награды. Военные округа, где служил. Звания, должности, армейские части. Его инициативы по созданию средств ПВО нового поколения. Его идеи по размещению ракет средней дальности, нейтрализующих присутствие американских «Першингов» в Европе. Твердая позиция на переговорах с Америкой по сокращению вооружений. Несогласие с выводом советских группировок из Германии, Чехословакии и Польши. Патронирование новых вооружений в Космосе в ответ на американскую угрозу «звездных войн».

Тут же были даны его психологический портрет, темперамент, история болезней, фронтовые ранения, контузия, полученная на полигоне во время испытания новой ракеты, заболевания желудка, признаки гипертонии и склероза, аритмия сердца, сосудистые нарушения в правой ноге.

Были приведены три изображения Маршала в полный рост. На одном Маршал был представлен в парадном мундире, при всех орденах, в фуражке с помпезной кокардой. На другом — рентгеновский снимок скелета, просвечивающего сквозь лампасы, ордена, эполеты. На третьем — Маршал голый, как в медицинском кабинете или в бане. Все его тело было расчленено на фрагменты, отдельные зоны, как это делают в мясных отделах магазинов, вывешивая изображение коровьей туши, с выделенной вырезкой, грудиной, окороками, ливерной и филейной частями.

— Смысл нашей методики в том, что пациент подвергается ряду воздействий, аналогичных операции на мозг, — доверительно, обращаясь к Белосельцеву как к коллеге, говорил Зеленкович. — Вы будете слышать мои вопросы, — он показал на одно из кресел, где, по-видимому, намеревался разместиться, — и читать на детекторе ответ,

который хотел бы дать Маршал, — он указал на широкий экран, по которому бежали какие-то зеленоватые строчки. — Затем услышите ответ пациента, рожденный в его деформированном сознании, — Зеленкович кивнул на второе кресло со множеством едва заметных сенсорных датчиков и электродов, вмонтированных в спинку, в подлокотники, в сиденье.

— А вот и наш гость! — радостно воскликнул Зеленкович, шагая навстречу высокому худому старику, облаченному в маршальский мундир. Белосельцев отступил в тень, погружаясь и бархатный сумрак с мерцающими стеклами камер, незажженных ламп и экранов.

— Я люблю вашу передачу, — бодро и дружелюбно заявил высокий гость, пожимав Зеленковичу руку. — Не со всем согласен, но молодежи свойственны дерзания. Мы, ветераны, готовы протянуть руку доверия, — он улыбался, старался быть комплиментарным, не отстать от времени, поддержать экспериментальную передачу, всем своим видом показывая, что не боится острых вопросов.

Худой, с длинной лысой головой, узкими глазами, тонким носом. Красные лампасы вдоль костлявых ног, золотые погоны с огромными звездами на сухих плечах красили его. Он не был похож на тяжеловесного, набрякшего от важности солдафона.

Зеленкович суетился вокруг гостя, сыпал веселыми комплиментами, усаживал в удобное кресло, которое тут же ожило, бесшумно вонзило в костлявую спину и тощие ягодички Маршала множество электродов, датчиков, прилепилось присосками, делая его частью чувствительной электронной машины. Она задышала, замерцала огоньками, озарилась экранами, затрепетала множеством импульсов.

Они уселись один напротив другого. Операторы навели несколько камер на тяжелых штативах. Еще одна камера ползала над ними на металлической ноге, похожая на железного паука. Яркий аметистовый свет озарял место их встречи. Лица едва различимых ассистентов смотрели из сумерек, сквозь стеклянные перегородки, в наушниках, за пультами и аппаратами, напоминая бригаду молчаливых хирургов.

— Пять секунд до эфира! — произнес из черноты металлический голос. Оба замерли. И когда истекли секунды, оба озарились лучезарными улыбками. Глядя на вставные фарфоровые, безупречно

белые зубы Маршала, Белосельцев не мог избавиться от мучительного чувства, что присутствует при изощренной казни.

Товарищ маршал, — Зеленкович обратился к гостю с подчеркнутым почтением. — Все чаще среди известных политиков, экономистов и общественных деятелей слышится мнение, что военно-промышленный комплекс выпивает живые соки страны. Якобы мы создали экономику танков, ракет, подводных лодок, и это мешает нам создать экономику колбасы, красивой одежды, детского питания. Как вы на это смотрите?

Маршал весело восторженно, помолодел, стал походить на бойцовского петушка. Улыбнулся Зеленковскому прощающей улыбкой, извиняя его наивную точку зрения. Ответ был готов.

Белосельцев, хоронясь в темных кулисах с тулии, возле оператора перед экраном детектора, читал в виде бегущей электронной строки текст ответа: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Военно-промышленный комплекс СССР есть ответ на агрессивный милитаризм США. Своими разработками в космической, ядерной, электронной областях ВПК питает технический прогресс страны. На оборонных предприятиях делается половина товаров народного потребления. И нельзя же, молодой человек, все сводить к колбасе, ха-ха-ха! Есть такие понятия, как Родина, государство!»

Маршал весело блеснул стариковскими, бледно-голубыми глазками, излучая благодушную, неизбежную насмешку. Открыл для ответа блеклые губы. Но оператор перед пультом нажал на клавишу с надписью «взбалтывание». Послал в головной мозг жертвы ультразвуковые импульсы, которые стали встряхивать, всплескивать содержимое черепа, как это делает бармен с перевернутым стаканом коктейля, мешая разноцветные напитки и кусочки льда. Белосельцев видел, как наполнились паникой глаза Маршала, беспомощно задрожали губы, словно тот испытал внезапный приступ морской болезни. В костяном шаре черепа плескались, хлюпали, перемешивались мозги. Он бессмысленно мычал в микрофон:

— Ну нет... Ну зачем... Ну я бы не так... Колбаса-то при Сталине была... Руль пятнадцать и два шестьдесят. Эх, вам бы с наше, ребята...

Оператор отпустил клавишу. Маршал облегченно вздохнул. Озирался, покрытый потом, не понимая, что это было.

— Товарищ Маршал. — Зеленкович изображал сочувствие к старческой немощи и слабоумию собеседника. — Такие крупные советские ученые, как Андрей Сахаров и Никита Моисеев предупреждают, что атомная война может породить «ядерную зиму» и погубить все живое. А такие писатели, как Алесь Адамович, даже создали сверхлитературу; посвященную атомной угрозе. Не могли бы мы в СССР, если мы действительно гуманисты, отказаться от самого бесчеловечного в мире оружия?

Маршал пришел в себя, овладел мыслями и готовился взять реванш. Ответ, который сложился в его мозгу был такой: «Как только мы в одностороннем порядке откажемся от наших ядерных бомб и ракет, тотчас американцы нанесут по СССР сокрушительный ядерный удар. Именно наличие у нас арсенала ядерного оружия препятствует ядерной войне. И в этом смысле, наши бомбы — не оружие войны и агрессии, а оружие мира и сдерживания. А что касается Адамовича, то я предпочитаю романы о войне Толстого, Шолохова, Бондарева».

Он собирался все это сказать, но оператор нажал другую клавишу с надписью «контузия». Направил в череп пациента серию жестких, как удары молотка, ультразвуковых импульсов. Это было равносильно ударам взрывной волны, когда от лопнувшего фугаса голова бьется о крышку люка и не спасает танковый шлем. На безжизненном оглушенном лице — скошенные, полные слез глаза и розовая слюна, вытекающая из открытого рта. Маршал не мог вернуть в орбиту вывороченные глаза. Казалось, он пережил микроинсульт. Все его функции были нарушены. Индикатор желудочной деятельности показал, что произошла утечка из прямой кишки.

— О-о-о, черт... Ну ты, на правом фланге, как стоишь... Где-то были у меня таблетки желудочные...

Зеленкович был опечален. Не торжествовал, не упивался интеллектуальной победой. Смотрел грустными глазами в камеру, обращаясь к телезрителям, прося их не судить слишком строго, питать уважение к седидам человека, отдавшего силы служению Отечеству.

Белосельцеву хотелось подбежать к заслуженному полководцу отодрать его от коварного кресла, отключить от жестокой машины, вывести вон из пыточной камеры. Но он оставался на месте, не смея выдать себя.

—Товарищ Маршал, — печально продолжая Зеленкович. обращаясь с гостем как с больным ребенком. — Как вы относитесь к советскому вторжению в Афганистан, которое, теперь мы говорим об этом открыто, было актом агрессии. Стоило нам тринадцати тысяч солдатских жизней, повлекло бессчетное количество жертв и несчастий на афганской земле, породило у вернувшихся из Афганистана солдат синдром «потерянного поколения»?

Маршал совершал героические усилия, приводя свой травмированный разум в порядок. Сжимая зубы, набирая полную грудь воздуха, подымал плечи с золотыми погонами. Ответ, с которым он хотел обратиться к мучителю, был таков: «Если бы не мы вошли в Афганистан, вошла бы Америка. На наших южных рубежах могла возникнуть враждебная группировка, подрывающая основы нашей стабильности. Разместились бы разведывательные станции, ракеты «Першинг» с подлетным временем, позволяющим уничтожить нефтяные поля Западной Сибири. Мы действовали в интересах мировой социалистической системы, во вред американскому милитаризму Это была ваша, молодые люди, Испания, вам надо этим гордиться, друзья мои!»

Но этому ответу не суждено было прозвучать. Оператор утопил клавишу с надписью «Паркинсон». В спинной мозг истязаемого, в раскрывшуюся чакру копчика, в затылочные позвонки, в мозговые центры, управляющие речью, вонзились бесшумные энергии. Маршал дернулся, вывалил белый мучнистый язык, скорчился в кресле. Руки его мелко затряслись, ноги беспомощно заскользили. Он стал заваливаться, цепляясь за подлокотники.

— Эх, дураки... «Аллах акбар!»... «Идут караваны, сидят в них душманы...» Товарищ Генеральный секретарь... О-у- э-а-о-о-о... — застонал он. ворочая набухшим языком, который казался мокрой розовой мышью, застрявшей у него во рту.

После этого один за другим посыпались вопросы ведущего:

— Не кажется ли вам, что наша идеология слишком проникнута милитаристским духом? Все эти фильмы про войну, военные парады, помпезное празднование Победы, которое не соединяет, а разделяет советский и немецкий народы?

Маршал уже не отвечал, а лишь беспомощно постанывал. Оператор нажал клавишу с надписью «веселящий газ», и пациент

вдруг блаженно улыбнулся, стал зевать, исходить дурацкими смешками, словно его щекотали.

— Благодарю за ответ, — съязвил Зеленкович. — Но, вопреки уверениям военного руководства, наша армия не является «коллективным воспитателем» молодого поколения, напротив, она насаждает самые бесчеловечные, зверские отношения между людьми. Я имею в виду неуставные отношения, которые напоминают блатные законы тюрьмы. Сколько молодых людей возвращаются из армии с искалеченной психикой!

Оператор коснулся клавиши с надписью «трепанация». Спинка кресла стала наклоняться, голова подопытного откинулась навзничь.

— Откуда, скажите на милость, такая жестокость у наших военных? Такая бесчеловечность? Я имею в виду случай с японским пассажирским лайнером, который был сбит советской ракетой. Ведь мы с вами знаем, что разговоры о «разведывательном полете», о «самолете-шпионе» — все это вздор. Нужно быть палачом, чтобы пустить ракету в переполненный пассажирами «боинг», не пощадив ни детей, ни женщин.

К черепу маршала потянулась присоска.

— Но теперь, товарищ маршал, когда между вами и телезрителями установились доверительные отношения и они видят в вас прогрессивного человека, разделяющего новое политическое мышление, ответьте откровенно. Разве вы не чувствуете возможность военного переворота? Разве не исходит от реакционных армейских кругов угроза нашей перестройке? Мы знаем, что далеко не все военные готовы поддержать путчистов. Есть честные генералы, истинные демократы в погонах, которые не отдадут приказ стрелять в народ. И даже, в случае военного мятежа, готовы перейти на сторону народа. С кем будете вы, товарищ маршал?

Бригада хирургов ставила вертикально спинку кресла, в котором бессильно лежал пациент. Его долгоносая, бледная голова была плоско срезана на вершине. Череп накрыли крышкой. Шов смазали клеем. В просверленные лунки засыпали костяные стружки. Наложили прозрачную, почти незаметную перевязь. Маршал величаво восседал в кресле, блестя золотыми погонами с огромными звездами, прямой, подтянутый, обаятельный.

— На этом я хочу поблагодарить нашего гостя. Надеюсь, мы еще встретимся в эфире с этим замечательным человеком, — улыбался Зеленкович. — А теперь перейдем ко второй части нашей передачи.

Камера поплыла от Маршала в сторону. К нему тут же подскочили ассистенты. Подхватили за руки, с силой вытащили из кресла. Поволокли из студии. Маршал гордо, не мигая, смотрел перед собой окаменелыми глазами. Тощие ноги с алыми лампасами бессильно волочились. Он напоминал восковую фигуру, которую переставляют с места на место. На мониторах пульсировали вспышки и импульсы. Это бился в прозрачных тенетах отобранный у Маршала образ. Бесшумно кричал от боли.

— Чашечку кофе, Виктор Андреевич? — Зеленкович, немного усталый, вытирал руки гигиенической салфеткой. — У нас есть четверть часа, пока в эфире документальный фильм из Прибалтики. Все-таки, «Саюдис» — это великое освободительное движение! Живая цепь на десять километров с цветами, свечами. Ее тоже из вертолетов расстреливать? Не выйдет! После таких передач, как та, что вы только что видели, это уже невозможно! Вам понравилось?

— Мне нечему вас учить, — Белосельцев уже овладел собой. — После такой передачи Генеральный штаб не способен провести даже взводные учения, не то что войсковую операцию.

— Но это еще не все! — Зеленкович был польщен. — Это лишь первая волна бомбардировки. Пауза — десять минут, и новая волна, добивающая. Этот принцип двойного воздействия мы почерпнули из теории тотальной воздушной войны итальянца Дуэ. Он приложим и к тотальным информационным войнам, которые мы сегодня ведем. Я раскрою перед вами все карты, Виктор Андреевич. Мне нечего скрывать от человека, с которым предстоит совместная работа. Методика, с которой я вас сейчас познакомлю, называется «вибрация мира». — Миновав тонкую перегородку, они перешли в соседнюю студию.

Здесь тоже были телекамеры, осветители с цветофильтрами, зеркальные панели, система стеклянных призм, параболические отражатели. Все вместе напоминало обсерваторию или оптическую машину, еще незапущенную, без вспышек, лучей, бегающих спектров и радуг.

На полу перед камерами были небрежно разбросаны электрогитара, саксофон, синтезатор, барабан. Тут же, на полу сидели странные персонажи в драных джинсах, потертых куртках, линялых потных майках. От них пахло дымом свалок, испарениями больниц и дешевых шашлычных. Они напоминали типов, что появлялись вечерами в переходе на Пушкинской площади, выползая из своих нечистоплотных убежищ, где прятались от солнечных лучей. Были вялые, мятые и болезненные. Их немытая кожа с едва заметными признаками распада казалась дряблой, сморщенной, зеленоватого цвета плесени.

Белосельцев узнал в них членов известной рок-группы «Перемены», сводившей с ума экзальтированные молодежные толпы. Ее солист, тощий скуластый кореец с ревматическими вздутиями запястий, полусонно смотрел на вошедших, вытащив из башмаков большие ступни в носках, сквозь которые из дыр выглядывали желтые загнутые ногти. К его плечу привалился бритый наголо негр. Казалось, он спал с открытыми глазами, — фарфоровые голубоватые белки, красный рот с влажным выпавшим языком, маслянистый, безволосый череп, бессильные кисти рук, отвисшие под тяжестью металлических перстней. Тут же притулился маленький белесый человечек, по виду вепс или эстонец, — не мигая что-то вяло жевал, отчего в уголках его дряблого рта скопилась желтоватая пенка. Отдельно, согнув в коленях длинные ноги в рабочих бутсах, опираясь на сильные, со стиснутыми кулаками руки, с огромной носатой головой и пышной, отлетающей назад шевелюрой, напоминающей хвост черной кометы, сидел человек в майке с американским флагом, на которой желтело пятно засохшего пота.

— Хай! — Зеленкович, войдя, щелкнул в воздухе пальцами, привлекая к себе внимание. — Мальчики, пора просыпаться. Через десять минут — эфир.

— А ты разбуди, — сонно ответил кореец, передернув в судороге желтые скулы.

— Хотите кольнуться? — весело спросил Зеленкович.

— Давай хоть клизму, — сказал негр, с трудом шевельнув языком.

— Мальчики, встаем, встаем! Пора кушать! — Зеленкович повернулся к дверям и снова щелкнул пальцами.

В дверь протиснулся маленький человек в белом халате, с кожаным саквояжем. Смуглое мохнатое рыльце, темные веселые глазки, седенькие волосы, окружавшие коричневую лысину, чуткие, в пуху, округлые ушки делали его похожим на мартышку, которая обеими лапками держала перед грудью саквояж, словно орех кокоса.

— Что за уебище? — с отвращением спросил кореец.

— Мутант, — отозвался барабанщик.

— Может, ему гитарой по жопе? — предложил негр.

— Мальчики, это наша знаменитость, доктор Адамчик. — представил вошедшего Зеленкович. — Он вам сделает укольчик сыворотки из крови неродившихся младенцев. У вас тотчас вырастут крылышки. И вы станете летать на экране.

— А можно не укольчиком, а просто из кружки хлебнуть? — устало поинтересовался негр.

— Вампир? — безразлично спросил кореец.

— Эту инъекцию доктор Адамчик вкалывает самому Президенту России, — рекламировал тонизирующее средство Зеленкович. — Только благодаря этой подпитке Президент справляется с нечеловеческими нагрузками

— Он же урод, Президент, — произнес вепс.

— Зато наш урод, — уточнил человек в майке с американским флагом.

— Мальчики, кончайте пиздеть. Эфир через семь минут, — Зеленкович повернулся к морской свинке, которая дружелюбно обнюхивала всех розовым носиком, мигала маленькими милыми глазками. — Доктор, превратите этих сонных карликов в великанов.

Доктор открыл саквояж. Извлек из него флакон с желтоватой жидкостью. Пухлый шприц с толстой иглой. Зачехлил свои ловкие лапки в резиновые перчатки. Пронзил иглой резиновую пробку флакона, Всосал целебный настой. Вытащил иглу и брызнул вверх летучим фонтанчиком.

— Нуте-с, молодые, талантливые, — по-отечески обратился Адамчик к музыкантам. — Будем кататься, будем саночки возить.

Когда инъекция была закончена, Зеленкович хлопнул в ладоши, сел в кресло ведущего, приглашая к пультам и установкам операторов, указывая Белосельцеву место в дальнем конце студии. — Внимание, мальчики, эфир через три минуты!

Белосельцев из темного угла видел, как происходит чудо. Кореец, минуту назад сонный и дряблый, стал наливаясь силой и бодростью. Его сухожилия стали свежими и подвижными. Тело выпрямилось, напряглось, по нему прокатывались конвульсии нетерпения, ярости, Схватил гитару и нанес ей страстный, больной удар, отчего все струны разом возопили, загрохотали, ссылая с себя электрические безумные брызги. Стоял перед микрофоном, острым плечом вперед, похожий на тореадора. По его скуластому лицу пробегали молнии света, горло, наполненное глухим утробным рокотом, вздулось жилами, словно внутри заработал, набирал обороты могучий двигатель.

Неф стал великаном. Было видно, как на мускулистой груди взбухает и опадает огромное сердце. На голом черепе взбухли черные вены, в которых бурлила и дрожала кровь. Шея, толстая, словно чугунная колонна, покрылась потом, и он казался огромным сосудом, переполненным черной ртутью. Извлек из барабана древний африканский звук, которым в джунглях будят угрюмого бога.

— Пять секунд до эфира! — выкликнул истерический, измененный мегафоном голос.

Вспыхнул яркий аметистовый свет. Отразился в плоских зеркалах. Свернулся в тонкий слепящий луч. Пробежал сквозь призму, разлагаясь на ослепительные спектры. Стал скакать, метаться, уловленный в оптическую машину, словно вращалось в прозрачном объеме огненное веретено.

— Мы требуем пе-ре-мен!.. — кореец с гитарой шагнул вперед, жутко набычив голову. Выставил челюсть, ударяя струны, подпрыгивая, стуча башмаками о землю. Воздел к небу глаза, словно выкликал кого-то из клубящихся, обвитых молнией туч. — Пе-ре-мен!.. Пе-ре-мен!..

Белосельцев почувствовал, как колыхнулось пространство и в грудь ударила сложная, из множества колебаний, волна, от которой стало дурно и тягостно, как перед бедой.

— Пе-ре-е-мен-н-н-н!.. — негр бил в ударник, рокотал, подбрасывал звук, выворачивал его наизнанку. Дробил на молекулы. Лепил из них новые формы. Похожие на змей. На уродливых рыб. На оголтелых стремительных птиц. На выползающих из земли червей. На удушающие ядовитые цветы. На растерзанную плоть. На вырванное бурей дерево. Эти образы вырывались один из другого, и

Белосельцев чувствовал, как качаются основы мира, дрожит земная кора, и ноги его чувствуют землетрясение.

Оптическая машина, уловившая луч света, разгоняла его, сворачивала в спираль, сжимала в сверхплотное пятно. Манипуляции света сотрясали пространство, меняли ход времени, и мироздание распадалось, выворачивалось наизнанку

— Мы требуем перемен-н-н-н!..

От этих вибраций крошился бетон подземелий и шахт, превращались в труху боеголовки, начинали плавиться танки. По кремлевским башням бежали трещины, останавливались куранты, выпадали рубиновые пластины из звезд. Высыпали на улицы толпы наркоманов и панков, бушевали демонстрации в Риге, в Тбилиси подростки сжигали советский флаг.

Белосельцев чувствовал космический ужас, словно к земле приближался метеорит и было невозможно избежать столкновения. Он хотел уменьшиться, превратиться в кузнечика, спрятаться в корнях травы, чтобы переждать катастрофу, пропустить над собой смерч разрушений, волну потопа, испепеляющий землю пожар.

— Виктор Андреевич, вы где? — раздался бодрый голос Зеленковича. Белосельцев не откликнулся. На переломанных ногах, держась за стену, он покидал фантастическую студию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бизнес-клуб размещался в министерстве, неподалеку от Китай-города, в уныло-тяжеловесной конструктивистской громаде. Сквозь нее вели одинаковые, нечистые коридоры с мигающими люминесцентными лампами, похожие на сумрачные туннели, с бесконечными рядами одинаковых дубовых дверей. За каждой — однотипное убранство кабинета, крашенные масляной краской стены, стандартные шкаф и стол, телефоны, и какой-нибудь помятый служащий среди потертых папок, бумажных кип, плохо вымытых глиняных кружек с остатками вина или чая. Бизнес-клуб расположился в отдаленном углу министерства, отсеченный от коридора сплошной стеклянной панелью, за которую не пускал строгий страж в униформе. Здесь стояли итальянские диваны и кресла, удивительно удобные и уютные, в морщинах и складках, как кожа на боках носорогов. На стеклянных журнальных столиках небрежно лежали «Таймс», «Ньюсуик», «Шпигель». Красивый бар с медной стойкой сверкал заморскими флаконами, поражающими экзотическим разнообразием после выморочных винных отделов с одинаковыми грязно-зелеными бутылками, предназначенными для истребления вражеских танков. Стены в матовых шершавых обоях. Чудесный камин с тлеющим рубиново-черным поленом. Столики с крахмальными скатертями и салфетками, с дорогим стеклом и фарфором, с хрустальными подсвечниками, в которых стояли целомудренно белые, ни разу не зажигавшиеся свечи. Каждый предмет, каждая серебряная ложка, каждая абстрактная картина в нарядной раме были доставлены по морю или воздухом, свидетельствовали о безбедной жизни, иной красоте и достатке. И даже официанты, вышколенные, в малиновых сюртуках, с салфетками наперевес, казалось, были вызваны на один только вечер из парижского или нью-йоркского ресторана.

Когда Белосельцев вошел, здесь было весьмалюдно. В диванах и креслах удобно утонули собеседники. Другие прогуливались, пуская ароматные дымы дорогих сигарет. Третьи снимали с подносов бокалы с вином, толстые стаканы с виски. Держали на весу отпивая, неспешно кружили по залу, подходя к открытым дверям, откуда виднелась

плоская крыша, превращенная в сад, горели огни вечернего города, веяло прохладой.

— Виктор Андреевич, гость долгожданный! — Ухов, невысокий, юркий, остроглазый, появился перед Белосельцевым, создавая на лице из коричневых чутких морщин сложный узор дружелюбия, разбегающийся орнамент гостеприимства, затейливый иероглиф доверия и симпатии. — Для вас заказан отдельный столик. Быть может, сегодня за этим столиком окажутся вместе два выдающихся мыслителя, взгляды которых на бытие определяют ход нашей новейшей истории, — он создал из морщин сложную паутину, в которой билась лукавая мысль. — Наш великий Академик захотел приехать и лично познакомиться с новым классом собственников, который мы создаем. Ведь именно этот класс становится локомотивом истории. Этот капиталистический класс должен воспринять идеи великого человека, чтобы реализовать их на практике. Кроме того, мы ждем Финансиста, который должен привести новостей на три миллиарда долларов!

Нельзя было понять, говорит ли Ухов искренне или насмехается над престарелым, выживающим из ума Академиком, а также над пестрой публикой, которая, изображая сливки общества, была неуверенна, встревожена, ожидала подвоха.

— Все, кто сюда приглашен, прошли тщательный отбор и тестирование. Когда рухнет неуклюжая и полуживая советская экономика, именно этим людям перейдет во владение социалистическая собственность. У них большое будущее, впереди их ждет богатство и большая ответственность. Знакомства, которые вы завяжете сегодня, будут знакомствами с завтрашними миллионерами.

Мимо них проходил рыхлый крупный толстяк с лысой, желтой, словно дыня, головой, черными усиками Чарли Чаплина, с бегающими чернильными глазами, полными хитрого и трусливого блеска.

— Заметьте, это крупнейший теневик из Тбилиси. Сделал миллионное состояние в подпольных цехах, производящих пластмассовые плащи и зонтики. Два раза сидел в тюрьму. Теперь ему собираются передать во владение Уралмаш и ижорские заводы, делающие ядерные реакторы для подводных лодок. Его путь — от простых зонтиков к ядерным! — Ухов захохотал. Теневик повернулся на его смех огромной рыхлой бабьей грудью.

Им поклонился издалека высокий, в превосходно сидящем костюме красавец, своим открытым лицом, светлыми, над широким лбом волосами, синими дерзкими глазами похожий на Валерия Чкалова.

— А это знаменитый «красный директор», — пояснял Ухов, гордясь коллекцией собранных видов. — Он дважды Герой Соцтруда, управляет половиной автомобильной промышленности, которая вся перейдет в его собственность. Наш будущий русский Форд.

Двое чокались бокалами с шампанским как старые знакомцы, пожимали друг другу руки. Один — круглолицый коротышка в неловко сидящем костюме, в потертом, плохо завязанном галстуке, похожий на бухгалтера. Другой — восточный красавец, элегантно одетый, с многоцветной бриллиантовой капелькой в шелковом галстуке.

— Вот тот вахлячок — начальник дальневосточной рыболовецкой флотилии, которая ловит кальмаров и крабов от Курил до Камчатки. Миллионные доходы, торговля с Японией. Ему перейдет флот, и он станет собственником богатейших в мире морских ресурсов. Второй, бакинец, контролирует нефтедобычу в Сургуте, Нижневартовске, Саматлоре. Ему уготована роль владельца частной нефтекомпании, сопоставимой со «Стандарт Ойл». Так что эти двое скоро получают дары Божьи, — «дары земли» и «дары моря».

Молодой человек, сдобный, лысый, покрытый белым пухом, с голубыми, водянисто сияющими глазами. Рука в кармане итальянских брюк, нога в плетеной туфле картинно отставлена.

— Очень перспективный банкир. В комсомоле вел финансовые операции в международном отделе. Под него создается крупный коммерческий банк. «Деньги партии», как их называют, будут закачивать в его финансовую структуру. Говорят, на него есть компромат, фотографии, где он участвует в оргии с молодыми комсомолками на курортах Крыма. Ничего страшного, — отличное средство контроля за финансовой деятельностью. — Ухов изобразил морщинами сложную гамму чувств, от восхищения до глубокого сожаления. Сжал все морщины в плотный кожаный пучок и спрятал в глубину лица, как осьминог щупальца. — Я вас ненадолго оставлю, Виктор Андреевич. У вас обширное поле для наблюдений. — Ухов

ушел, маленький, шустрый, раздавая поклоны, целуясь, похожий на пчелку, перелетающую с цветка на цветок.

В гостиной у входа возникло оживление. Публика, будто в каждом был маленький чуткий компас, устремила слой взор на север. Но вместо Полярной звезды на пороге возник очень полный человек в прозрачных складках жира, ниспадающих от желеобразного подбородка на оплывшие плечи, тучную грудь, выпуклый непомерный живот, до огромных ляжек, которые колыхались в брюках, словно два холодца. Человек был по-детски румян, благодушен, весело мерцал маленькими синими глазками.

«Финансист», — узнал Белосельдеа могущественного распорядителя партийной казны, из которой непомерные деньги омывали огромный архипелаг партийных организаций и центров на всех континентах. Были загадочным «золотом партии», которое когда-то, на заре века появилось в России. Свергло монархию, выиграло Гражданскую войну, легло в основу «цивилизации советов», окропив строительство заводов-гигантов, университетов, электростанций. Скрылось из вида среди финансовых потоков неоглядной, разбогатевшей страны, превратилось в миф, в легенду. Но тайно присутствовало, упрятанное в неведомых катакомбах, как неразменный рубль, магический слиток.

— Господа, к столу, к столу! — громко выкрикнул Ухов, хлопая в ладоши, давая знак величавому, похожему на лорда метрдотелю.

Все усаживались за столики, разводимые по местам всеведущим метрдотелем. Белосельцев оказался один за сервированным столом, среди сверкавших хрусталей и фарфоров. Смотрел, как склоняются в осторожных поклонах официанты, зажигают свечи в стеклянных подсвечниках, показывают гостям толстокожие скрижали с перечнем блюд. И те, одолевая смущение, не привыкнув к респектабельной обстановке закрытого клуба, где каждый должен был чувствовать свою избранность, аристократизм, особую, вмененную ему роль, — стелили на коленях малиновые салфетки, засовывали их себе за ворот, разглядывали меню.

И вот потекли подносы, влекомые молчаливыми статными слугами, напоминавшими танцоров магического ритуального танца. Величаво ступали, как манекенщики на подиуме. Застывали на мгновение. Плавно поворачивались, давая залу обозреть вносимое

блюдо, на котором лежал молодой барашек с коричневой румяной спинкой, стоящий на коленях в позе жертвенного агнца, с темными, словно маслины, кроткими глазами. Рядом — такой же аппетитный, лакированный и блестящий от масла поросенок с подогнутыми копытцами и смешным милым рыльцем, на котором застыла детская улыбка. Огромный зазубренный осетр с колючей мордой и зубчатой спиной, напоминавшей пилу, с острыми, как оперенье мины, хвостовыми плавниками. Громадные, словно ядра, жареные индейки и гуси с бумажными плюмажами на хвостах, с разноцветными хохолками на головах. Это животное царство, ощипанное, ошкуренное, опаленное, начиненное овощами и фруктами, политое благовонным елеем, излучало таинственный свет даров, принесенных на алтарь могущественному божеству. И те, кто созерцал явление даров, кто был готов их поглощать, пережевывать и усваивать, сознавали себя служителями священного культа.

Рыбы, птицы и звери, покружив среди столов на серебряных блюдах, исчезли, чтобы через минуту явиться на подносах в рассеченном виде, пригодном для поедания.

Официанты с изяществом балетных танцовщиков, в полупоклонах, поддерживая за донце и горлышко черные бутылки с наклейками, показывали гостям вина Франции и Италии, наливали в фужеры золотое, розовое, черно-красное вино, ловко подхватывая салфеткой падающую пунцовую каплю, показывая гостю, как мягко она расплывается на крахмальной ткани.

— Господа! — Ухов легонько постукивал ножом по звонкому хрустальному бокалу, привлекая внимание. Превращал морщины лица в расходящиеся солнечные лучи. — Наш торжественный сбор, наш товарищеский ужин объявляю открытым. И было бы естественным предоставить первое слово, услышать первый тост от человека, которому мы все обязаны нашим замечательным настоящим и нашим победным будущим и о котором каждый из нас, не сомневаюсь, сложит свою фамильную легенду, свое родовое предание. Родословная новых российских банкиров, гербы новых купцов, история наших гильдий и торговых домов так или иначе сохранит память о своем главном зачинателе и родоначальнике! — Ухов повернулся к Финансисту, приглашая его произнести первую застольную речь. Все собравшиеся неистово зааплодировали.

Толстяк, преодолевая гравитацию Земли, отжимал свой вес трясушимися ляжками. Подымая себя на толстых колоннах ног, возвысился над столом.

— Товарищи дорогие, — он преодолевал одышку, словно поднялся на высокую гору. — Вы те, кого мы тщательно отбирали, лучшие из лучших, талантливые из талантливых, чьи личные дела и досье я читал собственными глазами, — он дружелюбно замигал синими бусинами. — Вы составите новый класс советских капиталистов, которых партия создает собственными руками, по замыслу наших партийных теоретиков и экономистов. Социалистическая собственность скоро станет вашей собственностью, но при этом по-прежнему будет служить социализму...

Финансист говорил как добрый наставник и терпеливый учитель. Белосельцев вспомнил школьную карту с нанесенными на нее месторождениями золота, меди, алмазов, значками заводов и домен, электростанций и морских портов. Тому, бледнолицому, с иссиня-черными язычками волос на подбородке и над верхней губой, перейдут кемберлитовые трубки Якутии. Тому, жадно внимавшему, забывшему закрыть сладострастно дышащий рот, достанутся газовые месторождения Уренгоя. Тому, что слушал Финансиста, как слушают великих музыкантов, прикрыв глаза, с недвижной мучительно-сладостной улыбкой, отойдут электростанции Енисея. Тот, с белыми костяшками длинных, сцепленных пальцев, станет владельцем сталеплавильного комбината в Липецке. Все они знали свои будущие вотчины — бывшие стройки коммунизма, жемчужины советской промышленности. Сидели с большими ножницами, готовые вырезать из географической карты принадлежавшие им рудники и заводы.

— Мы наделяем вас огромными правами, но это не значит, что вы будете бесконтрольны, — продолжал Финансист. — Мы передаем вам огромные ценности государства и будем следить, чтобы вы ими правильно распорядились. Каждого, кого мы делаем банкиром, или медным магнатом, или президентом нефтедобывающей компании, мы станем контролировать. Помогать в трудных ситуациях. Учить тех, кто невольно ошибается. Но строго наказывать тех, кто злоупотребляет доверием партии...

Белосельцев почувствовал, как воздух перед его глазами стал прозрачнее и голубее, выгнулся, словно оптическая линза. Стало видно

далеко во времени и пространстве, как если бы он обрел ясновидение. Тот вальяжный, в кружевной рубаше и бабочке, с бодрым коком, насмешливый и презрительный, будет убит по наущению своего визави, златозубого кавказца, с которым не поделят игорный бизнес, и растерзанный взрывом «мерседес», заляпанный мозгами и кровью, мелькнет на экране, напугав телезрителей. Тот лысоватый, с куцей бородкой и хрупкой гусиной шеей, знаток финансовых махинаций и биржевых торгов, умрет мучительной смертью, не обнаружив в кожаном кресле крупниц радиоактивного цезия, испепелившего его прямую кишку. Его сосед, с пышными усами, в золотых очках, явившийся после стажировки в Оксфорде, будет найден в подъезде с кровавой дырой во лбу. Страна узрит его пышные похороны, идущих за гробом друзей и партнеров по бизнесу, среди которых, печальный, весь в черном, пройдет неузнанный убийца.

— Мы, вашими усилиями и умами, создаем общество гармоничных отношений между трудом и капиталом, властью и бизнесом. Мы сдвинем нашу страну с мертвой точки и покажем миру русское чудо. Не сомневаюсь, к началу двадцать первого века мы станем самой процветающей и счастливой страной мира...

Белосельцев видел взрывы, раскалывающие страну, как огромную льдину. Багровые, по всему горизонту пожары, дороги, по которым пылят погорельцы и беженцы, бессчетные кровавые схватки, где сшибаются ненавидящие друг друга народы. Видел танки, стреляющие в центре Москвы, дымящиеся дыры на фасадах дворцов и соборов. Видел города, стираемые до земли ударами штурмовиков. Все беды и ужасы, с которыми прежде встречался на воюющих континентах Азии и Африки, рванулись в его страну, проломили границы, наполнили Родину непомерным страданием, среди которого, отгороженные стенами, овчарками, охраной, электрическим током, восседали новые владельцы страны — те, что слушали сейчас Финансиста.

— Итак, дорогие товарищи, — толстяк своей маленькой ручкой поднял стакан с вином. — Мы передаем вам деньги, рудники и заводы, но тесная связь между вами и нами сохраняется. Каждая отданная вам копейка, каждый полученный вами станок останутся под нашим контролем и в случае несоблюдения договора будут немедленно отобраны, — Финансист оглядел всех своими синими веселыми бусинками и выпил вино.

Все радостно аплодировали, картинно чокались, пили стоя. Поглубже засовывали под пиджаки малиновые салфетки. Накладывали на фарфор осетров, поросят, розовых крабов. Цепляли вилками бараньи семенники, телячьи языки, воловьи глаза, антилопы хвосты, змеиные тушки, содержимое перламутровых раковин. Подливали вино из подвалов бургундского герцога. Ликовали, радовались как дети. Обменивались визитками, заключали договоры, пили здоровье благодетеля, который колыхался ниспадающими волнами жира, благодушно слушая льстивого, подобострастного Ухова.

Внезапно звон бокалов, хруст костей, гомон и смех прекратились, и все общество разом оборотилось к дверям. Ухов, как заяц, скакнул из-за стола и прытко кинулся к порогу. Там появилась долгожданная супружеская чета. Великий Академик, творец термоядерной бомбы, мученик и диссидент в недавнем прошлом, а ныне «совесть нации» и духовный отец реформ. Рядом его жена, верный спутник, подруга, разделившая с ним ссылку и мучительные раздумья о судьбах мира.

Оба стояли у порога, слушая нарастающие овации. Белосельцев, ожидавший явление Демиурга, остро и жадно всматривался.

Академик был худ, чуть горбат, с нежной розовой лысиной. Его голова свесилась набок на хрупкой беспомощной шее. Движения были неустойчивы, ноги шаркали, губы и подбородок слабо тряслись, и он подслеповато взглядывал водянистыми голубыми глазами, в которых скопились и не вытекали прозрачные, как березовый сок, слезы. Его жена, напротив, была крепка, жилиста, с твердыми беспощадными губами и маленьким плотным клювом, к которому, казалось, прилип белый пух, склеванный с головы Академика.

Ухов, кланяясь, извиваясь, складывая из морщин множество самых разных фигур, вел чету прямо к столику, за которым сидел Белосельцев. Академик, повалив к плечу голову, тряся перед грудью бессильными бледными пальцами, неверно ступал, боясь поскользнуться, похожий на понтифика, у которого начинала развиваться «трясучка», что придавало ему сходство с блаженным.

— Прошу вас, — усаживал Ухов сначала жену, а потом ее мужа, представляя им Белосельцева. — Надеюсь, вам будет за этим столом интересно. Что желаете выпить? — через плечо он щелкнул пальцем официанту.

— Мне пепельницу! — строго приказала жена, недовольно осматривая сервированный стол, на котором было все, кроме пепельницы. — Еды не надо. Мы только что отужинали у Бориса Николаевича. Мне бокал вина, ему, — она указала на Академика, — стакан нарзана. Дорогой, тебе пора принимать таблетку!

— Мы будем ждать от вас напутственного слова, — обратился Ухов к Академику. — Собравшаяся здесь публика воспитана на ваших идеях.

Жена извлекла из сумочки серебряный портсигар с рельефом змеи, у которой в голове мерцали два крохотных рубина. Достала длинную сигарету, кофейно-коричневую, тонкую, с изящным золотым ободком. Официант тут же протянул огненный язычок зажигалки. Она прикурила, отчего на конце сигареты зажегся таинственный, как в голове у змеи, рубин. Долго, с нарастающим звуком, вдыхала дым. Оторвала от сигареты губы, обнажив ряд пожелтелых зубов. Выдохнула дым долгой ядовитой струей, умело направив ее точно в ухо Академика. Переполненный дымом, тот задохнулся, стал терять сознание, глаза его выпучились как у рыбы, выдавив две крупных слезы.

— Дорогой, съешь таблетку, — из того же портсигара она извлекла зеленоватую облатку, спрессованную из какой-то высушенной плесени. Засунула ее в рот Академику с силой вливая нарзан в нераскрывающиеся губы. Академик, привыкший к насильственному питанию, слабо глотнул, приходя в себя, умоляюще глядя на Белосельцева. Жена сильным красивым жестом стряхивала сигарету в пепельницу, посыпая горячим пеплом стеклянные радуги.

Белосельцев исподволь рассматривал Академика, стараясь угадать в нем Демииурга. Все говорило за это. Под розовой голой лысиной, под сводом хрупкого черепа таился гигантский мозг, создавший бомбу, хранивший знания об истинном устройстве материи, о скорости светового луча, о магической трансформации элементов, о превращении урана в плутоний, пепла в алмаз, глины в золото, добра во зло, женщины в мужчину. Слезящиеся голубые глаза видели Лаврентия Берию, солнечный блеск его очков, горящее золото зубов под черными усиками, синеватые бритые щеки, когда вместе стояли на вышке, прижав глаза к окулярам. В казахстанской пустыне полыхала слепящая вспышка, медленно всплывала огромная, розовая, во все

небо, медуза, окруженная пышными кружевами, гул от удара трижды обежал землю и замер в остановившихся наручных часах. Его бескровные дрожащие губы что-то нашептывали, какое-то тихое заклинание, от которого замирал ход времен, история государства меняла свое направление, свертывалась, как стебель, потерявший из виду солнце, начинала извиваться в потемках, пока не упиралась в камень глухого подвала, куда поместили ее волхвования великого чародея. Этот дряхлый телом подвижник с лицом идиота властвовал над умами, приводил в восторг толпы, диктовал вождям, останавливал армии, готовил изъятие «красных мощей» из Кремлевской стены. Сидящий перед ним человек был несомненно Демиург, управлявший всеми элементами «оргоружия». Создавший, вслед за ядерной, сверхмощную «организационную бомбу», после взрыва которой развернется котлован размером в шестую часть суши, наполненный ртутным паром.

— А сейчас мы послушаем нашего драгоценного гостя, чьи великие открытия в физике соизмеримы лишь с величиим его гражданского подвига. При всей своей огромной занятости он выделил время для встречи с нами, и я хочу, чтобы вы запомнили его слова и передали их благодарным потомкам, — Ухов захлопал, обращая свое кожаное лицо к Академику.

— Дорогой, ты должен сказать, — жена больно ущипнула Академика за тощую ляжку. Засунула ему за пазуху салфетку, вставила в пальцы сосуд с нарзаном заставила встать.

— Я... мы... мне хотелось сказать... я бы очень хотел — заблеял он, как печальный бекас, стараясь схватить разбегавшиеся мысли. — Как все человечество... с новым политическим мышлением... преодолев трагическое расщепление эпохи... в чем, конечно, зловещая роль коммунизма. Братья мои, смирим ожесточенные наши сердца, укротим страсти и похоти, обратим духовные очи наши ко Господу Милосердному и Благому... — он сложил молитвенно руки, воздел к потолку страдающие глаза. Но жена снова больно ущипнула его. Сделала долгую сипящую затяжку и, не подымаясь со стула, пустила ему в ухо длинную точную струю дыма. Академик задохнулся, обомлел, выпучил глаза. Застыл в столбняке, переполненный никотиновым ядом. Дым медленно выходил из его ноздрей,

приоткрытого рта, из рукавов пиджака, из мятых, вислых штанин. Стоял, окутанный вялым дымом, словно тлел изнутри.

— Дорогой, продолжай, — тихо приказала жена

— Мне выпала честь... на переломе истории конвергенция двух систем... ибо ряд общих черт... в творчески преодоленном марксизме... Братья, любите друг друга, простите врагов своих, накормите голодных, обогрейте вдов, утешьте плачущих, отворите сердца навстречу Богу Живому, ибо нерукотворен сотворенный Господом мир, и Ангел Его несет нам Благоую Весть.... Как вы знаете, молчаливо-послушное большинство... творческих усилий межрегиональной группы... обращаемся к народам Прибалтики... остановить ползущую гидру реакции. Братья мои, един Госпожь и боаженны исполняющие волю Его, ибо в основании мира лежит всеблагая, всеобъятная любовь Господа к тварям своим, в коих брезжит немеркнувший Свет Божий...

Женя сильно дернула Академика вниз. Он больно упал на стул, ударившись костлявыми ягодицами. Она улыбнулась залу, припала к его устам, делая вид, что жарко целует, сама же впустила в него клубящуюся, полную копоты и синильных ядов струю, в которой смешался дым сигареты и ее собственное, отравленное дыхание. Академик на секунду потерял сознание. Пребывал в состоянии клинической смерти. Его душа неслась по узкому туннелю, навстречу пятну света, в котором кто-то ждал его, дорогой и знакомый, с темными усиками, поблескивая стеклышками пенсне. Душа не долетела до светлого пятна, вернулась в мир. Академик лишь на секунду вкусил жизнь после смерти. Опять оказался среди людей, делающих перестройку.

Кругом аплодировали, пили его здоровье. Жена пересела за соседний столик к молодому талантливому бизнесмену с румянцем на молочных щеках. Положила ногу на ногу, пленяя синими костяшками колен. Курила, вертелась, занимала собеседника умной язвительной речью, в которой обсуждала проблему разоружения.

— Я скоро умру, — тихо сказал Академик, поражая Белосельцева синевой сияющих плачущих глаз. — Она хорошая женщина, но тот, с кем она прежде жила, возил на ней большие бочки солений. Такое не проходит даром, и поэтому она долго училась в Институте Гумбольта.

Кругом гомонили. Официанты едва успевали подливать вино. Несли на растопыренных пальцах тарелки с дымящимися яствами,

словно флотилии инопланетных кораблей снижались из неведомого Космоса. Жена, окруженная поклонниками, рассказывала им, как принимала Академика английская королева и сколько соды следует добавлять в манную кашу, чтобы она приобрела вкус настоящего пудинга,

— Я знаю вас, — тихо произнес Академик, доверяясь Белосельцеву, используя краткое время, когда ослабел контроль и почти весь дым вышел из обессиленного организма. — Вы — отец Иннокентий из Храма Флора и Лавра, что в селе Починки, в трех верстах от Большой Угры. Спасибо вам за совет. Как вы и сказали, мы начали печь просфоры в обычной духовке, смазывая противень топленым маслом. Я хочу вам исповедоваться, отче. Я постился вчерашний и сегодняшний день, хотя на встрече с интеллигенцией меня пытались насильственно накормить. Не понимают, что я питаюсь ее дыханием. Моя Лена выдыхает чистую прану, и мне ее хватает для поддержания жизни, — дым тихо сочился из его рукавов, в глазах стояли голубые слезы огорченного ребенка. — Отче, меня мучает страшный грех. Гнетет ужасная тайна. Позвольте мне исповедоваться.

Белосельцев слабо кивнул.

— Видите ли, отче, наши люди так до сих пор и не знают, чем был на самом деле советский ядерный проект. Все думают, что это был ответ американцам на Хиросиму и Нагасаки, создание ядерного щита. Ничего подобного. Это был план Сталина по установлению глобального контроля, для чего требовалось отыскать инструмент управления миром. Болт Мира, — как называл его Лаврентий Берия в беседах со мной. От пленного эсэсовца, занимавшегося магией в Анэнербе, Берия узнал о существовании Болта Мира, который регулирует земную ось и меняет ход истории. Этот болт, по сведениям немцев, находился не в Гималаях, не в пустыне Гоби, как предполагали ранние исследователи, а в Черных горах Казахстана или на северном Урале, продолжением которого является Новая Земля. Берия сообщил об открытии Сталину, а тот мобилизовал ресурсы страны, создал атомные заряды, с помощью которых взрывались горы и осуществлялся поиск Болта Мира.

Первые заряды, основанные на делении ядер урана, созданные Курчатовым, были недостаточной мощности, чтобы дробить глубинные породы гор. Я создал заряд, основанный на ядерном

синтезе, водородную бомбу, как ее называют, способную раздробить внутренности любой горы и открыть доступ к земной оси. Эти взрывы производились на Новой Земле и в Семипалатинске, якобы в экспериментальных целях. На самом же деле мы искали Болт Мира. Лаврентий Берия, великий мистик и футуролог, соблюдал строжайшую конспирацию. Представлял дело так, будто испытывается оружие, исследуются ударная волна, тепловая и световая радиация, воздействующие на боевую технику и сооружения, для чего в районе взрывов устанавливались танки, самолеты, строились макеты городов, сооружались подземные бункеры.

Мы с Берией любили наблюдать с вышки далекие взрывы, ослепительные вспышки и светящиеся грибы, в которые превращались испарившиеся горы. Когда уносилась радиоактивная пыль, Лаврентий Павлович направлял в район взрыва поисковые партии, и они среди щебня взорванной горы искали Болт Мира, огромную стальную колонну с резьбой, которая поворачивалась и меняла наклон земной оси, скорость вращения земли, ход исторического времени.

Однажды Берия сообщил мне, что хочет наполнить танки, кабины самолетов, квартиры экспериментальных домов живыми людьми, чтобы на них проверить проникающее действие радиации. К тому времени готовилось «дело врачей». Было много арестованных, многие признали свою вину, многих приговорили к расстрелу. Он сказал, что уж лучше пускай они таким образом послужат великому делу и хоть как-то искупят вину перед Родиной, чем бездарно погибнут от пули в тюремном подвале. Я сначала возражал, говорил, что нельзя экспериментировать на людях. Но он убедил меня, уверяя, что они не люди, если отравили Горького, зарезали на операционном столе Фрунзе, готовились погубить всех советских вождей, писателей и ученых, в списках которых находился и я.

Мы подготовили для взрыва очередную гору. Прорубили в ней штольню, проложили рельсы, закатили в центр горы термоядерный заряд. Американцы интересовались нашими взрывами, засылали шпионов, переодетых в казахских пастухов. Чтобы отвлечь их внимание, Берия расставил недалеко от горы изношенные танки, артиллерийские батареи, полевые кухни, фургоны с радиотехникой. В них разместили зэков, приковали их в кабинах и блиндажах. Берия лично поехал осматривать позиции и пригласил меня.

Помню горячую сухую равнину, белесые, летящие перекасти-поле, похожие на голову Медузы Горгоны, солдат с автоматами. Гора, подготовленная к взрыву, стояла на краю равнины. Вход в нее был уже замурован, заряд находился в глубине горы, и Берия верил, что именно в ней таится Болт Мира. Он готов был радировать о находке Сталину. В стороне от горы, в пустыне стояли танки Т-34 с открытыми люками. Я заглянул в один из них. Там сидел пожилой еврей, известный терапевт, небритый, заросший. Руки его были прикованы к броне, и он читал наизусть Шолом-Алейхема. В другом танке, тоже прикованный, сидел раввин, в черной шляпе, с длинной смоляной бородой, и читал нараспев Тору. В блиндажах, под накатом бревен, сидели другие евреи — хирурги, фармацевты, урологи, дантисты — все, кто был причастен к покушению на вождей. Мне почему-то не было их жаль. Я верил Лаврентию Берии, что передо мной людоеды, верил в еврейский заговор.

Поодаль, на бетонном отрезке аэродромной полосы, стоял штурмовик Пе-2, и в кабине пилота сидел закованный по рукам и ногам молодой человек, который, как только нас увидел, стал биться внутри, стучать и что-то выкрикивать. Берия залез на крыло и приоткрыл кабину. Молодой человек кричал, что он не еврей, не раввин и не врач, а обыкновенный русский воришка, которого загребли по ошибке, когда он «чистил квартиру богатого еврейского аптекаря, и по дури и тупости следователей пропустили по «делу врачей». Берия засмеялся и сказал, что мы — интернационалисты, не делим людей по национальной принадлежности. А если он действительно настоящий вор, пусть украдет самолет и улетит отсюда к едрене фене.

Тогда несчастный зэк обратился ко мне. Умолял, чтобы я его пощадил, говорил, что дома у него старушка-мать, что его ждет невеста, и если он врет, то ему «век воли не видать». Я попросил Берию отпустить его, но Лаврентий посмотрел на меня сквозь пенсне так, как только он один мог смотреть, и сказал, что он — не изверг, не враг народа, и если я хочу спасти лгуна и преступника, то могу поменяться с ним местами. Мне нечего было сказать, я сел на свое сиденье в машину, и мы уехали.

С железной вышки в подзорную трубу с затемненной оптикой мы с Берией наблюдали взрыв, как будто в пустыню упал метеорит, и на месте падения стал вырастать огромный белый купол, похожий на

храм Соломона. Я с ужасом представлял, как тот несчастный воришка ослеплен в самолетной кабине, ударная волна ломает крылья и стабилизатор, страшный жар оплавляет пуленепробиваемое стекло и стальные лопасти, гамма-лучи пронзают его обожженное тело, и каждая кровинка умирает, свертывается, и он беззвучно кричит.

Поисковые группы проникли вглубь взорванной горы и опять не обнаружили Болт Мира. Огорченный Берия распорядился перенести испытания на Новую Землю. Перед отлетом из Семипалатинска он предложил мне посетить медицинский радиологический центр, куда доставили подвергнутых взрыву людей. Мы в халатах и масках ходили по кафельным палатам, где на полу лежали убитые, обгорелые, в страшных волдырях, с оторванными руками и вытекшими глазами врачи. Все они были мертвы. В одном я узнал раввина с опаленной бородой, в обгорелой, приставшей к черепу шляпе. Врач повел нас в отдельную палату, где находился единственный уцелевший от взрыва. Это был тот самый воришка. Вместо лица у него был лиловый хлюпающий волдырь. Пальцы рук сгорели до костей. Голое тело было в клетчатых ожогах, — так отпечаталась на нем решетчатая кабина самолета. Но он был жив, слабо шевелился, и из него текла жидкость.

С тех пор прошло много времени. Не стало Берии. Меня сделали академиком, трижды Героем. Но я не мог забыть того воришку, которого не спас, не пожелал поменяться с ним местами. Это определило мое мировоззрение. Я оставил физику и стал правозащитником. Не мог работать на систему, в основании которой находятся обугленные терапевты, поджаренные раввины, испеченные дантисты и окулисты. Не мог защищать общественный строй, который зиждется на прикованном в кабине самолета человеку, поджаренном, словно курица-гриль. Он мне являлся, не отпускал меня. Я стал религиозным, поверил в Господа, просил у него прощения за мой страшный грех, погубивший того невинного воришку. Но прощения не было.

Но совсем недавно от случайного человека я узнал, что тот воришка жив. Ему залечили ожоги, сделали многократную пересадку спинного мозга, пластическую операцию лица. Оставили в качестве живого экспоната в радиологическом центре на полигоне Семипалатинска. Но он стал мутировать. У него изменились природные функции, стали появляться новые. Он сделался

прорицателем, ясновидцем и, говорят, в одной из взорванных гор обнаружил Болт Мира, до которого не докопались поисковые группы Берии Он и по сей день остается в казахстанской пустыне.

Отче, я скоро умру. Лена, моя ненаглядная, хочет, чтобы поскорей моим именем назвали проспект, повесили плиту с моим барельефом, и она каждый день могла бы класть цветы и оплакивать меня. У нее любящее, религиозное сердце. Я несколько раз пытался уехать тайком в Семипалатинск, чтобы найти этого воришку; покаяться перед ним, испросить у него прощения. Но Лена и дня не может прожить без меня. Каждый раз учиняла погоню. Меня ловили, насильственно кормили и запирали, иногда в Москве, иногда в Нижнем Новгороде.

Отче, у меня к вам последняя просьба. Поезжайте в Семипалатинск, найдите мутанта, расскажите мою историю и попросите за меня прощения. Теперь судьба человечества находится в его руках. Земная ось искривилась под тяжестью злодеяний. Она может сломаться, и тогда мир погибнет. Только он один может спасти заблудшее человечество, сберечь многострадальную землю. Пусть он проникнет в середину заветной горы и повернет Болт Мира на пол-оборота. Тем самым он восстановит равновесие мироздания, спасет род людской, который так страшно, в моем лице, с ним поступил. Обещаете, отче?

Белосельцев кивнул. Они сидели за столом бизнес-клуба, и жена Академика подходила, блестя кошачьими злыми глазами, раскуривала сигарету, прицеливалась в оттопыренное, по-детски прозрачное ухо мужа

— Нам пора, дорогой. Не забыл, что нас ждет Раиса Максимовна?

Академик задрожал, посмотрел на нее умоляюще, слабо поднялся и ушел под восторженные аплодисменты гостей, так и не вынув из-за пазухи малиновую салфетку. Белосельцев смотрел ему вслед, был готов разрыдаться.

— Ну как. Виктор Андреевич, я ведь говорил, что вы друг другу понравитесь. Большие умы всегда друг друга отыщут. — Ухов, чуть пьяный, с небрежной светской улыбкой склонился к Белосельцеву, довольный ходом вечера, настроением гостей, обилием явных и тайных договоров, которые заключили между собой будущие миллиардеры. — А теперь — культурная программа. Сюрприз. Специально для нас доставлен из экваториальной Африки.

Ухов хлопнул в ладоши. Тут же под потолком загорелись светильники, закрутились лучистые лампы. Озарили невысокий подиум, на который, под грохот раскаленной музыки, вышла во всей красе необъятно огромная голая негритянка. Заулыбалась белоснежным ртом. Зачмокала красным, как арбуз, языком. Заколыхала широченными, как черные тазы, бедрами. Голые пятки вытанцовывали племенной ритуальный танец. В складках живота блестел пот. Грудь, как две чугунные двухпудовые гири, бились одна о другую. Руки в браслетах летали над головой, словно две стремительные разноцветные птицы вились над гнездом из черных конских волос.

Белосельцев поднялся, незаметно вышел. Наткнулся у порога на оброненную малиновую салфетку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Академик, в том виде, в каком предстал Белосельцеву, не мог быть Демиургом. Но Демиург был где-то рядом, не показываясь Белосельцеву, следил за ним. Погружаясь в мир заговора в поисках Демиурга, Белосельцев сталкивался со множеством персонажей, каждый из которых, имея внешний человеческий облик, на самом деле являлся машиной, прибором, оружием. Среди этой торжествующей, наступающей повсюду нежити оставались живые, теплые, милые сердцу люди. Мама, любимая женщина Маша, сердечный друг Парамонов. Парамоша, как называл его Белосельцев, писатель, наивный, красочный, восторженный идеалист, не склонный к аналитике романтик, знавший о жизни нечто недоступное Белосельцеву. К нему, к Парамоше, направил свои стопы Белосельцев, назначив свидание в ресторане литературного клуба.

Парамонов встретил его на крыльце клуба, построенного в стиле ложной готики, как и несколько других московских домов, словно в городе тайно жил средневековый рыцарь, возвел среди ампирных особняков и доходных домов свои игрушечные немецкие замки. Парамонов был возбужден, шумлив. Сквозь ворот рубахи были видны красные пятна волнения. Белосельцев почувствовал винное дыхание друга.

— Что ты полз как черепаха! Я тут, брат, успел без тебя причаститься!

Они уселись в ресторанном зале, где под дубовыми сводами тускло, похожая на глыбу пыльного желтоватого льда, светила люстра. В витражное стрельчатое окно проливалось красно-золотое вечернее солнце. Наполненный зал гудел, шелестел, звенел хрусталем и фарфором, звуками рояля. Имел необычный, не свойственный ему, воспаленный и тревожный вид. Если прежде клуб литераторов, который иногда посещал Белосельцев, казался старомодно чопорным или бестолково богемным, был наполнен литературными знаменитостями и театральными звездами, отделен от улицы незримой преградой избранности и элитарности, то теперь зал наполняла новая хамоватая публика, денежная, сытая, упитанная, явившаяся поглазеть

на литературных гениев, как приходят посетить зоосад. Торговцы, дельцы, коммерсанты сидели в тесных застольях, жадно и много пили, ели, победно, словно прицениваясь, оглядывали дубовые панели, витражи, хрустальную люстру, пухленьких официанток. Разом вскидывали хмельные головы, когда в зал входил какой-нибудь писатель. Громко спрашивали: «А это кто такой?»

Над входом в ресторан, на дубовой перекладине, подобно птицам на ветке, как всегда в это время дня, долгие годы подряд, сидели две гарпии-критикессы. Вытягивали пупырчатые шеи, испачканные пометом клювы. Подымали общипанные нечистоплотные хвосты, вращая фиолетовыми воспаленными гузками. Зорко следили за входящими литераторами, норовя брызнуть на каждого белой едкой кашицей.

Их присутствие было необходимым условием литературного процесса, придавало ему черты античности. Официанты, долгое время работающие среди писательской публики, понимали роль гарпий. Подкармливали их, время от времени кидали вверх обглоданные кости, остатки жеваных котлет и гарнира. Птицы ловко хватали добычу загнутыми, как у грифа, клювами. Жадно проглатывали, двигая кадыками. Пополняли постоянно опустошаемые желудки.

Белосельцев пил с Парамоновым теплую водку быстро пьянел. Открывался другу в своих сомнениях и предчувствиях. Говорил о нависшей опасности, о близкой катастрофе, о предстоящей всем милым и близким гибели.

— Да-да! — отвечал Парамонов, почти не слушая его, а слушая свой хмель, возбуждение, бушующие в нем мысли и волнения. — Ты прав, мы все в беде! Я не мог работать, не мог сесть за стол, цепенел от тоски! Но я побелил тоску! Я назвал тоску по имени, указал на нее пальцем и побелил! Мой новый московский роман расколдует нас всех! Расколдует Москву, Россию, и тебя расколдует, Витя, милый мой, закадычный друг! Поверь, там будут открытия!

Белосельцев слушал друга, водил опьяневшими глазами по смуглым лубовым стенам, впитавшим за долгие годы ароматы шашлыков и солений, винные испарения, дым табака. В вышине, под хрустальной затуманенной люстрой, носились духи исчезнувшей литературной Москвы. Как на картинах Шагала, парили, обнявшись, раздувая фалды, помахивая полными ветра рукавами, Булгаков, Олеша.

Взявшись за руки, водили хоровод вокруг хрустального костровища Шолохов, Симонов, Алексей Толстой, что-то беззвучно вещали, то ли ссорились, то ли славили друг друга. Прижавшись теменем к дубовому потолку, словно оторвавшийся воздушный шарик, висел печальный Юрий Трифонов, и снизу были видны его подошвы, стертые на лестницах Дома на Набережной. Лежа спинами на потолке, как в невесомости. Есенин, Мандельштам и Павел Васильев читали друг другу стихи, написанные ими уже после смерти. И множество писательских душ, признанных и отвергнутых, награжденных орденами и премиями или безвестных неудачников, измученных непониманием, беззвучно сталкивались, кичились, роптали, силились о чем-то сказать, в чем-то запоздало покаяться, о чем-то предостеречь. Внизу живые плотоядные люди чокались, чавкали, обсасывали косточки, заливали скатерти пивом. Пересказывали друг другу литературные сплетни, исходили наветами, льстивыми восхвалениями, изрекали завистливые угрозы и глупую похвальбу, чтобы, в свою очередь, сбросить усталую плоть, превратиться в духов, вознестись к хрустальной люстре, пополнить бессловесное туманное сонмище.

— Мои московские новеллы — как картины в золоченых рамах! Может быть, Босх или Брейгель! В сумрачной ржавчине, в зеленоватом тлении, в голубом трупном свете копошатся нетопыри, нелюди. Омерзительные долгоносики, птицесвиньи, волкожабы, пучеглазые и прожорливые химеры, которые двигаются по оскверненной земле, умертвляют, разрывают могилы, выклеывают глаза казненным. Но из всей этой жути, из нечистот, из чешуйчатых тварей подземного мира медленно возносится, золотится, одолевает плесень и гниль — божественное свечение! Иная сущность, иная лучезарная энергия! Выше, чудесней, и вот, представь себе, в небесах, неподвластный тьме, несется Ангел с лазурными крыльями, яростный, ослепительный!

Парамонов, весь в розовых пятнах волнения, выпил водку, задохнувшись от горечи, от своих мучительных и сладостных слов. Доверял другу сокровенное, еще не написанное, то, что, быть может, никогда не увидит бумаги, а изольется мгновенным возбуждением и канет, побежденное тоской и унынием. Белосельцев не мешал излипаниям Парамоши, не веря в их жизненность. Они никак не соотносились с жутким наступлением тьмы, с приближением потопа, который накроет их всех поднебесной черной волной.

В зал вошел известный, маститый писатель, одутловатый и грузный, отягченный величием, множеством премий за серию романов из советской истории. Сибиряк, чьи книги о Второй мировой и послевоенном восстании из пепла нарекались советским эпосом. Их изучали в школе, по ним ставились фильмы. Писатель остановился в дверях, высокомерно рассматривая посетителей, ловя на себе завистливые и подбострастные взгляды. Слышал, как за столиком толстосумов называют его по имени, перечисляют его титулы и звания.

Две гарпии на дубовой ветке сразу отметили его появление.

— Натали, — сказала одна. — Он вошел. Приготовься.

— Ах, Алла, — раздраженно отозвалась другая. — Не надо мне говорить. Я сама все вижу.

Она поудобней устроилась. Крепче вцепилась в ветку чешуйчатыми лапами с острыми загнутыми когтями. Навесила над писателем лиловую, лысую гузку. Растворила в ней влажное, с упругим кольцом, отверстие. С неприятным чмокающим звуком метко брызнула бело-желтой гущей, угодив на пиджак писателя, пометив его своим раздражением. Писатель постоял в дверях, повернулся и тяжело зашагал прочь, неся на груди едко пахнущую, разъедающую пиджак эмблему.

— Ты ведь знаешь, мне всегда удавались рассказы, — продолжал Парамонов. — И теперь в романе каждая глава, — как икона, житие измученного четвертованного народа, который, умирая, смотрит в небо на своего Бога и Ангела! Сегодня художник имеет дело с распадом, с чумным бараком, с миазмами. Моя эстетика опирается на умирающее бытие. Москва в золотой чешуе с обитателями тухлых подвалов, ночлежек, притонов, как бред, в котором проносятся несчастные безумцы, держа под мышкой собственные головы, перескакивая через своих изнасилованных жен и отравленных детей, ударяясь расквашенными лицами о колонны Большого театра. Мой герой чем-то похож на тебя! Добровольно идет в распад, в эпидемию, дышит ядом смертоносных болезней. Как спасатель в четвертом черномыльском блоке, в марлевой маске, с тонким прутиком дозиметра — на смерть!

Белосельцев слушал друга, сострадая ему. Чувствовал его хрупкость, незащитность, схожесть с травинкой, на которую падает огромная каменная стена. Вспоминал то далекое, неправдоподобное время, когда они, молодые, исполненные иллюзий, самоуверенные,

встречались в московских культурных кружках. Первая книга Парамоши была коллекцией чистых прозрачно-перламутровых рассказов о русском Севере, от которых по сей день осталось ощущение голубой прохлады, ягодного красного сока, стука рыбьих голов по деревянному днищу ладьи.

Через зал проходил знаменитый писатель, чьи фронтовые рассказы и повести перевернули представление о батальной прозе, а поздние романы с рефлексирующим интеллигентным героем были предвестниками общественных перемен. Порождали дискуссии, были свидетельством зрелого таланта, стремившегося к преобразению общества. Этот деятельный, резкий, умно-ироничный писатель, обласканный властью, не принял затеянной перестройки. Предупреждал о возможном крахе. Его фразы о «зажженном над пропастью фонаре», и о «самолете, который взлетел, но не имеет аэродрома для посадки», снискали восхищение одних, ненависть и желчь других.

Пока писатель остановился на пороге, давая автограф одному из многочисленных поклонников, гарпии на ветках встрепонулись, сердито распушили обшарпанные перья. Одна заторопила другую:

— Алла, ну ты что, заснула? Вот же он, вот!

— Натали, если можешь, не учи меня. Я в литературе значу не меньше, чем ты!

Она свесила с ветки заостренную, исхудалую гузку, покрытую редким пухом, с кожаной скважиной на конце. Напружинилась, отчего на теле проступили тощие кости. Издав хлюпающий, похожий на плевков звук, посадила на плечо знаменитости известковую кляксу с зеленоватым оттенком. Повернулась, удовлетворенно оценивая попадание. Потрясла гузкой, убирая внутрь сработавшее окончание кишечника. Писатель, не заметив критической оценки, бодрой походкой неунывающего артиллериста перешел из ресторанного зала в бар, где ему налили рюмку душистой анисовой водки. Он выпил, приподняв плечо, не замечая наклепленный белый погон.

— Герой, которого я напишу, — последний витязь, одинокий боец! — продолжал разглагольствовать Парамонов. — Он один на своем жеребце, со сверкающим копьём, острым зраком, с отчаянным озаренным лицом. С твоим лицом, Витя! Вокруг конской ноги обвилась скользкая мерзкая тварь. Клыки и когти дракона дерут

доспехи и шлем. Спит немой околдованный город, спят воеводы и ратники, монахи и сказочники. И Царевна уснула у врат. Он один перед всей уснувшей Россией ведет свой смертный бой, свою бесконечную битву. Вонзает хрупкое копьё в геенну огненную, в хриплую смрадную пасть. И только Ангел в небе, все тот же небесный гонец и вестник видит его сражение! В этот образ, как мне кажется, укладывается и русский богатырь из былины, и русский ополченец сорок первого года, и ты, и ты, Витя!

Белосельцев любил его пылкую, старомодную лексику, которая прежде вдохновляла его, но теперь вызывала щемящую жалость и боль. Сквозь нее, как сквозь тонкий воздушный шелк, пронесутся жестокие зазубренные острия, протыкая страну, насмерть раня империю. И не этим драгоценным шитьем, не этим затейливым кружевом будут накрыты дорогие гробы, занавешены зеркала и светильники, а черной копотью горящей, беззащитной державы.

Белосельцеву казалось, что и здесь, в этом зале, среди гомона и перестука ножей, звона рюмок и звуков рояля присутствуют позывные заговора. Передаются от столика к столику. И склонившие друг к другу лысоватые головы, мерцающие очки, шевелящиеся губы — заговорщики, посылающие зашифрованные сигналы.

— Сегодня написал одну сцену. Мой герой — в своей художественной мастерской. Таким я помню твоё молодое жилище. Дом напоминает казарму, харчевню, богемную мансарду, арсенал, келью, отсек подводной лодки и черт знает что ещё! Трещит телефон, льется вино, гремит железо, переливаются под стеклами бабочки, слышна крепкая брань, стучат каблуки, мерцает обломок иконы, хохочут женщины, кашляет простуженный офицер, пучит водянистые глаза олигофрен, а сам герой, — это ты, мой милый, — мечется, как зверь в клетке, стараясь не задеть эту разношерстную публику, в неостановимом стремлении готов умчаться на другую половину земли. И кажется, это не комната, а космическая капсула, и ты в ней паришь в невесомости!

В зале появился маленький, как все вологодские люди, синеглазый, с золотистой бородкой писатель, из славной плеяды «деревенщиков», чей трактат об этике, красоте, неповторимом укладе Севера напоминал рушник, шитый розовыми конями, сказочными деревьями, волшебными крестами и солнцами. Писатель пользовался

любовью всех слоев и флангов культуры, покуда не написал злую и тоскливую повесть о грядущей еврейской победе, когда русским людям не останется ничего, кроме унылого рабства. Повесть вызвала шумную ненависть в литературных еврейских кругах, писателя обвинили в фашизме. С тех пор его травили, отказывались печатать. Писатель с порога кого-то выискивал зоркими синими глазками. Две гарпии спорили наперебой, кому принадлежит появившаяся добыча:

— Алла, это нечестно! В прошлый раз я уступила тебе очередь, потому что видела, тебе невтерпех, тебя всю распирает. Теперь со мной то же самое!

— Говорила тебе, Натали, ешь лучше падаль. А ты норовишь наглотаться грибов и кислой капусты. Уж ты как хочешь, а этого я не пропущу!

— Ну хорошо, Алла, к чему эти споры! Мы же из одного цеха! Давай вместе, разом!

Они умолкли, вытянули шеи и по счету «три» брызнули в спину уходящего писателя длинной, цвета яичного желтка, струей. Удар был столь силен и точен, что писатель оглянулся, не толкнул ли кто его. Никого не было в туманном проеме дверей, и он скрылся.

Меланхолично играл рояль. Женщина-тапер с длинными волосами, влажными, ярко накрашенными губами одной рукой лениво перебирала клавиши, другой держала бокал шампанского, делала глоток, ставила на полированное черное дерево. С соседних столиков смотрели на нее пьяные, желающие глаза, — на ее ноги, нажимавшие медную педаль, на голые длинные руки, трогающие клавиши, на открытые приподнятые плечи. Белосельцев слушал друга, слушал вялую сладкую музыку и чувствовал, как посекундно завершается их общая жизнь, и больше никогда не повторится отлетающий звук рояля, взмах женской обнаженной руки, и эти восхитительные нестройные словеса, которыми одаряет его захмелевший друг.

В ресторан входил худощавый, бледного вида писатель, чье лицо выражало надменное пренебрежение к залу. Но это была лишь маска, под которой скрывалась тревога, ожидание, стремление обнаружить среди завсегдатаев своих друзей и врагов. Тех, что хвалили его последнюю книгу об Афганской войне, сравнивая с Симоновым и Хемингуэем. И тех, что гневно ее бранили, называли проповедью советского милитаризма, садистским воспеванием кровавой бойни,

бездарным копированием высоких образцов прошлого. Его появление страшно возбудило гарпий. Они подняли на загривках остатки выщипанных хохолов. Приподняли кожаные, лишенные перьев крылья, покрылись малиновыми цыпками гнева.

— Вот он, Алла, твой «соловей Генштаба». Мочи его, мерзавца, из всех калибров!

— Натали, мне нужна твоя поддержка! Твой удар бывает особенно беспощаден и точен!

— Рассчитывай на меня. Пометим его несмываемой метой позора!

Они издали победный клекот, выдавили из-под хвостов розоватые маслянистые трубки и дружно опорожнили содержимое кишечника, превратив новый костюм писателя в род камуфляжа, где желтые и зеленые пятна затейливо перемежались с коричневыми. Писатель почувствовал неладное, зажал нос пальцами, но не мог определить источник нападения. Смотрел вверх, на люстру, где в сиреновой дымке, мягко переворачиваясь и планируя, летал Константин Федин, имя которого носила литературная премия, недавно врученная писателю. Он так и не вошел в зал, а, достав платок, смущенно стряхивая невесть откуда упавший птичий помет, поспешил к умывальнику, чтобы успеть до прихода дамы сердца устранить причиненный костюму урон.

— Видишь ли, в чем дело! — витийствовал Парамонов, хватая Белосельцева за руку. — Все распалось на клетки, на атомы! Расслоилась страна! Разбегаются друг от друга народы! Рвутся узы человека с природой, с Богом! И среди вселенского распада лучшие из нас ищут слово, с которым хотят обратиться к людям, идею, способную всех примирить. Теорию, согласно которой можно было бы снова, после всех разрушений, строить. Не находят, ошибаются, остаются неслышанными. Но ведь такая истина есть, такая идея существует. За тысячу лет ее не сумели открыто выразить ни церковь, ни фольклорная песня, ни великий писатель. Все только подбирались к этой идее, нащупывали ее, знали, что она существует, безымянная, рассеянная среди лесов и пустынь, в потоках великих рек и караванных путей, в верованиях и религиях, покрывавших империю белокаменными церквями, лазурными мечетями, золочеными пагодами. Есть сокровенная идея, которая собрала воедино державу. И вновь соберет, ибо эта идея никуда не исчезла. Великие реки все так

же текут в великие океаны. Все тот же орнамент звезд сияет над нашей Евразией. И народы, однажды узнав друг друга, уже вовек не расстанутся.

Белосельцев слушал. Ловил не смысл его слов, а звук и смысл своей боли. Она была о прошедшей молодости, об истаявших силах, о неизбежной и близкой смерти, к которой они приближаются, так и не узнав, не изведав той высшей истины, что собирает и разоряет царства, возносит и повергает народы, правит торопливо живущими людьми, уводит их всех с земли.

Еще один посетитель, привлекая внимание зала, появился в дверях, отыскивая свободный столик. Эго был рослый, чуть прихрамывающий писатель, с легкой бурятской раскосостью, какая бывает в лицах уроженцев Урала и Сибири. Покойный Трифонов выбрал его одного из целого поколения литераторов — за острый ум, социальную цепкость, тайную неприязнь к коммунистам. Маститый мэтр приблизил его к себе, стал возить за границу нарек литературным преемником. Его подхватила либеральная критика, ловко противопоставила недавним друзьям. Возвышала его непомерными похвалами, одновременно понижая его собратьев. Писатель, математически высчитывая путь к успеху с этим соглашался, издавал за границей книги, с удовольствием читал статьи, где его называли великим, а недавних товарищей — ничтожными и жалкими бездарями. Писатель только что вернулся из Германии, где «Бертельсман» издал его новую книгу, которую тот и держал в руке, как бы незаметно показывая залу.

Две гарпии, считавшие его своим духовным чадом, стали тут же прихорашиваться. Чистили остатки перышек, сбивали с клювов засохшую кровь и костяную муку. Ворковали словно две голубицы, нежно и томно.

— Как он хорош, Натали! Как нежен и целомудрен!

— Да, моя милая Алла, так тепло у него на груди! Стуком сердца он напоминает покойного Трифонова!

Он разом упали с ветки, громко хлопая крыльями. Сели на плечи писателю, слева и справа. Стали засовывать ему в рот свои клювы, отрывивая вкусное, питательное, чуть пахнущее падалью молочко. Писатель привычно сглатывал, как голодный птенец.

Белосельцев сквозь теплый туман смотрел на гудящий зал. За столом напротив сидели возбужденные люди. Пили водку почти не закусывая, били в стол кулаками, громко читали стихи Есенина. Высокий и жилистый, с загорелым лицом, на котором золотились казацкие усы вразлет и грозно сияли голубые глаза, поднялся и яростно выдохнул: «За Россию!» И все вскочили, вылили водку, держа локти навывнос, как гвардейцы.

Кто-то читал стихи, отводя театрально руку. Кто-то на весь зал громко говорил по-английски. На рояле играли «семь-сорок», и за одним из столиков благодарно кивали пианистке. Торговцы за столом резали, рвали жареного поросенка. Втыкали ему в бок большую вилку, полосовали ножом. Какая-то знаменитость с депутатским значком, громко, стараясь привлечь внимание, рассказывала анекдот. Женщина-тапер, склонив голову на обнаженное плечо, целовала сама себя.

Белосельцев встал и направился к выходу, уводя с собой Парамонова. Слышал за спиной крики, грохот рояля, истошный клекот двух гарпий.

Часть вторая. ГИГАНТСКИЕ ЛИЛИПУТЫ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Несколько дней после встречи с Парамошей Белосельцев ни с кем не виделся и ничего не делал. Валялся на диване в кабинете, перебирал архив, несколько раз встречался с любимой женщиной. Вот и сегодня, проводив Машу, он остался один, в пустоте ночного бульвара, где в деревьях невесомо парил бронзово-седой Пушкин. Поднялся к себе на лифте. Прижался лицом к покрывалу где в теплых запахах, чудных ароматах хранился отпечаток ее затылка, спины и ног. Вдруг зазвонил телефон, с разными промежутками расставляя в воздухе пульсирующие точки-тире. Голос, спокойный, по-домашнему умиротворенный, принадлежал Чекисту.

— Едва ли вы спите, Виктор Андреевич. Я позволил себе позвонить, ибо настало время нам повидаться. Как бы вы посмотрели на то, если бы завтра утром за вами пришла машина? Благодарю за согласие. Мне тоже не спится. Читаю Гумилева. «Я закрыл “Илиаду” и сел у окна, на губах трепетало последнее слово...» Не могу объяснить, почему я испытываю такое волнение. Я вас очень жду, Виктор Андреевич, — и тихие, похожие на капли в пещере, гудки.

Утром у дома его подобрала черная «Волга» с лиловыми рожками на крыше. Метнулась в стремнины улиц, раздраженно и зло завывая, если на пути возникала преграда, расталкивая сочным мерцанием сгустки машин. Они преодолели центр, где уже сцепилось и слиплось металлическое бензиновое месиво. Помчались к окраинам, сбрасывая одно за одним древесные кольца, удаляясь от сверхплотной сердцевины Кремля. Оказались на последнем, опоясывающем город кольце. Неслись по нему, как вокруг Сатурна. Белосельцев думал, что свидание состоится в Ясенево, в штаб-квартире внешней разведки, в белой пирамиде, сверкавшей среди зеленых дубрав. Но она осталась в стороне, показав ему две свои плоскости, солнечно-белую и тенисто-голубую. Машина свернула на узкое шоссе под запрещающий знак. В стеклянной милицейской будке, когда с ней поровнялись, постовой, разглядев их номер, снял телефонную трубку. И тогда Белосельцев понял, что приглашен на закрытую дачу, «Объект двенадцать», где

мало кто удостоивался быть. В резиденцию Председателя Комитета, коим и являлся Чекист.

Чугунные, старомодно-величественные ворота перегородили шоссе. Охрана с автоматами сквозь кованые пики всматривалась в машину. Высокий забор погружался в лес по обе стороны от въезда. Над его верхней кромкой чуть поблескивали проводки электронной охранной системы. Ворота раскрылись, и машина скользнула в аллею.

«Объект двенадцать» располагался в зеленом парке, среди свежих подстриженных газонов, лужаек, округлых древесных куп, от которых веяло сладостными ароматами цветения. Маленький ампирный особняк, оставшийся от старинной усадьбы, был бережно сохранен и ухожен, нежно-желтый, с белоснежными, вокруг ротонды, колоннами. Подле него, соединенный стеклянной галереей, находился деревянный, добротный дом, какие встречаются в респектабельных дачных поселках, созданных в довоенное время для высшей советской элиты. Чуть поодаль, не разрушая ансамбль, сопрягаясь с дачным коттеджем застекленным, напоминавшим оранжерею переходом, стоял простой, отделанный туфом павильон, современный, с антеннами и тарелками на крыше, говорившими, что здесь находятся действующие рабочие помещения. Именно к этому корпусу подкатила машина, которую встретил строгий немногословный охранник.

— Вас просили подождать, — обратился охранник к Белосельцеву, вводя его в холл. — Председатель закончит совещание и примет вас.

Белосельцев утонул в мягком диване, готовясь к докладу, перебирая самые существенные детали добытых сведений, собирая в лаконичный набросок признаки, описывающие возможное местонахождение Демиурга.

В глубине холла послышался шум. Двери одного из кабинетов растворились, и оттуда стали выходить люди, по виду которых Белосельцев угадал, что это секретные агенты, работающие за границей. Видимо, с ними проводил оперативное совещание Чекист.

Все они шли по коридору не разговаривая, соблюдая правила конспирации. Белосельцев знал, что это майоры и подполковники, цвет советской разведки, на краткий миг получившие возможность вдохнуть воздух Родины. Прямо отсюда, не повидав любимых и близких, не поклонившись святыням на Красной площади, они уедут в

аэропорт, разлетятся во все концы света, выполняя ответственные разведзадания. Это обрадовало Белосельцева — пусть страна переживает смуту и растерянность, но «контора» продолжает действовать, верна государству, способна выполнять самые рискованные задания.

Мимо проходил голубоглазый блондин в форме шведского таможенника, контролирующий поставки акустических средств для борьбы с советскими подводными лодками. Седой, благородного вида, профессор Оксфорда, чьи выпускники работали в английской «Интеллидженс сервис». Толстый добродушный мулат из Рио-де-Жанейро, голый по пояс, натертый пахучим кремом, — барабанщик в школе танцев, которому удалась вербовка американского миллиардера, приехавшего на карнавал. Веснушчатый рыжий бармен в ирландском аэропорту «Шенон», связник на перекрестке важнейших трансатлантических маршрутов. Худенький лейтенант в форме танкиста Бундесвера, доставивший бесценные сведения о новом танковом двигателе. Шествие замыкала косматая конголезская горилла с угрюмым выражением аскетического лица, на котором исподлобья глядели неутоленные глаза мыслителя и поэта. Это была гордость советской разведки, глубоко законспирированный агент, наблюдавший в джунглях Заира за французским полигоном, где шли пуски межконтинентальных ракет. Горилла процокала по паркету хорошо подстриженными ногтями, иногда опираясь о пол мускулистой волосатой рукой.

— Простите, Виктор Андреевич, что заставил вас ждать, — Чекист стоял перед ним, маленький, хрупкий, как изделие китайского мастера, с фарфорово-розовым, круглым лицом, на котором доверчиво и наивно синели детские чистые глаза. — Два крупных провала в Юго-Восточной Азии, что не может быть простым совпадением. Но и крупный успех в Хьюстоне, откуда пришли чертежи системы управления «Дискавери», — он протягивал Белосельцеву маленькую, тщательно промытую руку, и, пожимая прохладные, с мягкими утолщениями пальчики, Белосельцев отметил сходство руки с лапкой лягушонка. — Еще несколько минут, прежде чем начнем разговор, — промолвил Чекист, приглашая Белосельцева к дверям, ведущим в один из кабинетов.

Кабинет был уставлен стеллажами с электронными приборами, некоторые из них плескали импульсами, раскачивали хрупкие, как волоски, стрелки. Несколько специалистов в белых комбинезонах и шапочках окружили просторный стол. Под светом ламп лежал «летающий глаз», потерявший свою линзообразную форму, расплывшийся под собственной тяжестью, как целлофановый, наполненный темным соком пакет. Оболочка глаза была прорвана, и из нее сочилась голубовато-черная влага, мгновенно высыхала, оставляя на столе бронзовый осадок.

— Мы сбили его сегодня ночью как раз против вашего дома, — сказал Чекист. — К вам питают повышенный интерес, и это, само по себе, добрый знак. Но они не должны уверовать в свою безнаказанность... Что дала экспертиза? — обратился он к специалистам.

— Аппарат изготовлен по чертежам Ливерморской лаборатории, на базе научно-производственного объединения «Аметист». Аэродинамика обеспечивается слабой турбулентностью электромагнитных полей. Оптические свойства воспроизводят зрительную функцию осьминога. Передача информации проходит в режиме реального времени, с сохранением в базе данных десяти последних кадров.

— Посмотрите, что у него в памяти, — приказал Чекист.

Специалист засучил белый рукав. Пошевелил пальцами в резиновой перчатке. Жестом гинеколога, с мягким поворотом, внедрил руку вглубь глаза, отчего из оболочки брызнула пахучая жидкость, запахло аммиаком и водорослями. Поискав в глубине глаза и что-то нащупав, специалист вытащил руку, держа в испачканных черных пальцах крохотную пластинку.

— Зарядите в проектор, — приказал Чекист.

Специалист пинцетом погрузил пластинку в прибор с экраном. Щелкнул тумблером. На экране возникло изображение стола с хрустальной вазой и букетом пионов. Малиново-зеленое покрывало тахты, на которой лежала Маша, прикрывая ладонями обнаженную грудь, чуть приподняв колени, нежно-розовая, дышащая, с темной ласточкой лобка. Белосельцев склонился над ней, целуя грудь и живот.

— Мы терпели до некоторых пор их бесцеремонные действия. Но я разговаривал вчера с начальником Генерального штаба, и теперь мы

их будем сбивать. Этот был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела», и, падая, застрял в деревьях Тверского бульвара.

Белосельцев был благодарен Чекисту за этот экскурс. Тот ненавязчиво дал понять, что Белосельцев находится под незримой защитой. Его и Машу не оставили наедине с коварным противником. В случае опасности придут на помощь. Родная контора функционировала в нормальном режиме.

Они вышли из павильона на яркий солнечный свет. Шли по дорожке. Белосельцев решил, что теперь, когда нет подслушивающих и подглядывающих стен, настало время приступить к докладу. Однако Чекист угадал его мысли:

— Мне все известно, Виктор Андреевич. Вы прекрасно поработали. Признаюсь, иногда мне было за вас страшно. Каково оказаться наедине с Магистром или наблюдать, как Шашлычник совокупляется с электрической мясорубкой. Но вы достигли главного, — вам поверили, вас завербовали. Внедрение в среду противника состоялось, — они удалялись от павильона по розовой тропинке вглубь чудесного парка. — На втором этапе задания вы должны поближе сойтись с государственниками. С участниками второго заговора, «второго подкопа», как вы говорите. Мне нужно, чтобы они вам тоже поверили. А вы понаблюдайте за ними. Каково их моральное состояние. Готовы ли они действовать в экстремальных условиях. Под силу ли им та задача, которую на них возложили. С одними из них вы знакомы, другим я вас представлю, попрошу оказывать всяческое содействие. Теперь же вы увидите то, что видят лишь единицы...

Они оказались среди прекрасных деревьев разнообразных пород, многие из которых цвели, источая сладостные тропические ароматы. Деревья росли отдельно либо создавали живописные группы. Под ними стелился ухоженный зеленый газон. Под купами работали тихие, почти незаметные садовники. Срезали засохшие ветки. Сметали в совки жухлую опавшую листву. Бережно покрывали места порезов целебной смолой. Обработывали каждую трещинку каждое наметившееся дупло. Поливали корни блестящей на солнце водой. Вносили удобрения, приоткрывая зеленый травяной войлок и тут же укладывая его обратно.

— То, что вы видите, — пояснял Чекист, бесшумно ступая по изумрудному ковру, — когда-то называлось Ботаническим садом ЧК,

затем Дендрарием НКВД. Сейчас он зовется Парком КГБ или, в служебных донесениях, — «Объект двенадцать». Начало ему положил Дзержинский, каждую успешную операцию органов отмечая посаженным деревом. Он же и выбрал это место, узнав у какого-то, позже расстрелянного профессора ботаники об этом уникальном подмосковном участке. Здесь существует свой субтропический микроклимат, проходит изотерма Сочи. Позднее сюда приезжали Тимирязев и Мичурин, подтвердив уникальность этой небольшой территории, где возможно произрастание практически всех видов земной растительности...

Белосельцев слушал как зачарованный, вдыхая сладостные благоухания, созерцая великолепные кроны, говорившие о таинственном, нерасторжимом единстве человеческого и растительного, революции и зеленого леса, политических сражений и парковой культуры, в которой проигравший и расстрелянный враг превращался в красивое дерево, а жестокий, непреклонный страж революции — в рачительного садовника.

— Эти синие ели знаменуют операцию, связанную с расстрелом царской семьи. Их сажал сам Феликс Эдмундович...

Пять дымчато-голубых деревьев росли, касаясь друг друга ветвями. Самое высокое — последний император. Пониже, принякая к нему вершиной — его августейшая супруга. Две стройных ели — дочери, великие княгини. И самая молодая, крепкая, свежая, наполненная волнующей синевой — наследник, цесаревич. Белосельцев созерцал эту семью, чей прах догнивал в безвестном болоте под Свердловском, а души волшебным образом переселились в смолистые ели. По-прежнему были вместе, любили друг друга, и садовник в звании старшего лейтенанта госбезопасности ухаживал за ними, в тени их ветвей поливал золотисто-зеленый газон.

— А вот это. обратите внимание, операция по захвату и ликвидации Колчака...

Одиноким кипарис убежал в небо, утончаясь, слабо покачивая в синеве заостренной вершиной. От ветра по нему, как по заснеженной бурке, пробегали серебряные сыпучие искры. Белосельцев представил, как ночью в кипарисе душа печально-влюбленного адмирала поет любимый романс, воспевая голубую звезду, лучисто сияющую над вершиной.

— А этот дуб посажен после Ярославского мятежа, когда был расстрелян Николай Гумилев. «Я закрыл «Илиаду» и сел у окна, на губах трепетало последнее слово...»

Дуб был необъятно широк и просторен, с тяжелой, волнистой, сочно шевелящейся листвой. И не было в смуглой коре и в твердой древесине смертоносной пули, а только непрерывно гудели соки земли, слагаясь в чудесные, написанные после расстрела стихи, которые иногда мог подслушать мечтательный капитан КГБ, если прижимал к стволу свое молодое розовое ухо.

Они гуляли с Чекистом среди деревьев, посаженных длинными аллеями. Здесь были напоминания об операции «Трест» и плененном Савинкове. О захвате барона Унгерна и белого генерала Кутепова. О подавлении тамбовского мятежника Антонова и расстреле эссеровской террористки Каплан. Липовые аллеи цвели и гудели пчелами. Березовые рощи размахивали зелеными полотенцами и пахли свежими банными вениками. Над поляной, борясь с ветром, пролетела нежная, трепетная бабочка-белянка. Белосельцев подумал, что это душа Дзержинского, не желающая покидать райские кущи, счастливо живущая среди бывших врагов, которые теперь, не помня зла, дали ему приют в своих ветвях.

— А это, — Чекист показал на великолепную магнолию, чьи лепестки были цвета сливочного масла, и благоухание от которой распространялось теплой сладостью. — Это память об устранении Троцкого...

Белосельцев любовался великолепным цветком, в котором душа пролетарского вождя, освободившись от черепа, где уродливо торчал ледоруб, больше не помышляла о красной мировой революции, а только о революции зеленой, когда кроткие и жизнелюбивые растения укутают землю своими изумрудным покровом, и все они соединятся в шуме лесов и тихом шелесте трав. И он, неукротимый мятежник, и убивший его Меркадер, и покушавшийся на него художник Сикейрос, и расстрелянные им донские станичники.

— А вот, обратите внимание, напоминание о троцкистско-бухаринских процессах. Как разрослись эти деревья!..

Несколько араукарий тянули вверх косматые смоляные руки, братски пожимали друг другу ладони. Здесь был и Зиновьев, и Бухарин, и Рыков, и товарищ Бубнов, и товарищ Радек, который за эти

десятилетия так и не вырос и остался пахучим можжевельным кустом. Чекист тронул растущие на кусте смолистые ягоды, но не сорвал, а только потер. Поднес пальцы к ноздрям, вдыхая терпкий запах.

Они миновали поляну с рощей разросшихся банановых деревьев, в каждом из которых пребывала душа расстрелянных Сталиным военачальников. На Тухачевском созревали плоды, висели тяжелыми золотистыми гроздьями. У Якира среди широких глянцевиных листьев появились ярко-зеленые молодые побеги. Касиор цвел, окутанный сладкой пылью. И все они вспоминали красоту голубых холмов в предместьях Варшавы, куда несла их конница, и чуть слышно, чтобы не помешать остальным деревьям, пели хором: «Мы — красные кавалеристы, и про нас былинные речистые ведут рассказ...»

Белосельцев испытывал нежность и тихую печаль, какая возникала в нем при мысли о переселении душ. Проходя по аллее платанов, посаженных в ознаменование процесса «Промпартии», он увидел голубую сойку, которая, как показалось ему, была перевоплотившимся Ягодой. Тут же, у корней, пробежал смешной торопливый ежик с черными бусинами глаз, который несомненно был наркомом Ежовым. Оба наркома питались орехами и грибами, жили в тени ветвистых, зеленокудрых инженеров, профессоров, «красных директоров», которые давно не помышляли о вредительстве, а жили в симбиозе с ежом и сойкой.

— Деревья хранят не только энергию солнца, — задумчиво заметил Чекист, — но и человеческую историю, включая и историю КПСС. Кидая поленья в камин, мы освобождаем энергию солнечных лучей, согреваемся ими. Не исключено, что в эзотерических лабораториях будущего из этих деревьев мы вернем в историю наших безвременно ушедших товарищей, которые смогут заново прожить свои жизни, но уже без досадных ошибок.

Теперь они шли мимо олеандров, секвой, тонколистных, распахнувшихся в небеса эвкалиптов.

То были разведоперации времен Великой Отечественной, связанные с именем Зорге, героической красной капеллой, со шведским шпионом Валленбергом, который, делая вид, что спасает евреев, старался добыть чертежи ракетной программы фон Брауна, утаивая секреты от советской разведки.

Насаждения, по которым они шли, казались необъятными. То почти превращались в лес, без тропинок и просек. То становились милым подобием среднерусских дворянских усадеб. То разворачивались геометрической роскошью французских парков. То напоминали английский садовый ландшафт. Чувствовались пристрастия садоводов, сменявших друг друга, пекущихся о разрастании ботанического «Объекта двенадцать».

Они ненадолго остановились у двух баобабов, посаженных в память о супругах Розенберг, казненных на электрическом стуле за разглашение секрета атомной бомбы. Акация, цветущая ослепительным фиолетовым цветом, напоминала о ядерном проекте, осуществленном под кураторством Берии. Тут же краснели заросли низкорослого декоративного кустарника, в ознаменование переселения народов — чеченцев, крымских татар, ингушей. Сам же Берия, полосатый бурундучок, стоя на задних лапках, аппетитно грыз корешок, ничуть не боясь посетителей, навестивших его уголья.

Они постояли под финиковой пальмой, качавшей своим роскошным плюмажем. «Карибский кризис, убийство Кеннеди», — лаконично пояснил Чекист. Приблизились к ребристому стволу кокосовой пальмы, простершей в синеве свои крупные, с растопыренными пальцами, листья. «Дворец Амина, Кабул», — заметил Чекист. Обошли кругом высоченный, похожий на колючую гусеницу кактус цереус. «А это высылка Солженицына».

Особый интерес Белосельцева вызвали те части парка, где были отмечены малоизвестные ему операции. Лучистая, похожая на огромную морскую звезду агава повествовала о спецоперации по обвалу латиноамериканской валюты, что вынудило Штаты бросить средства на погашение кризиса, снизило их бюджетные ассигнования на производство «Першингов». Опунция, состоявшая из множества игольчатых, прилепившихся друг к другу лепешек, была посажена после того, как геофизики Камчатки детонировали торнадо — гигантская волна обрушилась на верфи западного побережья и повредила на стапелях лодку класса «Лос-Анджелес». Куст чайной розы, над которым бережно склонился Чекист и замер, словно впал в сладкий обморок, — расцвел здесь после того, как завербованный советской разведкой дизайнер придумал я Диснейленде аттракцион со

скелетами, после чего боеспособность «морских котиков» из Сан-Диего снизилась на четыре целых и восемь десятых процента.

Так шли они среди мира великолепных деревьев, пока не остановились на зеленой поляне. Трава на ней была аккуратно подстрижена. Садовник окроплял ее серебристой струей воды. Она была пуста, кругла, ухожена, ожидала посадки неизвестного дерева.

— Это место я называю поляной Андропова, — сказал Чекист, наклоняясь и глядя траву, как глядят шерсть любимого домашнего кота. — Юрий Владимирович сам выбрал ее в парке, но, увы, не успел посадить на ней дерево. Этим деревом будет ливанский кедр. Мы посадим его вместе с вами, когда завершится великая операция, задуманная Юрием Владимировичем, которая так и именуется — «Ливанский кедр».

— В чем смысл операции? — Белосельцев, в предощущении сокровенного знания, которым с ним был готов поделиться Чекист, смотрел на рыжую, с пепельным хвостом белку, перебежавшую поляну и вставшую перед ними на траве. Ее умная, сосредоточенная мордочка, чуткие ушки, тонкие цепкие лапки, в которых та держала еловую шишку, не оставляли сомнения — это и был сам Юрий Владимирович Андропов, у которого враги отключили искусственную почку, но который успел передать свой план в руки верных преемников. В облики лесного зверька продолжал курировать осуществление замысла. — В чем план Андропова? — повторил Белосельцев.

— Вы должны знать, что Юрий Владимирович, не являясь профессиональным разведчиком, был направлен в нашу контору наряду с другими партийцами и комсомольцами, чтобы, по замыслу Хрущева, установить партийный контроль над КГБ. До конца искоренить сторонников Берии. Вычистить разведку и контрразведку от сталинистов, — Чекист говорил тихим спокойным голосом, в котором присутствовало глубокое, не исходящее наружу волнение. — Ему было поручено заниматься кадрами, вести собеседование с оперативным составом. С помощью сложной системы тестов выявлять противников Двадцатого съезда партии, разгромившего сталинизм. Беседуя с одним генералом, близким сподвижником Берии, которому грозило не просто увольнение из органов, но и тюрьма, и даже расстрел, он обнаружил в его досье странные аэрофотосъемки,

сделанные с предельной высоты над сибирской тайгой. Там были видны бесконечно длинные просеки, обширные вырубki, начало каких-то огромных работ. Он стал расспрашивать генерала о характере этих работ. Тот долго молчал, но потом, получив от Андропова заверения в том, что не пострадает ни он, ни его семья, сообщил, что эти просеки, прорубленные от Урала до Тихого океана, должны были воспроизвести на территории Сибири контуры Соединенных Штатов. Это был сталинский замысел перенесения Америки на территорию Советского Союза, со всей ее топонимикой, с названиями штатов, городов и рек. Таким образом предполагалось поглотить Соединенные Штаты, отнять у них сетку координат, перенести их в глубь Сибири. Так в свое время поступил патриарх Никон, перенесся под Москву, в Новый Иерусалим, топографию Святой земли, с Вифлеемом, Иорданом, Голгофой, Фавором, Гефсиманским садом, Гсниссаретским озером. Второе пришествие, как полагал Никон, должно было осуществиться в России. Христос должен был снизойти с небес под Москвой, на берег Истры, в Новый Иерусалим. Контуры просек, отмеченных на аэрофотосъемке, воспроизводили границу штата Пенсильвания...

Поляну, где они стояли, накрыло пышное белое облако с голубыми клубами. Заслонило солнце, и поляна осветилась иным светом, исходящим из трав. Воздух в легком сумраке переливался, мерцал, будто каждая молекула таила в себе разноцветную капельку света. Белосельцев протянул руку, и она покрылась цветастой пылью, словно он коснулся бабочки, которая оставила на пальцах драгоценные чешуйки.

— С тех пор у Юрия Владимировича начался период изучения и поиска. Никому не открываясь, пользуясь абсолютным доверием руководства, он работал с архивами КГБ. Читал протоколы допросов. Встречался с уволенными сотрудниками, пережившими хрущевские чистки. Посещал семьи расстрелянных офицеров и генералов КГБ, беседуя с их родственниками. Штудировал подшивки старых газет, постановления партийных пленумов. Одолевал груды научных трудов, написанных в сталинское время. Требовал к себе в кабинет личные дела узников ГУЛАГа и работников научных «шарашек». И постепенно ему открывался тайный, грандиозный план, составлявший сущность красного смысла, содержание Октябрьской революции.

Проект, над которым работали основатели партии еще в свой швейцарский период. Этот проект, после троцкистско-бухаринских процессов, когда были расстреляны главные его создатели, был передан Сталиным в НКВД, под личное кураторство Берии. Истинное его содержание тщательно скрывалось. Но для общества и народа, который был мобилизован на воплощение проекта, он назывался «Сталинский план преобразования природы»...

Белосельцеву казалось, что в составе слов присутствовала иная, неизречаемая сущность. Глубинный, донный смысл. Как под этой поляной таилась другая, сокровенная поляна, откуда истекал необъяснимый свет, создававший загадочное мерцание воздушных молекул. Земля на поляне дышала, просвечивала, травы меняли цвет, звучали, пели, словно на них направляли лучи светомузыки.

— Этот «Сталинский план преобразования природы», который наивные адепты трактовали как борьбу с суховеями, насаждение лесозащитных полос, уничтожение сусликов и выведение ветвистой пшеницы, на самом деле предполагал создание иной истории, иной физики, иного пространства и времени. Иного бессмертного человечества, которое побеждает индивидуальную и родовую смерть, исключает страдание, поедание одной твари другой, и предполагает оживление мертвых планет, умерших людей, латание черных дыр Вселенной, победу над третьим законом термодинамики, и, в сущности, достижение Рая как высшей цели исторического и галактического развития. Другими словами, воплощение сокровенной мечты человечества в ее русском, предельном варианте. Когда Юрию Владимировичу открылся замысел, общий контур проекта, он начал его прописывать. Овладевать необходимыми знаниями, которых он был, естественно, лишен в силу своего усеченного советского воспитания. Он читал первоисточники — «Голубиную книгу», «Слово о полку Игореве», русские волшебные сказки, трактаты отцов церкви, труды Плотина и Блаженного Августина, русских космистов, «Философию общего дела» Федорова. Особенно тщательно он выискивал всякие сведения о Рае — о его размерах, устройстве, видах деревьев в райских кущах, наименованиях плодов на райских деревьях. Так он убедился, что Мичурин выводил не какие-то сорта груш и яблок для Заполярья, а воспроизводил в своем саду райские деревья для последующих райских насаждений на иных планетах.

Также он убедился, что теории Лысенко о внутривидовой общности и вневидовой борьбе описывают законы будущей, примиренной в своих проявлениях райской жизни, когда лев не поедает овцу, а орел не умертвлял голубицу. А открытия Лепешинской, так жестоко высмеянные и отвергнутые хрущевской наукой, предвещали синтез жизни на мертвых планетах. Большая советская энциклопедия, редактируемая лично Сталиным, где были переосмыслены и переименованы все понятия и явления нынешнего мира, была прообразом будущего сотворенного мироздания, где человеком уравнивались пространство и время, давалось название множеству несуществующих сегодня форм и явлений. А его «Вопросы языкознания» были устремлены на воссоздание доавилонского, райского праязыка, когда люди не только понимали друг друга, но и владели языком птиц, цветов и камней...

Белосельцеву чудилось, что у него разбудили дремлющую память. Он все это знал и предчувствовал, еще и школе, где в классе висели плакаты с убегающими и бесконечность лесозащитными полосами, с голубыми потоками и водохранилищами а окаймлении бетонных плотин, над которыми возвышался Вождь, спокойный и мудрый, глядящий прищуренными, чуть утомленными глазами в бескрайние дали времен.

— Андропов предпринимал тайные экспедиции, секретные поездки на русский Север. Встречался с последними волхвами и колдунами, оставшимися в каргопольских лесах. Беседовал со старообрядцами Заволжья и Мезени. Его приводили в скиты к старцам, которые скрывались от властей в земляных катакомбах и молились за Россию. Изучал этнографию, народное шитье, резьбу, орнаменты. В запасниках музеев рассматривал иконы, где была закодирована волшебная формула идеального бытия. Он овладел духовной составляющей этого эзотерического учения о Русском Рае, которое в своей упрощенной, понятной людям форме именовалось построением коммунизма. Но для воплощения формулы, для достижения тысячелетней мечты нужна была физическая составляющая. Колоссальная концентрация всех видов энергии. Мощная наука. Космоплавание. Генная инженерия. Электроника. Экологическое учение. Затеянные Сталиным космический и ядерный проекты были направлены не на оборону, как принято думать, а на

построение планетарного Рая. Запрещая генетику и кибернетику, Сталин этим самым конспирировал разработки по созданию искусственного интеллекта, открытие генома человека. Первые клонирования были проведены в лабораториях КГБ в сорок восьмом году, после чего в элитных суворовских училищах, в закрытых кадетских корпусах вдруг появились похожие, как близнецы, отроки-красавцы, которые должны были составить будущую элиту страны. Хрущев разгромил лаборатории клонирования, распустил кадетские корпуса, а их слушателей отправил в Среднюю Азию, где они смешались с казахами, туркменами и таджиками...

Белосельцев чувствовал, как лопается у него на темени тонкая влажная пленка, и под ней открывается, всплывает выпуклое, голубое, по-детски наивное третье око, дарующее ясновидение. Поляна, прозрачная, словно стекло, таила под собой подземный глубинный мир, в котором покоились бесчисленные гробы. Но не сгнившие, не из древесного тлена, а как бы хрустальные. В них лежали усопшие люди. Но не в виде мертвых костей и ужасных ржавых скелетов, а во плоти, в облачениях, с дремлющими тихими лицами. Все ожидали своего воскрешения. Их были тьмы. Среди них Белосельцев различал князей в золоченых шлемах и дружинников в легких кольчугах. Смердов в белых рубахах и схимников в остроконечных балахонах. Видел усопших царей в венцах и коронах, вельмож и придворных в боярских шапках, бархатных шляпах, в камергерских мундирах. Видел великих поэтов и прославленных писателей, блистательных полководцев и открывателей новых земель. Рядом лежали Ермак, Пржевальский, Арсеньев и Миклухо-Маклай. А Гагарин как открыватель Космоса и Жуков как открыватель Восточной Европы и Германии лежали поодаль. Там же лежал отец, убитый под Сталинградом, гимнастерка его была аккуратно разглажена, и на ней светились красные ромбы. Их сон был чуток. Они слышали рост земных трав, шаги живущих людей, стук дождевых капель. Над поляной стояла бело-голубая, пышная туча, и в ней, в клубящейся глубине протачивалась скважина, словно протаивал сырой лед и открывалась прорубь.

— Хрущев был американский агент. Его завербовали, когда он был секретарем Московского горкома и ездил в Финляндию изучать архитектуру финских домов, чтобы построить похожие им для лауреатов сталинских премий на Николиной горе. Он ничего не

подозревал об истинном содержании «Сталинского плана преобразования природы», но инстинктивно ненавидел Берию и уничтожил его, как только скончался Сталин. В Оклахоме, на ранчо по соседству с кукурузным полем, президент Эйзенхауэр рассказал ему о существовании плана, но Хрущев в свойственной ему добродушной манере показал ему «козу» и «кузькину мать». И только когда был сбит Пауэрс на самолете-разведчике У-2, который делал аэрофотосъемку загадочных просек в Сибири, только когда на стол Хрущеву легли фотографии начертанного на западно-сибирской равнине штата Пенсильвания, он, наконец, поверил американскому президенту и начал разгром проекта. Он вычистил из КГБ всех приверженцев сталинского эзотеризма. Одних расстрелял, других лишил памяти в институте Сербского, третьих поместил в лагерь. Были уничтожены архивы, лаборатории, научный персонал. Демонтирован уже функционирующий искусственный интеллект, занимавший весь огромный, построенный у метро «Сокол» дом. Были закрыты тысячи церковных приходов, где обученные Сталиным в духовных академиях офицеры КГБ, принявшие сан священников, готовились соединить учение Ленина и Христа, веру и научное знание, утопию и инженерный расчет, машину и дух, пророчество евангелиста Иоанна о воскрешении из мертвых и учение Николая Федорова. Хрущев прополол многократно это сталинское поле, закатал его бетоном, и на этом бетоне, вместо Рая, как слабый его отблеск, появились писатели-деревенщики. А в поэзии — Евтушенко, Вознесенский и Ахмадулина, которые в великой тоске собирали полные стадионы, так и не умея объяснить, для чего их троих вырастили из споры пенициллиновой плесени в секретном «Литературном институте имени Бехтерева»...

В туче отрылся просвет. В него брызнули лучи, расширяясь разноцветным шатром, в котором блуждали прозрачные лопасти света. Словно за тучей волшебный фонарщик подносил к прогалу алый, золотой, нежно-зеленый, чудно-фиолетовый фонарь. Цветные покровы ложились на поляну, будто их стелили под ноги Ангелу, который приближался в буре света.

— Андропов, узнав о существовании «сталинского эзотеризма», стал возрождать проект. Дал ему кодовое название «Ливанский кедр». Возродил элиту КГБ. Подготовил во всех сферах жизни — в науке, культуре, церкви, партии, армии и, конечно, в разведке новые

контингенты, ориентированные на «Ливанский кедр». Узкий круг посвященных готовил эзотерическую революцию, чистку хрущевской агентуры, перевод страны на мобилизационные рельсы. Но его сразила болезнь. Искусственная почка, изготовленная в рамках космической программы «Марс», продлевала ему жизнь. Однако враг, догадываясь о существовании «Ливанского кедра», нанес превентивный удар. Врач из Таиланда, приглашенный для лечения Юрия Владимировича и знакомивший его с тайнами буддийской медицины, был агентом американской разведки. Он отключил искусственную почку в тот момент, когда Юрий Владимирович просматривал труды философа Льва Шестова, сравнивая его с Ницше. Я был в это время с ним, мы говорили о проблеме «Гибели богов». Смерть наступила почти мгновенно. Он только успел взять меня за руку и произнес: «Посадите кедр!»

Мы расправились с тайландским врачом и несколькими его приспешниками. Это было наше маленькое «дело врачей». Их трупы замурованы в бетонные сваи Дворца молодежи на Комсомольском проспекте. С тех пор противостояние в недрах общества нарастает. Схватка приближается. Мы готовим нейтрализацию всех предателей и перерожденцев, всей агентуры влияния, всех монстров и носителей «оргоружия», как вы его называете. Кстати, не пытайтесь отыскать Демиурга. В том виде, как вы его себе представляете, его не существует. Он не имеет людского воплощения. Он — явление иной природы. Он — тот, кого философы именуют Духом Зла, а теологи — Князем Тьмы или Антихристом. Он — порождение Ада и выводит этот Ад на землю. Мы выводим Рай. Вам предстоит священная и опасная роль. Вы можете погибнуть, но если вы погибнете, то как священномученик. На вас, Виктор Андреевич, пал наш выбор. Вы — ключевая фигура в операции «Ливанский кедр»...

Световые потоки изливались из тучи на поляну. Она была похожа на драгоценный ковер, куда вот-вот ступит белоснежная стопа, и Ангел в ослепительных одеждах опустится с небес. Белосельцев испытывал восторг, умиление. Ему открылся смысл мироздания, истории и его собственной жизни, соединенных в симфонию лучей. Стоящий перед ним Чекист был ему бесконечно близок и добр. Белка взирала на него лицом Великого Реформатора, и шерстка на ее спине волшебным образом серебрилась, а голову окружал прозрачный нимб.

— Вот это я и хотел вам сказать. Теперь вы все знаете. Вы выполнили первую часть задания. Вторая заключается в том, что вы войдете во взаимодействие с государственниками. Они знают о вас, готовы встречаться. Это не главные, а промежуточные люди, которым поручено совершить лишь самую начальную, черновую работу. Затем их сменяют другие. Третью часть задания вы узнаете от меня чуть позже. Теперь мы можем идти.

Небеса погасли. Туча ушла. Небо было пустым и белесым. Поляна зеленела подстриженной травой. Белки не было. Садовник в звании капитана поливал газон из гибкого шланга.

Они вернулись в павильон, в кабинет Чекиста, простой, похожий на номер в кемпинге, с несколькими правительственными телефонами, с литографией на стене, изображающей парк Версаля с подстриженными деревьями и античными скульптурами.

— Наши товарищи в ближайшее время направляются в различные районы страны. Узнайте график поездок и присоединяйтесь к ним. Посмотрите, как они действуют. Оцените настроение людей... Пить хотите? — неожиданно спросил Чекист, поднимая на Белосельцева детские, ясные глаза. — Отведайте, очень недурно! — На подоконнике, рядом с телефонами, стояла трехлитровая банка, накрытая марлей, а в ней плавал гриб, питаемый спитым чаем и сахаром. — Отведайте!

Чекист достал граненый стакан, наклонил банку, сцедил сквозь марлю желтоватый раствор, протянул Белосельцеву. Тот с удовольствием выпил вкусный, слегка игристый, сладко-кислый настой, напомнивший ему время, когда подобные грибы стояли почти во всех семьях, и бабушка ухаживала за грибом, гордилась его произрастанием и отменным вкусом.

— Желаю удачи, — Чекист пожал ему руку. Уходя, Белосельцев взглянул на банку и ему показалось, что слоистый, состоящий из множества губ, клейкий гриб улыбнулся ему сквозь стекло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Белосельцев был готов осуществлять возложенную на него миссию. Связывался с помощниками, порученцами, заместителями высших представителей государственной власти, которые были предупреждены о его звонках. Узнавал от них время и цели поездок, в которых ему предстояло участвовать. С Главкомом он отправлялся на военные учения в Белоруссию. С Прибалтом, министром и крупным партийным начальником — в атомный город в прикаспийской пустыне. С Премьером — на атомный полигон в Семипалатинск. С Профбоссом, правой рукой Первого Президента, — на космодром Байконур. С Зампредом, которого почитал и любил, — на Новую Землю.

Он был внесен в бортовые списки, включен в график поездок. Теперь же направлялся к Партийцу, намереваясь выяснить, готова ли партия в «час Икс» выполнить роль организатора народных масс.

При входе в сумрачное здание Центрального Комитета партии Белосельцев миновал пост охраны, где строгие, с синими погонами офицеры безопасности просмотрели его документ. Неохотно, с отчужденными, недоверчивыми лицами пропустили его внутрь огромного, тяжелого здания. Он прошел по петляющим коридорам старого доходного дома, где когда-то в номерах отдыхали заезжие в Москву чиновники, купцы, разорившиеся дворяне, подавались самовары, штофы с вином, захаживали девицы легкого поведения, выставлялась за порог нечищенная обувь постояльцев, а теперь на высоких, одинаково равнодушных дверях висели чопорные таблички с именами известных партийцев и сотрудников их аппарата. В коридорах было пустынно, как на паперти закрытого храма. Лишь изредка тихие, невзрачные люди с папками как тени скользили вдоль стен. По стеклянному рукаву он перешел в новое здание, блистающее дорогим полированным деревом, с быстроходными комфортными лифтами. Пожилой помощник ввел его в кабинет, и навстречу ему, добродушный, загорелый, с крепким лысоватым лбом, поднялся Партиец.

— Какие люди! Какие умы! — приветствовал его дружески-фамильярно хозяин кабинета, сильно сжимая ладонь, беря под локоть, усаживая на удобный стул лицом к огромному прохладному окну, за которым в летнем цветении открывался Кремль. Мокрое золото, белый камень, влажно-алый кирпич в сочных зеленых купах. Казалось, Кремль строился веками, убелялся дворцами и храмами, фресками и поливными изразцами только для того, чтобы услаждать взор обитателя кабинета.

— Ваша статья, Виктор Андреевич, об оборонном сознании внимательно прочитана в ЦК. Открою секрет, у меня был разговор с Генеральным. «Это что же? — спрашивает. — Призыв к военному перевороту?» Пришлось его убеждать, что это трезвая и смелая аналитика.

Партиец нажал на кнопку, вызывая кого-то. Попросил кофе и «чего-нибудь сладенького, пожевать». Белосельцев подумал, что сейчас увидит крепкого, молодого помощника, из тех, что, по словам Чекиста, стоят за спиной каждого государственника, «эзотерического гвардейца Андропова». Но в кабинет с улыбкой вошла милая, сдобная женщина, внесла поднос с кофе, вазочку с сахаром, блюдо со множеством маленьких аппетитных печений.

— Мне удалось заинтересовать Генерального вашими идеями. Полагаю, сейчас самое время положить ему на стол вашу записку об «организационном оружии». По-моему, он готов прочитать.

На маленьком столике плотно стояли телефоны. Несколько белых, как из кости, с металлическими гербами. Черные, красные, зеленые, с дисками и без. Телефонные шнуры изгибались вниз, исчезали в стене. Белосельцев зорко проследил направление шнуров, расположение аппаратов. В телефонах закрытой связи, скрученная в жгуты, таилась информация о заговоре, имена заговорщиков, списки и адреса участников. Шнуры сквозь стену уходили наружу превращались в синий изгиб реки, в переполненную машинами набережную.

Но в кабинете было спокойно, веяло достатком, организованным обилием и порядком. Нарядный Кремль в зеркальном окне, блеск аппаратов, кружевная бахрома передника на груди миловидной служанки.

— Он ведь тоже понимает трагичность положения, — продолжал Партиец. — Потеря управляемости, распад окраин. Мы должны

оттеснить от него дурных советников, окружить настоящими государственниками. Ему непросто совмещать роль Генсека и Президента, здесь есть свои тонкости.

Белосельцев глотал терпкий кофе, смотрел на далекий изгиб реки, мерцавший сквозь башни и главы.

— Неужели вы не видите, что вас уничтожают? — Белосельцев, как от боли, сморщился от собственных слов, глядя на молчащие телефоны с гербами, на свисающие вниз провода, по которым слабо сочились ручейки заговора. — Партию умерщвляют, и она вот-вот исчезнет как дым. Ее три года, словно растение, извлекают из почвы, трясут землю с корней, отламывают ветку за веткой, кладут иссыхать на солнце. Она уже исчахла, и скоро ее бросят в огонь. Я вам писал о механизме истребления партии, поэтапного отключения ее от власти. У вас была абсолютная власть над территориями, народом, ресурсами, но у вас не было иммунитета перед инъекциями «оргоружия». В самый центр, в мозг партии, ввели чужой гормон, горстку людей, которая несла болезнь и смерть. Эта горстка расплодилась и наполнила все структуры. Вам вывели лидера, взрастили его в инкубаторе и пересадили в ЦК. Как зачарованные, вы слушаете его упоительные песни и идете в пропасть. Сначала вас обвинили в кровавых грехах сталинизма, и народ ужаснулся вам как палачам. Потом вас упрекнули в мздоимстве, и народ возненавидел вас как воров. Потом вас ткнули носом в неудачи хозяйственной деятельности, и вы прослыли растяпами и лентяями. Потом вас уговорили добровольно отказаться от власти, и вы оказались ненужными. Теперь вас обвинят в попытке незаконно вернуться к власти, натравят на вас народ и уничтожат. Вы лишены иммунных систем, и вам грозит смерть.

— Во всем, что вы говорите, много правды, — Партиец соглашался, многозначительно покачивал крепколобой головой. Однако было видно, что он обладает высшим, более полным, чем то, которым владел Белосельцев, знанием. — Мы терпеливо, сознательно допускаем критику в наш адрес. Сознательно отказались от абсолютной власти и создали оппозицию. Если угодно, мы создали себе противников, и это не слабость, а сила. Мы предоставили народу право выбирать между нами и оппозицией, и народ уже прозревает,

уже видит, кто друг, а кто враг. Народ обмануть невозможно. Он сделает правильный выбор.

— Вас будут вешать на фонарях, — тихо сказал Белосельцев. — Вами станут пугать детей. Вас загонят в подполье, — Белосельцев мучился, глядя, как в ослепительном блеске реки темнеет кораблик и лучатся кресты. — «Оргоружие» уже проверено в Европе, сработало в Прибалтике, в Грузии. Существуют компьютерные модели вашего уничтожения. Ко мне приходят американские аналитики, разведчики, вынюхивают, выспрашивают, вводят поправки в эти жестокие модели. Неужели не чувствуете, что вот-вот случится непоправимое?

Громко, властно зазвонил телефон. Партиец крепким кулаком сжал белую трубку, и в ней, у розового уха, зарокотала мембрана.

— Только что выступал в академии Генштаба, и генералы, скажу я вам, встретили меня с пониманием, — Партиец вставлял в бессловесный рокот мембраны свои оптимистические, бодрые фразы. — Да, мы подготовили свое отношение к выводу войск... А я им сказал в перерыве: «С армией не надо шутить...» Да, вы правильно им напомнили о полигонах... У ядерной державы должны быть ядерные полигоны, а не выпасы для казахских овец...

Партиец слушая, отвечал, улыбался. Кивал в такт рокочущей гулкой мембране. Белосельцев чутко прислушивался. Знал, чей голос колеблет стальную пластину, чьи неторопливые рокоты вызывают на лице Партийца почтительную улыбку. На другом конце провода был Главком. Он тоже в заговоре, связан с Партийцем.

— Сегодня зайду в Генштаб, обязательно перемолвимся... Министр готов к разговору, он тоже устал... Жму руку, но не прощаюсь... — трубка улеглась в аппарат. — Простите, Виктор Андреевич, я вас слушаю с большим интересом!

— Извините, — продолжал Белосельцев. — Но вы все еще оперируете категориями пленумов, президиумов, парламентских голосований. Изучаете реальность по статистике неработающих министерств, по разведсводкам парализованного КГБ. А ведь все действительные договоры последних лет не записаны на бумаге. Все истинные тайные соглашения не занесены в протоколы, — Белосельцев пытался преодолеть едва заметное отторжение Партийца. — Когда ваш Генеральный в Рейкьявике выступал по телевидению после тайной беседы с Рейганом, у него было ужасное лицо

клятвопреступника! Без кровинки! Такое лицо бывает у совершивших вселенский грех, у отцеубийцы! Именно тогда он отдал американцу родную страну, оборону, историю. Такое лицо бывает у человека, продавшего душу дьяволу!

— Помню его лицо, — задумчиво произнес Партиец. — У него несколько лиц, несколько выражений, для каждого отдельного случая. Но то лицо я запомнил.

— Потом была Мальта. Разыгрался, вы помните, страшный ураган над Средиземным морем. Словно устранившись, сместились воды и твердь, заколыхались материковые платформы. Там было принято решение о расчленении Союза, о разрушении мирового социализма. Состоялся невиданный, не снившийся ни Сталину, ни Гитлеру, ни Наполеону, послеялтинский передел мира. Рассекался Советский Союз. Его куски передавались под контроль Америке, Японии, Германии. Там, на Мальте, у него тоже была своя маска! Трусливая, безумная улыбка, бегающие, блудливые глаза мирового преступника, скользящего по драгоценным паркетам чужих дворцов. С Мальты началась новая геополитика мира. Теперь мы с вами, на фоне величественного Кремля, живем в несуществующем государстве. Вопрос дней, часов, может быть, минут, когда это откроется, и мы обнаружим, что у нас нет страны! — Белосельцев был страстен, резок. Своей страстью и агрессивностью старался вызвать Партийца на откровение. Желал серьезной дискуссии. Желал появлению молодых интеллектуалов, впрыскивающих в утомленную партию адреналин. Возвращающих ей стратегический замысел, радеющих за эзотерическую революцию «Ливанского кедра».

— Недавно я с ним разговаривал, — задумчиво произнес Партиец, слушая не Белосельцева, а кого-то другого, невидимого. — Предупреждал о возможной катастрофе, о близком взрыве. Он сказал: «Надо набраться терпения и мужества. Общество, как взбесившийся табун, летящий к пропасти. Надо успеть перед краем его развернуть».

— Вы загипнотизированы им! Партийное верноподданничество, пирамидальная структура партии отдадут вас в руки Генсека. Он умышленно убивает вас, а вы ищете его взгляда! Так хозяин убивает овчарку, а она ползет по снегу и лижет ему руки!

Опять зазвонил телефон, бело-желтый, как из слоновьего бивня, с платиновым гербом на циферблате.

— О, какие люди, какие кадры! — лицо Партийца осветилось радушием. Видно, тот, кто звонил, был ему действительно близок. — Слышал, вы собираете в кулак всю индустрию Урала, Сибири! И Казахстана в придачу! С вами надо дружить, а то перекроете газопровод, как станем в Москве кофе заваривать?.. Очень надо повидаться... Немедленно... Вылетайте спецрейсом!..

Белосельцев гадал, кем мог быть невидимый человек, чье лицо туманилось в циферблате. Кто он такой, Технократ, связанный с заговором, летящий в Москву из Сибири на тайную встречу с Партийцем.

— Жду, очень жду! — трубка мягко чмокнула, улеглась в костяное ложе. — Простите, нас перебили... — Партиец повернулся к Белосельцеву. — Так вы полагаете, партия не чувствует трагедии? Нет, это не так. Партия прозрела и готова себя защитить. Убежден, очень скоро она вмешается в кризис. Народу уже ясно, что без партии невозможно управлять государством.

— Вы что же, снова возьмете власть? — Белосельцев провоцировал, ожидая намек на партийный реванш, на «час Икс». — Но у партии давно нет политики! Общество, сконструированное когда-то вождями, предполагало постоянное видоизменение, наличие теоретиков, владеющих колоссальными знаниями. Эти знания давно потеряны, теоретики давно расстреляны, а стратеги стали просто хозяйственниками, рассматривающими страну как большой завод. Вы возьмете власть в разрушенном государстве, и что? Снова станете судить за колоски? Строем гнать на работу? Где политическая теория? Боюсь, вам не справиться с властью!

Белосельцев понимал, что дерзок, что властный хозяин с трудом терпит его откровения, а он непомерно злоупотребляет любезностью. Ведь главным, за чем он явился, была не проповедь, не назидание, а разведка. Однако мука непрерывных раздумий, еженощных бессонниц и страхов была столь велика, что здесь, в кабинете, перед зеркальным окном, где в туманном солнце, волшебный, не касаясь земли, парил Кремль, он вдруг почувствовал завершение огромного времени, страшную пустоту, куда влетела его собственная жизнь и жизнь множества обитающих на планете людей.словно неведомая жуткая комета с мохнатой раскаленной головой промчалась над Землей, захватила в свою гравитацию жизнь нескольких поколений, провела по

ним огненной жестокой метлой, пропустила сквозь оствающий хвост, мерцающую пыльцу, осколки льда и космического снега и канула. Загадочная, непонятая миром идея о Вселенском Рае посетила ненадолго Землю и покинула, оставив бесчисленные кладбища, бессмысленные заводы, незавершенные стройки, растерянный народ. Вот только Кремль все так же прекрасен!..

Такое явление, как социализм, не проходит бесследно, Виктор Андреевич, — назидательно и солидно заметил Партиец. — Партия никогда не исчезнет. Партия, замечу я вам, это не группка людей, не сговор, не организации под руководством вождя или генсека. Партия — это запечатленная в судьбах идея, которая всегда была и останется жить в человечестве. Справедливость, правда, жизнь по совести, по труду, не в одиночку, а вместе! Это было всегда в народе, еще при князьях, в шалашах и пещерах. Это заложено в человечество, как закон, без которого нет человечества!

Партией встал, взволнованно заходил, заслоняя окно, помещая себя среди разноцветных волчков и шаров Василия Блаженного, колючих шпилей, кустистых крестов, пробираясь сквозь золоченые заросли, яркие чертополохи Белосельцев почти залюбовался этим сильным загорелым человеком, который так легко раздвигает кремлевские главы, распахивает белокаменные занавески, отводит ладонью шлейф туманной реки. Но вдруг заметил, как на стене кабинета проступает маленькое желтоватое пятнышко, словно поросль лишайника, прицепившегося своими чешуйками к обоим, как цепляется к северному, обдуваемому ветрами камню.

— У народа была мечта, сказка. Ее выражали скоморохи, попы-расстриги, мудрецы в крестьянских избах. Потом появились философы — Радищев, Успенский, Толстой. Были и офицеры-дворяне, которых потом повесили. Были народовольцы-бомбометатели, которых потом казнили. Сначала кружки, заговоры. Потом сходки, маевки. Потом был Ленин, у которого мечта превратилась в идею, теорию. Народ овладел теорией и, став партией, взял власть. Был Сталин, великий государственный, который с помощью партии построил могучее государство. Была война, где партия вела полки, умирала в застенках под пытками. Это партия Жукова, Курчатова, Королева. Партия Гагарина, который вынес земную мечту в Космос. Партия — это

извечная народная мечта, ставшая реальностью, мировой и космической. Поэтому-то она и не исчезнет.

Белосельцев пытался уловить в разглагольствовании Партийца признаки андроповского эзотеризма, тень, падающую от «Ливанского кедра». Но это был обычный агитпроп, цветистая риторика из учебников по истории партии, из концертных песен Кобзона.

Голова плыла. Собор Василия Блаженного, похожий на фантастический механизм, цеплял своими шестеренками, змеевиками, валами, хрустел зубцами, крутил каменные жернова, перемалывал зерна произносимых речений, высыпал белоснежную муку прожитого, завершеного времени. Партиец был мукомолом, мельником, перемалывал в муку его завершенную жизнь.

— Если нас и разрушат на время, мы все равно не исчезнем. Мы уже отразились, отпечатались на всем человечестве. Отпечатались в цивилизации Штатов, предложив им набор огромных организационных открытий, масштабных проектов, кибернетику пространств. Мы подарили Японии идею народности, коллективизма и жертвенности, служения своему государству. Мы побывали в Африке, Азии и Латинской Америке, и хотя мы оттуда ушли, мы успели им рассказать о возможности иного пути, иной правды, и они уже нас не забудут. Если мы на время уйдем со сцены, это не значит, что мы исчезнем. Наденем смокинг, повяжем галстук-бабочку и станем банкирами. Или в лаптях, в рубище уйдем в тамбовский лес и выставим оттуда обрез. Партия никогда не исчезнет, как и сама Россия!

Белосельцеву было невыносимо слушать прекраснотушные бредни обреченного на гибель политика, который не замечал наступления смерти. Партиец сдался Америке, подарил ей бесценный советский опыт. Ему был неведом великий проект перенесения топонимики Штатов на карту русской Сибири, поглощение Штатов Советским Союзом через начертание на сибирской равнине контуров Пенсильвании. Белосельцев не видел за спиной Партийца его сменщика, интеллектуала-гвардейца, чуждого краснотуству, способного к организационной работе, социальному конструированию, к беспощадной, смертельной схватке.

Партиец перемещался в пространстве, будто летал. С купола на купол, со звезды на звезду, задевал колокола, пробегал по зубчатой стене, присаживался на белый ствол колокольни, перепархивал реку и

вновь возвращался в цветущие заросли золотистых веток, разноцветных плодов. Белосельцев изумлялся его легковесности, нарядности, схожести с бабочкой, которая в горячем солнечном воздухе перелетает с цветка на цветок.

Кабинет на глазах зарастал лишайниками, покрывался влажными мхами. Стулья, столы, телефоны, высокая люстра — все было покрыто пушистым мхом, теряло свои очертания. Мхи и лишайники выползали в коридоры, прорастали в других кабинетах, начинали укутывать фасад старинного здания, на котором золотыми буквами было выведено: «Центральный Комитет». Все превращалось в огромную, мягко очерченную, изумрудно-зеленую гору, без подъездов и окон. И там, где недавно стояли офицеры охраны, теперь рос ягель.

— Партия никуда не исчезнет, ибо так уж устроена Россия! Так у нас, русских, реки текут, ветры дуют, рожь колосится. Так уж мы ложку в руки берем и затвор передергиваем. Уверяю вас, партия — это еще не Генсек, и мы, если понадобится, сможем обойтись без Генсека!

Зазвонил телефон, стоящий поодаль, без циферблата, похожий на каменный драгоценный ларец. Задребезжал особенным, мягко-серебряным звуком. Партиец, услышав звон, остановился на полуслове, замер. Мгновение колебался на невидимой черте, меняясь лицом, уменьшаясь, возвращаясь из необъятных просторов, где текли сибирские реки, тянулись великие хребты, колосилась рожь, вмещался в ограниченный стенами кабинет. Торопливо пошел к столу, на котором лежала красная папочка. Снял трубку каким-то особым поспешно-предупредительным жестом. Лицо его изобразило высшее внимание, просветленную радость, стремление как можно лучше понять и усвоить.

— Да, я подготовил проект!.. Да, я нахожу ваши замечания совершенно справедливыми!.. Нет, у меня нет никаких возражений!.. Нет, я не настаиваю!.. Считаю, Михаил Сергеевич, вы должны это сказать, а мы вас безусловно поддержим!..

В ларце, под граненой крышкой, был тот, ненавистный, с круглым лицом кота, бегающими мнительными глазами, с лиловой кляксой на лбу. Партиец, лишенный воли и масти, был зыбок как тень. Был управляем, ведом. Был аппаратчиком, элементом партийной машины, которая находилась в ловких умных руках, мягко, послушно крутила валы и колеса. И такую тоску испытал Белосельцев при виде этой

покорности, такое отторжение от Партийца, что скомкал последующий разговор и поспешно откланялся.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По рекомендации Чекиста, Главком пригласил Белосельцева принять участие в штабных учениях в Белоруссии, где отрабатывались операции в масштабе театров военных действий. Главком приблизил к себе Белосельцева, показывал работу штабов, оперативных управлений, моделирование операций. Окруженный многочисленной свитой, генералами военных округов, командующими воздушных и танковых армий, множеством адъютантов и порученцев, он не забывал о госте.

Главком был статен, высок ростом, с седеющей щеткой холеных, ровно подстриженных усов. Сквозь очки с золотыми ободками властно, по-орлиному зорко смотрели серые глаза. Они сидели на прохладной веранде, окруженной пышными дубами, переполненными влагой и зеленью, в ожидании вертолета, чтобы лететь на место, где была развернута штабная система «Полководец», способная, подобно сверхмощному «искусственному интеллекту», управлять глобальным сражением. Главком в камуфляже, о зелеными погонами генерала армии, вальяжно откинулся в кресле. Подносил к губам стакан с парным молоком, отпивал, отчего усы у него окрашивались в млечный цвет, и он бережно отирал их салфеткой. Порученец-полковник издали, сквозь открытую дверь, смотрел, осталось ли молоко в стакане. У Главкома болел желудок, и парное молоко снимало боли.

— Ваша статья о роли армии в чрезвычайной социальной ситуации получила поддержку у комсостава сухопутных войск. — Главком окунул усы в молоко, сделал глоток, промокнул влажные усы салфеткой. — В армии действительно есть все: от городов, которые можно мгновенно развернуть на месте катастрофы, до мостов, которые вновь соединят берега Волги или Енисея. Нашим продовольственным запасом страна может питаться целый год. Атомная подлодка, перебросив кабели на берег, может освещать и обогревать целый город. А запасом социальной и гражданской энергии армия питает страну со времен Победы. Я даже готов утверждать, что Советский Союз, в самом широком смысле, — это и есть армия.

С веранды было видно, как под дубами, в тени, группами стояли офицеры, с папками и планшетами, в ожидании вертолета.

— Я сформулировал лишь общие идеи, — ответил Белосельцев. — Но у меня есть сомнения, готова ли армия в «час Икс» выполнить свои социальные функции.

— Она это сделает без труда, без угрызений совести, уверяю вас. — Главком говорил доброжелательно, словно уже многократно обдумывал ответ. — Арестовать два десятка предателей, включая двух-трех на самом верху, — об этом только и мечтают наши офицеры. Поговорите с любым, и вы это поймете. А большего не потребуется. Будет восстановлено управление, и народ вздохнет спокойно.

— Но мне казалось, что в армии формируется оппозиция. Появились либеральные генералы, как это ни дико звучит. Не все они отдадут приказ войскам в возможный «час Икс». — Белосельцев дорожил спокойной уверенностью, исходившей от Главкома. Тот был невозмутим, аристократичен. Парное молоко в стакане казалось вельможным чудачеством. Быть может, вслед за штабным вертолетом, в котором перемещался Главком, следовал вертолет с коровой и стогом сена. Полковник с вилами под рокот вертолетных винтов подбрасывал корове охапки зеленого клевера.

— Военная оппозиция? Если вы имеете в виду этого перевертыша из Главного политического управления, который сделал себе карьеру на марксистской теории, а теперь поносит марксизм и Сталина, то это скорее антипример. Этот карьерист должен был появиться, чтобы его возненавидела армия. Он первый, кого поведут на гауптвахту. — Белосельцев с ним соглашался, почему-то представляя, как в воздухе за штабным вертолетом следовала группа тяжелых транспортов с дойным стадом коров. Коровы прижимались мордами к иллюминаторам, смотрели с неба на землю, на реки, луга и покосы, и полковники белой и коричневой краской подкрашивали пятна на дышащих коровьих боках.

— Не кажется ли вам, что у армии есть уязвимые точки, куда уже направлены удары вражеской пропаганды. Все эти разговоры о дедовщине, «афганском синдроме», упреки в непомерных военных расходах, — Белосельцев спрашивал, чтобы услышать обнадеживающий ответ Главкома, ощутить покой и уверенность рядом с этим властным и умным аристократом, любимцем армии.

— Дедовщина присутствует во всякой артели, семье и спортивной команде, — спокойно пояснял Главком. — И напрочь пропадает на войне, когда солдат должен спасти другого солдата. «Афганский синдром» — это выдумка журналистов. «Афганцы» составляют военное братство, на которое может и в мирной жизни опереться государство. Военные расходы на армию — это расходы на мир. В случае войны расходы были бы неизмеримо больше.

Белосельцев был счастлив оказаться рядом с этим красивым, стареющим человеком, от которого веяло легендой двух великих красных парадов. Парада 1941 года, когда в снегопаде полки уходили на запад умирать под Волоколамск и под Истру. И парада 1945 года, когда победивший народ возвращался с запада, швырял к Кремлю поломанную ржавую готику. И явилась сладкая мысль — одолеть все напасти, спасти страну, сохранить красный смысл. Пройти по площади парадом 1991 года. В сверкающем лимузине перед строем полков — Главком, наследник великого Жукова, принимает триумфальный парад.

В дверях появился молодой генерал, отдавая честь.

— Вертолет прибыл, товарищ Главнокомандующий. Можно идти на борт.

Они летели в пятнистом штабном вертолете. Мысль о параде 1991 года туманно витала в сознании. И следом, на расстоянии, мерно помахивая крыльями, летело пятнистое стадо коров.

Они опустились на лесном увале в красно-серебряных сосняках, у крохотного хутора с деревянными избой и сараем, копаным прудом и капустными грядками. За хутором открывалась просторная белесая низина, с зеркальцами болот и озер, с легким солнечным дымом, в котором чудились утиные крики, плеск тяжелых птичьих тел, падающих среди осок и кувшинок. Вышли из вертолета, обогнули сарай.

И здесь, на опушке, под пятнистой маскировочной сеткой, неотличимый от леса, песка, розовых тропок, стоял «Полководец». Длинные ребристые фургоны, состыкованные под тупыми углами, прилепились к земле, словно огромный изогнутый дракон с туловом гигантского червя, с прозрачными, натянутыми среди деревьев перепонками, с чашами и усами антенн, которыми была покрыта его тупая мощная голова, взиравшая из-под сосен в бесконечно удаленные

пространства континентов и океанов. Машина была беззвучна, но жила, дышала, источая вокруг себя грозный жар непомерной, загадочной жизни.

— Виктор Андреевич, — к Белосельцеву подошел худенький моложавый полковник в очках, похожий на студента. — Командующий поручил мне сопровождать вас во время учений и давать необходимые разъяснения.

Главком со свитой поднялись по ступенькам и скрылись в чреве дракона. Белосельцев медлил, осматривая чудище с зеленой стальной оболочкой, покрытой легкой испариной. Под железной кожей таилась жаркая думающая электроника, от которой сквозь сталь проступал мельчайший пот.

— Эта машина собирает информацию с глобального театра войны, — пояснял старательный гид, делая взмах рукой, словно в ней был хрупкий стебелек указки. — Со всех океанов, континентов, из космоса, с морского дна. Ее интеллект способен предсказывать развитие мирового конфликта и с учетом геостратегической ситуации, боевых потерь и сохраненных ресурсов помочь Генеральному штабу выработать оптимальное решение для победного завершения мировой войны. Такой машины нет ни в одной стране мира. Это одно из первых ее полевых испытаний.

В мирное время машина хранилась в подземных ангарах, в запретной зоне, под охраной специальных войск. Была создана на случай, если ставка Генерального штаба будет взорвана атомной бомбой, летающий штаб сбит зенитной ракетой, а подводный центр управления уничтожен пуском торпеды. Тогда управление войной перейдет к неуязвимой, вечно кочующей, исчезающей во льдах и пустынях системе, которая ночью, на гигантских тягачах, прячась от вражеских спутников, по непроезжим дорогам начнет свое блуждание по необъятной стране. Найдет затерянную точку на лесном кордоне, у безвестного хутора. Блоки состыкуют в огромное червеобразное тело. Жирные кабели побегут по земле, антенны сквозь кроны деревьев вопьются в звезды, беззвучные волны сигналов соединят ее с кораблями и танками, агентами в тылу неприятеля и воздушными армиями. Мегамашина обнимет весь мир, вопьется в него бессчетными щупальцами, станет сжимать в жестоких объятьях.

— Эта система дает нам преимущество над вероятным противником, позволяя принимать стратегически важные решения с опережением на несколько часов. А как известно, время в глобальной войне является фактором победы. Создание такой системы является прорывом в гонке вооружений, отбрасывает Америку на добрый десяток лет.

Белосельцев чувствовал грандиозность мегамашины, ее планетарную мощь, способность управлять историей, ввергать мир в разрушительный Конец Света или останавливать на черте катастрофы. Машина была создана в недрах красной империи, выражала ее сокровенную суть. Была той самой, скрытой от глаз тайной цивилизацией, о которой говорил Чекист. Упрятанная в военный камуфляж, облаченная в уродливые формы ромбов и параллелепипедов, она была готова к чуду преображения, к дивной красоте, божественному промыслу, замыслившему земную жизнь как неуклонное приближение к Раю.

— Старт операции дают агентурные донесения из зоны локального конфликта. В данном случае — Карибский бассейн, Никарагуа, где готовится прямое вторжение корпуса американской морской пехоты с целью установления диктатуры, — Полковник в очках, трогательно напоминая студента, старательно выполнял поручение — образовывал Белосельцева. А тот взирал на уродливо-беспощадные формы огромной машины, вцепившейся в землю и небо. Знал, что она — страшное чудовище из сказки, скрывающее под зверской личиной небывалую красоту и благоговение перед жизнью.

— Теперь, если не возражаете, мы можем проследовать в боевые отсеки, — любезно предложил полковник. — Через пять минут — старт операции.

Покидая нежную светотень серебристых сосен и розовую, усыпанную шишками тропку, они вошли сквозь люк в нутро машины, оказавшись в зеленоватом сумраке длинного, ветвящегося в разные концы помещения. Повсюду светились серо-голубые экраны, мерцали индикаторы, бежали огненными бесконечными строчками электронные цифры, похожие на неутомимых муравьев. Пахло лаками, краской, нагретыми пластмассами. И везде, — в нишах, под уступами, на разных высотах, в разных позах, сидели офицеры. Их лица, казавшиеся масками, озаряли экраны. По их погонам бежали

водянистые отсветы. Их подсвеченные пальцы перебирали клавиши, извлекая мерные гулы и рокоты подземного мира. Ловкие пальцы перебрасывали тумблеры. Их уши закрывали наушники. У шевелящихся губ темнели маленькие микрофоны. Внутренность дракона была полна трепетаний, дрожи, пульсации, словно действовала огромная перистальтика, и люди, которых он проглотил, медленно перемещались в бесконечных завитках и петлях кишечника.

— Отсюда вы можете наблюдать картины сражений на самых удаленных участках планеты, — пояснял полковник, весь прозрачно-голубой и колеблемый в свете нескольких широких экранов. — Мировой океан представлен всеми флотами мира, снятыми с разведывательных спутников в режиме реального времени. — Полковник, все более утрачивая телесность, наполнялся каким-то водянистым светом, становился похож на реторту со светящимся газом. Его рука, как синяя прозрачная тень, проплыла над экраном, где океаны несли на себе эскадры боевых кораблей, авианосные соединения, а в пучине, среди донных течений, скользили подводные стартоплощадки, многоцелевые лодки-охотники, создавая под полярной шапкой, в Атлантике, у берегов Японии причудливые скопления, похожие на сообщества водомерок, участвующих в брачной погоне.

— Космос представлен орбитальными группировками обеих сторон. Можно наблюдать работу истребителей спутников, по мере перетекания борьбы в околоземное пространство. — Казалось, говорящий был невидимым — исчез на фоне огромного экрана, где множеством светляков мерцали парящие спутники. Он был частью огромной системы, ее слабым человеческим дополнением, в котором она почти не нуждалась и могла превратиться в электронный блок, в радиоволну, в световой индикатор. Белосельцев видел, что и другие офицеры были дополнением к машине, срослись с ней кровяными сосудами, зрительными нервами, чуткими нейронами. Она пила их соки, сосала эмоции, питалась их плотью, обменивалась с ними таинственными энергиями, которые добывала из прозрачного бездонного Космоса моей.

Белосельцев и себя ощущал крохотной частицей машины. Кончиком чуткого нерва, на который падали невесомые капли света. «Рай... — повторял он — Русский Рай... Этот полковник и есть тот

самый дублер, что сменит утомленного, изношенного в войнах Главкома. Превратит мегамашину Судного часа в завещанный Рай...»

Они придвинулись к оранжевому, ядовитому экрану, по которому пробежали молнии знаков и цифр.

— Космическая разведка в районе Карибского моря сообщает, что соединение противника численностью до двух тысяч человек вторглось в Никарагуа в провинции Нуева Сеговия и движется к столице Манагуа, — голос полковника возвысился, сладко задрожал на вершине и, набирая скорость и ярость, помчался вниз. — В ответ на агрессию с Кубы поднят полк Ми-21. Бомбоштурмовым ударам подверглись колонны вторжения, базы в Гондурасе, центры управления гондурасских и американских войск.

Полковник на мгновение исчез, словно превратился в электронный иероглиф. Тонкой молнией прыгнул на экране, исчез среди сигналов и кодов.

— В ответ на удары кубинских МИГов началось американское вторжение на Кубу. Шесть десантных кораблей из Флориды. Морская авиация бомбит побережье Гаваны.

С базы Гуантанамо выдвигаются колонны бронетехники и пехоты. Наблюдаются воздушные бои над Плайя Херон. Советская бригада на Кубе приведена в боевую готовность. — Экскурсовод Белосельцева вдруг вырвался прозрачным вихрем из параболоида антенны. Мчался в туманном небе тропиков, как сияющая прозрачная бабочка. Обгонял штурмовые вертолеты, вспахивающие взрывами белые пляжи Гаваны. Десантные корабли растворяли носовые проемы, вываливали аппарели, и оттуда, как тяжелые неуклюжие жабы, плюхались в воду танки. Начinalи бурлить, клокотать. Плыли, открывая с моря огонь, поражая опорные пункты кубинцев. Над сверкающими призмами небоскребов чуть заметными проблесками носилась карусель самолетов. Выпадая из нее черной шалью, рушился подбитый «фантом».

— Войска Прибалтийского округа силами танковой армии, при поддержке четырех моторизованных бригад наносят удар через Польшу по северной Германии с продвижением на Кельн и Франкфурт. Корабли Балтийского флота осуществляют глубокий десант, с захватом портов противника. Самолеты морской авиации и части воздушной армии подавляют рубежи обороны в районах Бельгии и Голландии.

Дивизионы тактических ядерных сил приведены в повышенную боевую готовность.

Мегамашина чавкала огромными стальными зубами, изжевывала границы, надкусывала страны, прогрызала в континентах коридоры и дыры, запуская в них огненного змея войны. Она владела миром, смещала его утомленные оси, сшибала армии, сталкивала небесные армады, наполняла лазареты тысячами истерзанных и обгорелых людей. Мир был огромной грязной простыней в ее стальных кулаках. Скручивался в жгут, выжимался, отекал расплавленной сталью и красной горячей жижей.

Полковник, еще минуту назад щуплый, узкоплечий, с длинными, робко опущенными руками, с бледной полоской лба над хрупкой оправкой трогательных, студенческих очков, вдруг стал искрить. Рассыпался на металлические огненные шарики. Превратился в облако плазмы. Разлетелся в разные концы сумрачного пространства машины. Мчался над Северной Европой в образе гневной Валькирии, с пепельным вихрем волос, гневно кричащим ртом, разрывая небо пожаров огромными шарами грудей.

Распростерся над Кельном, где шел скоротечный танковый бой. Танки прорубали коридоры в кварталах, заливали горячей сталью центральный район и ратушу. Горел разрушенный ударами авиации Кельнский собор, босые белокурые дети убегали по мостовой, и русский танкист из горящего танка посылал пулеметные очереди в разноцветный витраж собора, где засел солдат с безоткаткой.

Валькирия в форме советского офицера облетала побережье с желтыми пляжами и цветными зонтиками. Морская авиация с красными звездами сносила порт, горели цистерны с нефтью, тонул на рейде белый туристический лайнер, и морская пехота с негромким «ура» прорывала береговую оборону. Бело-голубое знамя выпадало из рук убитого знаменосца. Валькирия прянула, накрыла атакующую цепь кудрями дымных волос, подхватила знамя, понесла его впереди атакующих пехотинцев.

Северная Германия, окруженная вялыми очагами пожаров, пала под лязгающие гусеницы советских танковых армий. В небе над морем продолжались разрозненные воздушные схватки. Валькирия, облетев поле брани, собрала информацию о сожженных танках, о длине коммуникаций, о разгромленных группировках противника. Вернулась

в Белоруссию. Ударилась о штырь высотной антенны. Проникла в нутро машины. Расплескалась электронными цифрами, молниями бегущих строчек, командами штабистов.

Белосельцев чувствовал непомерную мощь машины, ее неколебимую волю, зажавшую историю мира в неразъемный кулак с нержавеющей фалангами пальцев, с черно-синими жилами цвета вороненых стволов.

— На рубеже обороны по Рейну наступающие армии остановлены взрывами ядерных мин.... Дивизии НАТО второго эшелона применили тактическое ядерное оружие против двух советских мотострелковых дивизий в районе Франкфурта... — Голос полковника звучал так, будто он прижал к губам жестяную трубу, и слова, словно рулоны металла, разворачивались и звонко падали из железного раструба. Теперь он был ангелом в багровых одеждах, с секущими крыльями, окрашенными цветом пожаров. Из волос его падали молнии, сжигали города, вставляли черными грибами дымов. Из груди излетали струи жидкого пламени, плавил танки, кипятили озера и реки. Одна рука прижимала к губам ревущий горн, от которого рушились колокольни и башни, сгорали в небесах самолеты, вспыхивали вековые дубравы. В другой руке он держал сверкающий меч, вел им по земле, рассекая камень и сталь, брызгающую кровью плоть, изрытую окопами землю.

Рейн был, как белая ртуть, в него погружался черный сухогруз с красной ватерлинией, на палубе шевелился матрос, без одежды, в розовых волдырях, взирая на ангела пустыми глазницами. Колонна бэтээров, с перевернутыми колесами, мертвыми экипажами горела на трассе. В «мерседесе», без стекол, сидели обугленные скелеты, и весь автобан, среди горящих пшеничных полей, был усеян мертвыми, похожими на цветных жучков, машинами, над которыми низко, дуя в золотую трубу, мчался крылатый ангел. И два «мига», сжав стреловидные крылья, мерцая пушками, прикрывали его заднюю полусферу.

Полковник опустился на железный клепаный пол, среди экранов, мерцавших как мертвенные бельма. Он уже был в фуражке, но еще с дымящимися, синими от радиации волосами. Доставленная им информация летала по дисплеям, рассказывая о зонах поражения, о розе ветров, разносившей атомные облака по Центральной и Восточной Европе.

Машина была гневным Библейским Богом. Исправляла кривую времени. Меняла утомленный ход ветхозаветных веков. Убирала с земли плотоядное, утратившее смысл человечество. Плодовитую жизнь, размножившуюся в желании потреблять, наслаждаться. Отвернувшуюся от неба. Разноцветной слизью покрывшую найт-клубы, рок-фестивали. Распустившуюся в ночи неоновыми городами разврата, торжищами утех. Крылатый Дракон, оснащенный телеметрическими системами, связанный с орбитальными группировками, с эскадрами подводных стартплощадок, летел над миром, вонзая ртутные трезубцы в рекламы Лас-Вегаса, в пластмассовые замки Диснейленда, в целлофановые павильоны Голливуда, в хрустальные ангары МакДоналдса. Радиоактивный пепел разноцветными лепестками парил над гибнущим миром, и машина готова была превратить мертвый прах в Рай воскрешенного человечества.

— Ракеты средней дальности из районов Прибалтики, Южного Урала и Украины нанесли ядерные удары по Парижу и Риму... Группировка Прикарпатского военного округа начала наступление через Австрию, в направлении Северной Италии и Франции...

Полковник в образе Александра Суворова приземлился на леднике Сен-Готар. Глазированный наст сахарно хрустнул под каблуками ботфортов. Суворов поправил шляпу, стряхнул иней с кудрявого, небрежно завитого парика и, достав из сюртука маленькую подзорную трубку, обратил ее в сторону Италии и Франции. Были отчетливо видны два ядерных взрыва, накрывшие Рим и Париж. Они выжгли рифленую поверхность городов, сделав ее плоской и жидкой. Вверх поднимались кудрявые растущие стебли, на них наливались лунным светом огромные перламутровые медузы. Колебали волнообразными щупальцами, превращались в огромные бледно-голубые поганки. Сквозь хлипкие ножки грибов, вверх, питая громадные шляпки, текли превращенные в пар Колизей и собор Святого Петра, Эйфелева Башня и Лувр. Раскаленные газы, состоящие из молекул погибших людей и атомов, на которые распались картины великих художников и статуи античных ваятелей, летели в небо, превращаясь в черные тучи, полные ядовитых дождей и ржавых мерцающих молний. Суворов удовлетворенно сложил медную подзорную трубку. Ковырнул сапогом наст, под которым скрывалась

русская горная пушка времен перехода через Альпы. Расстегнул военный сюртук, обнажив вживленную в бок красную клавишу. Нажал ее и исчез. Опустился через мгновение в чреве машины, превратившись в советского офицера, юрко просматривающего электронные цифры, исчислявшие свои и чужие потери, ширину коридоров, по которым, облаченные в скафандры, пройдут войска. Белосельцев видел, как на ботинке полковника стремительно тает комочек снега.

Машина переползала с континента на континент. Скребла когтистыми лапами горячий пепел. Лакала из кипящих отравленных рек. Откладывала яйца в раскаленные кратеры, оставшиеся на месте испепеленных столиц. Оставляла на рыхлой земле волнообразный след от чешуйчатого хвоста, отпечатки огромных трехпалых лап.

— В эскалацию конфликта включились соединения 6-го флота США в районе Средиземного моря. Наблюдается массовый взлет авиации с авианосцев «Саратога» и «Дуайт Эйзенхауэр», восточнее Неаполя и Сиракуз. Нанесены удары крылатых ракете ядерными зарядами по базе советского флота в Севастополе. Из района Тирренского моря совершены подводные пуски баллистических ракет по Киеву, Харькову, Днепропетровску... Советская Средиземноморская флотилия вступила в бой с кораблями 6-го флота... — голос полковника звучал, словно записанный на пленку и воспроизводимый после его смерти по громкоговорителю. Владелец этого голоса был Наполеоном, непомерных размеров, в огромной треуголке, в тяжелых полевых сапогах. Походное креслице, в котором он поместился, стояло на облаке, откуда отчетливо просматривалось море, где шло сражение. Корабли обменивались ударами ракет. Тонули, продырявленные торпедами. Швыряли друг в друга «гарпуны» и «томагавки». Навешивали в небе кудрявые дуги зенитных пусков. Пенили воду ударами глубинных бомбометов. Авианосец, взорванный ядерной торпедой, вяло оседал на корму. Штурмовики, отбомбив по Севастополю, промахивались мимо палубы, один за другим рушились в море. На дне погибала дизельная подводная лодка, командир прощался с экипажем по громкой связи, матросы «БЧ-5», по грудь в воде, задыхаясь в железном дыму, пели «Варяга». Юг Украины затмила мутная мгла, в которой мерцали разрывы, и сквозь муть небес вставали ядерные баобабы.

Наполеон неотрывно смотрел в трубу, пытаясь разглядеть французский авианосец «Клемансо», но тот, не выйдя из Марселя, горел у пирса, и над ним кружилась карусель самолетов, едва различимых на солнце.

— Есть ли известия из Парижа? — спросил Наполеон.

— Да, сир. — ответил камердинер с желтым от малярии лицом, приближаясь и передавая пакет. Наполеон надорвал обертку, извлек прелестную миниатюру Жозефины Богарнэ. Печально и нежно рассматривал. Поцеловал портрет и вернул камердинеру.

— Время два часа по полудню, не так ли?

— Да, сир, — ответил камердинер с поклоном. Проводил Наполеона в палатку, где на походной кровати уже ждала его молодая маркизантка в расстегнутом лифе.

— Передайте Даву, чтобы берег старую гвардию, — сказал Наполеон, задерживая полог палатки.

Наполеон превратился в полковника, который стоял у экранов, где гасли отметки потопленных кораблей, вспыхивали пораженные ядерными зарядами цели. От полковника пахло женской туалетной водой. Зажав между колен треуголку, надевал полевую пилотку, прижав ко лбу ребро ладони.

— Удар баллистических ракет с советских подводных лодок из района Атлантики... По целям в Калифорнии, включая Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего... По целям во Флориде, включая мыс Канаверал... По целям в Техасе, включая Хьюстон и базы бомбардировщиков В-1 » Абелине...

Экраны, как корыта, колыхали волны мыльно-синего света, будто качалась сама земля.словно перегоревший под напряжением провод, искрясь, упал в залив мост в Сан-Франциске, разъединяя огромный кочан атомного взрыва и красные от пепла предгорья. В Сан-Диего взрывная волна выбросила на берег эсминец, он воткнулся рубкой в набережную, задрал уродливо днище с гребными винтами. Голливуд горел, словно великолепная декорация. На космодроме имени Кеннеди от розового жара валились стальные вышки, взрывалось топливо в баках «Дискавери», и на пляжи в Палм-Бич лился огненный липкий дождь. Горела пшеница в Техасе, ребристые бомбовозы «Стелс» перевортывались, как бумажные змеи, и их уносило бурей в саванну.

Маршал Жуков в трофейном джипе пересекал Большой Каньон, заслонявший десантную армию от близких ядерных взрывов. Остановил машину у придорожной гостиницы, где танкисты заливали перегретые моторы танков холодным пивом. Поманил к себе белесого паренька в танковом шлеме, из-под которого сияли голубые рязанские глаза.

— Ну что, Теркин, дойдем до Чикаго?

— Так точно, товарищ маршал. Земля, она круглая. Непременно дойдем.

— Вот тебе, гвардеец, часы. Поставь по чикагскому времени, — отстегнул с запястья командирские часы со звездой и портретом Сталина, протянул танкисту. Отъезжая, видел, как тот приложил часы к уху убеждаясь, что тикают.

Полковник возник в прохладном сумраке штабной машины. Протянул к экрану руку, на которой еще недавно были часы «Сейка», а теперь светлела незагорелая полоска, оставленная браслетом.

— Всем штабам и командным пунктам, стационарным, мобильным, воздушного и морского базирования!.. Проведены массовые пуски баллистических межконтинентальных ракет Советского Союза и Соединенных Штатов Америки!.. С обеих сторон задействовано до пятидесяти процентов ядерных средств... Поражаются промышленные зоны, железнодорожные узлы, центры политического руководства, ядерные станции, нефтяные поля, места скопления авиации и войск, релейные средства связи, космические спутники и антенны дальнего обнаружения... Выведено из строя до шестидесяти процентов американского стратегического потенциала и до двадцати пяти процентов потенциала СССР.. Обмен ударами продолжается...

Небо над землей стало темно-красным, как в фотолаборатории. По нему бежали мутные тени великанов. От поверхности отслаивались малиновые волны свата» а земля разбухала, похожая на огромную свеклу. Повсюду как на огромном огороде, стояли ребристые жесткие стебли, на которых кудрявились атомные кочаны. В дымах, охвативших континенты, постоянно мерцало, словно в глазницах лопались кровяные сосуды. На местах городов зияли мутные ямы. В разные стороны света неслись ураганы и бури, вздымая в стратосферу обломки небоскребов, куски реакторов, бетонные фрагменты

автострад. В потоках ядовитого ветра над Атлантикой столкнулись колонна Белого Дома и шпиль Спасской башни с расколотым пятиконечным рубином. В ртутных облаках неслись человеческие тела и скелеты, обгорелое, но еще живое стадо африканских слонов, два крокодила из Амазонки, застигнутые в позах любви и сверкающий, вырванный из океана косяк тунцов. Солнце было в черных и красных кольцах. Рядом туманно светил огромный радужный крест, его концы загибались, он превращался в громадную свастику, начинал вращаться, становясь колесом, составленным из мутных спектров.

Полковник вломился в стальное нутро машины, не помещаясь, внося за собой вихрь пескоструйного ветра. Уменьшался, сжимался. Меркли на брюках лампасы. Гасли золотые погоны.

— Происходят редкие несанкционированные пуски неопознанных ракет... Хаотизация систем управления, разрушения центров наземной и космической связи лишает штаб достоверной информации... Как стало известно, гвардейский танковый корпус вышел в окрестность Мадрида... Взвод итальянской армии замечен в районе Калуги... Войска континентального Китая высаживаются на Тайване... Началось восстание зулусов в одном из бантустанов ЮАР...

В отсеках зажегся свет. Экраны погасли. Только кое-где продолжали бежать цифры, сосредоточенные, как электронные муравьи. Главком поднялся из кресла, окруженный офицерами штаба.

— Поздравляю, товарищи. По итогам учения, блок НАТО потерпел сокрушительное поражение от войск Варшавского договора. Империализм уничтожен. С этого момента человечество выбирает исключительно социалистический путь развития... Спасибо, товарищи!

Все зааплодировали. Сбрасывая напряжение, потянулись вслед за Главкомом на солнце, в тенистую дубраву, в запахи свежих трав.

— В заключение учений будет показан воздушный десант силами дивизии, — утомленный полковник, близоруко моргал наивными глазами, протирая платком запотевшие очки. — Командующий приглашает вас на наблюдательный пункт.

Белосельцеву было странно видеть этого щуплого, похожего на студента, офицера, добившегося мирового господства, который протирает очки, чтобы лучше рассмотреть доставшийся ему в результате победы мир.

Они стояли с Главкомом на краю лесного увала под легкой маскировочной сеткой. Тот, довольный, доброжелательный, помолодевший, доверительно объяснял Белосельцеву:

— «Полководец» — высшее достижение советской науки. Эта машина и есть «оргоружие», о котором вы упоминали в статье. Она способна проанализировать любой конфликт. Она учитывает все, вплоть до психологических особенностей конфликтующих субъектов. Ее невозможно переиграть. — Главком смотрел в серебристые сосняки, где, невидимая, укрытая хвоей, окруженная прозрачной маскировкой, отдыхала машина. — Мы просчитали возможность предстоящих событий, связанных с восстановлением управляемости в стране. На это потребуется не более трех дней. Возможно некоторое противодействие со стороны, ну, скажем, студентов или отдельных экзальтированных политиканов. Но народ на нашей стороне, армия, разумеется, с нами. Обеспечим порядок в столице силами Московского военного округа. Уже проведены беседы с командирами частей. Все они готовы выполнить присягу. Не будет пролито ни одной капли крови. Кое-кто из демократов, конечно, намочит штаны. Но мы приготовили места, где они смогут обсушиться, — Главком усмехнулся, статный, сидящий, вселяющий абсолютную уверенность.

Белосельцев понимал, что речь идет о близком, неизбежном столкновении двух заговоров. И страхи его напрасны. Государственники не дремлют. На их стороне вся мощь государства, изощренность новейших знаний. И все, о чем он лишь догадывался, уже известно машине. В ней — дислокация вражеских сил, имена заговорщиков, их психология, уязвимые места, уровень возможной поддержки. Машина просчитала победу. Ее гуманный смысл в том, что победа станет бескровной. Враг будет не уничтожен, а превращен в союзника. В этом задача операции «Ливанский кедр» — в великом очищении, претворении Войны в Мир, разрушения в созидание. И словно в подтверждение его благих помыслов, в старом сарайчике, за дощатыми воротами, раздалось тихое нежное ржание, осторожное фырканье, храп. Белосельцев восхитился, — там, укрытый серебряными разохшимися венцами, седыми сучковатыми досками, прячется конь, который сквозь солнечную щель видит его,

Белосельцева, чувствуют его благую веру, откликается на нее своей сильной горячей жизнью.

Перед его глазами встала картина Петрова-Водкина «Купание красного коня». Ее иконописная красота, мистическое упование на русское чудо, явились Белосельцеву как воплощение его собственных чаяний. Вот золотая рама яркого летнего солнца. Вот зеленые нежные кущи. Вот чудная лазурь в пруду. Вот ветхий деревенский сарай, где притаился волшебный конь. Растворятся ворота сарая, золотой дивный отрок на алом огромном коне проскачет по сочным травам, прыгнет в синюю воду, и алое смешается с голубым, золотое с зеленым, и откроется солнечная бессмертная сущность мира.

В бледной пустоте, среди голубых мерцаний, возникло легчайшее напряжение, легкое сгущение синевы. Еще не материальное тело, но предчувствие звука, связанного с его приближением. Из этих молекул света, расталкивая их, пробивая тончайшим острием, примчался звук. Вонзился из неба в туманную низину. На этом звенящем острие, продолжая ее налетающей силой, возник самолет. На мгновение обозначился фюзеляжем, разведенными крыльями, режущим плавником хвоста. Взмыл, оставив под собой грязные столбы взрывов, которые оседали, распугивая уток и коростелей, подымая дремлющих лосей и лисиц. Сотрясенная долина ошалело укладывала на место взорванный торф и перевернутый дерн. И снова звук хлестнул по низине. Самолет, как отломившийся кусочек солнца, спикировал, грохоча пушками, оставляя на земле череду разрывов. Вознесся, пропадая на солнце, и глаза напрасно искали его среди белых и фиолетовых пятен. Штурмовик, предтеча десанта, обработал плацдарм, вслепую отбомбил, проутюжил пушками, подавляя возможное сопротивление.

— Хорошо сработал «грач»! — бодро похвалил Главком, радуясь простору и воздуху, где вместо малопонятных электронных иероглифов и мертвенных бестелесных экранов было живое пространство, еще трепетавшее от пролетевшей машины. — По времени точно укладываются! — И он посмотрел на часы, сверкнувшие золотым циферблатом.

Мерный металлический звук приближался, выстилая небо дребезжащей фольгой. В металлическом небе, горизонтально летящий, возник самолет. Проплыл, оставив выгнутое, оседавшее небо, из

которого сыпались крохотные черные точки. Над каждой распустился голубоватый цветок парашюта. Из подвешенных крохотных кубиков негромко застучало, бледно заискрило. Кубики поворачивались, вращались, как огненные фонтанчики, равномерно поливая долину.

— А это что такое? — Главком изумленно воздел седые брови, словно увидел нечто несусветное.

— Товарищ Главнокомандующий, это наши умельцы из ВДВ придумали, — полковник в тельняшке, с парашютиком десантных войск в петлице, с готовностью подступил, поясняя Главкому. — Сварная рама из уголков. В ней крест-накрест закреплены пулеметы. Работают по кругу. Снижаясь, они сужают сектор обстрела, выстригая круг радиусом до километра. Зачистка территории!

— Молодцы!.. — похвалил Главком.

Парашюты снижались, вращая брызгающими пулеметами, которые пронзали свинцом болотные цветы, птичьи гнезда, не успевших ускакать зайцев. Словно стелили на луга «свинцовую скатерть» на которую принесут и поставит неведомые блюда и яства.

И снова была пустота, тишь простреленных безлюдных пространств» Синела вода в пруду. Слышалось в сарае негромкое тревожное ржание.

— Идут!.. Эшелон две тысячи! — десантник, прикрывая ладонью глаза, смотрел в небеса.

Там, в алюминиевом небе, высокие, прозрачные, полные воздушной синены, появились тяжелые транспорты. Влекли в небесах разбухшие, отвисшие туловища, едва поддерживая себя короткими усталыми крыльями. В хвостах открывались щели, выпадали темные сгустки, быстро устремлялись к земле. Все небо было в падающих комках. Из них вырывалось рыжее пламя, упиралось в землю тугой метлой. Раскрывался белоснежный надутый купол. Тормозные сопла замедляли падение, ветряной шелк останавливал свободный полет. На землю опускались боевые машины, мягко плюхались на гусеницы, начинали двигаться, оставляя позади пузырящиеся купола. Стреляли на ходу из пулеметов и пушек, выстраиваясь в боевые порядки.

Самолеты продолжали лететь, издавая унылый металлический звук, от которого пространство наполнялось белесой алюминиевой пылью. Полупрозрачный темный сор оседал к земле, отставая от самолетов, и в этом облаке, состоящем из точек и запятых, вдруг

взрывался белый цветок. Над ним другой, третий. Все небо превратилось в огромную клумбу, на которой раскрывались белоснежные соцветья, трепетали прозрачные лепестки, плескались шелковистые драгоценные крылья.

Десант опускался на равнину. Солдаты сбрасывали шелковое оперенье. Начинали бежать, выставив вперед автоматы, вслед за боевыми машинами.

Вот так же, смотрите, было во время Великой Отечественной! — Главком разволновался, помолодел. В его стариковские бесцветные щеки брызнул румянец. Он обращался к Белосельцеву, желая, чтобы тот ощутил этот размах и силу, пережил сходство этой атаки с давнишним наступлением победоносной атакующей армии. — Вот только тогда кричали «ура»!

Солдаты бежали неуклюже и молча, толстоголовые, мешковатые, среди гулких орудийных стуков, долбящих очередей, автоматной трескотни. Они были в противогазах, в неловких комбинезонах, преодолевали зараженную местность. Поблескивали издалека стекла защитных очков.

Вал наступления катился по болотцам и зарослям, оставляя после себя лохматую зелень и взбаламученную воду. Две боевых машины отделились от атакующих. Стали взбираться на увал, приближаясь, елозя в траве зубчатой сталью, выбрасывая из кормы голубые хвосты дыма. Приблизились, надсадно рыкнули, замерли, воздев тонкие пушки, окруженные оседающей росой и травяным соком. Люк головной машины открылся. Оттуда вырос зеленый, в глазастом противогазе человек. Спрыгнул на землю. Держа на весу автомат, стал подходить к командному пункту. Не доходя до Главкома, за несколько метров, стянул противогаз, открывая потное, красное от нехватки воздуха лицо. Оно состояло из грубых углов, плоскостей и вмятин, словно помидор, выращенный в квадратной банке. Стал неловко печатать шаг, подымая зеленые пупырчатые бахилы. Поднес к виску перчатку, похожую на лягушачью лапу.

— Товарищ Главнокомандующий, дивизия в составе двух полков десантировалась на заданный плацдарм!.. Плацдарм удерживается до подхода основных сил!.. Потерь и происшествий нет!.. Командир дивизии — полковник Птица!.. — голос десантника был глух, но глаза из-под тяжелых бровей смотрели смело и ярко.

— Правильная фамилия, воздушно-десантная! — Главком посмотрел на комдива, любясь его сильным, зачехленным в прорезиненную ткань телом. — Благодарю за службу!.. На память! — Главком засучил рукав, сняв тяжелые, в золоченом корпусе часы. Протянул офицеру. Обращаясь к Белосельцеву, произнес: — Вот она, наша элита! Гроссмейстеры победы!..

Офицер принял подарок, собираясь ответить. Но в сарае раздалось истошное ржание, дикий храп, взбрык, удары о ветхое дерево. Ворота взломались, и сквозь гнилые щепы, отряхивая ломаную труху, вынесся конь. Он был не красный, как ожидал Белосельцев, а бледно-седой. Не исполнен солнечной жаркой силы, а худой, с провалившимися тощими ребрами. На нем не сидел золотой ясноликий отрок, а качалась чья-то вялая мерклая тень. Конь затравленно рванулся в сторону. Натолкнулся на стальную машину откуда глянули на него очкастые чудища. Шарахнулся к пруду, врываясь в мелкую воду. И она была не бирюзовой, как на картине художника, не цвета иконописной ангельской синевы, а черной, как смола. Белый, словно известь, конь, мчался по черной воде, и на его костистой спине трясся мучнистый, состоящий из костей, из глазастого черепа всадник. Уносился, как бред, не касаясь земли, в горячее, насыщенное гарью пространство.

— Это еще что такое? — изумленно воскликнул Главком, обращаясь к десантнику. И тот, не дрогнув квадратным, камневидным лицом, а только моргнув засмеявшимися глазами, ответил:

— Ход конем, товарищ Главнокомандующий, — и оба, оценив шутку, засмеялись вслед исчезающему видению. Порученец нес на маленьком подносике стакан парного молока.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Следующим этапом была поездка с Прибалтом, министром и крупным партийным лидером, в пустыню, в атомный город, где Прибалт в преддверии великих событий желал повстречаться с научной интеллигенцией. Сосредоточенный, бодрый, отбросив сомнения, Белосельцев сидел в самолете, глядя, как Прибалт, статный, вальяжный, с благородным лицом, читает свежий номер газеты «Правда».

Самолет поставил в вираж белый бивень крыла с красной надписью «СССР», и начал снижение. Внизу мерцал ослепительно синий, как застывшее стекло, рассол Каспия. Огненно-ржавое, раскаленное пекло каменистой пустыни. Пустое бесцветное небо, сожженное слепящим солнцем. Три мертвых, неодушевленных стихии, не соединяясь, как три огромных недвижных осколка, существовали отдельно, ненужные друг другу в распавшемся на куски мироздании. Город, как драгоценный кристалл, возник на кромке пустыни и моря. Белый купол атомной станции казался прекрасным храмом. Опреснитель из яркой стали сверкал, словно звезда. Нежная зелень, окруженная влажным туманом, не скрывала хрустальных пирамид и дворцов, напоминавших мираж. Как удар божественного перста, как волна творящего взрыва, во все стороны летели трассы, водоводы, высоковольтные линии, и там, куда они вонзались, пустыня начинала дышать, зеленеть, окутывалась нежным туманом. Планета, сгоревшая, покрытая коростой мертвой материи, оживала, возвращала себе атмосферу, прозрачную влагу. Белосельцев жадно всматривался в этот рисунок. Шептал: «Это и есть долгожданный ответ... Победа над энтропией... Заветы Вернадского, Федорова... Философия красного смысла... Мы созданы, чтобы оживлять безвременно умершие планеты... Воскрешать погибшие души... Возжигать погасшие звезды...»

На аэродроме их встречали. Прибалт был приветлив, прост. И очевидно нравился встречавшим своей статью, прибалтийским лицом, отсутствием вельможного высокомерия.

В небольшом актовом зале, напоминавшем стеклянный куб, не пропускавший жар солнца, Прибалт встретился с городским активом и сделал краткое сообщение. Рассказал о переживаемых страной трудностях. О возникших нехватках и диспропорциях. О программе фундаментальных перемен, затеянных партией. О желании раскрепостить общество от устаревших догм, выявить творческую энергию, дать простор молодым талантам.

— Мы нуждаемся в вас, товарищи. Ждем от вас новых научных и общественно значимых идей. Чтобы их услышать, я и приехал к вам по заданию Политбюро! — Белосельцеву нравилась эта простая неамбициозная речь. Нравился стеклянный куб, сквозь стену которого на синеве моря белел великолепный корабль. Сквозь другую краснела пустыня с розовым, как фламинго, идущим на посадку самолетом. Сквозь третью виднелся купол реактора, похожий на храм Святой Софии.

— Ну что ж, осмотрим ваше хозяйство, — дружелюбно улыбнулся Прибалт, и все отправились к лимузинам осматривать город.

Их вели два молодых гида, оба физики, русский — Андрей Ермаков, и казах — Мухтар Макиров. Один голубоглазый, с открытым сильным липом, чуть ироничный. Другой — широколицый, свежий, с горячим смуглым румянцем, внимательными раскосыми глазами. Пока ехали в машине, гиды рассказывали Прибалту, как трудно строился город. Как на мерзлые зимние скалы, пробивая каспийский лед, пристали первые баржи. Привезли палатки и доски, сварочные аппараты и бульдозеры, и первое, что увидели ступившие ил берег комсомольцы, был скелет дохлого верблюда, его оскаленный насмешливый череп.

— Мы освоили эту пустыню, как в скором будущем станем осваивать Марс, — произнес Андрей Ермаков.

— Мы здесь рассматриваем себя как экипаж космического корабля, который направляется на освоение новых планет, — вторил ему Мухтар Макиров.

Атомная станция казалась храмом, где в громадной бетонной чаше, в священном сосуде реактора, шло непрерывное жертвоприношение. Вскипала густая кровь, натягивались железные жилы, и огненный бог, окруженный сталью, напрягал могучие плечи, паялил огненные глазницы, жарко гудел в угрюмые гулкие трубы. Они

проходили по машинному залу, где агрегаты казались гигантскими быками, впряженными в колесницы. Тащили на себе каменную пустыню, пенили море, рыли копытами горы, стягивали воедино расплзавшиеся пространства. Тысячи циферблатов, похожих на хрупкие сервизы, окружали генераторы и турбины. Диспетчерский зал напоминал кабину звездолета. Колоссальных размеров пульт мерцал индикаторами, разноцветными лампадами, трепетал пробежавшими сигналами. Операторы в белом, похожие не небожителей, управляли огненной материей.

— Топливо, которое сгорает в реакторе, превращается в новое, еще более энергоемкое, довольно пояснял Андрей Ермаков, видя, как нравится Прибалту станция. — Создавая город, мы не тратим энергию, но увеличиваем ее непомерно. Эту энергию можно закачивать в другие районы Вселеимой и с ее помощью рекультивировать погибшие в катастрофах планеты.

Прибалт пожимал операторам руки, спрашивал, в чем они нуждаются. И один, молодой, зеленоглазый, в белой жреческой шапочке, вежливо попросил прислать ему книгу Бердяева «Русская идея», что и записал в свой блокнотик аккуратный Прибалт.

Они посетили подземный комбинат, построенный в толщах горы, погружаясь на бесшумном скользящем лифте. Глубинные штольни с фасадами мраморных зданий, с немеркнущим светом млечных светильников казались улицами. Цеха заводов, наполненные человекоподобными, мерно работающими механизмами, были безлюдны. Сквозь толстое, не пропускавшее радиацию стекло, Белосслыцев созерцал эту механическую популяцию, заселившую центр планеты.

В одном из цехов работали ярко-красные роботы, похожие на пауков. Спускались с потолков, шевеля членистыми гибкими лапами. Хватали текущие по конвейеру клубеньки. Ощупывали, озирали трубочками окуляров, сжимали, словно впивались. Уносили в туманную даль цеха, где что-то кипело и плавилось.

По соседству другие роботы, ярко-серебряные, похожие на богомолов, приподнявшихся на задние конечности, несли перед собой одинаковые подносы. С ловкостью официантов они проносили дымящиеся блюда к невидимому застолью, перед которым их останавливал ярко-синий механизм, составленный из рычагов.

Подобно метрдотелю, придирчиво осматривал блюда, нюхал запахи, убеждался в соблюдении рецептов и только тогда пропускал к столу.

В просторном помещении, за длинным, натертым до блеска столом, сидели механические твари, двухголовые, горбатые, с выпуклыми цилиндрическими животами, с рубиновыми глазами, размешенными в области пупка. Они двигали членистыми руками, на которых было по три пальца, непрерывно ими шевелили и что-то лепили. Изделиями, которые они ставили на конвейер, оказывались красные кубики, зеленые пирамидки, перламутровые шарики, фиолетовые цилиндрики. Конвейер уносил их вдаль, словно там из этих элементарных фигурок создались неведомые структуры, существовавшие в ином пространстве и времени, с иными, неведомыми на Земле свойствами материи.

— Это видимый пример того, как человечество станет создавать подземную цивилизацию, убирая с поверхности земли вредные производства и машины, — пояснял Мухтар Макиров. — На Земле же останется простор растениям, животным и людям. Наши потомки будут предаваться под светом солнца не изнурительному труду, но познанию и отдыху. Такие же поселения мы будем создавать и на других планетах, прячась в их глубине от метеоритных бомбардировок и радиации.

Прибалт внимал этим пояснениям, радуясь тому, что оказался в царстве знаний, среди просвещенных, осмысленно живущих людей, столь не похожих на московских крикунов и демагогов.

— Должно быть, вы с большим удовольствием выбираетесь из этой глубины на поверхность? — обратился Прибалт к молодому инженеру, обслуживающему подземных роботов.

— Нет, это не так, — возразил ему инженер с бледно-голубоватым лицом, отвыкшим от солнечного света. — Я готов здесь жить неделями и месяцами. Эти существа живые, умные, одухотворенные. Каждому из них мы дали литературное имя. Вон, например, князь Андрей Болконский, — инженер показал на маленького упругого коротышку с телескопическими выдвижаемыми стержнями и лучом лазера на металлическом лбу. — А вот это — Наташа Ростова, — он кивнул на решетчатого одноногого идола, обвитого цветными жгутами, который внезапно начинал вырастать до потолка на сияющем штативе.

Белосельцев восхищался увиденным. Из уродливых бараков и убогих пятиэтажек, из колючих оград и запретных зон вышли молодые свободные люди, те самые дублеры, что стояли за спиной Прибалта, Главкома, Партийца, готовые сменить их, когда наступит время.

Они посетили опреснитель морской воды, стоящий на кромке моря. Спереди он был похож на огромного средневекового рыцаря в доспехах. Стоял, словно великан, опираясь на меч, и в его груди, стесненное металлом, сипело могучее дыхание. Белосельцев отметил вмятины на выпуклых металлических боках опреснителя. Они делали его трогательно живым, рукотворным, будто его склепал старательный жестянщик.

— Этот опреснитель, питаемый атомной станцией, создает океан пресной воды, которую сейчас получают из рассола Каспия, но в дальнейшем, скажем, на Луне, будут производить из местных пород, закачивая в глубинные резервуары или наполняя пересохшие моря и озера, — пояснял Андрей Ермаков с интонацией легкого превосходства над гостями, как если бы те прилетели на молодую, полную сил планету с утомленной, одряхлевшей Земли.

Махина слепила своими шарами, цилиндрами, громадными трубами. Ухала, гудела, жадно сосала море. В ней, невидимые, клубились раскаленные тучи, метались туманные молнии, выпадали кипящие дожди. Горячая морская соль зеленовато-голубыми кристаллами сыпалась на платформы. Водоводы, словно речные русла, схваченные в металлические берега, толкали чистейшую воду, которая неслась в пекло рыжей пустыни, и пустыня отступала, покрываясь изумрудными оазисами.

— У нас здесь создан Институт воды, — рассказывал Мухтар Макиров, проводя гостей по лаборатории в недрах опреснителя. — В опресненную воду мы добавляем тончайшие компоненты, добиваясь такого вкуса, какой не отыщешь в колодцах и родниках. Кроме того, в этих местах разлита таинственная прана, которая, по утверждению ученых, продлевает жизнь на десять-пятнадцать лет.

— А это наш Гранд-Канал, — пояснял Ермаков, когда они мчались вдоль серебряной трубы водовода. Наш город, как и Венеция, стоит на воде.

Там, где сочный серебряный стебель начинал ветвиться, на нем, как фантастические хрустальные плоды, окруженные зелеными

кущами, сверкали строения. Жилые кварталы удивительной архитектуры, похожие на стеклянные пирамиды. Научные институты, напоминавшие створки перламутровых раковин. Дома культуры и театры, украшенные мозаиками. Повсюду били фонтаны, стояли памятники, вращались абстрактные, из разноцветных сплавов, скульптуры, и было много детей, молодых красивых людей славянского, еврейского, кавказского, азиатского типа, которые, казалось, все знают друг друга, составляют единую большую семью.

Город своими кристаллами касался пустыни, и там, где они встречались, шла схватка, сыпались искры, скрежетал камень, летели, словно выпушенные из огнемета, струи пламени. Пустыня старалась расплавить город, дышала на него голубым жаром, а город заливал пустыню водой, заслонился стеной деревьев, которые трескали от палящего зноя, свертывали обгорелую листву.

На голой испепеленной горе люди сажали сад. Напрягая мышцы, просверливали в камне шпury. Закладывали в них взрывчатку, соединяя бикфордовыми шнурами. Гремели взрывы, вышибая вверх мучнистые зыбкие статуи. Люди лопатами выгребали из воронок дымный горячий щебень. Сыпали с грузовика черную землю, привезенную из-за моря. Несли на руках деревья, обмотанные влажными тканями. Открывали живые корни, сажали в каменные, полные чернозема чаши. К каждой чаше протягивали отрезок трубы, из которой начинал бить нежный сверкающий ручеек. Дерево жадно пило, окутываясь легчайшим зеленым туманом. Пустыня отступала на шаг. Скалилась, выпускай сквозь каменные зубы голубой жар.

— Мы бы хотели, — Мухтяр Макиров любезно обратился к Прибалту, — чтобы вы посадили дерево. На память о вашем визите.

Рабочие, в панاماх, голые по пояс, поднесли Прибалту хрупкое деревце персика. Он благодарно, бережно принял его, окунул мохнатыми корнями в лунку, бережно огладил, и оно стало пить подбежавший к корням ручеек.

Прибалт был счастлив. Государство, которому он служил, строило Город-Сад. Одолевало испепеляющий жар истории. Побеждало жестокою пустыню бессмысленных трат. Заветы пророков, мечтанья вождей и героев сбывались на этой раскаленной горе, где было посажено райское Дерево Познания Добра и Зла.

За городом, где в пустыне бежали как огромные журавли высоковольтные мачты, им показали древнее казахское кладбище, возникшее, как утверждал Макиров, на месте более древнего погребения воинов Чингисхана. Кладбище состояло из белых мазиров, каменных мавзолеев, овальных куполов, стрельчатых арок, песчаных плит, на которых были вырезаны стихи Корана, ритуальные символы, изображения птиц и рогатых козлов, шестиконечных звезд и стеблевидных орнаментов. В этом городе мертвых было бело и пустынно, воздух был сух и звонок, и было слышно, как пробежал по могилам бесцветный заяц пустыни.

У кладбища расположился небольшой раскоп археологов. Несколько женщин в косынках и их загорелый, в картузе, очкастый руководитель показали гостям пепельную, растворенную могилу, в которой, словно его насыпали из пригоршни костной мукой, лежал скелет. У виска желтого черепа лежало бронзовое зеленое украшение, сплетенное из тонких проволок. Одна из женщин кистью смахивала легкий прах.

— А вот эта находка, — сказал руководитель раскопа, — не сомневаюсь, станет сенсацией в мировой археологии. — Он протянул Прибалту стеклянный зеленый амулет с изображением горного козла. — Скорее всего, в этой могиле лежит жрец, сопровождавший в походе войско Чингисхана.

Амулет переливался, мерцал, словно был только что отлит стеклодувом и его не коснулась тысячеletним темнота могилы.

— Уверен, он станет украшением Исторического музея в Москве, — сказал Андрей Ермаков.

Мне кажется, его не следует увозить в Москву. Пусть останется в земле, которая его породила, — мягко возразил ему Мухтар Макиров.

— Ты веришь в языческую силу талисманов? — улыбнулся Ермаков. — Думаешь, потревоженный дух войны может выйти из могилы?

— Я верю в квантовую физику, в постоянную Планка.

— Вот и хорошо, — засмеялся Ермаков. — Тогда этот стekлянный козел отправится в Москву. Но на фасаде атомной станции мы изобразим волшебного рогатого зверя.

— Как я вижу, достигнут консенсус, произнес Прибалт, употребляя новое слово, недавно вошедшее в политический лексикон.

— Пусть едет в Москву. Хотя там у нас и своих козлов предостаточно. Все засмеялись. Археолог бережно принял в ладони стеклянное животное, и на пыльных ладонях оно светилось как изумрудная влажная звезда.

Они вернулись в город под вечер. Прибалт поблагодарил всех, простился. Отправился а отведенные ему правительственные апартаменты. А Белосельцев, приняв душ, надел свежую рубашку и, дождавшись, когда расплющенное красное солнце утонуло в море, отправился в бар, где ему назначил свидание Андрей Ермаков.

Было приятно сидеть за высокой стойкой бара, наблюдая, как молодой кавказец-бармен ловко хватает сразу две бутылки. Опрокидывает горлышками в высокий бокал, мешая коньяк и шампанское. Кидает в шипящую смесь смуглую вишенку, кубик льда. Улыбаясь, двигает бокал смуглой длинной рукой: «Ваш шамнань-коблер».

Рядом, в сумрачно-золотом дансинге, танцевали. Покачивались в оркестре похожие на рыб мерцающие инструменты.

И в этой прохладе и меланхолической красоте не верилось, что где-то рядом лежит раскаленная марсианская пустыня, ноздреватая и пористая, как неостывшая лава,

Белосельцев испытывал ленивую сладость и умиротворение, как в прежние годы, когда завершались рискованные, почти невыполнимые разведздания и он возвращал из горных ущелий, тропических болот, стреляющих джунглей, где на разбитых дорогах ждали его засады, фугасы, плен или пуля снайпера, — возвращался в прохладный номер отеля «Кабул», где вставал под шелестящий душ, или в китайском ресторанчике Пуэрто-Кабесас ел молочный суп с креветками. Вот и теперь была та же сладость, необязательная беседа с очаровательным умным Андреем Ермаковым. Главное было сделано. Проект «Ливанский кедр» подтверждался. Русская цивилизация и ее жрецы были обнаружены. Опасность московского заговора, которая еще недавно томила и мучила, теперь отступила, казалась больным преувеличением, столичным бредом. Белосельцев смотрел, как красиво тонцуют блюз молодые пары, а над их головами, словно серебряная рыбина, плывет саксофон.

Они обсуждали с Ермаковым научное открытие ленинградских биологов, которым удалось составить геном человека. Полный набор генетических признаков, определяющих физические, психические, а также нравственные черты личности, что открывает путь к бессмертию. К производству биологических запасных частей и установке их в человеке взамен износившихся.

— Быть может, это позволит постепенно освободить бессмертного человека от дурных привычек. Например, люблю выпить после удачно проведенной работы. Особенно «шампань-коблер», засмеялся Белосельцев, чувствуя, как пьянеет.

Мимо, после танца, проходила молодая пара.

— Не расслабляйтесь. К десяти часам вам нужно быть на постах, — негромко сказал им Ермаков, и они послушно кивнули.

В беседе они перешли от проблемы бессмертия к проблеме воскрешения из мертвых, которая, как оба они полагали, будет поставлена советской наукой в ближайшее время. Генная инженерия, сохраненные ткани мозга и костное вещество позволят воскресить таких людей, как Ленин и Николай Второй, что и станет реальным преодолением последствий Гражданской войны.

— А что если воскрешенные Первая Конная и Добровольческая армия Деникина вдруг выйдут из-под контроля? И нам снова придется делать исторический выбор? — трунил Белосельцев, чувствуя, как мягкие волны хмеля раздвигают бархатный сумрак и становятся видны струны электрогитары и перламутровый вензель на деке.

Мимо, держа на весу бокал с коктейлем, проходил невысокий, стриженный «под бокс» человек. Ермаков остановил его на секунду:

— Ты помнишь, что новый комплект бронежилетов складирован в третьем микрорайоне?

— Все под контролем, — ответил тот и удалился к дальнему столу.

Эти краткие фразы слегка удивили Белосельцева, но он отмахнулся от них, ибо предложенная Ермаковым тема и впрямь его волновала. Они говорили о проблеме гравитации, в условиях которой сотворялась земная жизнь. Бытие в открытом Космосе, в невесомости, делают ненужным человеку скелет, растению — стебель, а храму — колонны.

— Вполне допускаю, что для бессмертия понадобится только один мой интеллект, — пьяно пошутил Белосельцев. — А его можно будет поместить в бесхребетный пузырь, в гриб, в медузу. Знаете, есть такие грибы, которые выращивают в банке. Ведь это думающие грибы, — он вдруг вспомнил серый клейкий гриб, заключенный в банку, который находился в кабинете Чекиста. И как странно улыбнулся и подмигнул ему гриб, когда Белосельцев покидал кабинет. Это воспоминание позабавило его, и он ухмыльнулся.

К ним подошла девушка с красивой золотистой стрижкой, в полупрозрачном платье:

— Андрей, перевязочные материалы готовы, и я бы хотела передать их головным постам, которые выдвинутся в пустыню.

— Хорошо, — сказал Ермаков. — Только сделай это до десяти. До объявления комендантского часа.

— В чем дело? — спросил Белосельцев, глядя, как удаляется девушка, и к ней, обнимая ее за голые плечи, подходит юноша. — Какой комендантский час?

— Пустяки, — сказал Ермаков. — Итак, мы с вами говорили о гравитации...

Они пустились в обсуждение космической архитектуры, свободной от гравитационного насилия, которое испытали на себе Парфенон и кельтские домены, собор Святого Петра и Кельнский собор. Постепенно перешли к космической живописи, состоящей из спектров и оптических фантазий, согласившись с тем, что первым абстракционистом, певцом чистого цвета, был Данте в поэме «Рай».

К Ермакову подошли двое плечистых парней, которых Белосельцев видел днем на атомной станции. Один спросил:

— Мы хотим уточнить возможное направление главного удара. Нам кажется, им опять станет опреснитель.

— Для обороны на всех направлениях просто не хватит людей! — волнуясь, сказал второй. — Надо выслать в пустыню разведку, и пусть она с помощью костров или световых сигналов обозначит главное направление.

— Все уже сделано, — сказал Ермаков. — Костры разложены по всему периметру города. Они обозначают главное направление.

Парни ушли, о чем-то сосредоточенно переговариваясь.

— О чем это они? — спросил Белосельцев. — Какое направление удара? Какие бронежилеты? При чем здесь перевязочные материалы?

— Если я начну объяснять, вы не поверите, — неохотно сказал Ермаков.

— Мне хочется знать, — настаивал Белосельцев.

— Вы приехали вместе с высоким гостем. Нам бы не хотелось, чтобы поползли слухи, кривотолки. Наш город дорожит своей репутацией. Он на самом деле замышлялся как Город Солнца, воплощающий мечту Кампанеллы.

— И все-таки, что здесь происходит?

Ермаков жадно допил коктейль, хрустнул на зубах ломкой льдинкой, и глаза его, минуту назад мягкие и мечтательные, стали злыми и острыми.

— Вы были сегодня на старом казахском кладбище. И, должно быть, заметили наш спор с Мухтаром Макировым из-за стеклянного амулета, этого шаманского талисмана с рогами и козлиными копытами. Магический козел является Верховным Божеством этих пустынь, где похоронены воины Чингисхана и их потомки, к которым причисляет себя Мухтар. Он утверждает, что ведет свой род от Чингисхана, и этот амулет — его фамильная святыня... Я был против раскопок в районе кладбища, помня известный случай с разрушением мавзолея Тимура, после которого случилась Вторая мировая война. Но профессор, которого вы видели на раскопе, пользуясь поддержкой Академии наук и местного партийного руководства, начал копать могилы. Как я и предвидел, потревоженный дух великого завоевателя ожил и вышел наружу. Каждую ночь из могил выходит древнее войско и идет на город, желая его уничтожить. К этому войску присоединяются все казахи, работающие на атомной станции, опреснителе, в учреждениях и лабораториях города. Их возглавляет Мухтар Макиров. Мы, русские, каждую ночь даем им бой. Они хотят разрушить станцию, опреснитель, наши чудесные дома, чтобы снова сюда вернулись стада овец и козлов и восторжествовал Рогатый Дух. Мы несем большие потери. Держимся из последних сил. Сегодня ночью опять битва. Не знаю, чем она кончится. Теперь, извините, мне надо идти.

Он встал, сосредоточенный, исполненный стоицизма, и направился к выходу. И следом, покидая дансинг, оставляя своих

подруг, двинулись молодые люди. Оркестранты, отложив свои инструменты, вынули из футляров от гитар и саксофонов автоматы и гранатометы. Белосельцев подумал, что пьян, а все вокруг — большая игра помутившегося разума. Бросился вслед Ермакову, желая убедиться, что это шутка и розыгрыш, вернуть его обратно в бар, чтобы продолжить увлекательную беседу. Но на улице Ермакова не было. Повсюду, из подъездов домов, из закоулков, из ночных скверов появлялись молчаливые, торопливые люди. Направлялись все в одну сторону — к атомной станции, к опреснителю.

Это казалось нелепым. Выть может, в такой увлекательной форме в городе проводились занятия по гражданской обороне. Или, богатые на выдумки пионервожатые и военруки именно так обставляли военную игру «Зарница». Желая выяснить правду, Белосельцев, прячась в тени деревьев, двинулся по городу.

На улицах было пусто, будто и впрямь действовал комендантский час. Иногда встречались группы людей, напоминавшие патрули и дозоры. Суровые, молчаливые, облаченные в странную смесь камуфляжа со стрелецкими кафтанами. У некоторых в руках были охотничьи двустволки, у других бердыши, у третьих гранатометы. Луки причудливо сочетались с автоматами, солдатские каски с остроконечными шлемами. У одного плечистого мужчины в бархатном, отороченном соболями, колпаке Белосельцев обнаружил казачью булаву и ружье для подводной охоты.

В некоторых местах улицу перегораживали баррикады, похожие на старинные засеки. Мешки с песком и амбразурами дополнялись отточенными кольями, рвами, в которых чернела жидкая, готовая в любой момент загореться, нефть. Защитники этих засек были вооружены огромными музейными секирами, рогатинами, самопалами, хотя кое-где в амбразурах торчали стволы пулеметов.

Все казалось бутафорией, театральной декорацией. Думалось, вот-вот появится грузовик с открытой платформой, на которой сияет аметистовый прожектор, пристроился оператор с камерой и маститый режиссер утомленно выговаривает ассистентам: «Больше, больше архаики!.. Еще дубль, ради Бога!..» Но режиссера не было. К баррикаде с погашенными огнями подкатывала легковая машина, у которой вместо прицепа тряслась короткоствольная бронзовая пушечка петровских времен.

Он вышел на окраину, где город резко обрывался и начиналась пустыня. Тьма дышала неостывшим жаром, пахло сухими камнями, и раздавались странные, ноющие, унылые, как если бы кто-то страдал и безответно жаловался в этой крошечной азиатской ночи. Так остывали скалы, источая тепло, сжимали свои каменные усталые мускулы.

То, что он узнал от Андрея Ермакова, подлежало проверке. Ну и хорош бы он был, если бы внес услышанное в агентурное донесение и направил Чекисту. А тот бы тихо рассмеялся: «Не все, что говорят наши источники, является информацией, Виктор Андреевич. Информация — это то, что может вас убить или, напротив, сделать Героем Советского Союза. Вам нужно отдохнуть».

Ему действительно нужно было отдохнуть. Но не раньше, чем он убедится в полнейшем вздоре услышанного. «Перевязочные материалы... Сигнальные костры... Направление главного удара... Чушь несусветная», — раздраженно подумал Белосельцев, решив вернуться в отель, встать под прохладный душ, освободиться от хмеля и заснуть в чистой постели под нежный шелест кондиционера.

Внезапно в стороне бесшумно взорвался шар света, красный, мгновенно распустившийся, как вспыхивает ветошь, пропитанная бензином. Ночь отступила, и было видно, как мечутся тени, тревожа огонь, который становится все огромней и ярче. В отдалении, ближе к городу, опять полыхнуло, затрепетал ком красного пламени, его окружали беспокойные тени, что-то швыряли в костер, и он тянулся вверх языками. Третий огонь, на самой окраине, обозначил линию. «Направление главного удара...» — ошеломленно подумал Белосельцев. Мимо, по фунтовой дороге, ошалело светя фарами, промчался мотоциклист, в огромных перчатках, в старой кирасе с примотанным пучком. Через минуту прокатил велосипедист, в форме гонщика, с луком через плечо. Следом, галопом, проскакала лошадь, всадник в форме десантника держал трепещущий смоляной факел. Далее торопливо процокал ишак, и в наезднике, мигавшем большим фонарем, Белосельцев узнал инженера, называвшего роботов именами литературных героев. Все пролетели в одну сторону. Все несли в город тревожную весть.

Белосельцеву стало страшно. Это не был страх, пережитый им однажды в афганском ущелье, когда его окружал отряд моджахедов. Или в солончаках на юге Анголы, когда на заре летели черные, словно

коршуны, вертолеты ЮАР, выпуская огненные клювы. Это был безымянный, реликтовый страх, живший от рождения в костях, сохранивший память о ящерах, огромных папоротниках, говорящих горах, покрытых глазами камнях. Этот страх исходил из самой пустыни.

Он услышал далекий гул, будто в горячей непроглядной тьме случился камнепад и пустыня мерно, ровно проваливалась, увлекая в бездну каменные глыбы. Звук менялся, в нем появлялись хрусты, скрипы, как если бы работали огромные жернова, перемалывающие плиты песчаника, ненасытно сжирающие мертвый материк. Затем среди стуков, печальных завываний и рокотов возникло слабое свечение, словно вдалеке летело зеленоватое ночное облако, состоящее из мерцающих пылинок. И вдруг из этого облака, из стенаний, печального рева, костяного хруста分离лись летучие огни. Приближались, налетали, опадая липкими яркими каплями. Дикие всадники в шкурах, в турбанах промчались мимо Белосельцева, держа в мускулистых руках факелы. Были видны их свирепые луновидные лица, мокрые конские бока, луки за спинами. Стучащие по пустыне наездники толкнули в глаза Белосельцеву жаркий воздух, пропитанный конским потом и горячей смолой. Вслед за всадниками, медленно, тягуче, словно черная лава из распавшихся глубин, стало возникать войско. Белосельцев, потрясенный, упав на трясущуюся гулкую землю, наблюдал фантастическое явление орды.

Шло пешее воинство в легких чувяках, коротких балахонах, в латах из кожи, в остроконечных шлемах, нестройно качая длинными копьями, неся на плечах секиры. Пылила кавалерия на низкорослых сухих лошадях, покрытых ковровыми чепраками, кожаными седлами. Плотнo сидели ловкие широкоплечие воины в кольчугах и коротких доспехах, в остроконечных шлемах, на которых развевались пучки степных трав и звериных волос. Мерно качали горбами верблюды, отягченные поклажей, с полосатыми переметными тюками, оглашая пустыню громом медных бубенцов. Шли боевые слоны с кибитками на спинах, откуда свешивались тяжелые копья, тяжелые боевые луки. Среди войска, на огромных скрипучих колесах, дробящих камни, двигались стенобитные машины, деревянные, похожие на гигантских журавлей катапульты, колыхались осадные туры, словно двигался по пустыне город, светясь багровыми отсветами очагов и светильников. В

середине войска, на белом скакуне, в пятнистой шкуре горного барса, с голой блестящей грудью, золотясь остроконечным высоким шлемом, ехал полководец, статный, надменный, вытягивая вперед кривую саблю, давая указания, которые тут же подхватывались стремительными наездниками, разносились в разные концы войска. Белосельцев узнал в полководце Мухтара Макирова, волшебным и страшно преобразившегося в яростного средневекового воина. Следом, запряженная дюжиной усталых быков, качалась скрипучая колесница. Среди смоляных факелов, жарких медных светильников и горящих плашек на колеснице возвышалось Верховное Божество, украшенное черепами людей и животных, дорогими шелками и пучками сухой полыни. Огромный козел, в чьих золоченых рогах гремел гулкий бубен. Голый, черный от пота жрец колотил в него булавой. Войско протекало мимо Белосельцева как бред, и он, лежа на земле, слышал, как содрогается пустыня от множества колес и копыт.

Это не было пьяным видением — хмель давно улетучился. Земля, на которой он лежал, была теплой, шершавой, источала сухой зной, была дана ему во всех реальных ощущениях. Это не могло быть помрачением — видение лишь подтверждало странный рассказ Андрея Ермакова.

Стенобитные машины, катапульты и отточенные сабли были все тем же «оргоружием», которое нанесло удар по этой казахстанской пустыне, потревожило дремлющие реликты, разбудило сонное окаменелое прошлое, и оно, воскреснув, свирепо ударило в настоящее. Набросилось на него с тыла, из-за спины, вцепилось когтями и клыками, потянуло назад, соскребая с каменных круч хрустальные пирамиды и призмы, атомные реакторы и концертные залы. «Оргоружие» изменило течение времени, обратив его вспять. Первобытное прошлое не давало нынешней жизни реализоваться в грядущем, свертывало рулон истории.

Белосельцев поднялся и двинулся следом за исчезнувшим войском, шагая в свеженабитой колее, слыша запах верблюжьей мочи и пота.

Когда он обогнул город и приблизился к атомной станции, там повсюду шло сражение. Опреснитель, выпуклый, многоглавый, отливал зловещей стальной синевой. Катапульта, собранная из древесных стволов, скрипучих просмоленных канатов, тяжких рычагов и валов,

швыряла в опреснитель каменные глыбы. Они ударяли в металл, оставляли вмятины, порождая гулкие удары. Огромные луки принимали на себя гигантские стрелы с просмоленной ветошью, струнно и басовито ударяли тетивой, посылая ревущий факел в металлическую броню врага. Удар превращался в шумный взрыв, корпус опреснителя сверкал, по нему текла расплавленная гуща, а уже подкатывали стенобитную машину, и окованное медью бревно, раскачиваясь на цепях, начинало бить в сочленения водоводов, в стальные сферы, и они тоскливо, колокольно гудели.

Вокруг шумели вооруженные толпы. Задрав хоботы, ревели боевые слоны. Верблюды, блестя оскаленными мордами, шарахались от вспышек и гулов. Кипела конница, наскакывая на железную крепость, ударяясь саблями, лошадиными головами, доспехами наездников в броню одинокого великана, отражавшего натиск врагов. На опреснителе были заметны защитники. Устроились на площадках, закрепились на зыбких лестницах, угнездились на бетонной ограде, отбивая штурм за штурмом. Стреляли из двустволок и короткоствольных автоматов, от которых валились наземь визжащие, облаченные в шкуры воины. Создавали трескучие электрические разряды, трепещущие синие молнии, в которых испепелялись передовые группы атакующих. Среди защитников Белосельцев разглядел Андрея Ермакова. В бронежилете, в начищенной медной кирасе лейб-гвардейского полка, размахивая короткой шпажкой, он был на стенах, в гуще схватки. Отдавал приказания, подбадривал криками защитников. Было видно, как он пронзил коротким клинком широкоплечего неуклюжего батыра, воздевшего над головой булаву.

«Дружба народов.... Великая историческая общность — советский народ... Интернационализм... Братская взаимопомощь...» — металась в голове Белосельцева разрозненные понятия незыблемой идеологии. Взлетали, как растрепанные косматые птицы, и рушились, срезанные меткими выстрелами, падали бессмысленными комьями мертвых слов.

В стане атакующих взревели длинные загнутые трубы. Жрец что есть силы загрохотал в золоченый бубен. Жарче вспыхнули смоляные огни, озаряя рогатое божество, в глазницах которого зажглись багровые карбункулы, а золото, покрывавшее витые рога и заостренные копыта, стало красным. Предводитель орды Мухтар Макиров сбросил наземь пятнистую шкуру барса, обнажив могучий,

натертый салом торс. Воздел кривую искристую саблю. Издал древний тюркский рык, от которого падали глинобитные стены осажденных городов и целые народы сдавались в плен.

Воины приставили к опреснителю связанные из жердей лестницы и кинулись на приступ.

Впереди был Мухтар Макиров. Он первый выскочил на узкую смотровую площадку, прилепившуюся к стальной башне опреснителя. И здесь его встретил Андрей Ермаков. Они сразились. Сабля и шпага звякнули, распушив огненные искристые ворохи. Могучий казах с размаха ударил врага столь страшным ударом, что им можно было рассечь пополам барана. Но искусный в фехтовании славянин уклонился, и удар пришелся по стальной броне опреснителя, оставив на ней рубец. Ермаков отскочил на полшага, а затем метнулся вперед, желая пронзить сально блестящую грудь, но кончик шпаги ударил в языческий амулет, сломался, и Макиров лишь пошатнулся и плюнул в сторону врага. Они схватились врукопашную. Над ними синим жестоким светом сияла сфера опреснителя. Под ними клубилось воинство. Мимо пролетали смоляные стрелы и глыбы, пущенные катапультай. С жутким треском вспыхивала вольтова дуга, и очередной атакующий превращался в серый дым. Казалось, они вот-вот сорвутся с высоты и рухнут на поднятые пики, под стопы бегущих боевых слонов. Белосельцев заметил, как Ермаков разящим ударом рассек Макирову бровь. А тот, обливаясь кровью, схватил его за щеку, стараясь вырвать клочок мяса. Но в этот миг в стане кочевников тонко, истошно взревела боевая труба. Ее медный вопль означал, что близится утро. Над черной пустыней, оранжевая, вставала заря. Натиск орды ослабел и совсем прекратился. Разворачивались вспять телеги, стенобитные машины и катапульты. Уходила пехоты и конница. Таяли в сумраке кибитки боевые слонов. Мерно парил во тьме, уставя рога в малиновую зарю, языческий козлорогий бог. Мухтар Макиров, повернувшись в седле, посылая противнику угрожающий знак, скакал вслед за войском. Андрей Ермаков устало прислонился к измятой, избитой поверхности опреснителя, среди синих отливов которого появились оранжевые отсветы.

Войско ушло в район старого кладбища, сгнуло под землей, в раскрытой могиле. Некоторое время еще слышались подземный гул, рев труб и баранье блеянье.

Уже засветло, когда над пустыней вставало белое горячее солнце, Белосельцев возвращался в город. По пути он прошел по горе, где вчера сажали сад. Дерево, посаженное Прибалтом, было раздавлено стопой боевого слона. Тут же темнела груда слоновьего помета. На ее запах из пустыни летели скарабеи. Падали на помет, жадно зарываясь вглубь. Другие, насытившись, вылезали из рыхлой кучи, толкали перед собой священные шары слоновьего кала.

Утром все встретились на аэродроме, где делегацию поджидал белый правительственный лайнер. Прибалт был в хорошем настроении. Со всеми здоровался за руку.

— Вчера засиделся у телевизора. Показывали «Вечный зов». Сколько ни смотрю, все нравится, — сказал он приветливо Белосельцеву.

Тут же, среди свиты, были Андрей Ермаков и Мухтар Макиров. Один заклеил раненую щеку пластырем. Другой прикрыл рассеченную бровь черными очками. Перед отлетом Ермаков крепко стиснул руку Белосельцева:

— Знайте, мы здесь будем держаться до последнего. Вы там в Москве удержитесь...

Об этих словах с болью в сердце думал Белосельцев в самолете, когда внизу в последний раз сверкнул Город-Сад.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

По возвращении в Москву он пытался дозвониться к Чекисту, но ему отвечали, что тот отсутствует, о его звонке непременно доложат. Однако ответа не было. Приближалось время очередной поездки. Профбосс, правая рука Президента, отправлялся на Байконур, чтобы принять участие в запуске космического челнока «Буран».

Они летели в просторном правительственном лайнере, собрав в головном салоне техническую и военную элиту, конструкторов, директоров, генералов ракетных и космических войск, оставив в хвостовой части самолета свиту, состоявшую из инженеров, испытателей, военных. Сами же, едва канула в дымах белоснежная Москва и потянулась вниз, в зеленых дубравах и золотых нивах, летняя Россия, уселись за небольшой столик, куда услужливые стюарды понаставили вкусной снеди, икру, балыки, копчености, благоухающие свежие овощи. Водрузили в специальные углубления хрустальные стаканы. Принесли бутылку золотистого армянского коньяка.

— Ну что ж, товарищи, с началом хорошего дела! — Профбосс молодецкато оглядел застолье, принимая бутылку. Он был общителен, усвоил манеру весельчака, рубахи-парня. Всю жизнь управлял рабочим движением, строя санатории, дома отдыха, лечебницы, имея массу друзей среди министров, хозяйственников, деятелей культуры. Любитель выпить, побалагурить, насладиться баней, незлобивый, себе на уме, ладящий с различными группировками в партийном руководстве, он был приближен Первым Президентом, который сделал его своим заместителем. И теперь, добившись высшего поста в государстве, сбросив бремя протокольных встреч, нервных заседаний Политбюро, он вознесся в солнечную пустоту на могучей машине и, радуясь свободе, обществу, своему здоровью, аппетиту и непререкаемой власти над всеми, Профбосс воздел над столом золотистую бутылку с белым Араратом. — Мы ведь заслужили, товарищи? Не злоупотребляя, но, как говорится, по русской традиции...

Все дружно потянулись к стаканам, чокнулись в небесах, провозглашая тост за советский Космос, суеверно не упоминая о предстоящем старте «Бурана». Закусывали, теснее сдвигались. Единая команда, лучшие из лучших, чьи имена не многим известны в стране, но чьи заслуги отмечены орденами и премиями, они и впрямь были хороши, эти крепкие, волевые мужики с крестьянскими лицами, обветренными на полигонах и испытаниях. Вчерашнюю лапотную, сермяжную Русь, их есенинскую, деревенскую Родину превратили в страну космических стартов, лунных и марсианских спутников, орбитальных боевых группировок, создавая еще одну республику Советов, на этот раз не в Африке, не в Латинской Америке, а на планетах Солнечной системы. Белосельцев выпил со всеми, благодарный за то, что его приняли в тесный круг, знанием истинных целей.

— Не пьянства ради, а токмо для пользы здоровья нашего, — похохатывая, произнес Профбосс. Все смеялись, подставляли стаканы, а внизу синела Волга, разливались водохранилища, пенилась белизна у бетонных плотин. Страна, могучая, необъятная, покрытая городами, заводами, железнодорожными узлами и трассами, была изделием рук этих сильных генералов и инженеров. И что, в сравнении с ними, значила горстка московских шутов и горлопанов, крикливых поэтов и журналистов.

— За КПСС! — сказал тост стареющий генерал. — За перестройку, а не за перестрелку!

Все чокнулись, засмеялись хорошо известной шутке, прощая заслуженному генералу не мастеру шутить, но большому умельцу пускать баллистические ракеты из-под воды, из глубинных шахт, с железнодорожных платформ, эту банальность.

Белосельцев любил этих русских неотесанных мужиков, которым некогда было обретать политес, извиваться ужами в сановных гостиных, блистать остроумием и красноречием на светских приемах. Всю жизнь провели в бункерах и на стартплощадках, в лабораториях и на пробных пусках, создавая ракетные серии, заселяя Космос фантастическими существами.

— Предлагаю выпить за наших политических руководителей, — поднял стакан Генеральный конструктор, чью ракету заокеанский противник небезосновательно называл Сатаной: со Среднерусской

равнины она поднимала такое количество ядерной взрывчатки, что могла оставить Южную Америку без Северной. — Я пью за вас, кого уважает армия, и кто, я уверен, поможет нам получить достаточные бюджетные деньги для нашей советской программы «Марс»!

— Шагом Марс! — скаламбурил Профбосс, чокаясь с конструктором, и все захохотали, сдвигая стаканы в момент, когда под самолетом засинело бледно-голубое, в белоснежных кружевах озеро Балатон...

На Байконуре было солнечно, пыльно и ветрено. Над землей летели сухие песчаные вихри, словно в степи работал пескоструйный аппарат, натирал до блеска стальные опоры и конструкции, раскрывшие на стартах свои лепестки. Через трассу непрерывно перекачивались спутанные ворохи колючек, похожие на отсеченные женские головы. Встречавшие, отрапортовав, пригласили было прибывших к обеденному столу, но Профбосс, демонстрируя деловитость и озабоченность, сказал:

— Не для того прилетели, товарищи. Давайте осмотрим объект.

Старт, куда их привез кортеж лимузинов, был похож на фантастический храм. Громадная заостренная ракета, белоснежная и прекрасная, как статуя Бога, возносилась в бледную жаркую синь. Стартовые двигатели, тесно прижатые к могучему тулову, окружали основание ракеты, на которой алыми буквами было выведено слово «Энергия». К ракете, как огромная тучная бабочка, присевшая на белый стебель, был прикреплен космический челнок «Буран», черно-белый, с пухлым фюзеляжем, короткими мощными крыльями, недвижимый, сонный.

Профбосс был восхищен. Осматривал ракету; прикрывая от солнца глаза. Наивно, по-детски ахал. Ему давали пояснения:

— Этот многоразовый челнок совершенней американского. Мы вырываемся вперед на десять лет. С ним связаны наши программы звездных войн. С него мы можем обстреливать ракетами территорию неприятеля, уклоняясь от ответных ударов. Можем сбивать вражеские спутники или просто снимать их с орбит, как снимают яблоки с ветки. Можем развешивать свои, как развешивают елочные игрушки. Можем раскрывать на орбитах огромные зеркала, которые обеспечивают на обширных земных пространствах вечный день, что разрушит

биосферу на локальных территориях и приведет к экологическим катастрофам, например в районе Вашингтона. Можем вступать в космический бой с подобными же челноками противника, уничтожая их плазменным или электромагнитным оружием. Такой челнок может нести на себе боевые лазеры, выжигая из Космоса военные объекты врага. Но главное его применение, — наш будущий мирный марсианский проект. С помощью «Бурана» мы станем совершать пассажирские и грузовые рейсы по маршруту «Земля — Марс», такие же доступные, как и «Москва — Владивосток».

Профбосс не скрывал волнения:

— Завтра вы должны обеспечить успешный пуск... Народ ждет подтверждения нашей мощи... Мы должны показать врагу, что страна жива, социализм жив и нам под силу любые преобразования... Я обещаю вам десять званий Героя Социалистического труда и пять Государственных премий...

Белосельцев переживал восхищение сходное с религиозным восторгом. Гигантское изделие цвета мраморе обладало абсолютной красотой, совершенством пропорций, осмысленностью каждого изгиба и линии. Несмотря на огромность, в нем были нежность, целомудрие, одушевленность, как если бы его сотворил великий античный скульптор, вдохновляясь божественной красотой мироздания. Но при этом величественном покое и соразмерности присутствовало неудержимое ощущение порыва и взлета, в котором земная жизнь в очередной раз сбрасывала бремя отживших форм, освобождалась от груза одряхлевших понятий. Рвалась в новые измерения, унося в них весь обретенный опыт, стиснув его в белоснежном острие. Эта нацеленность, устремленность в небо придавало изделию божественный смысл. Порыв, который ощущался в ракете, имел религиозное содержание. Был угоден Богу. Был ему адресован. Был Богом, который поручил человечеству этот полет. Делал свое божественное дело руками людей. Белый гигантский столп, похожий на колокольню Ивана Великого, содержал в себе богочеловеческий смысл. Когда внизу, под соплами, зажжется раскаленное белое солнце и могучая рука медленно отнимет ракету от брэнной земли, убыстряясь, толкнет ее тяжесть и мощь в прекрасную лазурь, поднимется ввысь невесомый ангел в белых одеждах с золотым нимбом вокруг чудесного молодого лица. И, быть может, он сам,

Белосельцев, прижавшись к его любящей, дышащей груди, будет взят живым на небо. Промчится на ревущей огненной колеснице над казахстанской степью и через минуту окажется в чертогах Бога.

Так думал он, оглядываясь на ракетный старт, где в нежных объятиях стальных ажурных опор стояла белоснежная женщина, к груди которой был прижат священный младенец.

С площадки «Бурана» их повезли в огромный ангар, который издали, туманно-серый, стальной, казался авианосцем, плывшим в бескрайней степи. В нем, защищенный от пылевых бурь и нещадного солнца, в просторном стеклянно-бетонном объеме, среди лучистых стальных конструкций, находилось марсианское поселение, которое с помощью гигантских носителей будет заброшено на красную планету.

Покоились на стапелях белоснежные ракеты, напоминавшие лежащие небоскребы, чьи основания с туннелями титановых сопел, поворотными двигателями дышали покоем и мощностью, а вершины уходили в туманную бесконечность, превращаясь в тонкий сверкающий луч. На этих непомерных белых колоннах было выведено алой краской: «Марс — СССР». На отдельных площадках — сферы, цилиндры, конусы, полупрозрачные пузыри, дышащие с телесной пластикой оболочки, странные создания, напоминавшие медуз, насекомых, грибы и кораллы — модули будущего марсианского поселения. Жилища, лаборатории, мини-заводы, оранжереи, водяные пруды, древесные аллеи. Город, пролетев от Земли до Марса, должен был опуститься на ржавую пемзу, защититься от жгучих лучей, стать первым ломтиком оживленной планеты со своей атмосферой, водой, травой, позволявшими поселенцам запустить круговое вращение животворной материи, медленно превращая едко-красное в нежно-зеленое.

Им показали множество хитроумных антенн — зонтиков, крыльев, хрупких чаш, развешенных в пространстве сетей, которые передадут с Земли и обратно звук, изображение, потоки цифр, струйки драгоценной энергии. И среди этого множества, напоминавшего коллекцию воздушных змеев и шаров, была одна, похожая на серебряное око, — для связи с инопланетным разумом. Она станет медленно сканировать звездное небо, посылая в разноцветное мерцание Вселенной электронный импульс, воспроизводящий золотое

сечение, формулу превращения материи в энергию и аббревиатуру: «СССР».

— Замечательно!.. — воодушевленно повторял Профбосс, видимо, впервые соприкоснувшись с сокровенной программой. — Научная и техническая интеллигенция — плод советской системы. Мы ведь все с вами — из деревень и фабричных поселков. Вот что может советская власть! Мы в правительстве и в ЦК верим — техническая интеллигенция нас понимает. Она нас поддержит, ибо поддерживая нас, она поддерживает свое будущее! — он картинно повел рукой, указывая на уходящие вдаль ракеты.

Вечером гостей угощали в банкетном зале, помнящем торжества первых космических стартов. Запуск «Бурана» намечался на утро, и языческие суеверия испытателей, конструкторов и ракетчиков запрещали предвосхищать тостами опасный и рискованный пуск. Поэтому обильный обед, состоявший из казахской шурпы, шашлыков и желтовато-белых, чуть обжаренных бараньих семенников, которые, как главному гостю, были предложены Профбоссу, сопровождался обычными здравицами — «за дружбу», «за партию», «за космодром».

Кое-кто из министров попытался посетовать Профбоссу на недостаток финансирования. Кое-кто из военных решил пороптать на неумных журналистов, отрицавших значение Космоса. Кое-кто из конструкторов предложил ускорить строительство института, занятого автотрофностью — проблемой самодостаточного человечества, не разрушающего среду обитания. Но Профбосс был утомлен проблемами, возбужден обильной едой, водкой, обществом внимавших ему людей:

— Все решим, все будет у нас тип-топ!.. Новый анекдот хотите?

— Хотим, — раздалось в застолье.

— Был на прошлой неделе в Высшей партийной школе. Там мужики рассказали... Спрашивают чукчу: «Когда тебе было лучше? До перестройки или сейчас?» Отвечает: «Конечно, сейчас». — «Почему?» — «Потому съто ранесе мы, тукти, думали, сто Карла Маркса и Феридриха Энгельса — это мус и зена. А теперь мы понимаем, сто это тетыре совершенно расные теловека!» — и первый загоготал, общительный, рубаха-парень, не ставящий никаких преград между собой и этими простецкими, как и он сам, людьми. Стол хохотал, крутил тугими красными шеями. Несколько крепких рук потянулось к

бутылкам. А уже вносили подносы с золотистыми полумесяцами рассеченных дынь и алыми, хлюпающими холодным соком арбузами. И в этом было что-то космическое.

После ужина Белосельцев прогуливался в скверике у стеклянного домика, где обычно перед стартами останавливались космонавты. Дышал сухими ароматами остывающей вечерней степи, запахом воды, орошавшей акации, серебристые тополя и плакучие ивы. Ему повстречались два молодых инженера, прилетевшие, как и он, на пуск. Обменялись приветствиями, двумя-тремя словами. Инженеры пригласили Белосельцева в номер, где у них оказалась бутылка сухого вина и арбуз. Пили вкусное прохладное вино. Вгрызались в сладкую алую мякоть. Стреляли скользкими семечками в открытое окно, представляя, что вот так же, быть может, сидели Титов и Леонов, пуляли черное семечко, которое, как крохотный стриж, уносилось в окно. Белосельцеву было важно выяснить умонастроение технарей — обширного слоя, в котором распространялась демократическая эпидемия и в поддержке которого нуждались утомленные государственники.

Один инженер, Митяев, был маленький, щуплый, неказистый, с круглой белесой головой и обгорелым розовым носиком, ничем не приметный, если не считать васильковых глаз под выцветшими бровями, которые вдруг начинали наивно и чудно сиять.

Второй молодой инженер со странной фамилией Тараканер, был темноволос, с колючими черными усиками под длинным язвительным носом. Его ироничные глаза и насмешливые губы постоянно двигались, не пропуская комических элементов разговора, в которые он, подсмеиваясь над своим взволнованным другом, впрыскивал легкие струйки иронии. На мизинце он вырастил длинный ноготь, которым ловко ковырял арбуз. Аналогом этого ногтя была ирония, которой он поддевал своего романтического сослуживца.

— Понимаете, — обращался к Белосельцеву Митяев, отыскав в нем чуткого слушателя, морща свой веснушчатый нос. — За техническим, машинным, ракетным Космосом всегда просматривается Космос духовный, религиозный. Ракетчики, все, кто связан с баллистикой, с орбитальными полетами, по-своему религиозные люди. Они, если угодно, касаются Бога. Я это чувствовал много раз. когда

принимал участие в пусках. Ракета уходила в звездное небо, сама как яркая лучистая звездочка, и мне казалось, что я переносусь вместе с ней в иные миры. Солдаты, которые оснащали ракету топливом, и она покрывалась белым инеем, писали на этой пушистой шубе: «Таня», — будто направляли в небо свое молитвенное послание...

— О чем послание-то? — ехидничал Тараканер, поддевая ногтем арбузную семечку. — О том, что в магазинах колбасы не достать? Что очереди за любой морковкой? Давайте сначала обеспечим народ колбасой, а потом уж и в Космос полезем.

— Да отстань ты со своей колбасой! — раздраженно отмахивался Митяев, огорчаясь тому, что ему мешают изложить сокровенное. — Видите ли, — он снова обращался к Белосельцеву, чувствуя в нем единомышленника. — Среди наскальных изображений мы можем найти образ Бога в скафандре. Бог явился на землю в скафандре. И вознесся на небо в скафандре. Гагарин — это Бог. У нас много талантливых инженеров, но, к сожалению, мало философов. Нам нужен философ, который осмыслил бы Гагарина как Бога, а наше стремление в Космос как религиозный порыв.

— Вон ты в Космос стремишься, а за границу, даже в какую-нибудь паршивую Болгарию, поехать не можешь. Партийные и кагэбешные дяденьки не пускают. Дайте мне сначала съездить в Париж, а уж потом я решу, отправляться мне в Космос или нет! — Тараканер язвительно двигал носом, смешно топорщил усы, и было видно, что ему нравится дразнить сослуживца.

— Да пропади он пропадом, твой Париж! — выходил из себя Митяев. — Да я лучше в Ярославль поеду. Он во сто крат прекраснее твоего Парижа! — и снова обращался к Белосельцеву. — Понимаете, вся наша русская история — войны, революции, восстания, освоение Сибири, книги великих писателей, оперы и симфонии наших замечательных музыкантов — это вопрос, который мы из века в век задаем Космосу. И ждем, что вот-вот получим долгожданный ответ. Завтра мы запустим «Буран», без людей, с одними автоматами. И это будет похоже на то, как Ной со своего ковчега посылал голубя в надежде на то, что тот принесет ему из океана зеленую ветку.

— Смысл жизни, брат, в том, чтобы получить командировочные и полевые, добавить к десятилетним накоплениям и купить, наконец, подержанный «запорожец». Я его обязательно покрашу в белый цвет и

напишу: «Буран». Тоже буду пускать в автоматическом режиме, потому что человеку в нем, даже советскому, ездить невозможно, — подхихикивал Тараканер, радуясь тому, что глаза Митяева начинают темнеть от гнева. — Что ты можешь мне возразить, о философ?

— Ты жалкий пошляк и скучный потребитель, — огрызнулся на него Митяев. И продолжал излагать Белосельцеву свою мистическую теорию: — Не будем исключать того, что завтра, когда «Буран» облетит землю и доставит ценнейшую информацию, от которой будет зависеть судьба нашего марсианского проекта, в его грузовом отсеке мы отыщем послание из Космоса. Драгоценный ларец, в который будет помещен белоснежный шелковый свиток. На нем золотыми чернилами будет начертан план Рая, образ Божественного престола, как об этом рассказывается в Священном писании. Мы прочитаем послание и найдем, наконец, ответ — зачем Земля, зачем человечество, зачем человеческая история с ее порывами в беспредельность.

— А что если завтра, когда произойдет приземление, ты заглянешь в «Буран» и найдешь в нем одних тараканов? И это будет посланием из Космоса? Ответом на твои извечные вопросы? — Тараканер язвил, искушал, хитро блеснул глазами, смешно топорщил черные усы, сам чем-то напоминая таракана.

— Какой ты ракетчик? Какой космист? — вознегодовал Митяев, гневно светя бирюзовыми глазами на мучителя, осквернявшего своим скептицизмом его религиозные верования. — Ты... ты... Таракашка!.. Таракан — твой тотемный зверь, и ты сам — отвратительный тараканище!

Тараканер не обиделся, а словно ожидал этот взрыв возмущения. Полез в дорожный баул. Извлек спичечный коробок. В коробке что-то тихо шуршало. Он приоткрыл крышку, и оттуда высунулась черная тараканья головка с подвижными усами, передние цепкие лапки. Тараканер ловко засунул насекомое обратно, закрыл коробок, прислушиваясь к скрипу и шороху.

— Да, я таракан, тараканище!.. Дважды таракан Советского Союза!.. Лауреат тараканьей премии!.. Живу в городе-герое Тараканогrade, на улице Двадцати восьми тараканов-панфиловцев!.. Моя жена — княжна Тараканова!.. В Афганистане у меня был друг Тараки!.. Этот таракан — мой родственник, мой брат, мой парторг!.. Мой собутыльник, наперстник, наложник!.. Он — моя

социалистическая Родина, мой соцреализм, мое светлое будущее!.. Он — мой «интернациональный долг» и «ограниченный контингент»!.. Он — моя «перестройка», мой «общий дом», мое «ускорение»!.. Моя «демократизация и гласность», «социализм с человеческим лицом». Он — День Победы и день Восьмого марта. Он — «наше знамя боевое», он — «нашей юности полет»!.. Он — Курчатов, который работал в «шарашке», и Юрий Гагарин, который разбился по пьянке!.. Он...

— Молчать! — страшно закричал Митяев. Они стояли один против другого, яростные, ненавидящие. Белосельцев поднялся и ушел с тяжким чувством неизлечимой, поразившей их всех болезни. Вслед ему беззвучно хохотал красным ртом арбуз, скалил черные зубы.

Неприятная встреча была начисто забыта утром, когда его отвезли на наблюдательный пункт, откуда велось управление пуском. Сквозь прозрачные бронированные стекла был виден далекий старт с белой, набухшей почкой ракеты. Так издали, сквозь чудную дымку, смотрится неразличимый, напоминающий лебедя, храм Покрова на Нерли. Смысл этой голой, бездарно плоской степи был в ракете, придающей двухмерному лысому пространству божественную вертикаль. За пультами, экранами, индикаторами сидели испытатели, слушая таинственную, им одним понятную электронную музыку. Ракета и пристыкованный к ней челнок жили, дышали, думали. Напрягали мускулы, пульсировали внутренними органами, готовясь к гигантскому прыжку в мироздание. Испытатели прослушивали эти пульсы, дрожание каждой металлической клеточки, каждой пластинки титана. Исследовали все суставы и мускулы ракеты, давление в сосудах и в сердце, составы газов и жидкостей, температуру кожи и внутренней полости.

Появление Белосельцева вызвало, поначалу недовольство собравшихся здесь генеральных и главных конструкторов, министров, генералов-ракетчиков. Белосельцев ощутил их неприязнь, отчужденность. Понял ее как суеверный страх перед чужим и непосвященным, кто своим появлением может принести несчастье. Так женщину не пускают в алтарь, страшась исходящей от нее скверны. Но Профбосс, услышав ропот, вступился за Белосельцева:

— Это наш человек, проверенный... Тоже, как и вы, генерал... Мужского пола... — но не получив отклика на свою грубоватую шутку,

приник к окулярам трубы, приближавшей ракету.

«Ковчег, — повторял Белосельцев вчерашнюю мысль инженера Митяева. — Ракета, словно голубка, которую мы выпускаем в таинственное, опасное будущее... Она — наша молитва, наше вековечное чаяние, наш вселенский вопрос... Какую весть она принесет?... Какую зеленую ветку?»

Многоголосье за пультами усилилось. Стало похоже на мелодичный гул тетеревов, собравшихся на брачное токовище. Все больше загоралось экранов, больше металось всплесков, синусоид, электронных бегущих строк. Металлический голос произнес: «До старта пять минут...» Затем повторил: «До старта три минуты...» Затем: «До старта одна минута». Возвестил: «Начинается обратный отсчет... Десять... девять... восемь...»

Там, где белела ракета, вдруг затуманилось. Потекли млечные испарения. Что-то грозно, беззвучно сверкнуло. Раздался гром, словно пошла рокотать сдвигаемая земная кора. Ослепительный белый шар скрыл ракету. Разрастался, превращаясь в яростное беспощадное солнце. Ракета возникла над огненным одуванчиком, медленно покачиваясь, возвышаясь. словно шло выдавливание из гигантского поршня. Мучительный исход из чрева, которое не пускало, стискивало мускулистой маткой, держало пленками, тканями, пуповиной. Ракета с треском рвала эти ткани, выскальзывала, быстрее и быстрее. И вдруг вознеслась легко и свободно на огненно-белом хвосте. Ликуя, метнулась в небо. Превратилась в лучистую вспышку, оставляя кудрявый шлейф. Ушла в небеса и пропала, сбрасывая на землю гложущий рокот, коромысло кудрявой траектории, которая медленно, как ненужная ботва, повисла в белесой синеве.

На пультах продолжалось слежение. Ракету вели. Ее видели. С нее получали сигналы. Ей вслед стремилось множество мыслей, переживаний и страхов. Она возносилась все выше. Белоснежная и прекрасная, совершала свой ослепительный танец. Сбрасывала с себя ненужные одеяния. Те, кто был на Земле, наблюдали с восторгом и благоговением этот космический стриптиз.

Она сбросила пышную юбку стартовых двигателей, оставшись в нежной, облегающей ее стройное тело сорочке. Сбросила первую ступень, открывая взору божественную наготу. Скинула последний покров, и чудесное божество, абсолютное в своем совершенстве,

скользнуло на тончайший обруч, опоясывающий Землю. Понеслось, возвещая миру о своем волшебном вознесении.

«Буран» был выведен на орбиту, и ему предстояло обогнуть земной шар и вновь, повинувшись автоматам, вслушиваясь в бортовые компьютеры, опуститься на бетонное поле Байконура. На огромном электронном экране с картой мира светилась тончайшая, похожая на восьмерку линия, вычерчивая путь челнока.

Время, которое исчисляли большие электронные часы, утратило для Белосельцева свой физический смысл. Превратилось в мучительное и сладкое созерцание, подобное молитве. Одна половина его существа пребывала на космическом корабле, среди сияющей пустоты, вознесенная на небесном огне. Озирала расширенными от восторга глазами Солнце и звезды, Луну и пролетные метеоры, любимую нежно-голубую планету. Другая половина оставалась здесь, на командном пункте, и, подобно молящемуся в храме, тянулась ввысь, к летающему божеству, связывая с ним чудо воскресения и спасения. Сотворенный из земных веществ и металлов, из молекул брэнной земной материи, «Буран» нес в себе прах его истребленной родни, развеянные частички их некогда прекрасных жизней. Поднимал их к Небесному Престолу, отдавал в руки Господа, который принимал их с благодарностью. Дохнет своим творящим дыханием, и все его милые, близкие, замученные и забитые насмерть, умершие в тифозных бараках и застреленные в кирпичных застенках, погибшие от тоски и неутолимого горя, — оживут, сойдут на Землю, и он окажется среди своей многолюдной родни, вставшей из пепла жестокого века.

Корабль летел над Африкой, где в саванне бушевал пожар, тлела черно-красная кромка, одетая сизым дымом. Оптические системы корабля фотографировали пожар, стадо убежавших от огня антилоп, и вместе с глазированными, длиннорогими животными, мешаясь в их табуне, мчались леопарды и львы, взъерошенные гиены и испуганные шакалы, и прозрачная оптика фиксировала скачки тяжелого старого льва с опаленным загривком.

Белосельцев молился о своих дедах, живших могучей цветущей семьей, покуда не ударила в них революция, не разметала по дорогам Гражданской войны. Часть бесследно исчезла при штурме городов. Другая ушла с Белой армией, сгинула в Бессарабии, Турции, Чехии.

Третья перевалила океан и бедствовала в Сан-Франциско, напялив на седые головы фуражки лифтеров и таксистов.

Корабль залетал в ночную тень, где в спектральной заре начинали сверкать звезды. В Атлантике терпела бедствие подводная лодка. Всплыла из черных пучин, окутанная пеной и дымом. Матросы выносили на воздух отравленных, полумертвых товарищей. Другие продолжали бороться с огнем в реакторном отсеке. «Орионы», самолеты-разведчики, кружили над лодкой, как хищники, следили за ее смертельной борьбой. Челнок фотографировал квадрат бедствия, бортовыми антеннами транслировал в Штаб флота сигналы «SOS».

Белосельцев молился о своих дядях, своих многочисленных тетушках, подпавших под аресты и ссылки. Вкусивших ад Бутырки, ночные допросы у следователей, колючку лагерей, многолетнюю тоску поселений, куда бабушка слала пакетики с сухарями и сахаром, отрезки свадебной скатерти, малые, спасающие жизнь, даяния.

Корабль летел в ночи над Штатами. Города, словно мазки голубого фосфора, Лас-Вегас, как горсть живых, шевелящихся бриллиантов. Фотокамеры челнока скользили по рекламам, по летящим ночным лимузинам, по карнавальной толпе, где, обнаженные, с черными блестящими грудями мулатки танцевали жаркую самбу; и над ними, в бархатно-черном небе, повторяя танец, выгибалась неоновая красная женщина.

Белосельцев молился об отце, погибшем в сталинградской степи, в штрафном батальоне, во время зимней шальной атаки. Любимое, на лейтенантской карточке, молодое лицо было заморожено в снег, рядом чернела упавшая трехлинейка, и кто-то невидимый, похрустывая настом, пол белыми мохнатыми звездами, снимал с оцепеневших ног отца валенки.

«Буран» приближался к утренней желто-алой заре, в которой начинала сиять ослепительная лазурь. На Камчатке шло извержение вулкана. Излетали красные, сыпучие ворохи, текло по склону малиновое варенье лавы. Челнок фотографировал оживший вулкан и двух вулканологов, опаленных жаром, ставящих свои приборы среди огненных трещин земли.

Белосельцев молился о всех, кто был убит рядом с ним на войнах. В афганских ущельях, в никарагуанской стреляющей сельве, в сухих тростниках Намибии, в парных болотах Камбоджи. Их разорванные

взрывами «джипы», их завернутые в серебряную фольгу тела, их недвижные, полные слез глаза, их запекшиеся пыльные раны — все это он в молитве своей возносил к Господу, чтобы тот принял, окропил божественной воскрешающей влагой.

Челнок летел над Сибирью, над ее голубыми реками, зелеными лесами, белыми, как рафинад, ледниками.

— До приземления объекта осталось десять минут, — возгласил металлический голос.

Все из бункера повалили на открытую смотровую площадку, — в жар, в слепящее степное пекло, где дул ровный горячий ветер, наполненный песчинками, клочьями мертвой травы, костной мукой верблюжьих скелетов. В стороне был виден бетонный аэродром с мертвенными стеклянными миражами. Горизонт был горчично-мутный, неохотно переходил в белесую тусклую синь.

Внезапно по бетонной полосе побежали, с рокотом взлетели два остроносых истребителя. Ушли в желтую муть горизонта встречать «Буран», туда, где с небесного обруча соскальзывала в раскаленной малиновой сфере черно-белая космическая бабочка. Ложились на плавную кривую снижения, прочерченную незримым стеклорезом в хрупкой голубизне. И все, кто был на площадке, с одинаковыми, незащитными, как у детей, лицами обратились в небо, ожидая «Буран».

Белосельцев ждал благой вести. Вестник, наполненный автоматами, фотокамерами, телескопами, в пылающем зареве, возвращался оттуда, куда стремилось утомленное человечество, уповая на новое безгрешное бытие. Куда готовы были умчаться аппараты и станции марсианского проекта, чтобы окропить бездушные планеты живой водой, чтобы в райских поселениях, свободное от брэнной земли, усеянной полями сражений, могилами невинно убиенных, расселилось воскрешенное человечество, и отец, молодой, с красными лейтенантскими ромбиками, шел в прозрачной пустоте хрустального неба, держа в руках душистое яблоко.

В размытой лазури, куда вглядывались ищущие глаза, возникло легчайшее уплотнение. Сгусток синевы. Затмение переутомленной сетчатки. Превратилось в крохотную материальную точку. Она покачивалась, разрасталась, обретала форму. «Буран», еще далекий, узнаваемый, с короткими плотными крыльями, снижался в жаркую

желтизну Земли. Быстро приблизился, черно-белый, мощный. Счастливо и грозно звенел, захватывая из Космоса ликующий рокот, исполнен победной красоты и гармонии. Коснулся бетона, вырвав клочок дыма. Оставил черный жирный мазок. Выпустил ослепительно белый цветок парашюта. Помчался, замедляя могучее стремление вперед, в стеклянных миражах.

И два истребителя, салютуя, с колокольным грохотом прыгнули из неба и вознеслись в сверкающую вертикаль.

Все, кто был на площадке, ахнули, заорали, загоготали. Стали обниматься. Целовались, плакали, бодали один другого тугими лбами, охлопывали могучими ручищами. Профбосс, счастливый, порозовевший, обнимался, целовался, стряхивал с ресниц набежавшую слезу. Все оборотились вдруг к Белосельцеву, подхватили и начали подбрасывать, выкрикивая: «Ну молодец!.. Ну счастливчик!..» Норовили к нему прикоснуться, отодрать от него лоскуток одежды, отвинтить пуговицу. Ошалев, взлетая в небо и падая на сильные руки конструкторов и генералов-ракетчиков, он понимал, что принес им удачу. Они воспринимают его как живой талисман. И, будь их воля, разодрали бы его на кусочки, чтобы носить его мощи в медальонах, охранительных ладанках, приносящих удачу при ракетных и космических пусках.

Расселись по машинам. Торопливым разношерстным кортежем помчались на взлетное поле. «Буран» стоял одиноко, гордо, на высоком шасси, белый, с черным подбрюшьем, окруженный расплавленным воздухом. Источал свечение, словно охваченный нимбом. Рядом уже расхаживали автоматчики. Стража небесная сменилась на стражу земную. Охраняла драгоценный, принесенный из Космоса, клад. Все вывалили из машин, окружили «Буран».

— С победой вас, дорогие товарищи!.. Поздравление вам от Политбюро и нашего Президента! — Профбосс уже вполне владел собой. Придавал сумбурным проявлениям радости характер государственного свершения.

Белосельцев тронул термическое покрытие челнока, которое было горячим, телесным. Такова была температура, при которой жили и летали ангелы. Вдохнул запах опаленного, напоминавшего миндаль вещества, — так благоухали пространства, сквозь которые пролетел челнок.

К кораблю приставляли стремянки. Осуществляли первый осмотр. Снимали первые показатели приборов. Делали первое описание спустившегося аппарата. Постепенно все успокоились. Наполнились уверенностью, гордыней удачливых творцов. Торопились в банкетный зал, где их ожидал праздничный обед. Кортёж развернулся, унося с поля оживленных, сильных людей, для которых нет невозможного.

Белосельцев остался один. «Буран» остывал. Автоматчики стояли в тени его крыльев. Ему захотелось подняться по стремянке и заглянуть в приоткрытый люк. Он вспомнил слова инженера Митяева о том, что челнок принесет с небес драгоценный ларец, и в нем — белоснежный свиток, на котором начертан Рай, размеры Божьего престола, золотые письма священного откровения.

Он приблизился к «Бурану». Полез по хрупкой стремянке вдоль теплого выпуклого тулова. Достиг вершины. Заглянул в приоткрытый люк. В черноте что-то мерцало, шевелилось. Шло непрерывное движение, ровный шелест и хруст. Нутро челнока было полно тараканов, которые изгрызли в прах приборы, компьютеры, оптику телескопов, золото и серебро сочленений. Все источало жуткий шелест, душное зловонье смерти.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Даже в Москве ему являлось как бред нутро прекрасного космического ангела, полное копошащихся черных тварей, сожравших божественный ларец и священное послание. Космос, куда он стремился. Рай, на который уповал, был обиталищем тараканов, превративших в труху его мечту о бессмертии.

Это был знак поражения. Чекист, который послал его на задание, заблуждался, пребывал в прекраснотушных иллюзиях, не ведая глубины катастрофы. Оперировал партией, которой не было и в помине. Рассчитывал на армейские дивизии, которых не существовало. Полагался на союз рабочих и крестьян, на творческую и научную интеллигенцию, от которых осталась пустота. Все истощили прожорливые энергичные насекомые с чуткими усиками и острыми челюстями, размножившиеся в душном дупле мертвой державы.

Необходима была срочная встреча с Чекистом, дабы проинформировать его об уровне опасности, о степени катастрофы. Он звонил референтам, общался с помощником, но ему вежливо сообщали, что Чекист отсутствует, но как только появится, ему немедленно доложат. Это было непреодолимо. Приходилось нести страшный груз воспоминаний в себе. Анализировать, обобщать, искать возможные выходы. Чтобы при встрече с Чекистом, когда она, наконец, состоится, быть во всеоружии.

Однако задание не отменялось. Разведоперация продолжалась. Он летел теперь на атомный полигон в Семипалатинск, где предстояло очередное испытание и куда направлялся Премьер для инспекции этого важнейшего военно-стратегического и хозяйственного объекта.

Белосельцев летел туда с особым мучительным ожиданием. Его влекла не только возможность увидеть и почувствовать вблизи Премьера, ключевую фигуру в заговоре государственников, но и встретиться с Мутантом, о котором тайно поведал ему Академик. Рассказ Академика напоминал галлюцинацию наркомана. Но разве самому ему не всадили в синюю вену жестокий шприц, не впрыснули ядовитое безумие, превратившее разум в фабрику разноцветных бредов.

Они летели с Премьером в удобном салоне по высокой плавной дуге над земным шаром, шестая часть которого уверенно охранялась советскими погранвойсками, контролировалась советской властью, управлялась советским правительством. Премьер, командующий громадным народным хозяйством, имевший влияние на могущественнейшую экономику мира, был милым, домашним, нечванливым. Чем-то, быть может, тучностью неповоротливого тела, добрым взглядом близоруких глаз сквозь тяжелые очки, неуверенными движениями пухлых рук, — напоминал Пьера Безухова. Был умеренно либеральных взглядов, симпатизировал западным экономическим теориям, охотно давал интервью тележурналистам, рассказывая о своих привычках, — о плавательном бассейне, о любви к баварскому пиву, к развлекательному английскому чтиву. И теперь, в салоне, он читал какой-то английский детектив в глянцевой забавной обложке. Отложил лакированную книжицу, чтобы ответить Белосельцеву на его тревожные, нервные вопрошания.

— Видите ли, я полагаю, что мы уже прошли самый мучительный, сумбурный период перестройки. Люди узнали много нового. Естественно, это их взбаламутило, породило некоторый хаос в умах. Теперь, как этому учит кибернетика, в системах, потерявших устойчивость, нужно проложить стабилизирующий контур. Или, другим языком, немного «подморозить» общество, которое, как перегретый холодец, начало слегка плыть, — он добродушно и мило щурился, привычным толчком пухлого пальца поправляя очки. Уделял своему попутчику ровно столько внимания, сколько просил его об этом Чекист. Белосельцев представлял, как старательно Премьер гребет жирными руками в лазурном бассейне, вертит в воде коротко стриженной головой, напрягает розовую складчатую шею под присмотром услужливого тренера. — Мы в правительстве подготовили несколько мероприятий, которые должны «нагрузить» экономику, изъять у народа накопившуюся денежную массу. Это, в первую очередь, строительство трансконтинентальных шоссейных дорог. Люди вложат свои сбережения в этот впечатляющий, поистине советский проект, согласно которому Брест будет соединен автострадой с Южно-Сахалинском, а Воркута и Салехард — с Кушкой. — Белосельцев слушал эти успокаивающие пояснения, представляя, как Премьер в жару; на своей правительственной даче, в тени узорной

беседки, пьет баварское пиво. Толстая граненая кружка. Золотая, падающая из бутылки струя. Белая кайма мягкой пены над янтарной толщей напитка. Полные губы Премьера тянутся, страстно касаются стекла, раздвигают пену, достигают холодного светлого пива. Сосут, издавая хлюпающий звук. И на белом фарфоровом блюде ярко-красные, костяные раки. — Мы создадим мощнейшее совместное предприятие с Америкой и начнем строительство туннеля под Беринговым проливом, от Чукотки к Аляске. Это будет проект в духе нового мышления, который привяжет американский капитал к экономическим преобразованиям в СССР. Одновременно, не разрушая основ индустрии, мы дадим абсолютную свободу мелко-товарной стихии, которая овладела умами. Рестораны, парикмахерские, салоны, артели, розничная торговля, копильные цеха, хлебопекарни — все, куда устремлены глаза мечтающего о собственности обывателя. — Белосельцев воображал, как Премьер лежит в летней опочивальне среди сухого, душистого дерева, под мягким абажуром вечерней лампы, сладко дремлет, и на его жирной волосатой груди покоится глянцевого американский журнал с рекламой нового небесно-голубого «форда». — Каждому сословию мы увеличим социальное жизненное пространство. Загородные участки расширенной площади и комфортабельные коттеджи. Автомобильный завод с лицензиями «вольво», «мицубиси», «фольксвагена», выпускающий первоклассные автомобили. Ночные клубы и стриптиз-бары, дающие выход сексуальным энергиям. Рок-фестивали и кинопродукция, соперничающая по увлекательности с Голливудом. Все это, как губка, впитает в себя протест, недовольство, фронду, превратив их в обычную погоню за потреблением. И для всего этого нам нужно полгода. На это время мы и произведем «подморозку», о чем договорились с товарищами.

Он смотрел на Белосельцева умными серыми глазами, ожидая вопросов или возражений. Белосельцев молчал. Премьер любезно кивнул, поднял к глазам отложенную книжку, продолжая наслаждаться английским развлекательным текстом. Белосельцев молчал, ибо фантастическая, не поддающаяся кибернетическому описанию сложность, в которой пребывало общество, драма, созвучная гибнущей галактике, были сведены к простоте, напоминавшей вышивку на пальцах.

Атомный полигон — огромная плоскость голой казахстанской степи, ограниченной безжизненными зубьями гор, большинство из которых было сломано, вырвано, взорвано, а хребет перемолот в камнедробилке многолетних атомных взрывов. Степь под палящим солнцем была громадной лабораторией, где исследовалась природа ударов, радиации, испепеляющего огня. Моделировалась ядерная война. Проверялись надежность танков, крепость бункеров, жизнестойкость пехоты. Защита продовольствия, семян, питьевой воды, коровьего молока в случае, если над расплавленными городами всплывут белые медузы атомных взрывов.

Премьеру показывали закрытый город, научные центры, разбросанные в степи гарнизоны. Автоматические станции, берущие пробы воздуха, почвы, фунтовых вод. Повезли к горам, в одной из которых, от подножья к центру, была пробита штольня. По железнодорожной колее в нутро горы был доставлен термоядерный заряд, проложены кабели, расставлены бесчисленные приборы и датчики. На утро был запланирован взрыв. Его смысл заключался в том, чтобы сделать землю прозрачной. Взрывная волна должна была пробежать в земной коре, проходя сквозь скопления нефти, алмазные трубки, залежи меди, угля. Ученые составят карту месторождений, куда затем устремятся геологи. Премьер приехал «освятить» этот мирный взрыв, который должен был положительно повлиять на общественное мнение страны.

В то время как он выступал перед военными испытателями, разъясняя текущий политический момент, Белосельцев подошел к генералу, отвечающему за секретность полигона:

— Мне рассказывали, еще в Москве... Наш великий академик... Что здесь живет человек, попавший под взрыв... Не погиб, был спасен... Очень изменился телесно... Остался жить как поселенец...

— Должно быть, Хиросима? — живо откликнулся генерал. — О нем, вишь, и в Москве знают. Есть у нас такой экспонат. Его так кличут, потому что прямо над ним атомная бомба рванула. Он сперва был пациентом в радиологическом центре. А теперь уже лет десять как на свободе. Мы его к делу пристроили. Он в рыбацком домике живет, у озера.

Если гость к нам какой приедет, он с гостем рыбу в озере ловит. Такое озеро рыбное. Образовалось после подземного атомного взрыва.

В кратер вода натекла, и рыба сама завелась. Чистая, без радиации. Воду раз в году проверяем.

— Нельзя ли мне, — загорелся Белосельцев, — побывать на озере и порыбачить с этим Хиросимой?

— Конечно, можно. Дадим машину. К вечеру доставим в гостиницу. Отдохнете, а утром поедем на взрыв... Карпенко! — окликнул он майора, сопровождавшего высоких гостей. — Доставишь товарища к озеру А-4. Передашь пациенту М-108. Пусть поработают по программе АД-204. К двадцати ноль-ноль доставишь товарища в гостиницу, в блок М. Понятно?

— Так точно, — ответил майор. — Машина готова, — почтительно обратился он к Белосельцеву.

На серебристой «Волге» они понеслись по пустынным бетонным трассам сквозь седое пожарище горячей степи, по которой в разные стороны, как молчаливые огромные скороходы, бежали высоковольтные вышки. Несли кому-то таинственную весть.

Озеро, еще невидимое, возвестило о своем приближении красной землей, состоявшей из ржавых пород. Словно из недр планеты вырвали железное окисленное ядро и натирали здесь до угрюмого блеска. Укатали вдаль, оставив рыжую сухую окалину. Ржавчина сменилась колючими ломкими осколками, посыпавшими степь пластинчатой чешуей, будто здесь чистили огромную рыбину, и она, выпучив глаза, вяло шевелила хвостом, шлепала алыми жабрами. Затем возникли окаменелые пузыри, похожие на затверделое тесто, побежавшее из квашни и застывшее, так и не успев расползтись. Открылось пространство черной дырчатой пемзы, нагромождение пористой магмы, образующей высокий вал, какой бывает вокруг древних поселений. Бетонка взлетела на этот вал, и открылось озеро, круглое, недвижимое, в слепом мертвом блеске, окруженное черными берегами. Словно в тигель был налит расплавленный свинец, ровно и тускло светился, охваченный жароупорными стенками, без ветряной ряби, без птичьего крика и рыбьего плеска.

— Это еще Сталин был жив, когда рвануло, — почтительно заметил майор. — Вон он, домик. И лодочка. Здесь и живет Хиросима.

Они подкатали к убогой сторожке с покосившейся кровлей. Вокруг ни травинки, только на кольях шелестела капроновая сеть с

поплавками, да стояла колесная повозка, низкая, как нарты, без всякого намека на лошадь.

— Хиросима, встречай гостей! — начальственно позвал майор. Улыбался, словно предстояло что-то забавное.

В доме тихо звякнуло, дверь отворилась, и на пороге предстал человек. Не целый, а то, что от него осталось. Одна нога была короче другой, обе смотрели носками внутрь, так что туловище при каждом шаге качалось вперед и вбок. Одной руки не было вовсе, а другая, отсеченная по локоть, являла вид рогульки, обтянутой кожей. Голова плоско лежала на плече, обнажая вывороченную, с кусками дикого мяса, шею. Один глаз отсутствовал, зарос зеленоватой кудрявой шерстью. Другой, выпученный, с голубым белком, похожий на очищенное вареное яйцо, был лишен зрачка. Вместо носа чернели две тесные дырочки, издававшие при дыхании свист. Рот, лишенный губ, насмешливо скалился неровными коричневыми зубами. Кожа лица, рубчатая, стянутая, вся в оспинах, заусеницах, темно-багровая, синелиловая, напоминала камень, подобный тем, что в изобилии лежали под ногами.

Несколько секунд человек, нацелив дырочки носа, обнюхивал пришельцев, узнавая о них все по запаху. Замотал туловищем, соскользнул с порога, ударяя носком в носок, подскочил, глядя снизу вверх, как горбун. Сунул обоим раздвоенную культю. Белосельцев, пожимая, почувствовал теплоту мозолистой красной кожи.

— Вот, Хиросима, гостя к тебе привез из Москвы. Генерал велел принять. Займи. Рыбку, ушицу и все такое. Понял? Спецзапас у тебя не кончился? Дай человеку расслабиться. На лодочке покатай. Не каждому доводится плавать в эпицентре атомного взрыва, — майор был радушный хозяин, словно озеро принадлежало ему, черные валы застывшей лавы принадлежали тоже ему, и это странное, похожее на изувеченного зверька существо было его собственностью. — Отдыхайте, — он козырнул Белосельцеву. — А я часика через четыре приеду и отвезу вас в гостиницу. Сегодня отдыхаем, завтра взрываем, — пошутил он и пошел к машине.

Белосельцев остался вдвоем со странным существом под ярким солнцем на берегу свинцового расплавленного озера, тускло сиявшего в каменной черной оправе.

— Из Москвы, стало быть? Физик или по медицинской части? — спросило существо детским писклявым голосом, каким говорят лилипуты, и почесало клешней заросшую глазницу так старательно и страстно, как это делают собаки, когда их беспокоит блоха. — Лодочку желаете или с бережка, с мосточка? — Голос был веселый, услужливый и насмешливый, словно человек приглашал гостя посмеяться над своим уродством, потешиться этой забавной встречей в безлюдной степи на берегу атомного озера.

— Пожалуй, лодку не надо... Да и удочки стоит ли... — растерянно сказал Белосельцев, чувствуя, как бесконечна степь, бездонно озеро, таинственна и неслучайна их встреча. Будто он шел к ней целую жизнь, предчувствуя среди множества встреч, ожидая от нее разрешения самых главных, неотступных вопросов. Он хотел об этом сказать, но не было слов. И таинственное существо, как изувеченный зверек, тихо посвистывало рядом дырочками носа.

— Лодку не хотите — с удочкой посидите. Тоже хорошее дело, — человек, перекатываясь, выставляя поочередно вывернутые бедра, исчез в сторожке. Через минуту вернулся с удочками и консервной банкой, где на мокрой тряпице извивались Бог весть откуда возникшие розовые дождевые черви. — Наловите, хорошо, а нет, у нас на ущицу найдется. И спецзапас сохранился, — он хлопнул клешней по вывернутой шее, давая понять, что к ухе будет предложена выпивка.

— Видите ли, — робко начал Белосельцев, — Я наслышан... от нашего великого атомного физика, Академика, который здесь начинал... Он рассказал о вашей судьбе, о штурмовике Пе-2, и как вас приковали, и ваше свидание с Берией... Он просил передать, что раскаивается, просит у вас прощения... Вас называет Мутантом... Говорил про Болт Мира... — умолк, глядя на человека, по лицу которого как будто прошла циркулярная пила, и оно напоминало сплошной рубец. Тот молча почесывался, выискивая в шерстке досаждающую блоху.

— Не упомяну... Много разных бывало... Стар стал... Мое дело — рыбку ловить... Майор любит рыбку... Да вы не сомневайтесь, коли не поймаете, у нас уже приготовлено... И спецзапас припасен... — ловко сжав удочки клешней, он заковылял по вырубленным в пемзе ступенькам к воде, где был сооружен дощатый помост и стояла деревянная лавочка. Орудя клешней как пинцетом, выловил из банки

червя. Поплевал на него безгубым смеющимся ртом. Приблизил крючок с извивающимся червем к выпуклому бельму. Посвистел носом и, виртуозно орудуя обрубком, метнул леску в белый свинцовый блеск. Белосельцев ждал, что леска источится легким дымком в расплавленной жиже. Но она, не оставляя на воде кругов, погрузилась в глубину. Получив от Хиросимы удилище, он опустил на лавочку.

— Ловите на здоровье... В Москве-то, небось, не половишь, — писклявым голосом произнес Хиросима и ловко заковылял вверх. Белосельцев остался один.

Было беззвучно, словно для звука не существовало среды, где бы он мог распространяться. Ничто не колебалось, словно отсутствовали любые формы движения. Ровный однородный столб света поднимался от озера в небо, продолжаясь ввысь, в бесконечность. Такая же литая колонна света погружалась сквозь кратер в центр земли. Сидя на лавке, глядя в ровное, цепенящее свечение, он чувствовал, что время остановилось. Здесь случилось такое, что расплавало все часы, смяло, как пластилин, циферблаты, и время исчезло.

Он не помнил, сколько сидел — час или пять. Солнце медленно утекло из круглого бесцветного неба, скрылось за высокой каменной осыпью. В белесых, выгоревших небесах появилась нежная зелень. А в воде, среди металлического мертвого блеска, почудилась слабая лазурь, которая стала сгущаться, и озеро превратилось в бирюзовый прекрасный круг, охваченный каменной оправой, уже не пепельно-серой, а нежно-разноцветной — сиреневой, розовой, красной. Белосельцев очнулся. Его коснулось преобразование вод и небес. Оцепенение исчезло. Сердце радостно вздрогнуло и наполнилось предчувствием прекрасного, долгожданного, когда-то, быть может, не в его собственной жизни, пережитого и теперь возвращавшегося.

Кругом что-то слабо, почти неуловимо качнулось. И от этого нежного колыхания побежали едва заметные волны. Прозрачные лопасти света, розовые и зеленые, перебирали в небе свои лепестки. Камни на круче казались драгоценными. Вода в озере чудесно дышала. Нежно-голубая, она переполнялась таинственными силами, которые не обнаруживали себя, а лишь создавали ощущение блаженства.

Вдруг слабо плеснуло. Стал расходиться медленный круг, в переливах млечно-белого и голубого. Рядом снова плеснуло. Мягкие кольца, расширяясь, порождая бирюзовые колыхания, стали

разбегаться. Встретились с первыми. Обнимались, целовались, создавая на воде танцующие волны.

Белосельцев увидел, как из воды поднялся прозрачный бурун, и в нем на мгновение что-то стеклянно сверкнуло, живое, сильное, радостное. Рядом другое, третье. Так в бирюзовом море играют нерпы, нежась в теплых лучах вечернего солнца. И это зрелище живых существ, лишь на мгновение показавших себя среди стеклянных пузырей и зеленовато-голубых колыханий, восхитило Белосельцева, исполнило его нежностью и волнением.

Близко от берега поднялся стеклянный купол воды. В нем, среди опадающих струй, блестящих сочных волос, возникло женское лицо, молодое, с открытыми радостно-изумленными глазами, розовыми губами, которые отдували воду. Глаза, часто моргая, всматривались сквозь летящие капли. Женщина подняла из воды белые руки, отерла ладонями лицо, как это делают купальщицы. Улыбнулась, легла на спину, и Белосельцев увидел ее белые полные груди с темными сосками и выпуклый блестящий живот. Купальщица изогнулась, уходя в глубину спиной. Белосельцев ожидал увидеть ее сильные белые ноги, но вместо них глянцевино сверкнул раздвоенный чешуйчатый хвост, двойной плавник прозрачно ушел под воду.

Это было чудесно. Он смотрел на разбегавшиеся круги, среди которых исчезло диво. Чувствовал, как его сладко влечет в бирюзовую глубину, где, невидимое, скользило прекрасное тело, сильные руки разгребали прозрачную толщу, волосы струились над спиной, испуская серебряные пузыри, и за сильными бедрами волновался упругий хвост.

Вновь возникла стеклянная реторта, бесшумно лопнула, и в ней открылось восхитительное женское лицо, падающие на плечи золотистые волосы. Женщина с силой колыхнула руками, повела подводным тугим плавником, выдавливая себя на поверхность, так что плеснули тяжело ее розовые груди, круглый, с углублением пупка живот, темный лобок, ниже которого заблестела изумрудная чешуя. Русалка изогнулась в воздухе, ушла в глубину, показав на мгновение гибкие прозрачные ласты.

По всему бирюзовому озеру раскрывались вода и всплывали русалки, глазастые, с перламутровыми счастливыми липами. Играли, плескались, хохотали. Гонялись одна за другой, подымая ладонями прозрачные перья воды. Заслонялись от брызг локтями, показывая под

мышками влажные кудели. Обнимались, ласкали друг друга. Замирая в поцелуях, пьяно погружались под воду. Снова счастливо взлетали, держа в руках кто закрученную перламутровую раковину, кто подводный сочный цветок, кто ленивую сонную рыбину. Белосельцев восхищенно смотрел на русалок, и одна из них, проплывая, сладко хохотнула, метнула в него яркие брызги, с шорохом упавшие ему под ноги.

Вдруг русалки испугались, оглянулись все в одну сторону. Опрометью кинулись, разрезан воду плавниками, скрываясь а глубине.

Белосельцев увидел, как у берега бурно, с хлюпаньем, всплыла голова. Крепкая, смуглая, с выпуклыми скулами, плотной курчаво-рыжеватой бородкой и слипшейся светлой копной волос, из которых, словно опрокинули ведро, громко бежала вода. Голова оглянулась в разные стороны, возвысилась на жилистой мощной шее. Открылись могучие плечи, мускулистая, с литым рельефом грудь, покрытая курчавой растительностью. Крепкий красивый мужик встал по пояс и начал охлестывать себя пригоршнями воды, отжимать бородку и волосы. Достал клочок белесой водоросли и, как мочалкой, стал тереть себе подмышки, скрести грудь, фыркая и сладко охая. Так моются в реке деревенские мужики, натирая обмылком мускулистые руки, загорелые на покосах плечи, отгоняя от себя мыльную воду.

Мужик помылся, стал выбредать к берегу, но вместо белых ног и и голого паха, на котором бы стыдливо скрестились ладони, из воды возникло огромное лошадиное туловище, огненно-красный, отекающий водой круп. Могучий кентавр, переставляя мускулистые ноги, выдирая из воды копыта, вышел на берег, обмахиваясь брызгающим свистящим хвостом. Статный, литой, оглянулся через плечо на озеро.

Белосельцев был поражен. Озеро, еще недавно казавшееся металлически-мертвым, ядовито-пустым, теперь обнаружило свою волшебную тайну. Перед заходом солнца из него стали появляться таинственные существа. Случившийся здесь космический взрыв соединил огонь и воду, воздух и камень, людей и животных, создав загадочные, невозможные при иных условиях формы.

Там, куда смотрел красный кентавр, всклокотала поверхность. Плавно и мощно стала возникать голова, темная, горбоносая, со смоляной бородой и черными стеклянно блестящими волосами.

Вслед за ней появился атлетический торс, руки с надутыми бицепсами, одна из которых сжимала огромную корягу. Черный кентавр, сбрасывая со спины водопад, щупая копытами каменистое дно, выбредал на берег. Крутил головой, расчесывая пятерней косматые брови. То ли фыркающе гаркнул, то ли по-конски сердито заржал, увидев собрата. Напрягая задние ноги, брызгая из-под копыт камнями, помчался на красного, воздев над головой корягу. Красный скакнул прочь, издал жаркий храп, бросился вверх по склону, осыпая камни, соскальзывая, цепляясь копытами за уступы. Черный гнал его вверх, и они неслись косо, возносясь на кручу, оба прекрасные, совершенные, на фоне вечернего зеленого неба, словно изображения на греческой амфоре.

Белосельцев с восторгом наблюдал горячую скачку. Они сошлись в схватке, вставая на дыбы, ударяя друг друга копытами и кулаками. То обнимались в железных объятиях так, что хрустели кости. То оборачивались друг к другу задом, лягались, громко свистя хвостами. Красный одолевал, теснил соперника. Тот близился к краю, негодуя ржал. Не удержался и рухнул с кручи, перекатываясь, взбрыкивая ногами. Обрушился в воду, подняв блестящий фонтан, окруженный пеной. Поплыл, фыркая, гневно крутя головой, расталкивая руками крутой бурун. Красный кентавр разбежался и, сложив под животом ноги, громко плюхнулся в озеро, расколыхав его до берегов. Погрузился, всплыл, окруженный белой бахромой. Догнал первого, и они плыли рядом, гоня перед собой буруны из черного и красного стекла. Разом нырнули и канули.

Чудо, которое он наблюдал, было предсказуемо. Волшебные мифы и населявшие их существа, уйдя из городов, исчезнув из глаз неверящего, скептического человечества, поселились в атомном озере. Были воссозданы в ослепительном фокусе взрыва.

Над его головой раздался сильный шум крыльев. Быстрые, похожие на уток, птицы сели на воду. Складывали крылья, бойко, как криквы, крутили острыми утиными хвостиками. Но вместо птичьих голов и клювов у их были женские лица, круглые, щекастые, в свежем румянце. Их украшали венки из перьев, из-под которых выглядывали нежные ушки с узорными сережками.

То одна, то другая раскрывала крыло с изумрудными маховыми перьями, смотрелась в них, как в зеркальце, кокетливо

прихорашивалась. Вся стая вдруг забормотала, заговорила, рассыпалась смешками. Дружно снялась и шумно полетела на другую оконечность озера, роняя с оранжевых перепончатых лап светлые капли.

Вода была нежно-прозрачной, голубой, с зеленоватым отливом. В ней виднелись затонувшие мраморные колоннады, амфитеатры, полуразрушенные акрополи и ажурные арки. И повсюду, в прозрачной глубине, среди мраморных развалин, на озерной поверхности, в прибрежных водах и отмелях резвились сказочные существа, поражая воображение.

Белосельцев смотрел на женщину с прекрасным лицом, похожую на Мадонну Литу, в долгополом мокром хитоне, прозрачно облегавшем ноги, живот. Хитон был наполовину расстегнут, обнажая шесть налитых сочных грудей, каждую из которых сладко сосали младенцы, пухлые, бело-розовые, с золотистым пухом на голове. Среди них выделялся чернокожий крепыш с жесткими колечками негритянских волос, крепко схвативший материнскую грудь.

По берегу шел статный мужчина, ослепительный в своей нагоде. У него была голова оленя, увенчанная ветвистыми рогами. Он опустил на колени и стал пить. Было видно, как у его мягких оленьих губ вспыхивают слюдяные пузыри.

В воде сновали разноцветные рыбы, у которых, помимо плавников, были маленькие лапки нутрий, они цепко хватали обломки амфор, сносили их в одно место, словно собирались склеить. По мелководу расхаживали длинноногие кулики с загнутыми длинными клювами, но клювы эти вырастали из круглых кошачьих голов, которые ласково и тихонько мурлыкали.

Мимо пролетела большая пестрая бабочка, но между ее радужных крыльев было не тельце насекомого, а человеческая рука, сложившая хрупкие пальцы троеперстием.

— Теперь ты знаешь, куда попал. Ты ведь это хотел увидеть? — раздался за спиной Белосельцева тонкий голос Хиросимы. И пока произносилась фраза, голос менял свой тембр, наливался глубоким сочным звуком. Конец фразы был произнесен сильным грудным баритоном.

Белосельцев обернулся и успел застать чудесное преобразование спускавшегося по каменным ступеням колченогого уродца, который в

разноцветных вечерних лучах менял свой облик.

Изувеченная клешня превратилась в сильную смуглую руку. Из пустого плеча к земле протянулось плотное, в переливах крыло с загнутыми маховыми перьями, как у ангела. Одна нога выпрямилась, стала литой, с сильным бедром и голенью, с крепкой босой стопой. Другая, журавлиная, в мелких чешуйках, с выпуклым костяным коленом, упиралась в землю тремя птичьими когтистыми пальцами. Шея стала округлой, высокой. На ней гордо и красиво держалась черноволосая молодая голова с сильным носом и выпуклыми волевыми губами. Глаза, большие и ясные, смотрели на Белосельцева спокойно и строго. И тот понял, что перед ним Мутант, о котором поведал несчастный полубезумный Академик.

— Он не несчастный, — угадал его мысли Мутант. — Он заслужил свою долю. Он бы мог стать бессмертным, а теперь на короткое время его именем назовут скучную московскую улицу, его задержат до смерти болтливые раздраженные люди, и последние часы ему отравит беспощадная женщина, прокуренная настолько, что из нее можно добывать никотин в промышленных целях.

Теперь они стояли рядом у вечернего озера, и множество забавных, фантастических тварей, узрев Мутанта, стремились к нему, норовили приблизиться, коснуться, снискать его ласку.

— Но ведь он сказал про свой грех... Что вы воришка... И Берия вас приговорил... Отсюда его покаяние... — сбивался Белосельцев.

— Это один из его мифов, в которые он уверовал, став их жертвой. Как и миф о конвергенции, вульгарно упростивший идею всемирного, объединенного человечества. Я не воришка, якобы обокравший богатого доктора и случайно встроенный в «дело врачей». Я — антрополог, изучавший генетические возможности человека, работавший в секретной научной лаборатории КГБ под личным руководством Берии. Мы очень близко подошли к идее бессмертия, надеясь сделать бессмертным товарища Сталина, а вслед за ним и весь советский народ...

Мутант смотрел на вечернее озеро, все больше приобретающее цвет перламутровой раковины. У него на руках нежно извивался, шаловливо шевелил пупырчатыми щупальцами маленький осьминог с головой Карла Маркса.

Гибкие розоватые конечности вырастали прямо из косматых волос. Осьминог щекотал щупальцами ладонь Мутанта, желая привлечь к себе внимание. Но тот бережно выпустил осьминога в воду, и он поплыл, пульсируя пучком гибких ног, играя с нарядной рыбкой, которая была ухом ребенка с крохотными алыми жабрами.

— Я пришел к выводу, что недостаточно управлять хромосомой на молекулярном уровне — необходимо атомарное воздействие, которое должно привести к мутации всех регенерирующих систем человека. А это, в свою очередь, должно повлечь за собой воссоздание изношенных органов. С Академиком мы рассчитали мощность атомного взрыва, необходимого для такой коррекции. Мы работали рука об руку, были друзьями. К тому же мы оба любили одну и ту же прелестную женщину, а она любила только меня. Мы готовили опытный взрыв, намереваясь задействовать в эксперименте обезьяну из сухумского заповедника. Но в последний момент я решил, что сам войду в эксперимент. Был огромный риск сгореть в зоне взрыва. Или мутировать в сторону неисправимых уродств. Или превратиться в вечный источник радиоактивности. Меня отговаривали. Плакала и убивалась невеста. Рыдала мать. Сам Берия не рекомендовал мне участвовать в эксперименте, ибо дорожил мной. Но я решился. Мы полетели на Ил-18 в Казахстан, под Семипалатинск, где готовился взрыв...

На ладонь Мутанта села большая изумрудная стрекоза с лицом Михаила Ивановича Калинина. Шелестела слюдяными крыльями, перебирала чуткими лапками. На клинышке бороды висела крохотная капля сладкого цветочного сока. Мутант бережно поднял ладонь, легонько дунул, стрекоза полетела в трепещущем блеске, подгибая длинное прекрасное тельце. Оглядывалась на Мутанта, поправляя лапкой крохотные очки. Белосельцев чувствовал исходящую от Мутанта благодатную силу, привлекавшую к себе резвящихся тварей. Так святого в лесах посещают медведи, смиренно ложась к ногам блаженного праведника.

— Мы прилетели в степь, где готовился наземный ядерный взрыв. Попутно решалась проблема устойчивости военной техники к ударной волне и проникающей радиации. В степи на разных расстояниях от башни с зарядом были расставлены американские танки «Шерман», самолеты «Спитфаер» и Б-29. Именно его кабину я облюбовал для

эксперимента. Разместил приборы, клеточный материал, ткани растений и животных. Приготовил себе место в кресле второго пилота. Помню, мы говорили с Академиком. Я предлагал ему разделить со мной участь, сулил бессмертие, увлекал возможностью приобрести небывалый для человека, поистине божественный опыт. Он отказывался. Говорил, что должен следить за качеством взрыва, дабы обеспечить мне безопасность. На самом же деле, как я узнал от одного испытателя, он увеличил мощность взрыва вдвое. Хотел меня погубить и воспользоваться моей невестой. Таков он, этот «нижегородский мученик», великий диссидент, совесть нации...

Белосельцев видел, как вокруг журавлиной ноги Мутанта обвилась крохотная изящная змейка. Нежилась, терлась головкой с крохотными рубиновыми глазками. Белосельцев узнал в ней поэта Симонова, который мечтательно раскачивался и читал свое стихотворение «Жди меня». Мутант осторожно освободился от змейки, и она скользнула в камнях, сверкнув на прощанье добрыми красными глазками.

— Наступил день эксперимента. Меня посадили в кабину Б-29, включили датчики и антенны, которые должны были передать параметры моей жизнедеятельности в микросекунды длящегося взрыва. И оставили одного. Я смотрел на большие американские часы с дергающейся секундной стрелкой и ждал взрыва. Не скрою, мне было страшно. Вдруг я увидел, как, подымая шлейф пыли, мчится машина. Из нее вышли Берия и Академик. Академик поднялся на крыло самолета и заглянул в кабину. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил я его, надеясь, что он раскается в своем вероломстве и вызволит меня из кабины. «Дай я тебя поцелую», — сказал он. Наклонился и поцеловал. Я почувствовал на губах вкус раздавленного клопа. Потом поднялся Берия и крепко пожал мне руку. Сказал, что об итогах эксперимента немедленно доложит товарищу Сталину. Подарил мне свои темные очки, чтобы не так слепила атомная вспышка. Они уехали, а я остался ждать...

На голову Мутанта села сорока с великолепным темно-зеленым хвостом, нежно-белой грудью и с двумя головами, одна из которых принадлежала фельдмаршалу Паулюсу, а другая — генералу Власову. Обе головы в фуражках Вермахта ссорились, стрекотали, требовали вмешательства Мутанта. Тот бережно снял с головы сороку, держа ее

за тонкие лапки. Фельдмаршалу Паулюсу сказал по-немецки: «Арбайтен унд нихт ферцвайфельн», — а генералу Власову по-русски: «Слава России!» Оба тотчас успокоились, козырнули, пожали друг другу руки, и сорока, радостно тараторя, полетела в вечернем розовом небе.

— Я сидел в кабине и ждал взрыва. Почему-то вспомнил, как в детстве, во дворе, среди лопухов и крапивы, делал тайник. Выкопал ямку и обкладывал ее черепками от разбитых чашек, осколками бутылок, и этот тайник казался мне таким волшеббно-красивым, так чудесно краснел цветок на ломтике фарфоровой чашки. В эту секунду случился взрыв. В белом огромном столбе, от земли до неба, явился Ангел, в буре света и пламени. Он был прекрасен лицом, кудри его развевались, ноги как два сверкающих столба. Он принял меня в руки, приблизил к ослепительному лицу, и те несколько микросекунд, что длился взрыв, поведал мне об истинном устройстве мира, о бессмертии, о Рае, о смысле СССР, о судьбах России. С высоты указал мне гору, в которой находится Болт Мира. Вернул в кабину самолета, и я ослеп среди абсолютной, невыносимой для глаз белизны...

К Мутанту; помахивая хвостами, радостно повизгивая, прибежали из степи собаки. Прыгали ему на грудь, лизали лицо. Глаза у собак были человечесьи, зеленые, длинные, с большими ресницами, как у Лили Брик.

— Они умеют читать, — сказал Мутант, глядя собак по загривкам. — Я учил их азбуке по журналу «Огонек», который издает Виталий Коротич. Они читают его передовицы, но с понять ничего не могут. Теперь мы запряжем их в повозку; поедem в горы, и я покажу тебе Болт Мира.

Почти стемнело. Озеро бархатно, густо синело. Лишь у дальнего берега лежал изумрудный отсвет. В воде что-то плескалось, резвилось, вспыхивало нежной белизной, отзывалось русалочьим смехом.

Они мчались в колеснице, запряженной степными собаками. Пушистые остроносые звери озирались на седоков зелеными глазами вероломной красавицы. Звезды пылали в ночи незнакомым орнаментом, пугая и восхищая россыпью загадочных созвездий. Мутант восседал, молчаливый и грозный, и ветер развевал его кудри, в которых путались звезды. Белосельцев взира́л на него с благоговением,

доверяясь его таинственному и угрюмому разуму. Они примчались к горам, которые обнаружили себя высокой зубчатой тьмой среди разноцветных, росистых небес. Бег собак становился тише, пока колесница не замерла у подножья горы, и тогда стало слышно, как сипло дышат утомленные бегом животные.

— В каждой из этих гор произошел взрыв. Каждой сломали хребет. В каждую ведет штольня, достигая сердцевины горы, где размещался заряд. Большинство штолен осыпалось, но есть такие, по которым можно пробраться. В этой горе, — Мутант указал на срезанную вершину, над которой медленно текли белые, как соль, звезды, — есть штольня, куда мы сейчас полезем. Я — первый, ты следом. Двигаться осторожно, без резких движений, без разговоров. От громкого звука может осесть гора, и нас расплющит. Возьми вот это, — он передал Белосельцеву пластмассовую шахтерскую каску с фонарем во лбу. Одел на свои кудри точно такую же, зажигая в голове белый луч.

Они приблизились к горе, упираясь лучами в каменистый склон, в грубые глыбы и застывшие осыпи. Отыскивали узкую неприметную щель, уходившую в гору, словно это была брошенная нора неизвестного зверя. Мутант встал на колени, направив пучок лучей в пролом. Теснее прижал крыло, чтобы не повредить маховые перья. Легко и бесшумно ушел в глубину. Было слышно легкое удаляющееся шуршанье. Белосельцев, шевеля во лбу светящимся рогом, просунул голову в штольню, и ему показалось, что гора мощно засасывает его в глубину.

Он полз, видя перед собой голую пятку Мутанта и его трехпалую журавлиную ногу, которые попеременно толкались о камни. Штольня, сплюснутая горой, изорванная взрывом, опаленная пролетевшей плазмой, то расширялась, позволяя ползти на четвереньках, то стискивалась настолько, что можно было ползти лишь по-пластунски, и при этом каска задевала за кровлю. Тогда начинали сыпаться камушки. Казалось, гора скрипит, оседает и сейчас под ее тяжестью хрустнет хребет. Одежда цеплялась за искореженное железо, обрывки кабелей, и пугала мысль, что в штольне продолжает дуть неслышный радиоактивный ветер, умертвляя кровяные тельца.

Они двигались долго, иногда отдыхали. Тогда в луч света попадало бирюзовое, как у сойки, крыло Мутанта и возникал

оплавленный, ржавый двутавр. Штольня внезапно расширилась, они встали в рост и, шевеля во лбах пылающими лучами, вошли в огромную просторную залу.

Здесь много лет назад случился термоядерный взрыв. Пылающий шар зажегся в горе. Сотрясал ее, расширял, плавил каменную сердцевину. Вытапливал, плескался жижей, рвался наружу. Проедал огнем стены, просачивался в трещины. Жидкая внутри, гора вязко проседала. По ней бежали дрожащие проломы. Лились камнепады. Дули из дыр жаркие сквозняки. Там, где было сердце горы, теперь зияла огромная стеклянная пещера, оплавленная взрывом.

Лучи фонарей трепетали в разноцветных льдистых наплывах, голубых и зеленых разводах, огненно-красных каплях. Сосульки, прозрачные глыбы, хрустальные грани, стеклянные нити, спутанные, как раскрашенные женские волосы. Казалось, ее выдул в свою волшебную дудку искусный стеклодув, создавая в горе прекрасную вазу. Белосельцев был поражен ее неземной красотой. Любое движение порождало бесчисленные сверканья. Казалось, его окружают стеклянные женщины, небывалые животные, хрустальные птицы. Цветные стекла, словно витражи, светились изнутри, и чудилось, будто он сам превращается в стеклянное изваяние.

Ослепленные спектрами глаза, опьяненная радиацией кровь порождали видения. То мерещился умерший дед с белой путаной бородой, красным бантом и огромными голубыми глазами. То он видел свою первую возлюбленную, с черно-блестящими волосами, алым румянцем, в нежно-зеленом платье. То смотрел на него смуглый горбоносый афганец в розовой чалме и бирюзовом балахоне, сидя на солнечном, черно-красном ковре. Ему казалось, он сходит с ума. И это безумие было сладким.

— Боже, как здесь чудесно, — тихо произнес Белосельцев.

— Мне указал это место Ангел, когда объяснял сущность мира, — ответил Мутант.

— Что тебе поведал Ангел? — спросил Белосельцев, чувствуя, как пещера вращается, порождая все новые стоцветные видения.

— Он сказал, что Господь сконструировал Землю как часы. Каждому царству — свое время. Часы остановятся, когда люди достигнут бессмертия. Советский Союз был задуман Господом как урок людям, которые учатся достигать бессмертия. Таких уроков будет

еще несколько, но только среди других народов. Бессмертие достигается механикой, химией, биологией, генной инженерией, медициной и астропсихологией, основы которой еще не открыты. Но этого мало. Бессмертие достигается добротой и любовью, каких еще не знала Земля. Доброта и любовь же приходят вслед за страданием. Научные знания, которые приводят к бессмертию, будут открыты на Западе. Доброта и любовь, без которых невозможно бессмертие, будут открыты в России. Поэтому Россия страдает. Смысл России — выстрадать небывалую доброту и любовь, соединить их с научным знанием Запада. И тогда часы Земли остановятся, история кончится, и люди станут бессмертными. Ты страдалец. В этом твое назначение. Ты нужен России за твои страдания, которые были и будут. К тебе придет Ангел и укажет, что делать. Теперь, когда рушится Советский Союз, качается равновесие мира и возникает земной перекося, я должен повернуть Болт Мира. Так на часах истории переводится минутная стрелка.

Белосельцев слушал Мутанта не различая слов. Ибо акустика пещеры была такой, что вместо слов раздавался один непрерывный гул. И сверкали стекла, и пылали витражи, и переливались стеклянные слои и волокна, и он пребывал в сладком безумии, зная, что это сон, которым нельзя воспользоваться.

Мутант прошел в дальний конец пещеры, где высилась сияющая стальная колонна. Ее вершина упиралась в громадный, с блестящими шарами, подшипник. Сама же она ровно и мощно погружалась в центр Земли. На колонне была резьба. На резьбе размещалась колоссальных размеров гайка, уже вставленная в гаечный ключ. Мутант приблизился к колонне, ухватился мощной рукой за гаечный ключ. От напряжения его крыло поднялось, бирюзовые перья распушились, и он с великим усилием повернул гайку. Белосельцев почувствовал, как качнулась Земля. Земная ось сместилась на несколько микронов, и это означало смерть СССР.

— Нам пора, — сказал Мутант. — Майор будет волноваться, а я не хочу его огорчать.

Они покинули пещеру. На колеснице, запряженной читающими собаками, пересекли степь и достигли военного городка. Перед входом в гостиницу Белосельцев хотел проститься с Мутантом, но того словно

и не было. Навстречу ему торопился взволнованный, потерявший всякое терпение майор.

Наутро был взрыв. Заминированная гора, одна из немногих, уцелевших в хребте, возвышалась остроконечной вершиной. Пик был озарен солнцем, а подножье оставалось в тени. В глубине горы, окруженный датчиками и готовый к взрыву, находился термоядерный заряд. От него наружу, сквозь замурованную штольню, змеились жгуты кабелей, стальные трубопроводы, по которым датчики, перед тем как сгореть, пошлют информацию о взрыве. Физики на удалении от взрыва получают его портрет анфас и в профиль. Почувствуют его сотрясающую мощь. Ощутят его огнедышащий жар. Рассмотрят его лучистую вспышку. Измерят его краткую, существующую доли секунды жизнь.

Премьер, утренний, бодрый, почему-то облаченный и камуфляж, оживленно расхаживал у командного пункта, окруженный физиками, военными, геологами, в чьих интересах проводился взрыв. Крепко, как и подобало сильному, удачливому человеку, пожал Белосельцеву руку.

— За этим взрывом следят американцы на своих сейсмических станциях, — Премьер кивнул на озаренную вершину. — Над нами висит их спутник, фотографирует эту гору. А мы сыграем с ними веселую шутку, — он засмеялся, поглядывая на военных и физиков. — Наши ученые промодулируют взрывную волну мелодией гимна Советского Союза. Представляете, американцы на Аляске запишут колебания земной коры, начнут расшифровывать запись, а на выходе: «Союз нерушимый республик свободных...» Встать!.. Вся планета, вся Солнечная система исполняют Гимн СССР!.. — и он сочно и бодро захохотал, хозяин мира, дирижирующий музыкой сфер.

Белосельцев смотрел на гору, приговоренную к казни. Она молча, гордо взирала, беззащитная, обреченная, с озаренной вершиной. Была похожа на смуглого афганца в сияющем тюрбане, которого поставили перед автоматным дулом, и он без страха и трепета, обращая душу к небу, ждет выстрела. Слова Мутанта о часах истории смутно выделялись из гула и рокота произнесенных накануне слов, когда медленно повернулась на резьбе стальная колонна, исключив из мировой истории Советский Союз. Болт Мира был повернут на пол-оборота, и не было такой силы, такой божественной длани, которая

могла бы повернуть болт вспять. Стоящие вокруг энергичные, казавшиеся себе всемогущими и всеведущими, люди полагали, что они взрывают гору, а они в своем неведении взрывали страну.

По репродуктору начался обратный отсчет времени. Расставленные вокруг горы антенны приборов чутко вслушивались в слабое тиканье смерти, звучащее в недрах горы.

— Два... Один... Ноль!..

Гору приподняло страшным толчком, словно она подпрыгнула, подбирая свои каменные тяжкие юбки. Верх горы оторвался, ударил фонтаном камней, вихрями желтой пыли.

Гора осела, словно ей подрубили поджилки. Стала рыхлой, оплывшей, потекла по склонам. Страшный гул покатился, колыхнув степь и небо. Белосельцев почувствовал, как ему по ногам ударили громадным двутавром. Сотрясенный, с выпученными глазами, взболтанным мозгом, сместившимися внутренними органами, он слушал, как удаляется гул. Течет по земной коре, много раз огибает планету. Встряхивает каждый корешок в земле, каждую кость в могиле, каждую фарфоровую чашку в буфете. Взрывная волна прошла сквозь подземные нефтяные поля, драгоценные руды, алмазные россыпи, отразив их на картах. В Сибири, в недрах Саян трепетала расплавленная, еще не застывшая золотая жила. Волна прошла сквозь золото, сгустила его, и оно отвердело, запечатлев в себе музыку Гимна. Та же музыка сотрясла костное вещество Белосельцева, отпечаталась в его скелете. И через тысячу лет из его могилы, из серых, насыпанных костной мукой берцовых костей и ребер зазвучит торжественная музыка Гимна. И все встанут, слушая, как поет его могила.

Собравшиеся поздравляли друг друга. Премьер целовался с физиком, подготовившим взрыв. Можно было возвращаться в Москву.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В Москве Белосельцев не стал искать встречи с Чекистом. Он словно обмяк, уменьшился, утратил внутреннюю одержимость. Был похож на ту гору с золотой вершиной, которую взорвали. В нем звучал рокочущий, бессловесный гул, отраженный от стен стеклянной пещеры. Страдание, которое он при этом испытывал, было сродни состраданию, когда душа чутко слышит разлитую в мире боль, разделенность жизни, расчлененность ее на множество отдельных, несовершенных, неполных жизней, каждая из которых заключена в случайную оболочку растения, птицы, человека. Чувствует трагичность своего расчленения. Хочет объединиться. Не может. Мучается. Мучит другого.

Ему предстояла еще одна поездка — на Новую Землю, в группе Зампреда. На северном полигоне искали удобные территории для подземных ядерных взрывов, ибо семипалатинские горы были перемолоты и предстояло осваивать взрывы на равнинах. Он отправлялся в эту поездку без прежнего энтузиазма, почти забыв о полученном задании, испытывая все то же гносеологическое страдание, все ту же боль непонимания жизни.

К аэродрому, на правительственную площадку, подъезжали черные, как жуки, автомобили, вставали в ряд. Из них подымались властные, уверенные, энергичные люди. Улыбались, обменивались рукопожатиями, давно знакомые друг другу министры, генералы, руководители военных управлений и строительных трестов. Белосельцев вошел в их шумный круг, слушал смех, шутки, глядя на самолет, готовый к полету на Север.

— Виктор Андреевич, рад вас видеть. Наши пути не расходятся! — Главнокомандующий флотом, Флотоводец, загорелый, породистый, красиво стареющий адмирал, в черной форме, пожал Белосельцеву руку. И все, кто окружал Флотоводца, хотели понять, кто этот человек, ради которого адмирал прервал свою беседу с министром, первый шагнул навстречу. — Мне передавали, что вы с нами летите!

— Ба-ба-ба!.. Виктор Андреевич!.. — обернувшись на сочный голос Флотоводца и узнав рядом с ним Белосельцева, к ним шагнул

Технократ. — А я и не сомневался, что пригласят Белосельцева. Где конфликт, там и конфликтолог. А у нас что ни день, то конфликт...

Технократ был сухощав, с острым веселым взглядом, с легким уральским оканьем. Его сухая цепкая рука источала энергию. Ту же, что и тогда, в Чернобыле, где их впервые свела беда. В респираторах, в белых комбинезонах скакали по лужам, боясь прикоснуться к ядовитой земле. Перебегали, как под пулеметным огнем, открытое пространство, шарахаясь от брошенного радиоактивного бульдозера. Труба, бело-красная, полосатая, отбрасывала длинную тень. Над взорванным блоком, серо-стеклянный, жаркий, струился отравленный воздух. А ночью развалина дышала розовым заревом. Они впервые познакомились на заседании штаба гражданской обороны и позже, при встречах, одними зрачками давали понять друг другу, что помнят то жуткое зарево.

Появилась еще одна черно-блестящая «Волга», описала дугу и встала. Все повернули к ней лица, на которых возникло одинаковое выражение повышенного внимания и почтения. Из машины, стараясь под взглядами многих людей выглядеть ловким и гибким, поднялся Зампред.

Здоровался, пожимал всем руки, улыбался, заглядывал в глаза, лысоватый, круглоголовый, сутулый. Белосельцев познакомился с ним на Каспии, на испытании великолепной громадной машины — экраноплана, что, подобно колоссальной бабочке, подымая серебряные фонтаны, грозно и мощно, со скоростью самолета, неслась над морем, и они с Зампредом обсуждали возможность переброски дивизий через Ла-Манш. Вечером они оказались вдвоем на веранде с видом на море, пили сухое вино, и Зампред поразил Белосельцева странной метафизической грустью, которая не предполагалась в этом властном, рациональном человеке, управлявшем огромными массивами жизни.

— Здравствуйте, Виктор Андреевич. Спасибо, что дали согласие на поездку, — Зампред пожал ему руку. — Не сомневаюсь, у нас будет минута побеседовать.

Он пошел к самолету, и вся свита — министры, адмиралы, высокие штабные чины — потянулась следом. В головном салоне, как водится, воцарилось руководство. Выпили, закусили, пользуясь полуторачасовой передышкой, наслаждаясь полетом могучей удобной машины.

— Вы не читали, товарищи, последний «Огонек»? — Флотоводец обвел всех возмущенно-удивленным взором, приглашая возмутиться вместе с ним. — Ну какая, ни к столу будет сказано, гадость. Какая должна быть совесть у этих, с позволения сказать, писак, чтобы так оплевывать армию, своих защитников, которые ему, сопляку, в детстве жизнь спасли, а он им теперь в благодарность, можно сказать, ножом в спину. Будь моя воля, — он осторожно, как бы испрашивая позволение на это высказывание, покосился на Зампреда, — я бы все эти «Огоньки», и «Взгляды», и «Московские комсомольцы» на недельку закрыл, матросики мои их бы вычистили хорошенько, а потом их открыл, чтобы они были народу в радость, а не во вред!

Все соглашались. Зампред устало закрыл глаза. Солнце из иллюминатора медленно проплыло по его лицу, словно ощупало переносицу, веки, складки у носа и рта.

— А все-таки я не могу понять Генерального, — Технократ обращался к присутствующим со своим недоумением, веря, что будет понят, что подобное же недоумение испытывают остальные. — Подхожу к нему в перерыве и говорю: «Ведь если развал пойдет такими темпами, к зиме останутся заводы, встанут шахты и транспорт. Надо немедленно вводить Чрезвычайное положение. Народ нас поймет, он устал от разброда». — «Да-да, — отвечает. — Во многом ты прав. Но немного еще подождем». Что он знает такое, чего мы с вами не знаем? — Технократ качал головой, отказываясь понимать. Солнце, качнувшись, опять поплыло по лицу Зампреда. Вновь бесшумно ощупало его губы, брови и лоб, словно делало слепок, снимая прощальную маску.

Они спустились на Новую Землю, на аэродром, где шел мокрый снег, и колючие двухкилевые перехватчики казались выточенными из серого льда. Их ждали два вертолета, в которые они пересели, чтобы совершить беглый облет предлагаемых под взрывы территорий.

Они шли над тундрой, золотисто-зеленой, бархатной и манящей. И вдруг часть земли, порождая иллюзию того, что вертолет стал косо падать, — двинулась с места, потекла, заволновалась. Белосельцев сквозь иллюминатор смотрел на струящуюся ожившую землю. Бесчисленное стадо оленей, розоватых, белесых, испуганное звуком винтов, бежало по тундре, сворачиваясь в рулет, завихряясь по краям, сдвигаясь с места под давлением рокочущих моторов, настойчивых и

неуемных людей, который отнимали у животных пространство под взрывы, отгоняли их, чтобы нагрянуть на нежные пастбища с рокочущими стальными бурами, дорожной техникой, шарами огненной плазмы.

Они отлетели от берега и шли над зеленым, холодно-прозрачным морем с отпечатком размытого солнца. И в открытом море увидели медведицу, ее белую гриву, могучую шею, заостренную черноносую морду. Она мощно, спокойно плыла, оставляя клин на воде. У нее на загривке сидели два медвежонка, вцепились в материнскую шерсть. Все прильнули к иллюминаторам, хохотали, тыкали пальцами. Пилот, желая угодить пассажирам, сделал круг. Снизился, так что ветер винтов зарядил море. Навис над медведицей, и она, поворачиваясь к вертолету, задирая вверх морду, открыла розовую пасть, защищая детенышей.

Вернулись на аэродром. Кортёж машин, растягиваясь по мокрому асфальту, повез их в гарнизон, в гостиницу, где их ожидал ужин. После вкусной трапезы каждому был предоставлен номер, где за окнами медленно угасал, никак не хотел погаснуть, белесый северный день. Растекался над тундрой млечными слоями тумана...

Умолкли шаги в коридорах, стих за стенами гомон и смех. Московские гости, утомленные перелетом, плотной едой и питьем, улеглись и уснули. Белосельцев, не в силах уснуть, смотрел на масляные, грубо крашенные стены, на казенную гарнизонную чистоту полов, на вафельные, с черными клеймами полотенца. Ровный матовый свет проникал сквозь стекла, о чем-то беззвучно вешал, куда-то звал. Белосельцев поднялся, натянул непромокаемую, оставленную моряками куртку, тяжелые сапоги, кожаную шапку-ушанку, и вышел из гостиницы под млечное, слабо дышащее небо.

Бетонные дома гарнизона были сырые и серые. Асфальт на трассе липко блестел. Но дальше, за строениями, светилась седая тундра, и за ней ровно, бесконечно мерцало море, похожее на серебряную пустоту. Туда он и двинулся, переставляя тяжелые кирзовые сапоги, сутуля спину под теплой матросской робой.

Сначала шел по деревянному раскисшему тротуару. Потом по хлюпающей липкой земле. Продирался сквозь свалку, консервные банки, строительный сор, нечистоты. Мусор и хлам оттаявших гарнизонных окраин стал редеть, расточаться. Малая тропка повела

его через сочные болотца, овражки, полные рыхлого снега, пригорки, на которых слабо зеленели мхи, сквозь ложбинки, где, спасенные от полярных секущих ветров, стелились странные стебли с крохотными листиками, то ли березы, то ли осины, прицепившиеся к красноватым камням.

Он убредал все дальше в бестелесных потоках света. Невесомые лучи подталкивали его сзади, влекли вперед, и там, куда они его направляли, происходило преломление света. Лучи свивались в пучок, улетали в туманное небо.

Он перевалил каменистую горку и увидел море. Неблизкое, бело-металлическое, с легчайшим дрожанием света, оно омывало тундру заливами, распадалось на светлые озера, вытягивалось в протоки, ровно и бесконечно превращалось в небо, в белизну, в туманно дышащее ничто. В это ничто улетали лучи, утягивался и воспарялся туман, устремлялся ветер, тянулись незримые силовые линии, покидая Землю, вовлекаясь в космическую бесконечность. Здесь, в этой узкой пуповине мира, соединяющей земное бытие с бесконечностью, оказался вдруг Белосельцев. Присел на холодный камень, чувствуя, как овеивает его таинственный ветер, свивается вместе с лучами, магнитными линиями, бестелесными силами и уносится ввысь, в бесконечность.

Он увидел у ног, в плоской гранитной выемке, среди комочков и катышков грязи, корявые, прижатые к камню побеги. Их было несколько, изломанных, покрытых рубцами, в изгибах и вывертах, словно стебли извивались, уклонялись от ударов, ожогов, вписывались в позволявшее им выжить пространство. На черной, похожей на проволоку коре слабо зеленели чешуйки. Нежно тянулись ввысь два пушистых золотистых соцветья. Это были цветы ивы, в мелких желтых тычинках, прозрачно-светлые, трепещущие. Ветви, на которых они распустились, оказались карликовой рощей, где несколько деревьев вцепились в гранит, схватились корнями за малые прослойки земли, наращивали год за годом корявые стволы. У полюса, среди тающего снега, в краткое, на несколько дней, лето они торопливо выпустили два дивных нежных цветка, стараясь вдохнуть поток света, унести его в глубину корявых стволов. Спрятать под металлическую оболочку коры, сжиться, стиснуться, приникнуть к камню. Залечь в мелкую выемку, пропуская над собой разящие вихри снега, ледяной

черный ветер, страшное полярное электричество, выжигающее в бесконечной ночи все живое, опаляющее полярный камень разноцветными мертвыми радугами.

Белосельцев сидел на камне перед цветущими карликовыми ивами, чувствуя, как уносятся в белую прорубь неба земное тепло, последний свет лета, души умерших людей, и было ему больно и странно. Он знал — жизнь его прожита, завершается у полярного камня. Малые деревья дождались заповедной встречи и уже прощаются с ним. Распустили в знак расставания два печальных цветка. И душа улетала туда, где ждали исчезнувшие любимые люди. Его предки, далекие и близкие, оба деда, осуждавшие его «красный идеализм», носивший его по всему свету, но любившие по-своему Россию, бабушка, столько раз лечившая его от детских хворей, смотрели сейчас на него с небес любящими глазами...

Он увидел, как далеко в белесых прозрачных сумерках движется человек. Медленно приближается, то исчезнет в ложбинах, то появляется на холмах, как привидение, почти не касаясь земли.словно дух, созданный из млечных туманов, мерцающих вод, тающих влажных снегов.

Еще издали Белосельцев узнал Зампреда. Не удивился, будто ожидал, что тот непременно возникнет. Белая ночь, бессонница тревог и сомнений подняли их обоих с постелей, вывели в тундру на берег студеного моря.

Зампред был в кирзовых сапогах, в сером бушлате, ушанке и чем-то напоминал эка. Медленно, неуклюже ступал, и в пространстве, что их разделяло, что-то слабо дышало, струилось, возносилось в белесую высь.

— Не помешал? — спросил Зампред, приблизившись. Тяжело поставил пи камень кирзовый грязный сапог. — Мне сказали, что вы ушли. Тропа сама привела, — он словно стеснялся, не хотел быть помехой, извинялся, был готов проследовать дальше, оставив Белосельцева на его холодном граните.

— Край земли. Дальше — море, полюс... Странно! — сказал Белосальцев, удерживая его, приглашая остаться.

— Полюс — самое хрупкое, самое зыбкое мести Земли. Тут Земля как плод прикрепляется к матке мира. А мы в эту матку вставляем

бомбы и рвем. Дико! Дикое существо — человек. — Зампред рассматривал соцветие ивы у ног Белосельцева.

— Вы так чувствуете? — спросил Белосельцев, вспоминая свое недавнее переживание. — Вы тоже об этом думаете?

— Мне кажется, здесь, на Земле, все безнадежно. Человечество — порченная порода, дефектная форма жизни. Какая-то космическая ошибка. Природа подарила человеку изумительную планету. Рай, населенный животными, птицами, цветами. А человек закладывает в землю бомбы, и от рая остаются осколки. Человечество пытались спасти Христос, Достоевский, Ленин. Не получилось

Они шли теперь вместе, приближаясь к морю, обходя мокрые, ноздреватые языки снега. Сочились ручьи. Мхи и лишайники были розовые и оранжевые. Ветер с моря плотно давил им в лица, и на серой далекой воде зажигалось и гасло тусклое сияние. Они шагали по берегу, по мокрой хрустящей гальке. Море слабо шипело, сладко сосало камень. У воды, седые как кости, белели доски и бревна. Словно обломки кораблей, отшлифованные волной, пропитанные солью.

— Я искал с вами встречи, — произнес Белосельцев, с трудом выговаривая слова, не зная, как воспользоваться случаем, чтобы поделиться с Зампредом сомнениями, проверить свои роковые предчувствия. Я провел анализ... Если угодно, независимую экспертизу... — Волна с чмоканьем набегала на камни, хватала за ноги, будто хотела обоих утащить в океан, в белую бесконечность. — Существует заговор... Все готово к взрыву... Вас провоцируют, побуждают к действию... Как только вы станете действовать, вас уничтожат... Я говорил об этом Чекисту, Партийцу, Главкому. Пытался внушить эту мысль Прибалту, Премьеру, Профбоссу — Белосельцев приглушил голос, будто боялся, что из моря, как подводная лодка, всплывет огромное ухо и с хлопаньем волн всосет звуки. — Бойтесь Первого Президента... Он вас станет толкать, провоцировать...

Зампред ступал по шипящим волнам, перешагивая седые, серебристые бревна, обломки мачт и бушпритов. Внимал Белосельцеву. И тому казалось, что все это известно Зампреду. Все было ошибкой творения, проявлением ненужной, неверно возникшей жизни, стремившейся себя уничтожить.

— У Второго Президента — энергия, деньги, нарастающий класс, воля к власти!.. Но нет структур — армии, госбезопасности, партии!.. Его задача — все это взять... Ему мешаете вы, Чекист, Партиец, Главком... Вас надо убрать и срезать... Вас заманят в ловушку, отсекут от структур и срежут... Есть сговор Второго и Первого...

Далеко, среди неведомых бурь и туманов, тонули корабли, рушились мачты, хрустели палубы, и обломки прибивались к голому гранитному берегу. Зампред перешагивал серебряные кругляки, ломаные бортовины, обрубки килей. Только хрустела под его грубыми зэковскими сапогами галька. Казалось, он все это знает, предвидит. Все входило в извечную ошибку природы, в извечный заговор, где все обречены на крушение.

— Еще есть советники, отвратительные старцы из «Золоченой гостинной»... Плетут свою сеть, выют золоченую нить... Заговор в их руках. Первый вас обнадежит, толкнет на деяние, выдаст Второму, и вас уничтожат... Но Второй отодвинет Первого, перехватит структуры и сам станет Первым... В этом игра, рокировка... Вы должны отказаться от заговора, переждать и осмыслить ситуацию... Уклониться от удара «оргорукия»... В этом спасение!..

Они вместе шли вдоль студеного моря. Их бушлаты касались, шуршали. Их зэковские сапоги колотились о камни. И путь у них был один, и судьба едина. Недвижное, немигающее Око смотрело на них с небес. На то, как идут они вместе среди полярных брызг и туманов. Впереди, на отмели, лежала доска, бело-серебряная, отшлифованная водой и песком, жесткой шершавой галькой. Пропитанная солью, она излучала сияние, словно длинный серебряный слиток.

Остановились у доски и присели. Зампред осторожно погладил доску.

— Я все это знаю, — рука Зампреда гладила серебряные сучки и волокна. — Президент со мной говорил. Он уезжает в отпуск, в Крым. Он сказал, что время всеобщих отпусков — самое удобное время. Прямо ничего не сказал — одними глазами, одним движением бровей. Я знаю это движение. Он дал понять, что можно действовать. Он как бы устраняется, поручает все нам. А потом вернется и возьмет управление. Полагаю, это разумно...

— Не верьте!.. Обман!.. Вас выталкивают, чтобы вы себя обнаружили, и вас отсекут!.. Так было в Баку и Тбилиси!.. В Риге и

Вильнюсе!.. В Германии и Польше!.. Он всех подставлял под секиру!.. Здесь — тот же мерзкий прием!.. Вы не были в отпуске, уезжайте!.. Прочь из Москвы!.. Вы не должны отдать себя на заклятие!..

Зампред осторожно трогал доску, словно нащупывал в ней незримые рубцы и затесы, прощальные слова моряков, их имена, адреса, молитвы. Доска была как серебряная скрижаль, на которой был вырублен Символ Веры, добытый в бурях, смертях и крушениях. Живые, они читали приплывшие к ним из моря слова.

— Я не могу это сделать. Не могу отойти в сторону. Я уже не один, связан обязательствами. Другого момента не будет. Идеалы, которые я проповедовал, нуждаются в личном поступке. Я о многом догадываюсь, многое знаю. Быть может, будет крушение, личная смерть. Однажды в каком-то журнале я прочитал притчу об Анике-воине...

— Какая притча? Какой Аника?

— Был такой Аника, храбрый рыцарь. Много воевал, покорял города, царства. Царьград, Иерусалим, везде победитель. Раз шел по тропе, и навстречу ему Смерть. Поставила поперек тропы косу и говорит: «Не ходи, Аника, куда идешь. Не прыгай через косу, а то умрешь». Аника знал, что Смерть пришла за ним, но был рыцарь и витязь. Прыгнул и умер. Вот такая притча про Анику-воина. Глупо он поступил или нет? Зря прыгнул, если знал, что умрет? Подвиг, — это когда знаешь, что умрешь, но все-таки действуешь. Это и есть один на всю жизнь поступок...

Он гладил доску. На ней, бело-серебряной, были вырублены письма про Анику. Притча о смерти и подвиге. Она долго плавала в море, пока не отыскала Зампреда.

Белосельцев видел обреченного человека, чей ум и воля были устремлены к гибели. Доска разбитого корабля питала его своим мертвенным светом. Влекла в ледяные глубины, куда всех их смывало с огромным, уже завершенным временем, обреченным царством, где все они завершали свой век.

И, не желая гибели, стремясь спасти Зампреда от ледяной пучины, Белосельцев толкнул доску, сдвинул ее с камней, пихнул в море, и она тяжело поплыла, подымая бурун, удаляясь сквозь волны от берега.

— Нет никакого Аники!.. Лубочная притча!.. Близится крах государства... Существует глобальный проект... Работает «оргоружие»... Слом геополитической машины, передел мира... Речь идет не о партии, не о строе, не о формах правления... Партию рассеют как пыль, армию разотрут в порошок, оборонную промышленность — в дым!.. Фундаментальную науку — в песок!.. Интеллигенцию — кого уничтожат, кого — на вывоз, на рынки!.. Культуру — на продажу!.. Голодный мор для народа, который обречен на истребление в этнических концлагерях!.. Для этого рассорят славян!.. Распря Украины с Россией!.. Русских развернут против тюрок, православие против ислама!.. Будет бойня от Днестра до Терека!.. Но не в этом конечная цель!.. На наших пространствах, на шестой части суши замышляется громадная стройка, еще одна Вавилонская башня!.. Здесь будет создаваться новый социум, новая организация, новая религия!.. В разгромленную, обескровленную, лишенную сопротивления страну будет трансплантирован новый ген человечества!.. Он уже выведен, запаян в реторту, хранится в сейфах «Рэнд корпорейшн»!.. Будет перенесен в Россию, и здесь его станут возвращать!.. В защитной оболочке, в искусственно синтезированной матке будет возвращаться новый мировой порядок, новая ориентация мира!.. Не на Христа, не на Ленина, а на абсолютное Зло!.. Оно станет божеством!.. Новое жречество, новый жестокий космизм, ослепительный культ Мирового Зла воцарится там, где когда-то были мы!.. На месте Храма на Нерли, Днепрогэса, космодрома Байконур!.. Вот что решится на днях!.. И только от вас, последних государственников, будет зависеть судьба человечества!.. Вы должны сконцентрироваться, собрать и приблизить экспертов, обратиться к народу!.. Мы сделаем проработки, вскроем глобальный проект, обратимся к Китаю и Индии, к арабским странам!.. Еще есть шанс!.. Он — в вас!.. Только вы можете спасти государство!..

Белосельцев кричал. Его крик уносился ветром, рассеивался над ледяным океаном, над каменной тундрой, улетал с земли вместе с последним теплом. Доска с письменами медленно возвращалась обратно, прибивалась к камням. Льдистый, мертвенный свет играл на лице Зампреда. Он молчал, не слушал Белосельцева. Его пальцы снова гладили мокрую доску, искали на ней письма. В море, среди волн, черное, стеклянно-блестящее, похожее на подводную лодку, всплывало огромное ухо. Слушало крик Белосельцева.

***Часть третья. ГИБЕЛЬ КРАСНЫХ
БОГОВ***

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В самолете по дороге в Москву, среди рева турбин, металлического трепета, блуждающего ленивого солнца Белосельцеву приснился сон. Будто он присутствует на концерте танцевального ансамбля Игоря Моисеева. Маэстро, в атласном трико, с обтянутыми мускулистыми ляжками, лысый, сухой, выносится на сцену. Вертится волчком, встает на пуанты, стремительный, блистательный. Вслед за ним выплывают русские девушки в кокошниках, сарафанах, с длинными косами. Струятся, как по воде, волнуя подолы, обращая в зал молодые свежие лица. Но на лицах — не улыбка, не милые ямочки, а неутешное горе, слезы, рыдания. Следом грузинские танцоры, лихие, стремительные, плещут рукавами, трясут папахами, вонзают в пол заостренные сапоги. Но вместо яростных кликов, молодецких сверкающих взоров — слезы, умоляющие взгляды, неутешная тоска и печаль. Узбекские танцовщицы, в радужных шелках, с чувственными животами, под грохот гулко бубна, под рев воздетых труб, плещут браслетами, трясут монистами. Но вместо кокетливых подмигиваний и пленительных восточных улыбок, — плач, стенания, неудержимые слезы. И все, кто ни выходит на сцену, — украинские усачи в шитых рубашках, выделяющие лихой гопак, белорусы в шароварах, танцующие под жалейки и дудки, киргизы в остроконечных шляпах из тонкой шерсти, — стенают и плачут, протягивают руки в одну сторону; кого-то умоляют, упрашивают. От них по пыльной дороге удаляется танковая колонна. Видна корма последнего танка, захлестанный буксирный трос, синяя гарь из двигателя. Белосельцев бежит за танком среди тюбетеек, папах и кокошников. Из танкового люка в ребристом шлеме появляется танкист с пыльным усталым лицом. Что-то говорит, нажимая тангенту. Белосельцев узнает в нем полковника Птицу, которому Главком подарил часы. Полковник говорит из люка: «Армия уходит от вас. Вы не оправдали доверие армии».

Белосельцев проснулся. Турбина сбросила обороты. Самолет шел на снижение. стакан с нарзаном дребезжал в металлическом кольце.

С аэродрома одна за другой стремительно уносились «Волги» с властными пассажирами, каждый из которых начинал нажимать кнопки радиотелефонов, связываясь с министерствами, штабами, отделами ЦК, узнавая новости, возвещая о своем появлении. Белосельцев, храня тревогу странного сна, молча смотрел, как приближается белый город. Словно вдали его поджидала толпа санитаров в белых халатах. Сошел на Пушкинской площади, отпуская серебристую, освободившуюся от него машину.

Площадь поразила его неузнаваемым видом. Пустая, без машин, с голым жарким асфальтом, окруженная милицией, с одиноким бронзовым Пушкиным, вокруг которого воздух дрожал металлическим блеском, словно пропитанный грозным электричеством.

У края тротуара стоял неряшливый голубоглазый толстяк в спортивных штанах с огромным животом, он ел сочный помидор, вгрызаясь в него лошадиными зубами.

— Что происходит? — спросил у него Белосельцев.

— Народ хочет гражданскую войну учинить. Две демонстрации одна на другую прут. Коммунисты с демократами хотят морды друг другу побить. Крови дурной в народе скопилось, вот что, — и он сочно хлопнул помидором, выдавив себе на живот красную гущу.

Белосельцев всматривался в улицу Горького, в оба ее конца, — вверх, к площади Маяковского, и вниз, к Манежу. В обоих концах что-то дымилось, туманилось, чадно дышало, металлическое, едкое, словно испарялась кислота, разъедающая фасады зданий, фонарные столы, троллейбусные провода. В воздухе пахло железной гарью, как в жерле вулкана, и в горле начинало першить.

Белосельцев двинулся вверх, к «Маяковке», просочившись сквозь цепь солдат, — белесые сдвинутые щиты, зеленые каски, черные гуттаперчевые дубинки. Солдаты нервничали, шурили липкие от пота глаза, звякали щитами, похожими на алюминиевые черепа. Медленно катила милицмейская «Волга» с фиолетовой вспышкой, будто в чьей-то руке, окруженный лиловым туманом, ошалело мигал вырванный глаз. Белосельцев торопился навстречу туманному месиву, которое медленно надвигалось, закупорив улицу. Словно поршень, выдавливало перед собой плотный сгусток энергии.

Что-то отделилось от общей массы. Стало быстро приближаться. Превратилось в огромного горбатого зайца, который отталкивался от

асфальта одновременно двумя задними лапами, скрючив у груди передние, недоразвитые. Пугливыми скачками пронесся мимо магазина «Спорт», оборачивая назад испуганную голову с прижатыми ушами, и Белосельцев с изумлением узнал Академика. Его мучительную улыбку страдающего дегенерата, водянистые, исполненные ужаса глаза, которые искали источник постоянного, неустранимого при жизни страдания. Этот источник не замедлил себя обнаружить. Второй заяц, еще более горбатый, чем первый, с линялым истертым мехом на сильных бедрах, проскакал вдогон Академику. Это была его неутомимая преследовательница, неотступная попечительница, его нежная и властная супруга. В ее заячьих губах дымилась тонкая сигарета с отлетающим синим дымком. В маленьких лапках блестела золотая зажигалка. Она вынула на бегу сигарету: «Андрей, не столь быстро, пожалуйста. Тебе Чазов запретил резкие движения!» И оба, цокая когтями по проезжей части, ускакали, — то ли зайцы подмосковных лесов, то ли кенгуру из далекой Австралии.

Из неразличимого, шевелящегося множества, из туманной мглы, как если бы горели в Шатуре торфяники, возникла белая ослица. Маленькая, тонконогая, с тощими боками, она шла прямо по осевой линии, так что казалось, эта белая линия наносится самой ослицей, вытекает из нее, застывая на голубоватом асфальте. Верхом, тяжелый и грузный, в черном смокинге и галстук-бабочке, ехал известный киргизский писатель, назначенный недавно послом в Люксембург. В одной руке он держал глиняную миску с кумысом, а в другой нарядный плакатик с надписью: «Европа — наш общий дом». Иногда он наклонялся и поил ослицу кумысом, и тогда разделительная линия становилось белее, а ослица благодарно целовала писателю руку и просила: «Возьми меня в Европу, Чингиз. Я мечтаю увидеть Париж». Они исчезли у Концертного зала имени Чайковского, и Белосельцеву показалось, что время вдруг остановилось, и этот проживаемый им длинный день длится дольше века.

Улица недолго оставалась пустой. На ней возникло нечто непомерно высокое, колеблемое, усыпанное множеством разноцветных огоньков. На ходулях, ловко балансируя, возвышаясь до уровня уличных фонарей, передвигался известный священник, лидер демократических сил. В черной развевающейся рясе, с грозным клином бороды, колючими бровями, маленькими рожками, торчащими

из густой шевелюры. Все подмечающие глазки яростно зыркали по сторонам. От сильных движений крест на груди качался, опрокинутый вершиной вниз. Ходули были обвиты гирляндами мигающих фонариков, два рубиновых мерцающих огонька украшали рожки. Священник, поровнявшись с кафе, из которого выглядывали хорошенькие официантки, откашлялся и, глядя на них сверху вниз, запел: «Смелей, православные, в ногу, духом окрепнем в борьбе! В царство свободу дорогу грудью проложим себе...» Удалялся, стараясь не задеть проводов. Достиг перегораживающей цепи солдат, перешагнул через них и скрылся в неразличимом тумане.

Дама на тротуаре, с измученным голубоватым лицом, надеясь на понимание Белосельцева, произнесла:

— Он один искупает все наше богоотступное духовенство. На проповедях он просто неотразим...

Между тем, то, что казалось слипшейся, бесформенной массой, явило себя в виде слитной колонны, запрудившей улицу. Колонна мерно наступала, как лава, съедая пустое пространство, клочкотала, бурлила, издавала гулы, источала запахи раскаленной окалины, гнала перед собой вал плотного, сжатого воздуха.

Передняя шеренга держала длинное, перегораживающее улицу красно-бело-голубое полотнище. Сверху в него вцепилось множество рук. Из-под него выступало множество шагающих башмаков. Над ним склонилось множество единых в своем порыве и неотступном стремлении лиц. Все это были лица еврейской национальности. Они двигались слитно, повинаясь древней воле, управляемые невидимым жезлом, словно были ведомы Иисусом Навином. Стремились в обетованную землю, сквозь войны и революции, исторические эпохи и эры, покоряя народы и царства, останавливая в небесах солнце. Разом раскрывали дышащие рты, высовывали красные языки, с силой восклицали: «Виват, Россия!» И казалось, над полотнищем пробегает волной прозрачный голубоватый огонь. Белосельцев ощутил на лице обжигающий жар, от которого задымились ресницы и брови. Рядом на тротуар упал опаленный воробей.

Следом, окруженные священной пустотой, шли трое юношей, которых Белосельцев видел на магическом вечере в Останкино. Заколдованные, глядя поверх толпы восторженными глазами, стройные, истовые, они шли на высоких каблуках, чуть

подрумяненные, с наведенными бровями, с серьгами в ушах, уже ведая о своей доле жертвенных агнцев, отделенные от прочей толпы божественным предназначением, казалось, они идут в бессмертие, лучшие из смертных, воины, герои, святые. Тут же четыре черных полуобнаженных эфиопа поддерживали носилки, на которых помещался зашитый жрец, в той же позе, в какой запомнил его Белосельцев во время ритуального действия. Он являл собой сплетенный безголовый клубок мышц, который был нарядно раскрашен, как раскрашивают на производстве электрические трубы и кабели, в зависимости от назначения, каждый в свой цвет. Священная группа проследовала под звуки невидимой флейты. Бабуся в платочке, глядя на них с тротуара, вздохнула:

— Не всякому дадено...

Далее двигались демонстранты в полосатых тюремных робах и стеганых ватниках, держа транспарант общества «Мемориал». Измученные в лагерях, испытанные на пересылках и тюрьмах, они влекли на себе огромную гранитную глыбу с надписью: «Соловецкий камень». Надрывались, падали. Врачи тут же оказывали им первую медицинскую помощь. Некоторых увозили в больницу. Но оставшиеся продолжали нести эту непомерную многотонную глыбу, напоминавшую о зверствах сталинизма.

Бесконечными вереницами, по нескончаемым дорогам, окруженные жестокими краснозвездными конвоирами, шли насильственно переселенные народы. Они то и дело подымали вверх кульки, в которых хранилась родная земля. Чеченские профессора и народные артисты СССР вели священный хоровод зикр. Калмыки с неиздаваемым подпольным поэтом Давидом Кугультиновым во главе читали стихи Пушкина про «друга степей». Немцы Поволжья грозно выкликали: «Вольга, Вольга, мутер Вольга!..» — и требовали переводчика.

Обнявшись, с горящими свечами, шли прибалты, требуя отделения от СССР. Несли портреты прибалтийских героев, служивших в войсках СС и убитых советскими оккупантами. Композитор Паулс играл на фортепьяно «Блюз свободы». Лайма Вайкуле изображала бедрами вертолет, словно она шла по Пикадили, невпопад переходила на красный свет, приседала в самых неподходящих уголках Вестминстерского аббатства, хватала с

прилавков нарядные вещички, забыв заплатить, словом, «делала все не так». В их толпе шествовал какой-то экзальтированный русский мужик в мокрых штанах, выкрикивая: «За нашу и вашу свободу!»

Колонна колыхалась, волна за волной, бесконечная, неотвратимая как возмездие. От ее жаркого шествия плавился и пузырился асфальт. Замыкались и трещали троллейбусные провода, роняя ядовитые зеленые искры. Из окна правительственного учреждения вывалилась кадка с пальмой, разбилась о тротуар, и известный экологист, с фруктовой фамилией, выскочил из колонны, подхватил тропическое дерево с криком: «Не позволим загубить родную природу!»

Белосельцев считал и не мог счесть врагов. Их армия была неисчислима. Их обвинения строю были страшны и беспощадны. Фантазия, с какой они агитировали стоящий вдоль тротуаров народ, была неистощима.

Теперь демонстранты прибегли к емкому языку аллегорий. Манифестанты в длинных балахонах разом задирали их выше головы, показывая обтянутые белой тканью животы. И это означало: «Белые пятна истории». Затем они поворачивались вспять, опять задирали балахоны, открывая ягодицы, задрапированные черной материей. И это означало: «Черные дыры эпохи».

За ними следовали калеки с вывернутыми бедрами, кривыми шеями, отвратительными горбами, раздутыми от подагры ногами. Они опирались на костыли и суковатые палки, корчились, волочили свои жалкие больные тела. На каждом висел плакат: «Советская промышленность», «Советское сельское хозяйство», «Советское образование», «Советский уровень жизни». Какой-то сердобольный мальчуган покинул тротуар, подбежал к калекам и сунул им денежку, которую жадно схватила рука из-под плакатика: «Советская наука».

Пронесли на головах огромную, как кит, склеенную из бумаги и фанеры виолончель, на которой было начертано: «Ростропович с нами». Медленно проезжал грузовик с откинутыми бортами. На нем стояла виселица, и в ней болталось чучело с надписью «Коммунизм». На задних лапах шел башкастый косматый медведь в цепях, неся пустую миску, на которой было написано: «Дайте есть русскому медведю».

Этот вал устремлялся по улице Горького, вниз, к Манежу, Красной площади, где на Мавзолее кто-то ждал их с нетерпением, вождеденно

вслушивался в их клики и скандирования, сладостно впитывал их хвалу и проклятия. Это был Великий Истукан, явившийся в Москву из уральских лесов, где он, как леший, охранял болотные рытвины с костями убиенных монархов. Разрушил Ипатьевский дом, дабы мученических стен не коснулась кощунственная рука комиссаров. Ему был знак свыше отомстить за невинноубиенных и сокрушить до основания проклятую безбожную страну, не желающую вкусить мед покаяния. Он стоял на Мавзолее, попирая кабаньим копытом красный гранит большевистского склепа, слыша, как стонет в глубине запаянная в стекло бессильная мумия.

Белосельцев смотрел, как проходит мимо отборная гвардия демократии. Вышагивали валютные проститутки, на время покинувшие свои рабочие места в «Метрополе», «Национале» и «Будапеште». Все, как на подбор, длинноногие, ослепительные, сияющие французской помадой, голубым и зеленым макияжем, блестками, нежно нанесенными на выпуклые веки и на выбритые, чуть прикрытые мини-юбками лобки. Их сменили лесбиянки и геи, пестротой одежд напоминавшие тропических попугаев. Не стеснясь ласкать друг друга в колонне, иногда нестройно, русалочьими голосами выкрикивали: «Сексуальные меньшинства — угнетаемый коммунистами народ». Среди них на помосте, словно чешуйчатая змея, извивалась стриптизерша. Обвиваясь вокруг стального стержня, показывая Москве чудеса сексуальной акробатики. Кинула свои прозрачные трусики в обомлевшую на тротуаре толпу, и один политолог, чернобородый, с фиолетовыми губами, схватил их на лету жадно спрятал у себя на груди.

Представители нарождающегося класса, преуспевающие бизнесмены, открывали на ходу бутылки «кока-колы», брызгали едкими пахучими фонтанами на зевак, протягивали им из колонны бесплатные бутерброды с красной икрой. Мальчики в коротких штанишках, ученики привилегированных школ, дети известных артистов, музыкантов, экономистов несли клетки с летучими мышами. Поровнявшись с памятником Маяковскому, раскрыли клетки, выпуская в московское небо сонмы перепончатых, ушастых существ, которые с тонким писком вознеслись в синеву. Лишь одна изменила полет, резко спикировала, ударилась о лицо известного артиста, когда-то

сыгравшего роль руководителя фашистской разведки. Вцепилась мохнатой лапкой в его нижнюю губу, изъеденную табаком, и повисла.

Мускулистые дамы в синих трико несли большой прозрачный аквариум, в котором плавала женщина, предводительница феминистского движения. Распущенные волосы ее колыхались, подобно водорослям. Она подплывала к стеклу, прижималась к нему большими расплюснутыми грудями, беззвучно открывала рот, и по движению ее выразительных губ можно было понять, что она восстает против деспотии мужчин.

Два работника коммунальных служб в оранжевых прорезиненных фартуках несли на плечах длинную жердь, на которой, как на насесте, сидели две литературные гарпии, известные своей раздражительностью. Их перья были испачканы веществом, похожим на извешку. Чуткие гузки нервно искали мишени. Одна другой говорила:

— Алла, когда мы поровняемся с коммунистами, меть прямо в глаз.

— Натали, скорей бы увидеть тех, кто убил Мандельштама и выслал Бродского.

После этих пернатых красавиц процессия окончательно утратила человекоподобный вид. Ее наполняли странные существа, лишь отдаленно напоминавшие людей. Шли какие-то колючие ежи, несущие старинные канделябры, огромные жуки-носороги, проткнувшие своим острием безжизненные тела прохожих, водоплавающие птицы с пеликаньими клювами, в которых они держали оторванные детские ручки и ножи.

Замыкало процессию существо, напоминавшее жабу. Оно скакало, поспевая за колонной, разбрызгивая мелкие капельки слизи. На ее голове красовалась треуголка, сложенная из свежего номера газеты «Известия». В лапке был зажат указующий маршальский жезл. Существо зло выкрикивало: «Дашь Кремль!» — волоча за собой выпавшую кишку.

Все небо было в бесчисленных росчерках птеродактилей, острокрылых демонов, зубастых химер. Там, где колонна достигла солдатской цепи, шумел и взрывался огонь. Длинное пламя ударяло в металлические щиты, покрывая их термическими радугами. Краска на солдатских касках лопалась от адского жара. И над схваткой, тонко и

ужасно вскрикивая, скакал на ходулях священник, забрасывая сверху солдат комочками сырого теста.

Белосельцев кинулся к станции метро «Маяковская», чтобы нырнуть под разгоравшуюся схватку, выйти на «Охотном ряду», где собиралась демонстрация в защиту советского государства.

Как в угаре, он промчался под центром, вынесся на поверхность у Манежной площади. Вся площадь от гостиницы «Москва» до белого, словно льдистый айсберг, Манежа, клочкотала, взрывалась, была переполнена до краев. Выдвигала вперед, на улицу Горького, шеренги демонстрантов, которые мощно, слитно двигались навстречу невидимому врагу, готовясь его сокрушить.

Первыми шествовали члены профсоюзных объединений, в основном, крепкие, ладно скроенные женщины, загорелые после южных курортов. Энергично, слаженно передвигали плотные, с налитыми икрами ноги. Их легкие блузки едва сдерживали колыхание сильных грудей. Ветер перемен, дующий сверху, от площади Пушкина, был бессилен разрушить высокие, белого цвета прически, сделанные на века в профсоюзных парикмахерских. Они несли гирлянды разноцветных шаров, бумажные цветы, плакатики с надписью: «Мир, Труд, Май». Раскрывали гулкие рты с золотыми зубами. Дружно, поддерживая друг друга бодрыми взглядами и улыбками, пели «Подмосковные вечера».

Следом, почти наступая им на пятки, шли коммунисты, неся на палочках красные таблички с наименованиями райкомов. Радовали глаз хорошо вычищенными пиджаками, туго, несмотря на жару, повязанными галстуками, многочисленными значками, выпущенными в честь государственных юбилеев. Их лица выражали чуткость к пожеланиям трудящихся, готовность выслушать представителей трудовых коллективов, внимательно отнестись к нуждам людей. Они были готовы работать в новых условиях, идти в трудовые коллективы, заново прочитать Ленина. «Учиться торговать». «Учиться у масс». «Учиться управлять». «Учиться, учиться и учиться». Они несли лозунги: «Перестройка, ускорение, гласность!», «Больше свободы, больше социализма!», «Народ и партия едины!», «Разобьем о камни собачьи головы «банды четырех»!». В их рядах шагал знаменитый певец Кобзон в парике из конского волоса. Раскрывал львиный зев,

словно собирался проглотить Манеж вместе с Историческим музеем и скелетом мамонта. Пел свою походную, заповедную: «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!...»

Далее шли ударники коммунистического труда, цвет рабочего класса и трудового крестьянства, неподверженные социальной эрозии, не захваченные мелкобуржуазной стихией. Многие из них были в касках. Иные несли на плечах отбойные молотки и бетонные вибраторы. Токари раскрывали штангенциркули, замеряли в выточенных деталях микроны. Сварщики в масках возносили над головами шипящие жала автогенов, бенгальские огни электродов. Колхозницы обнимали золотые снопы, другие ловко доили породистых холмогорских коров, выдавливая в подойник и звонкие кипящие струйки. Их колонну возглавляли «красные директора», флагманы социалистического производства, исполненные достоинства, явившиеся в Москву с заводов-гигантов, чтобы сказать народу, что Уралмаш и Магнитка, ижорские заводы и нефть Самотлора никогда не попадут в руки хищных, беспощадных буржуев. Тут же, в рядах, катили первые советские автомобили, — нарядные «эмки», великолепные, на белых шинах «ЗИС-110». Неуклюже передвигался колесный трактор и самоходный комбайн «СК-4». Трудящиеся пели марши великих строек: «Не кочегары мы, не плотники...» и «Под крылом самолета о чем-то поет...». Песни громко, вольно возносились в московское небо, где летели, сопровождая колонну, серебристые дирижабли с надписями «СССР», аэростаты, краснотелые «ястребки», и бипланы По-2, складывая в небесах трепещущее слово «Сталин». Парашютисты выбрасывались из «кукурузников» и точно приземлялись в центре колонны. Встраивались, свертывая на ходу парашюты. Подхватывали песню, которую, мощно двигая комсомольскими скулами, упрямо бодая воздух неподкупной головой, исполнял патристический баритон Лещенко.

Чуть приотстав, немного отдельно, показывая свою значимость для страны и народа, шли люди науки. Несли в стеклянных банках заспиртованных ящериц, двухголовых младенцев, бычье сердце, которое на несколько минут было пересажено осетру и билось в рыбе, пусть ненадолго, но продлив ей жизнь. Другие ученые несли буханки хлеба, приготовленные из торфа, которые должны были окончательно снять проблему продовольствия. Химики несли новые, невидимые для

глаз материалы. Физики, многие все еще засекреченные, с необнародованными званиями лауреатов Ленинской премии, бережно несли в ладонях открытые ими элементарные частицы. Показывали их стоящей на тротуарах толпе, и та взрывалась ликующими криками: «Слава советской науке!», «Мирный атом — на службу социализму!», «Знание — сила!», «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно!».

Ветераны всех войн, сгибаясь под тяжестью орденов, не стыдясь своих шрамов, несли победные трофеи. «Афганцы» высоко подымали на древке пиджак Амина, захваченный при штурме дворца. Престарелые десантники, покорявшие восставший Будапешт, несли американские штиблеты Имре Надя, брошенные им при бегстве. Авиаторы, защищавшие небо над Каиром во время шестидневной войны, несли обломок израильского истребителя «Кфир», начертав на нем патриотический лозунг: «Бей воробьев, спасай Россию!» Участники вьетнамской войны, став за время жестоких боев в джунглях значительно ниже ростом, приобретя узкий разрез глаз, чтобы безошибочно различать в небе американские В-52, катили подарок товарища Хо Ши Мина — простой велосипед с седлом из кожи американского летчика. Герои боев за Берлин и Кенигсберг несли фрагменты готических соборов, которые все эти годы бережно хранились и не выдавались покоренному врагу, покуда тот не вернет в Ленинград Янтарную комнату. Особенно выделялись участники боев на Халхин-Голе. Маршируя, они читали наизусть кодекс чести самураев, захваченный тремя танкистами, тремя веселыми друзьями, которые, несмотря на годы, бодро шагали в колонне, двое — в танковых шлемах, а один — в кепке, подаренной ему артистом Крючковым.

Белосельцев то встраивался в проходящие колонны, то отставал, чтобы видеть все новые и новые ряды бойцов.

— Враг будет разбит, победа будет за нами! — кричал какой-то демонстрант, подымая стиснутый кулак. — Ни шагу назад, позади Москва! — негромко откликнулся краснолицый, индейского вида разведчик, внедренный в дикое племя, обитавшее на берегах Амазонки.

— Кадры решают все! — шепнул ему невысокий полуобнаженный человек в ритуальной маске, нелегал, действующий в

опасной среде африканских пигмеев.

Вслед за людскими колоннами, продолжая их шествие, вливаясь в демонстрацию тяжелой, сотрясающей землю поступью, шагали памятники. Впереди шли бронзовые фигуры со станции метро «Площадь Революции». Вынужденные долгие годы находиться в согбенных позах, подпирая головами и спинами арки подземелья, теперь они распрямились, шли во весь рост, — красноармейцы с винтовками, матросы с фанатами, рабочие-баррикадники с револьверами, революционные женщины с санитарными сумками.

— Товарищи, у всех есть мандаты? — сурово спрашивал бронзовый пролетарий с ярко блестящим кончиком башмака, стертым от бесчисленных прикосновений безымянных пассажиров метро.

— Не волнуйся, браток, — сплевывал длинным бронзовым плевром революционный матрос с «Авроры». — Контру будем кончать на месте!

За ними, во весь свой великолепный рост, сияя нержавеющей мускулами, напрягая бицепсы, икры и бедра, шли Рабочий и Колхозница. Воздевали скрещенные серп и молот, стараясь не сколоть ими высокие балюстрады гостиницы «Москва», осторожно перешагивая троллейбусные провода. Белосельцев слышал их поднебесные, напоминающие раскаты грома голоса:

— Коля, понеси маленько один, а то у меня носок съехал, — просила своего спутника Колхозница.

— Говорил тебе, Дуся, надевай на босу ногу, а то сжуешь, — солидно отвечал Рабочий.

Она выпустила серп, наклонилась, поправляя съехавший стальной носок. Рабочий некоторое время один нес сияющую эмблему, покуда его подруга не поднялась, — оправила нержавеющую юбку, подхватила парящий в небе серп.

За ними многолюдно, не слишком попадая в ногу, двигались алебастровые и гипсовые скульптуры, украшавшие фасады сталинских домов. Мужественные шахтеры-стахановцы с отбойными молотками. Студенты с вдохновенными лицами, читающие на ходу учебники по сопромату. Балерины, привставшие на пуантах, выделяющие удивительны пируэты и па. Архитекторы, упиравшие циркули в чертежи новых городов. Полярные летчики в комбинезонах и мохнатых унтах, зорко глядящие на высокие эскадрильи. Академики в

алебастровых шапочках, с заостренными бородками, проникновенно наблюдающие движение алебастровых электронов вокруг алебастрового ядра. На некоторых скульптурах шелушилась краска. Иные от времени и непогоды лишились носов и конечностей. У третьих из-за нехватки коммунальных средств развалились в руках орудия труда и познания. Но все они в этот решительный час дружно покинули свои ниши и постаменты, влились в ряды демонстрантов.

Чуть обособлено, оставляя вокруг себя свободное пространство, шагали памятники Ленину Одинаковые, одного и того же роста, из розоватого гранита, с простертой вперед рукой, глядели вдаль прищуренными, прозревающими будущее глазами. Задумчивые, любимые, похожие друг на друга как сорок тысяч братьев, давили асфальт, оставляя на нем глубокие вмятины.

Белосельцев посторонился, боясь попасть под громадные ленинские башмаки. Краем уха уловил разговор двух памятников:

— Простите, товарищ, вы не будете сегодня на заседании ВЦИК? Не могли бы вы передать Надежде Константиновне, что я хочу ее видеть?

— Да, товарищ, разумеется, я буду на заседании ВЦИК. Но Надежда Константиновна поедет со мною в Горки.

За ними следовали памятники Марксу и Энгельсу. Маркс, вырубленный из целостной глыбы гранита, не имел ног, врос туловищем в дикий камень. Энгельс толкал его перед собой, словно инвалидную коляску. Стоически, как и при жизни, служил своему более мудрому и могучему другу, на голове которого, похожий на зоркую, небольших размеров ворону, сидел скульптор Кербель.

Сразу же за основоположниками марксизма выступала высокая, абсолютно белая, девушка с веслом. Обтянутая спортивным трико, пластично шагая босыми ногами, волнуя под купальником могучими гипсовыми грудями, она слегка потрясала веслом, которое готова была пустить в дело, поражая им противников государства и строя.

Радостное и фантастическое зрелище являли собой скульптуры фонтана «Дружба народов», явившиеся сюда с ВДНХ. Золоченые, сияющие на солнце, похожие на ликующих богинь любви, плодородия, материнства, они приплясывали, притоптывали, лузгали семечки, грызли орехи, впивались золотыми зубами в райские плоды, клали себе на головы виноградные кисти, целовались, резали арбузы и дыни,

водили хоровод, манили в свой девичник глазевших на них мужчин. И одна, озоруя, подхватила из толпы старичка-ветерана, засунула себе в вырез платья, и тот барахтался, как лягушонок, среди золотых исполинских грудей. С хохотом вынула, поставила на землю, и старичок стоял, весь в золотой пылице, словно пчелка, побывавшая на душистом цветке.

Процессию замыкали памятники, не имевшие прямого политического звучания. Это были бетонные раскрашенные медведи, стоявшие у обочин автомобильных дорог. Такие же бетонные олени, украшавшие вход в лесопарки. Среди них жеманно ступала большая кошка-копилка из папье-маше, в которой позванивала мелочь, собранная жителями Великого Устюга в фонд помощи испанским детям.

В колонну монументов хотел было втиснуться памятник Достоевскому, в больничном халате и шлепанцах, сразу же после эпилептического припадка. Но руководитель колонны, алебастровый пограничник со штыком, нелюбезно отогнал его, процедив: «Пошел на хер, сволочь!»

Шествие государственников замыкал приотставший, слегка рассеянный пионер, победитель многих олимпиад, который тащил под мышкой шахматную доску, а на плече нес сачок для ловли бабочек.

Колонна уходила вверх, по улице Горького, пламенея красными стягами, оглашаясь ревом медных победных труб, в которые дул сводный оркестр Общества слепых. Среди демонстрантов ползли гранитные танки, прямо с фасадов Академии имени Фрунзе. И там, где улица вливалась в площадь Пушкина, начиналось сражение двух враждебных колонн с солдатами внутренних войск. Желая не допустить гражданской войны, те принимали на себя удар kloкочущих ненавистью противников, стараясь разгородить их щитами.

В небе, где действие внутренних войск было ограничено, происходили первые воздушные схватки. Нетопыри и птеродактили, перепончатые демоны и злобные крылатые рыбы вступали в бой с краснозвездными «ястребками», воздушными шарами и дирижаблями. Над Пушкинской площадью носилась стремительная воздушная карусель. То там то здесь загорались самолеты, разлеталась вдребезги волосатая, кричащая от боли нечисть. Оставляя следы колоти, рушились вниз, на жилые кварталы. Подбитый «ястребок», ведомый

отважным советским летчиком, погибая, спикировал на здание ВТО, известное как гнездо демократических театральных деятелей. Здание горело. Из него панически выбегал известный артист, игравший колхозных председателей и советских маршалов, а теперь возглавлявший крестовый поход культуры против коммунизма. Он был в голубых шелковых кальсонах, прижимал к груди костяной японский веер и, хотя весь дымился от жара, все-таки не мог расстаться с бокалом шампанского, который поднял за демократию.

Белосельцеву вдруг стало страшно. На него дохнуло катастрофой, словно один из слепых музыкантов развернул свою иерихонскую трубу, приставил ее к уху Белосельцева и выдохнул страшный, разрывающий душу звук.

Гражданская война вползала в Москву как уродливый, непомерных размеров, зловонный ящер. Горели дома. Улицы перегородили баррикады. К Дому Правительства на Краснопресненской набережной заволакивали деревянные столбы, арматуру, мешки с песком. Защитники пели «Варяга», а жуткие пятнистые танки с моста лупили прямой наводкой, расквашивая в красные кляксы повстанцев. И по белому фасаду вверх ползли черные, из копоты и сгоревшей плоти, жирные языки.

Похожее на бред видение появилось и тут же исчезло.

На площади шло столкновение. Прибывали автобусы с бойцами ОМОНа, которые сразу вступали в бой. Солдаты давили щитами демократическую демонстрацию, и головная шеренга отступала с гневными криками: «Фашисты!.. Антисемиты!.. Виват, Россия!.. Шалом!..»

Водометы препятствовали продвижению колонны государственников. Били тугими дальнобойными струями, которые рассеивали людские ряды, останавливали памятники, вынуждая их отступать к Манежу. Среди тяжело и неохотно уходивших Лениных задыхался Энгельс, толкая гранитную инвалидную коляску с суровым другом, который, сжав кулак, угрюмо размышлял о том, в чем же заключалась роковая ошибка марксизма. Памятники расходились, все, кроме золоченых фигур с фонтана. Любя воду, восхитительные девы с удовольствием нежились и резвились среди сверкающих струй. Кокетливо, как купальщицы, задирали подолы.

Скоро от демонстраций не осталось и следа. Площадь была грязной, пустой, словно ее извозили половой тряпкой. Пушкин печально взирал со своего мраморного утеса. Белосельцев медленно брел по площади. В одном месте он натолкнулся на огромный бюстгальтер, сшитый на самку гренландского кита, с неумелой, нитками выведенной надписью: «Демсоюз», — в другом споткнулся об обломок алебастровой мускулистой руки с куском отбойного молотка.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Белосельцев убредал от поруганной площади, испытывая мучительную боль. Эта боль не была похожа на обычные боли, связанные с давними ранениями и контузиями, гипертоническими мигренями, увяданием изношенной, изнуренной плоти. Не напоминала тоску неведения, сострадание людским несчастьям, невыносимую печаль богооставленности. Эта боль была ожиданием чего-то огромного, неотвратимого, связанного с концом хрупкой, несовершенной земной жизни, к которой принадлежал и он сам.

Он брел в переулках, — Палашевском, Южинском, двигался вдоль Малой Бронной среди летней московской толпы, прислушиваясь к своей боли. Она менялась в зависимости от направления переулков и улиц. Усиливалась или ослабевала, не пропадая совсем. Имела свое направление, свой вектор, словно сопрягалась с невидимой, проходящей по земле силовой линией боли. Он вышел на улицу Качалова у Никитских ворот, где стояла белая, заколоченная ампирная церковь, в которой венчался Пушкин. Стоя перед ней, выстроил направление своей боли, сопрягая его с алтарной частью храма, глядящей на восток. Обнаружил, что боль имела северо-восточное направление. Несколько раз обошел церковь по кругу, где когда-то двигался крестный ход и Пушкин с молодой женой несли золотой образ и горящую свечу. Окончательно убедился, что силовая линия боли проходит в северо-восточном направлении, увлекая его туда, где далеко за Москвой начинались Ярославские и Костромские леса, сливались с уральской тайгой и суровыми полярными тундрами Мезени. Ему вдруг пришла мысль, что это именно то направление, о котором говорил сумрачный вермонтский изгнанник, предвещая конец советской империи, отпадение от России украинских и азиатских земель, провидя мучительные времена для обездоленного народа, которому он указывал путь на северо-восток как путь исхода и спасения после рокового, проигранного русского века.

Это совпадение поразило его. Он всегда не любил этого гордеца-диссидента, возводившего на его Родину несусветную хулу. Но теперь вдруг с испугом убедился, что своей болью подтверждает его правоту.

Он, Белосельцев, стрелкой своей боли указывал на лесной и полярный северо-восток, где укроется поредевший народ после очередного имперского поражения.

Это открытие поразило его. Он стал магнитным прибором в руках далекого изгнанника, который, пользуясь неведомым волшебством, превратил его, своего врага, в компас, в послушный инструмент истории. Он брел в душных, раскаленных переулках, в которых маялись прохожие, не испытывающие боли, не ведающие тоски поражения. Отрешенно ныряли в магазины и булочные, выбредали оттуда с увядшими капустными кочанами, черствыми буханками, грудями коричневых говяжьих костей. Казалось, город накалился, как керамическая печь, в которой обжигались дома, лепные фасады, скульптуры балконов, подернутые прозрачным дрожащим свечением. Наступала гроза, и волосы на голове поднимались, насыщенные сухим электричеством.

Белосельцев шел по тротуару, стараясь не наступить на трещинки, суеверно ставил стопу на серые ломти асфальта. Одна, еще отдаленная, трещинка странно шевелилась, меняла свои очертания. Белосельцев подумал, что от пережитых волнений у него начинаются галлюцинации. Приблизился и увидел, что это хрупкая, дрожащая цепочка тараканов, выбегающих из подворотни. Один к одному, почти без интервала, текли тонкой мерцающей струйкой, шевеля тревожными усиками, перебирая чуткими лапками. Белосельцев обошел эту живую струйку, сбегавшую с тротуара на проезжую часть. Но из соседней подворотни изливалась точно такая же мерцающая глянцеви́тая струйка, состоящая из бегущих насекомых. Проливалась на проезжую часть, образуя блестящий водопадик. Соединялась с той, что уже струилась по улице. Из дворов, подъездов, приоткрытых окон, мусорных бачков, захламленных углов тянулись вереницы тараканов, словно их звал неслышный сигнал и они торопились на свой тараканий сход. Эти живые струйки сливались в сочные ручейки. Те соединялись в речки. И когда Белосельцев, следуя за тараканьими потоками, миновал Патриаршие пруды и вышел на Бронную, вся она была покрыта глянцеви́той массой бегущих тараканов, напоминавших кипящий, мерцающий поток.

Это зрелище было ужасно. Жизнь, разделенная на миллионы одинаковых частичек, заключенная в хитиновые оболочки, вновь

объединилась под воздействием какой-то угрожающей силы. Пыталась сплавить свои отдельные капли. Не могла. Заставляла их двигаться и мерцать.

Прижавшись к стене, чтобы не наступить на бегущих насекомых, не услышать сочный противный хруст, Белосельцев вдруг заметил, что бег тараканов совпадает с направлением его боли. Все они, пересекая Бронную, изливаясь на Садовую, покрывая Садовое кольцо сплошным шевелящимся панцирем, перед которым остановились автомобили, дышали радиаторами, воспаленно, при свете дня, включили фары, истошно, многоголосо гудели, — все насекомые бежали на северо-восток, к площади Маяковского, повинувшись чьей-то властной незримой воле, быть может, все того же вермонтского колдуна, управлявшего издалека судьбами ненавистного ему государства. Тараканов гнало предчувствие близкой катастрофы. Они покидали город, к которому подступила беда. Но обитатели этого города равнодушно взирали на мистический исход тараканов, не подозревая, что природа посылает им свой страшный знак. Лишь какой-то пенсионер в синей майке высунулся из окна с телефонной трубкой, раздраженно, открывая беззубый рот, кричал:

— Санэпидемстанция?.. Сколько раз мы просили прислать дезинфекцию!.. Я буду жаловаться в райком партии!..

Белосельцев отвернул от Садовой и возвратился к Патриаршим прудам, ровно и тускло блестящим под желтым горчичным небом. Листва на деревьях потрескивала от жара. Над крышами вспыхивали прозрачные судороги плазмы. Земля была столь горяча, что казалось, крошки пруда у берегов начинают мелко вскипать.

На Белосельцева из открытого подъезда выскочила большая крыса, едва ни ударив в ногу. Гадливо отскакивая, он успел разглядеть мохнатую заостренную морду, влажный резиновый носик с отвислыми усами, розовые прозрачные ушки и горбатое тело, растянувшееся в сильном прыжке. Крыса вильнула, злобно сверкнув на Белосельцева глазками, кинулась по тропинке сквера, исчезая на берегу водоема.

Белосельцев смотрел на ногу, мимо которой прошмыгнуло мерзкое животное. И две другие крысы метнулись поодаль, отталкиваясь от земли, словно обжигались. Канули в зарослях на берегу пруда.

Он хотел изменить маршрут, свернуть на улицу Алексея Толстого, где размещался готический особняк Министерства иностранных дел и среди витражей, дубовых панелей, каменных средневековых каминов, на фуршетах и дипломатических приемах вершилась внешняя политика государства. Но оттуда, навстречу ему, бежали крысы. Нагоняли друг друга, воздев дугой скользкие хвосты, вытянув усатые морды, сверкая злыми, красноватыми глазками. Торопливо перебирали когтистыми лапками, устремляясь к пруду.

Белосельцев пропускал мимо себя это мчащееся остервенелое множество. Видел, как крысы выскакивают из подъездов, из подвальных люков. Выпрыгивают из водостоков. Прогрызают фанерные рекламные тумбы, вываливаясь наружу шерстяными комками. Цепко спускаются вниз по фасадам, сливаясь с бегущим толпищем. Белосельцев чувствовал их разгоряченное дыхание, исходящее от них зловонье, слитный стук тысяч крепких коготков, многоголосое попискивание. Это был массовый исход крыс, которые покидали свои помойки, подвалы, крысиные гнезда, обжитые подземелья, гонимые безымянным ужасом. Тысячное стадо крыс подбегало к воде, кидалось в пруд. Плыло серым шевелящимся косяком, раздвигая клином желтую воду. Белосельцев вдруг пораженно осознал, что острие клина совпадает с вектором его боли. Устремлено на северо-восток. Крысы направлялись туда, куда начертал им лобастый колдун Вермонта, дующий в свою злую волшебную флейту.

Но люди, бредущие в переулках и улицах, казалось, не замечали исхода крыс. Они закуривали на ходу, болтали друг с другом, вяло поругивались, грызли какую-то дрянь. Подвыпивший малый расстегнул ширинку и страстно мочился под деревом, не обращая внимания на смущенных прохожих.

Белосельцев чувствовал странное, болезненное тождество между собой и убежавшими крысами. Его жизнь, по прихоти судьбы заключенная в человеческую плоть, оснащенная разумом, снабженная пятипалыми руками, отделенная от прочей биосферы бледной, с редкими волосками кожей, — теперь его жизнь ужасалась единым с остальной жизнью ужасом, содрогалась единым с остальной биосферой предчувствием. Стремилась вырваться из своей сотворенности, слиться с остальной испуганной жизнью,

пульсирующей в убежавших тараканах, в уплывавших, попискивающих крысах.

Он торопился прочь от пруда, желая избавиться от этого тождества. Приближался к особняку, где когда-то обитал Лаврентий Берия, и бабушка, держа его за руку, вела на уроки рисования в Дом архитектора, торопясь поскорее миновать милицейский пост у ворот, куда въезжал лакированный хромированный лимузин.

Однако у особняка он увидел стаю бегущих кошек и, вместе с ними, не отстающих от них молчаливых дворовых собак. Эта общая стая пополнялась другими, выбегавшими из-за угла животными, среди которых были вислоухие пыльные овчарки, покрытые лишаями гончии, одичавшие спаниели, экзотические помеси бульдогов и такс. Все они — высунувшие красные языки собаки и скачущие запаршивленные кошки — сбегали с помоек, оставляли трущобы и свалки в захламленных московских дворах. Уносились все в одну сторону, на северо-восток. Вдоль Садовой, к улице Горького, чуть правее, по Тверским-Ямским, Марьиной роще, в Останкино. Туда же летели воробьи, вороны, мухи, и разноцветный, ускользнувший в форточку попугайчик.

Белосельцев со страхом наблюдал исход биосферы, которая чувствовала вибрацию мира, трясение коры, материковые сдвиги. Улавливала грозные толчки, что обрушат стены проклятого города, расколют площади, поглотят в ужасных трещинах кремлевские башни и высотные здания, выдавливая наружу жидкую лаву.

Но жители города не замечали исход биосферы. Покупали некачественные товары, ели невкусную еду, занимались случайной любовью, стараясь при этом не породить себе подобных, используя резиновые ловушки, в которых беззвучно кричали, чувствуя конец мира, их несчастные нерожденные дети.

Проходя мимо зоопарка, Белосельцев слышал, как реют и визжат в истерике посаженные в клетки животные. Как бьются о железные прутья медведи. Как слоны, истошно трубя, стараются раздвинуть хоботом стальные крепи. Как реют леопарды и львы. Пленные орлы плещут могучими крыльями, роняя поломанные маховые перья. Рыбы в аквариумах поворачивались все в одну сторону, ударяя безмолвными мордами в толстенное стекло. Уже миновав зоопарк, Белосельцев увидел, как промчался мимо, косолапя, скаля желтые зубы,

прорвавшийся на свободу орангутан. И за ним, совершенно голый, ужасно худой, с развеянной гривой, бежал сумасшедший, выпучив от ужаса голубые глаза, прижимая к костлявой груди книгу Бердяева «Русская идея». И все это множество, искавшее спасения, увлекало и его, Белосельцева, стремилось вон из города, на северо-восток погибающего государства.

Черно-лиловая туча встала над площадью Восстания, переполненная водой, словно над шпилем высотного здания повисло Балтийское море вместе с серыми эсминцами, бурной пеной, реющим в мачтах ветром. Ливень ударил с такой силой, что затрещал асфальт, в который вгоняли бесчисленные стеклянные костыли и толстые гвозди. Вокруг шпиля синей жуткой змеей обвивалась молния. Огненные дробинки с оглушительным треском сыпались на землю, и Белосельцев увидел, как один вонзился ему под ноги, ушел в глубину, оставив запекшуюся остекленелую воронку. Ветром валило деревья, и над его головой пронесся дубовый сук, громко шелестя разворошенной листвой. Вся Садовая превратилась в черный поток, в котором тонули автомобили. Острые пляшущие волны смыкались над крышами лимузинов. Медленно, вращаясь и кренясь на бок, плыл троллейбус, и кто-то беспомощно бился за стеклами. Белосельцев влез на фонарный столб и оттуда смотрел, как сносит К Смоленской площади множество пестрых дамских зонтиков. Через улицу, фыркая, загребая брасом, плыл человек, борясь с течением, выныривая из-под волн. Белосельцев отрешенно ожидал вслед за молниями увидеть падающие раскаленные камни, горячий пепел. Подумал, — археологи через десять веков найдут его окаменелую, из спрессованного пепла фигуру. Но дождь внезапно кончился. Ветер стих. Туча отлетала, охваченная ослепительной солнечной кромкой. Вода стремительно убывала. Троллейбус на обмелевшей улице достал дно и встал на колеса. Пловец выходил на тротуар в потемневших от воды красных плавках, прыгал на босой мускулистой ноге, вытряхивая воду из уха. Снова катили машины, бежала толпа, а он, промокший, стоял у бело-желтого ампиричного дворца. Был не в силах решить, где же бушевала гроза, — в небе, над шпилем высотного дома, или в его помраченной душе.

Вода текла вдоль парапета, проваливалась в канализационную решетку, увлекала за собой сорванные листья и мусор. Белосельцев смотрел, как в чугунной решетке клокочет поток, и ему померещилось,

что изнутри, навстречу потоку, что-то силится показаться из люка. Выдавливается из решетки наружу, белесо-серое, липкое и живое. Он присмотрелся. Нечто, напоминавшее моллюска, прилепилось с обратной стороны к ребристому металлу. Едва заметно пульсировало. Сжималось и разжималось. Наполнялось воздухом и опадало. Поток иссяк, превратился в мелкий ручеек, и тогда это скользкое, похожее на размякшее мыло вещество выдавилось из решетки. Белосельцев не отрывал от него взгляд. Ему казалось, что это странное бесформенное тело не просто живое, но и думающее. Видит его, думает о нем, посылает ему беззвучные импульсы. Это было дико, напоминало помешательство. Чтобы развеять его, он наклонился к канализационной решетке, протянул руку и осторожно, с легкой брезгливостью, коснулся склизкой материи. И она моментально отпрянула, исчезла в темной глубине люка, куда продолжала сочиться вода. Чувствуя на пальце подобье холодного ожога, Белосельцев двинулся к дому.

Он вошел в квартиру, и она показалась знакомой, словно он жил здесь когда-то и теперь с усилием вспоминал то далекое время. На стене сверкали бабочки, ослепительно-яркие, словно иероглифы в склепе египетской пирамиды, куда тысячелетиями не заглядывало солнце, и краски оставались первозданными и невыцветшими. Сам он был воскресшим фараоном в золотой погребальной маске, сквозь которую с изумлением взирал на свой царственный саркофаг.

Надо было связаться с Чекистом и убедиться, что разыгрывается отвратительный фарс, куда его вовлекли, чтобы унять его опасную пытливость, нагрузить его рассудок дурными, абсурдными фактами, отвлечь от истинных объектов заговора.

Он в который уж раз связался с помощником. И тот, как показалось Белосельцеву, с легкой насмешкой, уверил, что о его звонках доложено шефу, и он, как только вернется в Москву, немедленно встретится с Белосельцевым. Фарс продолжался. Время, отпущенное для предотвращения катастрофы, неудержимо таяло. Он был глупой рыбой, попавшей на блесну, которую водили по кругу, выматывая силы, прежде чем выхватить на поверхность.

Он нуждался в помощи. Кинулся звонить Маше, желая ее немедленно увидеть. Заглянуть в ее чудные, любящие глаза. Успокоиться, остановиться. Но ее сослуживица, отпетая демократка,

узнала Белосельцева. Как каракатица, брызнула в телефонную трубку ядовитой неприязнью и ответила, что Марии нет и сегодня не будет. И он, огорченный, оставленный всеми, сидел в своем доме, смотрел на коллекцию, читая застекленные, радужно-яркие страницы «Книги мертвых».

Сбросил мокрую от дождя одежду. Отправился в ванную. Встал под горячий душ и медленно, чувствуя шипящие прикосновения струй, смывал с себя смрад демонстраций, наваждения обезумившего рассудка. Выключил душ. Стоял, голый, в эмалированной ванной, среди мокрого блеска, глядя, как в сливное отверстие утекает вода. И вдруг заметил — из водяной воронки что-то начинает выпирать. Мягко пучится, словно кусочек легочной ткани, наполняясь воздушными пузырями и опадая. Отдернул голую стопу, наблюдая пульсацию губчатой скользкой материи, которая продолжала преследовать его в собственном доме. Пробралась по трубам, отследила его в ванной и теперь мягко шевелилась, хлюпала, выталкивалась из черной скважины. И при этом что-то безмолвно ему внушала. Хотела вступить с ним в контакт.

Это испугало Белосельцева. Он отдернул ногу, как от жалящей медузы. Смотрел на мыльно-перламутровую живую слизь, пузырящуюся в сливном отверстии. Включил кран. Направил тяжелую струю на загадочное существо. Оно мгновенно отпрянуло, скрылось в глубине трубы.

Он вытерся насухо, облачился в чистую одежду, радуясь ее легкости и сухой свежести. Отправился на кухню пить кофе. С наслаждением вкушал горячий, горько-душистый напиток, чудесно бодривший, возвращавший утомленному телу энергию и подвижность.

Вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. В окне было пусто, солнечно. Не было летающих соглядатаев, которые в последнее время появлялись за стеклами. Он осмотрел стены и потолок, не вставлены ли скрытые глазки телекамеры. Все было чисто, гладко. Однако чувство, что за ним наблюдают, не оставляло его. Уловив следящие за ним волны, он стал их отслеживать, пеленговать, стараясь выявить из сложных потоков и импульсов, витавших в атмосфере огромного города.

Он поднялся, подошел к раковине и увидел, что в ней, в сливном углублении, куда падали из крана редкие блестящие капли, мягко

пузырится, нежно трепещет живая материя. От нее исходят неслышные сигналы, и эти сигналы — суть таинственные мысли живого разума, который подобрался к нему сквозь плетение труб, вышел с ним на контакт, подобно инопланетной жизни. Что-то старается ему внушить и поведать.

Белосельцев подавил в себе побуждение ткнуть неизвестное тело мокрой вилкой. Или приставить к раковине резиновую черную соску и прокачать замусоренную трубу. Стал смотреть на таинственные шевеления и взбухания. Слушал слабые вздохи слизистого губчатого тела. Настраивал свой разум на легчайшие кружевные волны, исходявшие из раковины.

Его вдруг посетило чудесное переживание. Будто он, младенец, лежит в коляске, чуть прикрытой прозрачной кисеей, в дуновениях сладкого теплого ветра. Над ним наклоняется молодое материнское лицо, прекрасное, любящее, окруженное листвой высоких садовых деревьев, на фоне синевы с недвижимым, сияющим облаком. Это переживание было восхитительным. Он не вспоминал его никогда, но оно явилось теперь во всей достоверности, словно странное, белесо-бесформенное существо, притаившееся в раковине, угадало это воспоминание в сокровенных слоях его разума, извлекло наружу из бессознательно-детских грез.

Затем вдруг он переместился в вечерний зимний переулок, заваленный пушистым, продолжавшим идти снегом, который под фонарями сыпал голубой летучей крупой. Было свежо, легко, морозно. Высокие окна старинных домов желто и туманно светились. Рядом шла девушка в меховой шапочке, серебристой от снега. Ее щеки были румяными в сумрачном воздухе, свежие губы улыбались, что-то говорили.

Восхищенные глаза блестели, и на маленькой пестрой варежке она держала яблоко. Запомнился блестящий мех ее шапочки, веселые губы, мгновенная в нее влюбленность, воздух переулка, пахнущий снегом и яблоком.

И это воспоминание никогда не являлось прежде. Девушка была случайной прохожей. Казалось, была навсегда забыта, как и тот зимний вечер с синими, осыпанными пургой фонарями. Но теперь это воспоминание было ему возвращено, словно все эти годы оно таилось

в ином сознании, сберегалось иной памятью, и только теперь было ему даровано.

Он сидел на кухне, перед раковиной, распустив мышцы, расслабив все свои нервные узелки, открыв свое сознание навстречу непрерывным воздействиям. Будто рыхлая, бесформенная, похожая на раскисшее мыло материя, проникнув в его дом, обретала образы, таившиеся в его голове.

Он увидел оленя, золотисто-розового, с женственной трогательной головой, оглянувшегося среди весенних сосен. Его стройные ноги упирались в лесную влажную землю, на которой прозрачными голубыми колокольцами цвела сон-трава.

Увидел Машу, — та стояла у окна, спиной к нему, глядя на шумный сверкающий дождь. И он, в изнеможении, обессиленный любовью, глядел на ее обнаженное серебристое тело, округлые бедра, гибкую ложбину спины, накрытую сверху распущенными волосами, испытав острую, сладкую нежность.

Вдруг увидел Чекиста, его круглое фарфорово-белое лицо с наивно-детскими голубыми глазами китайского истуканчика. Нежные, белые пальцы, берущие стеклянный стакан, наклоняющие над стаканом трехлитровую банку с грибом, из-под которого льется золотистая влага.

И вдруг прозрел. Поселившееся в его раковине существо — это гриб, тот, что плавал в чайном сладком настое в кабинете Чекиста, слоистый, мягкий, нежно томящийся в банке гриб. Должно быть, он вырос настолько, что выполз из банки. Переселился в окружающую среду. Пробрался к Белосельцеву по водопроводным трубам.

И следующая, не показавшаяся безумной мысль. Чекист, которого он безуспешно искал все эти недели, якобы уехавший в ответственную командировку за границу, на самом деле никуда не уехал. Скрываясь от назойливых глаз, превратился в гриб и сам нашел Белосельцева, выйдя на желанный контакт.

Этот гриб был невраждебен. Был благосклонен к Белосельцеву. Внушал к себе расположение и доверие. С этим грибом было хорошо и спокойно. Ему хотелось верить, хотелось исповедоваться. Услышать ласковое, утешительное слово. Следовать этому слову и наставлению.

Из эмалированной раковины, где обитало грибообразное тело, продолжали исходить волны, напоминавшие сладостные

многоцветные галлюцинации, которые сопровождались едва различимой музыкой.

Он увидел райские кущи, прекрасные цветы, залитые солнцем поляны. Розоватые тропки уводили под сень великолепных девственных деревьев. Он откликнулся на приглашение гриба, повиновался ему, ступал на эти тропинки, трепетавшие от розоватых прозрачных теней, в которых пели на ветках дивные птицы.

Он увидел, как по тропинке, в длинных одеяниях, с лучистыми сияниями вокруг благородных голов шествуют святые. Беседуют, указывают друг другу на растущие цветы, на поющих птиц. Ангел в белом облачении, почти не касаясь земли, пробежал по поляне, помогая себе взмахами светлых крыльев. Белосельцев ощутил благоухающее дуновение, поднятое пролетевшим ангелом. Был благодарен грибу за счастье оказаться в раю, созерцать благодатное райское существование.

Он увидел обширную, пленяющую своей зеленью, солнечную поляну. Среди поляны возвышалось великолепное дерево с коричнево-смуглым стволом, волнистыми ветвями, которые были сплошь в цветах и тяжелых спелых плодах, оранжевых, золотистых и розовых. Белосельцев сразу узнал, — это было древо познания Добра и Зла. К нему, великолепному, с резной глянцевиной листвой, благоухающей тяжестью сочных плодов подзывал гриб. Приглашал подойти. Покрыться благодатным вещим покровом. Белосельцев радостно повиновался грибу. Вспоминал, что уже где-то видел эту поляну, слышал про это дерево, про этот вечнозеленый ливанский кедр, суливший его любимой Родине благодатную жизнь и бессмертие.

Он приблизился к дереву. Вошел под его волнистые, с темно-зеленой листвой, ветви. И увидел, как с нижнего, сука свешивается веревочная петля. Под петлей стояла скамеечка. Гриб ласково и елебно, голосом Патриарха, приглашал Белосельцева встать на скамеечку и всунуть голову в петлю.

Это было так чудесно, так нестрашно и сладостно — повеситься под великолепным древом и тем самым обрести премудрость. Найти ответы на все мучительные вопросы. Прекратить навсегда абсурдное существование в колесе страданий и мук.

Благодарный грибу, испытывая к нему сыновью нежность, Белосельцев поднялся на скамеечку. Стал класть себе на плечи

толстую петлю, вкусно пахнущую пенькой, как пахла в детстве сельская лавка, где продавались топорщица, амбарные замки и легкая волокнистая пакля.

Белосельцев почти просунул голову в петлю, но пошатнулся на скамеечке и полетел вниз. С грохотом больно упал со стула, очнувшись на полу, видя над собой ременную петлю, которую соорудил из брючного пояса и укрепил на старый крюк, оставшийся от абажура. Все это он проделал, словно лунатик, загипнотизированный галлюцинациями. Теперь же, больно ударив ногу, он в ужасе глядел, как качается ременная петля. Проклятый гриб желал его смерти. Убаюкал, ввел в забвение, подвел к смертельной черте. Гриб был врагом, универсальным мозгом, искусственно созданным противниками, злым интеллектом, угадывающим все его мысли. Именно гриб был «организационным оружием», которое он столь долго искал, странствуя по подвалам и эзотерическим клубам. Теперь оно само себя обнаружило. Явилось к Белосельцеву, чтобы убить. Положить конец его опасным поискам. Устранить его как главное препятствие на пути переворота.

Эта мысль была огненной, ослепительно страшной. Он схватил чайник, где еще оставался кипяток, и плеснул в раковину, на слизистый, выступавший наружу пузырь. Услышал вопль боли. Пузырь исчез, унося в глубину канализации крик страдания и ненависти.

Белосельцев ликовал. Жестокому грибу был нанесен ущерб. Но он не был уничтожен. Однако, обнаружив себя, стал уязвим. Следовало его отыскать в глубине подземелий, в канализационных люках и шахтах, в туннелях метрополитена, где скрывалась эта думающая и чувствующая слизь.

Метрополитен, куда он спустился вместе с червеобразной толпой, сразу показался ему вместилищем абсолютного зла. От вязких гуттаперчевых поручней и ребристых ступенек эскалатора, отлакированных бешеных электричек и черных зияющих пещер с резиновыми жгутами и сверкающими рельсами пахло адом. Тугой сквозняк, летящий в туннелях, был ветром ада. Обдувал стальную сердцевину планеты, вынося из адских глубин запах окалины, кипящей смолы и вареных людских костей.

Станции метро, на которых он выходил, желая обнаружить присутствие гриба, казались предбанниками ада с затейливыми залами, где накапливались грешники, вкушая первые, самые предварительные муки.

Станция «Новослободская» была украшена ядовитыми разноцветными зарослями, в которые попадали несчастные. Их захватывали клейкие плотоядные лепестки. Втягивали в сердцевины огненных цветков. Окружали жалящими тычинками. Поливали сладкими отравami. Растворяли в своих едких объятиях. Выталкивали из соцветий вылизанные добела скелетики.

Станция «Проспект Мира» напоминала фарфоровый прохладный кувшин, расписанный голубым деревенским узором, вызывавшим в памяти аромат топленого молока с коричневой вкусной пенкой. Люди доверчиво тянулись к фарфоровому сосуду, но на них выливались зловонные нечистоты, и они, захлебываясь и крича, в ужасе металась по залу.

Станция «Киевская» была сделана из многослойного ванильного торта, обильно политая кремом, в сладких наплывах жира, с марципанами и орехами. Изголодавшиеся по сладостям люди, не находя их в пустых кондитерских, жадно стремились на лакомые куски. Лизали порталы и арки станции, откусывали ломти торта, погружали лица в бело-розовые, выложенные из крема цветы. Но внезапно из сладких соцветий выскакивали оскаленные зубатые морды злых хорьков. Хватали людей за губы и ноздри. Скрывались с добычей в глубине торта. Несчастные, прижимая носовые платки к ранам, испачканные кремом и кровью, стонали, не находя себе места.

Станция «Комсомольская» напоминала храм с высокими мозаиками, откуда в золоте и пурпуре величаво взирали вожди, простирали руку князя, торжествовали воины-победители, ликовали молодые красавицы. Народ, прибывший из казанской и ярославской провинции, восхищенно останавливался посреди зала, задирали вверх лица, молитвенно взирав на чудесные мозаики. Но внезапно своды зала растворялись, и вместо мозаик сверху падала огромная, натертая до блеска чугунная «баба», размазывающая всмятку наивных провинциалов.

Белосельцев, оказавшись в метро, разгадал адскую сущность чудовищного сооружения, задуманного Кагановичем, который

незадолго до этого, исполняя талмудическую заповедь, разрушил златоглавую русскую святыню. Теперь Белосельцев стоял на станции «Парк культуры», где вооруженные остриями, клещами и зазубренными пилами бесы прикидывались керамическими школьниками, глазированными спортсменами и фаянсовыми, отдыхающими в увольнении солдатами, подманивая к себе рассеянных пассажиров.

Он заглядывал в зияющую глубину туннеля, ожидая появления гриба, чувствуя его присутствие по слабым уксусно-сладким испарениям, по высыхающим капелькам слизи, оставшимся на рельсах и на углах перрона. Но гриба не было. Зато подкатывали комфортабельные адские поезда, издевательски сверкая хрустальными стеклами. Машинисты были облачены в черные эсесовские мундиры с маленькими алюминиевыми черепами на фуражках. Все как один были похожи на артиста Тихонова. Двери поездов автоматически открывались, и пассажиры, голые, держа в руках кусочки хозяйственного мыла, закрывая мочалками пах, обреченно входили в поезда. Двери захлопывались, и их уносило в неизвестность. Белосельцев успел обменяться взглядом с молодой прекрасной еврейкой, чьи миндалевидные черные глаза были полны прощальных слез.

Он стоял, глядя на электронные часы. Интервалы между поездами составляли три минуты сорок две секунды. Затем интервалы стали увеличиваться, достигая пяти минут и двенадцати секунд. Следующая пауза между электричками составила девять минут. А потом поезда прекратились вовсе. На перроне скапливалось все больше и больше узников, ожидавших своего последнего рейса. Но поезда не было. И появилась слабая надежда, что они попали в список Шиндлера или их судьбой занялся сам Валленберг.

Белосельцев устал ждать, ему захотелось уйти. Но вдруг в чернильной глубине туннеля что-то забрезжило. Раздался нарастающий гул, переходящий в свистящий оглушительный вой. Из туннеля, со страшной скоростью, похожий на выпущенный снаряд, вылетел гриб, жидкий, как огромная студенистая капля, в складках, в разлетающихся от скорости плевках. С жутким ревом пронесся мимо перрона, не останавливаясь, исчезая в противоположном полукружье туннеля. В воздухе остался пахучий туман от множества мельчайших

брызг. На губах появился кисло-сладкий вкус, какой бывает при употреблении грибного настоя.

Белосельцев не успел ничего предпринять. Не успел разглядеть странное изображение на передней полусфере гриба, какое помещают на головной части паровозов. Хотел было проследовать в туннель по узкому, уводящему вглубь уступу. Но там, где исчезла жуткая капля, опять забрезжило. Послышался налетающий вой. В свисте, реве, выталкиваемый из туннеля чудовищным поршнем, вылетел гриб. Его лобовая часть была смята встречным ветром. На ней, среди липких морщин и складок, дрожало, корчилось изображение Ельцина, открывался его ревуший перекошенный рот, выпадала из толстых губ желтая пена. Гриб промчался как бред. Было тихо. Пахло формалином и еловыми досками, словно в морге.

Вскоре движение поездов восстановилось. Деликатный голос по-немецки произнес: «Гнедиге Херрен, нексте стацион — Майданек». Множество обнаженных, послушных тел устремилось в открытые двери.

Белосельцев дождался, когда поезд ушел, и шмыгнул в глубину туннеля.

Вначале он шел вдоль кабельных линий и отточенных рельсин, обнаруживая при свете ламп следы промчавшегося гриба — клейкие отпечатки на стенах, мутные лужицы на бетонных шпалах, постоянно ощущая запах муравьиного спирта и мертвой плоти. Достиг боковой штольни, куда не сворачивали рельсы и не доходил свет ламп. Полукруглый, небольших размеров зев был в вязких нашлапках, в длинных липких висюльках. Видимо, гриб, протискиваясь в узкий лаз, сточил часть своей массы о бетонные кромки. Белосельцев продвигался в абсолютной тьме, ориентируясь только по запаху, который хоть и вызывал в нем легкое поташнивание, но одновременно вселял уверенность, что он не сбился с пути. Это продвижение в подземелье напоминало ему афганский поход, когда с подразделением спецназа он спускался в подземные туннели — киризы, вырытые в склонах горы, по которым стекала горная вода, скапливаясь для полива в глубоких прохладных колодцах. Летучие отряды моджахедов прятались в киризы, незаметно перемещались под землей, выходили в тыл войскам. Спецназ забрасывал колодцы гранатами, выливал в них горящую солянку, преследовал врага под землей, сталкиваясь с ним в

скоротечных огненных стычках. Белосельцев вспомнил, как стоял по колено в холодной текущей воде, а мимо текли языки жидкого пламени и плыла складчатая шапочка моджахеда.

Впереди посветлело, слышались голоса, какие-то стуки и звяканья. Он вдруг оказался среди подвешенных светильников, молчаливых старательных людей в сапогах и фартуках, вооруженных небольшими совками и кисточками. Они орудовали своими инструментами, соскабливая землю и сметая прах с большого странного диска из неизвестного светлого металла, с ребрами жесткости в виде спирали. Края диска были еще спрятаны и погребены в стенах штольни. Но центральная часть с прозрачной кабиной и загадочными, похожими на мумифицированных зайцев существами была уже открыта. Над ней-то и трудились археологи, открывшие в самых древних, глубинных слоях Москвы, где еще попадались каменные топоры и бронзовые зеленые бляшки, этот диковинный межпланетный звездолет с экипажем, потерпевшим крушение при посадке на Землю. Дивясь этой находке, гадая, что еще может храниться под Кремлем и Манежем, Белосельцев деликатно спросил археологов:

— Прошу меня извинить... Не будете ли вы столь любезны ответить, здесь, случайно, не появлялся гриб?

Археолог посмотрел на него сквозь очки и ответил:

— Нет, Генрих Боровик здесь не появлялся. Это точно, поверьте, — и продолжил стряхивать пыль с окаменевшей мордочки гуманоида.

Двинувшись дальше, Белосельцев достиг места, где штольня расширялась, превращаясь в небольшую уютно убранную залу, и где проходила тайная встреча Патриарха и Папы Римского, посвященная объединению церквей. Понтифик в белой сутане и лиловой шапочке целовал в седую бороду убранного в золото и серебро Патриарха, сетуя на малочисленность католических приходов в Советском Союзе. Патриарх обещал исправить историческую несправедливость, в случае если Рим передаст православию собор Святого Петра.

Белосельцев, плохо понимавший латынь, на которой велась беседа, спросил стоящего при входе монаха Троице-Сергиевой лавры:

— Отче, прошу меня извинить, вы здесь не видали гриба?

— Да вон они пошли, свинушки! Тьфу! — сплюнул православный монах вслед стайке капуцинов, торопливо проходивших мимо.

Штольня вела все дальше, и Белосельцев, неплохо ориентируясь на глубине, предположил, что находится где-то в районе Новодевичьего кладбища, усеявшего своими именитыми могилами и памятниками земной свод над его головой. Он не ошибся, ибо навстречу ему, воровато озираясь, протопали двое, трясая в носилках чей-то полуистлевший прах.

Белосельцев и прежде слышал, что Новодевичье кладбище постепенно разворовывается. Похитители знаменитых останков подкапывают могилы снизу и осторожно, чтобы не провалились памятники, изымают прах, подпирая землю особыми крепями. Было известно также, что несколько крепей не выдержало, грунт осел, и кладбищенское начальство не досчиталось останков челюскинцев и Фурцевой, о чем было напрочь запрещено писать в газетах.

— Простите, — Белосельцев догнал гробокопателей. — Вы случайно здесь не видали гриба?

Один из расхитителей повернул к Белосельцеву философическое, со следами застарелого пьянства лицо и иронично заметил:

— Друг, разве тебе не известно, что Грибоедов похоронен в Тбилиси. Под него подкоп вести, значит гору долбить. Себе дороже.

— А это кто ж? — огорченно спросил Белосельцев, глядя на кости, торчащие из истлевшей одежды.

— Ослеп, что ли? Никита Хрущев. Вывозим по заказу частного лица, с последующей переправкой в Америку, — они утопали, оставив Белосельцева в глубоком раздумье.

Он брел по подземному коридору, принохиваясь, потеряв след гриба. Более сильные запахи, — чайных роз, жидкого ракетного топлива, разгоряченных женских подмышек напрочь забили тонкие ароматы гриба. Понурый, потеряв надежду на встречу, он уже собирался выбираться наружу, подыскивая подходящий канализационный люк, как вдруг со спины, страшным ураганом, гриб налетел на него. Облепил со всех сторон. Погрузил в свою студенистую, трепетную глубину. Стал обволакивать, выделяя едкую жижу. Переваривал его, как переваривает пойманную рыбу гигантская медуза. Желеобразное, зловонное вещество набивалось ему в ноздри, лезло в рот, липко текло в легкие, проталкивалось в желудок. Он весь был в клею, в мыле, в мерзком пудинге. Погибал. В его меркнувшем сознании на прощание, как последняя издевка торжествующего

противника, возник образ Бурбулиса. Идиотически счастливый, с хохочущими глазами в маленькой костяной голове, сладострастно оскалившись, он поднимал тонкий загнутый палец, силясь произнести одну из своих витиеватых бессмысленных фраз.

Это видение вернуло Белосельцеву силы. Могучим рывком плеч, как сбрасывают с себя сырую тяжелую шубу, он скинул гриб. Распахнул жидкий отвратительный ком. Отплевываясь, вылез наружу, видя, как смыкается в грибе полость, оставшаяся от его тела.

Гриб потемнел от ярости. Сжался в тугую резиновую сферу. Подпрыгнул, как упругий мяч, и понесся навстречу, издавая крик, отдаленно напоминавший «Банзай!». Белосельцев, знакомый с приемами японского боя, подставил кулак. Гриб натолкнулся на его стиснутую пятерню. Белосельцев раскрыл кулак в отточенную ладонь, разваливая гриб надвое. Две половины гриба, оплескивая и огибая его, пронеслись мимо, вглубь коридора, смыкаясь там в единое целое. В синеватой тьме возникло жуткое видение оплывшего, как гиппопотам, академика Аганбегяна, трясущего одутловатыми щеками, читающего лекцию о преимуществах рыночной экономики.

Устрашающее видение на секунду лишило Белосельцева воли. Это немедленно почувствовал гриб. Устремился на него, подобно огромному плевку, желая расплющить. Но Белосельцев уклонился от столкновения. Промахнувшийся гриб со страшной скоростью врезался в стену, разбрызгался по ней, словно жидкий, кинутый на сковородку блин. Стал отекать. И в этих потеках, издававших слабое пыхтение, возникла личина Александра Яковлева. Курносая, с большими волосатыми ноздрями, с жабыми, от уха до уха, губами, с желтоватой, как перезрелая дыня, лысиной, на которой морщины складывались в масонский знак. Личина пропала. Гриб стек на землю и, окая на манер ярославского крестьянина, уполз в темноту.

Белосельцев, израсходовав остаток сил, полагал, что поединок окончен. Но гриб внезапно вернулся. Бешеный, во весь рост, зверски играя бицепсами, блестя зубчатым кастетом, изображал из себя охранника Ельцина, красавца Коржакова, с благородным открытым лицом, прекрасными глазами, пышными, как у средневекового рыцаря, волосами.

Они сошлись. Бились час, другой, третий. Копья их были сломаны. Щиты расколоты. Кони пали от истощения. Они сражались

теперь короткими мечами, осыпая себя потоками огненных искр. Гриб стал сдавать. На третий день у него уже не хватало для боя дыхания. Через год он сморщился, сбросил избитые доспехи и дал деру. Белосельцев преследовал его по пятам, но гриб кинулся в подставленную ему колдуном трехлитровую банку и укатил, издавая печальный крик выпи, тоскующей посреди осенних болот.

Белосельцев стоял, отирая кровавый пот, кинжалом выковыривая из-под ногтей запекшуюся кровь врага. Не знал, одержал ли он победу. Или снова был обманут, замороженный чарами подземелья.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Он вышел из метро на станции «Новокузнецкая». Устало шел во влажной и клейкой толпе, перезревшей от горячего зноя, обилия дурных соков, табачного дыма, накопленного за день раздражения. Мост, на который он ступил, казался пластилиновым, мягко прогибался от его шагов, был готов опуститься в ленивую блестящую жижу реки. Достигнув вершины моста, изнемогая от жара, он вдруг замер, узрев разноцветный букет Василия Блаженного. Храм был в иное, заледенел своими ломкими, колючими главами, был окружен белесой морозной дымкой. Здесь, на мосту, еще стояло жаркое лето. Но там, на Красной площади, была зима, шел снег, блеснул металлический черный лед.

Он вышел на Красную площадь, пугающе пустынную, в каменной рябой чешуе, с красным откосом стены, белыми глыбами соборов. Ни единой души, ни глазающих бездельников, ни лупоглазых заморских туристов. Словно все они в спешке покинули площадь, предчувствуя скорые бедствия, и ушли вслед за стадами мышей и собак, стаями воробьев и ворон. Казалось, здесь, на площади, Земля потеряла свою атмосферу, и все, что дышало, цвело и двигалось, умерло в одночасье. Остался неодушевленный ландшафт в уступах башен и стен, с кристаллическим ледяным Мавзолеем, перед которым, как два соляных столба, окаменел почетный караул.

Белосельцев стоял на площади, чувствуя смену геологических эпох, начало великого оледенения. Медленное сползание огромного ледника, стесывающего своими ослепительными кромками живую поверхность планеты. И там, где были любимые московские улочки, чудные, с детства родные переулки, священные соборы, великолепные, внушавшие восхищение дворцы, оставалась черная, в зазубринах, каменная чешуя. Он ступал по брусчатке, один на всей площади, последний уцелевший обитатель Земли.

Площадь была обречена. Все так же мощно красовалась стена. Золотился обод курантов. Краснели в синеве рубиновые звезды. В розовой льдине Мавзолея, в стеклянной заиндевело колбе, среди погашенных ламп, лежал мертвец. В стене, замурованный, покоился

прах вождей, комиссаров, героев. Огромный золоченый шишак Ивана Великого среди своего сияния нес глубинную черную тьму, казался ночным светилом. Площадь еще обладала знакомыми очертаниями, еще носила священное имя, но была обречена на исчезновение. Незримые силы, изгнавшие людей, теперь приступили к ее истреблению. Выветривали и разрушали камень. Шелушили позолоту. Отслаивали тонкие пластины ржавчины. Все уже тлело, превращалось в пепел, прах и труху.

Он оглядывался, силился крикнуть, позвать на помощь всех, кто собирался на эту площадь в дни праздников, торжеств и парадов. Ликовал среди победных салютов. Шел, качая штыками, в снежной военной пурге. Танцевал среди весенней красоты. Но не было никого. Пропали навсегда парады и шествия. Схлынули и расточились гуляния. Оставленный, обезлюдивший континент погружался под воду. Он один, беспомощный, стоял на краю тонущего континента, и вода, вылизывая брусчатку, подступала к его стопам.

«Где вы, красные вожди и подвижники? Где вы, красные пророки и мученики? Почему оставили меня одного? Что мне делать, последнему обитателю Атлантиды?» — взывал он к священным гробам.

Вдруг услышал каменный хруст, гончарный звяк. Кирпичная стена, там, где в нее были замурованы могильные урны и темнели именные таблички, затрещала, стала крошиться, выламываться. Сквозь кирпич, роняя осколки, просунулась птичья голова, узкие птичьи плечи, пернатая грудь. Вся птица, красная, чуткая, протиснулась сквозь пролом в стене, выглянула наружу. Крутила головой, осматривала пустоту площади, высокое небо, круглящиеся купола и чешуйчатые шатры. Напряглась, выпала на свободу, расправляя сильные крылья, поджимая ноги, распушив тугой хвост. Взмыла вверх, уменьшаясь, превращаясь в красную точку. Исчезла, оставив в стене пустое гнездо. Белосельцев изумленно смотрел на вмурованную табличку, не умея прочитать начертанное имя. Кажется, это был знаменитый летчик, перелетевший через Северный полюс.

Рядом снова захрустел кирпич, посыпались звонкие осколки. Размягченная стена чуть выгнулась. По ней разбежались трещины. Как из расколотого яйца, из стены показался клюв, глазастая птичья голова. Птица проклюнулась, оглядела площадь маленькими зоркими глазами.

Резко кинулась вперед, вырываясь из стены. Напрягла маховые красные перья и, прыгнув мимо Белосельцева, ушла в высоту, уменьшаясь, улетаая вслед за первой. Белосельцев почувствовал легкий удар ветра от сильных, машущих крыльев. Лунка в стене темнела чуть поодаль от первой, там, где были похоронены космонавты. Это был один из них. Его дух, дремавший долгие годы в стене, теперь покидал каменное гнездо.

Снова проломилаcь стена. Вылетела живая глазастая птица, стряхивая с себя кирпичную пыль и глиняные крошки. Сделала полукруг вдоль ГУМа, к Василию Блаженному, словно училась летать, не решаясь покинуть родную площадь. А потом сильно, словно чем-то испуганная, метнулась ввысь и исчезла легкой красной тенью. Как показалось Белосельцеву, это был коммунар, погибший при штурме Кремля, когда выбивали из него юнкеров.

Он изумленно смотрел на стену, где одна за другой открывались дупла, сыпался кирпич и наружу вылетали красные птицы, без крика, с хлопающим шумом крыльев, оставляющие свою каменную обитель. Уносились в синеву, за реку, к «Ударнику», и дальше, за Москву, за пределы страны, за пределы Земли, в безвестную пустоту бесконечного Космоса, откуда когда-то явились.

Он смотрел потрясенно на исход красных духов, которые населяли священную стену. Были хранителями красной державы, ее мистическими ангелами, таинственными опекунами. Сберегали ее среди войн и напастей. Вдохновляли на великие деяния. Побуждали к запредельной мечте. Укрепляли в мистической вере. Теперь эти духи оставляли площадь, покидали страну, которая перестала быть местом их гнездовий. Летели в иные миры, на иные планеты, чтобы там опуститься красной стаей, стать духами иного мироздания. Здесь же, в омертвелом, одряхлевшем мире оставляли после себя опустевшие склепы, темные дыры в стене, запах мертвых покинутых гнезд.

Он увидел, как у стен под синими нависшими елками зашевелилась земля. Выбрасывая буруны грунта, расталкивая дерн, из под гранитных памятников стали вылетать птицы, мощные, крепкогрудые, с огненными надбровьями, с завитками упругих хвостов. Хлопая сильными крыльями, вращая ярыми тетеревиными очами, они усаживались на елки, оглядывали пустую площадь, Лобное место, остроконечные кровли Исторического музея. Срывались с

вершин и, громко стуча крыльями, мчались прочь, вытянув красные шеи. Исчезали за Кремлевской стеной. Земля продолжала шевелиться, птицы все взлетали. Глядя на красных тетеревов, Белосельцев угадывал в одном командарма Фрунзе. В другом — наркома Орджоникидзе. В шумных стремительных взмахх, порождавших музыкальные вибрации воздуха, улетали Калинин, Щербаков, Жданов. Вырвался из тучной земли и в тяжелом полете умчался Брежнев. Следом за ним, рассекая воздух подобно красному ядру, унесся Черненко. Вся зеленая трава у стены была разрыта, чернела темными воронками, в которых на миг возникали красные взрывы, превращались в тяжелых птиц, скрывались за колокольнями белых соборов.

Тоскуя, Белосельцев провожал их вереницы, не в силах ни удержать их, ни молить и стенать. Оставался один, среди омертвелой бездуховной земли. Увидел, как колыхнулся гранитный памятник, дрогнул каменный бюст. Из могилы, где покоился Сталин, сбрасывая с сильных плеч комки земли, поднялся на сильных лапах темно-красный орел. Яростно оглядел изрытую землю, кирпичную, с поломанной кладкой стену. Пучки багрово-ржавых перьев облегали лапы орла. Как броня лежали на выпуклой груди. Длинно выступали на хвосте. Орел вытянул шею, растворил в огромном размахе крылья, пробежал несколько шагов по земле и взлетел. Были видны его выпущенные когти, стеклянный блеск головы. Он набирал высоту, возносясь по медленной тяжелой спирали. Достигал шатров, подлетал к столпу колокольни, огибал золотую главу, наполняя синеву неба медленными кругами. Не улетал, парил над площадью, мерно покачиваясь. Словно кого-то ждал, издавая высокие тонкие клики.

Бронзовые двери Мавзолея с грохотом растворились, будто их распахнул изнутри сквозняк. Разбегаясь на упругих ногах, расталкивая могучими крыльями солдат караула, вынесся нетерпеливый шумный орел, оставляя за собой гаснущую тьму. Стуча когтями по черной брусчатке, выбежал на просторную площадь, словно хотел ее всю обнять. Ветер топорщил на груди оперенье, клюв был полуоткрыт, и внутри трепетал огненный тонкий язык. Красное оперенье, казалось, было отлито из прозрачного пылающего стекла. За крыльями в воздухе завивались турбулентные вихри. Орел воздел вверх голову, увидел высоко парящего товарища. Оттолкнулся от площади и, попав в

восходящий поток ветра, взмыл. Почти не двигал крыльями, наполняя их гигантскими дуновениями остывающей земли. На мгновение заслонил золотой обруч курантов. Парил на высоте золотой неразборчивой надписи вокруг столпа Ивана Великого. Обе птицы слетелись, огласили высь прощальными долгими криками. Мерно и мощно полетели догонять остальных.

Белосельцев, с глазами, полными слез, смотрел на отлетающих красных духов. Слышал завывание зимнего ветра, который нес в себе страшные бураны. Ревел в зубцах мертвой стены, стонал в пустых бойницах, рыдал в покосившихся золотых крестах. Музыка ветра напоминала громогласно усиленный гул громадной раковины, в которой плескался шум древнего, иссохшего моря.

Теперь это море возвращалось, выступало из разломов земной коры, накрывало брусчатку черной глухой водой. Часть площади на Васильевском спуске уже была затоплена, и вода подступала к Лобному месту. «Когда-нибудь, — думал Белосельцев, отступая от темных волн, — археологи будущего опустят на морское дно батискаф, поплывут среди остроконечных замшелых шпильей, полуразвалившихся белокаменных стен безымянного древнего города. Прочтут на отшлифованном камне таинственное слово «Ленин». Решат, что так назывался корабль затонувшей флотилии.

Он увидел, как на Спасской башне отломилась звезда. Полетела вниз, к его ногам. Ожидал услышать удар расколотого стекла, увидеть острые сухие осколки. Но звезда, не долетев до земли, превратилась в морскую. Мягко шлепнулась, издав чмокающий звук. Стала извиваться, толкалась гибкими лучами. Побежала к воде и с легким шлепком нырнула в волну.

Он стоял на черной выпуклой площади, как на спине огромной подводной лодки с задранными люками, и она медленно погружалась, а он оставался на палубе, и вода лизала его башмаки.

Он вдруг почувствовал острую боль под сердцем. Она набухала, булькала, рвалась наружу, пробиралась сквозь ребра. Вдруг хлюпнула, выдралась из тела сочными ошметками, продрала одежду, словно пуля. Из мокрой дыры вылетела красная птица. Яркий трепещущий воробей. Понесся над площадью, роняя капельки его, Белосельцева, крови. Другой бугорок боли, в области живота, набух, ударил изнутри, прорывая брюшную полость. Еще одна красная птица, чирикающий,

испачканный кровью воробей полетел низко вслед за первым. Белосельцев, пугаясь, рассматривал свою продранную одежду, из которой торчали клочки кожи и волокна плоти.

Следующая птица вырвалась из его головы, пробуравив клювиком лобную кость, увлекая за собой часть его мозга. Он чувствовал, как все его тело изнутри дрожит, трепещет, сдерживает проснувшихся птиц. Они рвутся наружу, выпархивают шумными стайками, — из его выпученных глаз, рассеченных ладоней, из-под лопаток, из паха, из кровоточащих сухожилий. Красные духи излетали из него самого. Лишали его красной веры, красного заповедного смысла, ради которого он существовал на земле, совершал свои деяния, страдал, причинял страдания другим, веря в осмысленность бытия, служа своей красной империи. Теперь же, истекая кровью, он стоял на площади, опустошенный, с пустой сердцевиной. Был покинутым гнездом. Излетевшая из него красная воробьиная стая с умолкающим шорохом удалялась над черной водой, скрываясь в Замоскворечье.

Вода плескалась о борт Мавзолея. Он был как пирс, от которого навсегда отчалил последний корабль. Белосельцев увидел, как солдаты почетного караула воздели на плечи карабины с голубоватой сталью штыков. Повернулись разом в одну сторону. Двинулись, выбрасывая вперед журавлиные тонкие ноги. Оторвались от земли и некоторое время парили в воздухе, отсвечивая синими огоньками штыков. Покрылись перьями, превратились в красных журавлей и, качнув ногами, вытягивая их вдоль хвостов, полетели над площадью, пропадая из вида.

Белосельцев шел по брусчатке, по темной ряби, в которой застыл окаменелый ветер истории. Прощался с красой и могуществом, которые любил, которым поклонялся, с которыми прожил свой век. Его святыни гибли. Вместе с ними погибал и он сам. И никакая сила и чудо не спасут его от гибели. Почувствовал внезапную слабость, подобье обморока. Опустился на колени посреди площади. Припал губами к брусчатке. Поцеловал камень, как целуют холодный лоб родного покойника.

Он вернулся домой под трель телефона. Маша спешила к нему. И ее приближение он чувствовал как погибающий в горах десантник, к которому спешит вертолет. Она появилась на пороге, овеванная сиреневыми сумерками города. Светилась, как светятся в темнеющем

воздухе вечерние цветы, золотые шары, источая свой чудесный внутренний свет.

— Где же ты был столько дней?.. Как ты мог не звонить?.. Ты избегаешь меня?.. Ты меня разлюбил? — она отстранялась от его объятий, заглядывала в его похудевшее, покрытое загаром пустыни лицо. — Где ты был две недели?

— Понимаешь, это трудно тебе объяснить... Не все могу рассказать... Я был на задании... В том мистическом парке, в магическом саду, где каждое дерево, каждый куст и цветок, — это подвиг разведки... История тайного ордена, изложенная языком деревьев и трав... Это может понять посвященный и та загадочная волшебная белка...

— О чем ты, милый? — недоверчиво улыбалась она.

— Та военная мегамашина у белорусского хутора, из которой, словно дух войны, излетал худенький хрупкий полковник... Мне сказали, что эта машина таит в себе Русское Чудо, возможность Русского Рая... В синем пруду станет купаться красный божественный конь, золотой райский всадник... Но вместо него из машины вырвался Конь Блед, страшная костяная старуха с косой... Промчались по черному пруду...

— Ничего не понимаю, мой милый... Какая старуха?.. Почему с косой?.. Где ты был все эти недели?..

— Мне казалось, мы строим Царство Разума, возводим Города Будущего, исполняем их по чертежам Кампанеллы, по заветам Платона... И вот, представляешь, там, где реакторы на быстрых нейтронах, где райские кущи в пустынях, где свободные сильные духом люди, вдруг все повернулось вспять... К раннему неолиту и бронзе... К стенобитным машинам... К косматым колдунам и шаманам...

— Тебе плохо?.. У тебя жар? — она трогала его лоб узкой теплой ладонью. Проводила ему по бровям, стараясь прогнать наваждение. А он чувствовал, что его сотрясает озноб, бьет колотун, какой бывает, когда с мороза, остыв до костей, входишь в натопленную избу.

— Этот белый космический голубь, великолепный, как ангел... Ничего нет прекрасней... Города на орбите... Без бремени тяжести... Русская мечта о бессмертии... Миллиарды воскрешенных людей... Эскадры космопланов расселяют их по орбитам... Господь творит

воскрешение руками и любовью людей... Я видел, как он взлетел, как обогнул нашу Землю... Вернулся, божественно-чудный... Я в него заглянул, а там гроб, полный червей... Доставил из Космоса весть — червивый шевелящийся гроб...

— Перестань... Посмотри на меня... Я должна тебе что-то сказать...

— Я был в пустыне и слушал, как взрывная волна облетела три раза Землю, и в расплавленной магме застыла мелодия Гимна... Здесь, в Москве, я наблюдал, как шлепала мерзкая жаба, и памятник Достоевскому не был допущен в колонну...

— Перестань, ты бредишь... Я хочу тебе что-то сказать...

Он не мог остановиться. Его сотрясало. В нем бушевали сорванные материки, двигались исполинские горы, шагали огромные памятники, и странная женщина с рыбьим хвостом плавала в стеклянном аквариуме, прижимала к стенке расплюснутые розовые груди.

— Я видел, как уходили из Москвы тараканы, на северо-восток, как указал им вермонтский изгнанник... Тот худой человек, бежавший по Малой Грузинской, с зачитанной книгой Бердяева.... Я должен был все осознать...

Она схватила его за плечи:

— Ты сошел с ума... Посмотри, это я... Должна тебе что-то сказать...

— Ты не поверишь, эта битва с грибом, возвращенном на чайных опивках... Он и был искусственный разум, который управляет подкопом... Я его обнаружил в туннеле, где катила телега... Кто-то лежал под рогожей... Я спросил: «Кого ты везешь, мужик?» — «Грибоеда», — ответил мужик....

— Милый, все это бред... Сон наяву... Ты измучен... Жизнь не такая... Один поворот зрачков, и совсем иные видения... Посмотри на меня, это я... Послушай, что я скажу...

— Эти дыры в Кремлевской стене... Гибель красных богов... Я весь изорван, весь пуст... Они из меня излетели... Зачем теперь жить?..

— Только теперь и жить, мой милый, когда они излетели... Посмотри на меня... Я твоя женщина... Беременна от тебя...

— Что? — сказал он, слыша, как проваливаются в преисподнюю громадные горы и памятники и затихает гром камнепада. — Что ты

сказала?

— Я твоя любимая женщина. Люблю. Беременна от тебя.

Он смотрел потрясенный. В наступившей вдруг тишине сильно стучало ее сердце, к которому он припал. В комнате, где не был зажжен огонь, в зеленоватом пятне на стене хрупко темнела тень цветка, который он, поджидая ее, поставил в узкую вазу.

— Боже мой, — сказал он. — Боже мой...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Весь мнимый, исполненный кошмаров мир был отодвинут, как нарисованный на клеенчатом театральном занавесе, где играли жуткую сказку. Будто чья-то добрая длань отодвинула занавеску с уродливыми карлами и жестокими исполинами, они сморщились, слиплись, и открылся мир истинный, а не мнимый. Повел глазами, и жизнь, утратив черты катастрофы, повернулась вокруг невидимой тонкой оси, открылась в красоте и любви. Со своей милой Машей, Машенькой, посвятившей его в чудесную тайну, он уехал в деревню, в старую, обросшую бурьяном избу. Вогнал машину в тенистый двор, продавив колею среди лопухов и полыней. Высокая прохладная береза закачалась над ним, провела полипу шелковистой веткой. И он знал, что это не ветка, а все та же добрая длань, отводящая прочь все напасти.

Они перенесли в покосившуюся терраску привезенную из Москвы снесь. Он снял с тяжелых дверей отяжелевший, сонно скрипнувший замок. Изба, сумрачная, с повисшим недвижимым воздухом, с крестьянским ветхим убранством, пустила их в свой древесный короб, и они на пороге улыбнулись молча друг другу, радуясь этим смуглым венцам, коричневым потолкам, запыленной белой печи, столу, на котором лежали две засохшие неживые бабочки. Принялись чистить и прибирать свое деревянное гнездо.

Он раскрыл настежь все окна, душистый воздух влетел в избу, и запахло травой, водой, протоптанной в огород тропинкой, близкой, с золотыми плодами яблоней, и мертвая коричневая бабочка на столе шевельнула хрупкими крыльями. Маша углядела в углу конопляный веник и стала мести, переставляя с легким стуком высохшие до звона стулья и лавки, позвякивая половицами, которые откликались, как клавиши, на ее шаги. Он достал из сарая тупую, пятнистую от ржавчины косу, стал обкашивать крыльцо, стены избы, заросшую клумбу, из которой огненно-малиновые среди зелени диких трав стояли георгины. Слыша мягкий шорох подрезаемых стеблей, видя, как коса начинает блестеть и влажно сочиться, чувствуя, как радостно напряглись его мышцы, он наслаждался этой простой, нехитрой, но

такой истинной, не мнимой работой, от которой веселело все его тело, молодели глаза, ровно и счастливо билось сердце. Маша выглянула на минутку из дома, увидела, как он косит, улыбнулась с порога.

Он опустил в колодец мягкое ведро, слыша, как оно удаляется в гулкую глубину, сладко звякает о темное зеркало. Почувствовал толчок переполненного ведра, долетевший снизу через цепь, деревянный ворот, холодную рукоять.

Скрипел воротом, наматывал хрустящую цепь, тянул наверх литую тяжесть, пока не показалось жестяное, ставшее драгоценно-мерцающим ведро с густой, синей от холода, ароматной воды, к которой хотелось прикоснуться горячими губами, смотреть в ее прозрачную, душистую голубизну.

Он наполнил водой старинный пузатый самовар с полустертыми медалями, с зеленой патиной, витиеватым рогатым краном. Нутро самовара было асбестовым от давнишних накипей, топка, засмоленная, прогорелая, все еще пахла старинным углем. Он отнес самовар под яблоню, и они вдвоем стали его разводить. Наталкивали в зев сухие щепки, которые неохотно дымились, трещали, не хотели разгораться, заставляя кашлять, отмахиваться от смолистого дыма, пока вдруг не пыхнуло в трубу пышное пламя, не задрожал стеклянный жар и в глубине самовара что-то тихо и нежно вздохнуло.

Маша принесла из дома корзину, стала собирать опавшие яблоки. Он следил, как тянется в траве ее тонкая рука. Пальцы раскрываются навстречу светящемуся среди стеблей яблоку. Вместе с любимой он сидел под яблоней, среди перестоялой травы, в заросшем одичалом саду, самовар с наивной купеческой геральдикой благодарно шумел, выдыхая пахучий дым и прозрачный жар, и кто-то третий, почти несуществующий, о ком было странно и сладко думать, был среди них, соединял их в неразрывное святое единство.

Он внес в избу самовар, навесив над столом кудрявый дымок. Она принесла корзину пахучих яблок. Срезала на клумбе два малиновых георгина, поставила в глазированный кувшин. Они разложили вкусную снедь, стали чаевничать. В дверь постучали. Появился сосед Геннадий, коричневый от озерного загара, в линялой гимнастерке, с руками, изрезанными леской, истертыми о топор и лопату.

— Андреич, с приездом, — приветствовал он с порога, деликатно кивая Маше, ставя на лавку кружку с малиной. — Что не был давно?..

Соскучились...

Его пригласили к столу, угощали московской едой. Он прихлебывал чай, рассказывал об огурцах и картошке, жаловался на редкие дожди, похвалялся речным уловом.

— Огурец, он, Андреич, сам знаешь, полезен. Свой, домашний. Ни на рынок, ни в магазин не иди. Срывай и ешь, — делился он бесхитростной истиной, добытой в огородных трудах. И тут же, следом за ней, щедро делился другой, открытой на озерном берегу: — На рыбалке, Андреич, сидишь, никакие дурные мысли в голову нейдут. Одна красота. Душа отдыхает. Разве плохо, Андреич? — И следом, без всякой печали сообщал: — А старый-то Никанорыч помер. На краю деревни который жил, коз держал. К вечеру коз отвязал, привел домой, лег на кровать и помер.

Попил с ними чай, распрощался, оставив полную, с горкой, кружку малины, которая светилась насквозь, чуть слышно благоухала. В окно на этот сладостный запах прилетела оса. Присела на ягоды, чутко вздрагивая черно-золотым узким телом.

А вечером они лежали в сумеречной прохладной избе, на старой деревянной кровати. На овальной спинке слабо светились два розовых, наивно намалеванных льва. Встали на задние лапы навстречу друг другу, обнялись, целовались. Сумрак избы мягко лился над лоскутным одеялом, омывал столешницу с синим огоньком в стеклянной рюмочке, божницу, где, едва заметный, туманился образ с пучком засохшей травы. Он гладил ее теплые волосы, целовал ее мягкую, млечную грудь, прикасался губами к ее животу, стараясь услышать едва уловимые биения младенца.

— Все изумляюсь тому, что от тебя услышал. К чему ни прикоснусь, на что ни погляжу — Боже мой, ведь он теперь существует в этом мире. На озеро сегодня смотрел — он тоже эти голубые воды видит. Ты яблоки брала из травы, и он тоже брал. Цветок ставила в глиняный кувшин, и он тоже ставил. Мы теперь должны с тобой делать только самые простые, добрые дела. Смотреть только на самые прекрасные предметы. Думать только о добром, благом. Мы, как два зеркала, в которые он, еще нерожденный, смотрится. Пусть зеркала будут ясными, чтобы в них был один свет.

— Ты знаешь, я почувствовала, как это случилось. Мы лежали, еще уставшие, без сил. Я веки не могла поднять от усталости. Ты

встал, подошел к окну, смотрел на вечерние фонари. А я вдруг почувствовала, как что-то пришло, слилось со мной. И вдруг поняла, это случилось. Сомневалась, ждала. А потом убедилась — да, это так.

Ее пальцы слабо шевелились, гладили ему лоб, и он сквозь ее пальцы видел, как вокруг, почти неразличимые, таились старинные предметы. Он их не мог разглядеть, а только догадывался, — там стеклянная рюмочка, искорка синего блеска. Там образ Николы на Божнице, крупца скупой позолоты. Там розовая тень на кровати, два косматых обнявшихся льва.

Кровать, на которой они лежали, была ветхим крестьянским ложем, из скрипучих тесаных досок. Служила одром для нескольких поколений крестьян, некогда обитавших в избе. Их ночные любовные ласки. Их моления и тихие вздохи. Их болезни, сны и успения. Ему казалось, души обитателей и хозяев избы тихо стоят над ложем. Знают об их любви, о младенце. Желают понять, хорошо ли им на просторной деревянной кровати. И он отвечал: «Хорошо. Спокойно».

— Я чувствую, каким он будет, наш сын. Ты мудрый, добрый, отважный. Столько видел всего, пережил. Воин, мудрец, путешественник. Столько всего достиг, столько понял. И все это ему передашь. А в чем не успел, так он за тебя успеет. Это тебе награда. Помимо всех твоих орденов и заслуг, эта самая высшая. Я этого хотела, ждала.

— Как ты была права. Стоит голову повернуть, чуть сместить зрачки, и вот уже мир иной. Восхитительный, дивный. Все эти месяцы я метался, сходил с ума. Какой-то колдун, косматый, злой, заколдовал меня и отнял рассудок. Насылал на меня наваждения, бреды. А ты расколдовала меня. Теперь понимаю, зачем живу. Я — ваш защитник, кормилец. Берегу и лелею. Но и вы меня сберегаете, спасаете от безумия.

Она погружала пальцы в глубину его волос, расчесывала, словно гребнем, и казалось, с ее пальцев слетают легкие вспышки. Засвечивают и стирают недавние страшные образы. Оставляют мягкий сумрак избы, золотую искорку на божнице.

Там, среди капелек тусклого воска, нагара лампадного масла — обугленный образ Николы, закопченный, линялый, на растресканной старой доске. Там же бледная бумажная роза, пучок увядшей травы, огарок церковной свечи. Казалось, кто-то, едва различимый в

сумраке, стоит перед образом, кланяется, тихо вздыхает. Молит о пропавших без следа на войне. Вымаливает прощение за грех. Просит блага всем живущим и страждущим. Просит Господа и о них, здесь лежащих.

Он смотрел на божницу, стараясь разглядеть икону. Но в углу была тьма. Только слабо мерцала золотинка.

— Я буду ухаживать за тобой. Сиди себе в валенках, пиши свои книги, а я буду печку топить, подметать, кушанья деревенские готовить, разносолами тебя угощать. Под вечер, когда устанешь, будем по деревне под ручку прогуливаться. Сугробы розовые, голубые, зеленые. Оконца слюдяные горят. Снежок под ногами похрустывает. Кто же это к нам подбегает? Какой-такой мальчик расчудесный?! Щечки румяные, глаза голубые. Да это же наш сынок ненаглядный!

Он ей внимал, — так и будет. Ему казалось, за ночным окном начинает восходить, разгораться светило. В избе все светлей и светлей. Все сумеречные предметы обретают свои очертания. Золотятся старые смоляные суки. Синееет стеклянная рюмочка. Проступают на божнице черты белобородого старца. Изба полна света, прозрачная, как стекло. В подполе покраснела как уголь оброненная бусина. Крыло стрекозы сверкает как маленький слиток. Изба отрывается от деревянных основ, взмывает, идет в небеса. Раздвигает трубой белые звезды, оставляет огненный след. И два льва, словно два кормчих, поднялись на спинке кровати, целуются красными языками. И изба, как ночной ковчег, движется в мироздании.

Темнота. Угасающий свет в окне. Голубая точка в стеклянной рюмочке.

Они проснулись рано, до восхода. В сереньком тусклом оконце висел туман. К стеклу из тумана протягивалась ветка березы. Они взяли в сенях корзинки. Он — старинную, из прутьев, с прохудившимся дном, заложенным шершавыми щепками. Она — маленькую, лыковую, со следами земляничного сока. Он обул сапоги, напялил брезентовые штаны, жеваную куртку, все ношеное-переношеное, в мазках земли, трухи, паутины. Она натянула вязаные носки, грубые мужские башмаки, платок, сделавший ее похожей на деревенскую молодуху.

— Теперь все грибы — наши, — сказал он, пропуская ее на крыльцо, стараясь разглядеть сквозь туман близкое озеро, лес, колокольню соседнего села. Но млечно, непроглядно колыхался туман, и только лебеда у крыльца мокро, сочно блестела.

— Пусто или густо? — она метнула корзину, прошумевшую по траве, вставшую на тропке ручкой вверх. — Все грибы наши! — повторила она, тихо засмеялась, подняла на локоть лыковую корзину.

После недавнего жуткого наваждения, после битвы с вымышленным, мнимым грибом, он шел в лес убедиться в существовании настоящих. Шел убедиться, насколько он выздоровел. Как далеко отпрянула болезнь. Тревожился, мужался, уповал на свою милую, на божественное, с ними обоими случившееся чудо.

Они прошли краем поля, где недвижно и мокро, желто-зеленой стеной стояла рожь, у обочины блекло синел василек и валялась в пыли оброненная красная ленточка. Спустились в овраг, где гремел в осинах ручей и в плотном тумане возвышались мокрые дудники. Поднялись по тропке к ровной луговине, над которой колыхался туманный полог и за ним угадывались огромные березовые опушки. Вступили в лес. Он сразу почувствовал себя помолодевшим. Мышцы стали тонкими, гибкими. Походка упругой. Сквозь грубую подошву он чувствовал стопой каждый сучок и кочку. Глаза видели далеко и зорко. В крови звенел чистый свет березняка, и он, вдыхая этот голубой студеной свет, повторял: «Моя ненаглядная... Наше с ней чудо...»

Он вдруг почувствовал чье-то присутствие, чье-то невидимое соседство. Его милая была в стороне. Ее негромкие, похожие на кукование возгласы раздавались вдалеке.

Он был один, но вблизи незримо кто-то находился, смотрел на него. Он оглядывался — вверх по веткам, по стволам сырых черных лип, по резной листве орешника, по спутанной редкой траве. И вдруг, не зрачками, а спиной, затылком, понял, кто за ним наблюдает. Поворачивался на таинственный знак. Вел глазами по лесной гераньке, по опущенной ветке орешника, пока не узрел стоящий в траве стройный ясный красноголовик. Это его присутствие, его безмолвный зов, его взгляд слышал он. Ликуя, приблизился. Это был подлинный, настоящий гриб, а не порождение его недавних кошмаров, исчадие городской преисподней. Опустился на колени, вдыхая вокруг гриба сырой сладкий воздух. Видел твердый, в темных волокнах корень,

темно-алую шляпку, на которой, как украшение, примостилась улитка. Стоял перед грибом на коленях, как язычник, и молился лесному доброму божеству. Бережно вынул гриб из травы, снял с него улитку, поцеловал холодную шляпку, смугло-алое молодое лицо гриба.

Сверху, из туманных вершин, слабо засочилось. Дождь не из капель, а из густого холодного пара оседал, мочил кусты и травы. Начиная мелко шелестеть. Запахи леса вдруг сгустились, усилились. Среди тления, цветочного сока он вдруг различил живой близкий запах птицы. И в то же мгновение взлетел рябчик. Другой. Третий. Шумный, трескучий выводок, не мнимый, не плод его измученного, сотрясенного разума, а настоящий, лесной, пугливый, понесся врассыпную, и он сам пугался и радовался шлепанью тугих крыльев, верещанью и свисту, теплomu запаху птицы в холодном дожде.

В их корзинках мокро, разноцветно сияли красноголовики, рыжики, маслята. Лакированно блестели сыроежки. Мелкими россыпями золотились лисички. А на губах таял вкус перезрелой лесной малины.

На поляне, окруженной высокими, размытыми в дожде березами, они увидели белый гриб одновременно. Разом кинулись к нему. Она с криком: «Мой!.. Мой!..» — вытащила гриб из травы, чуть согнутый в сторону, на тугом основании, коричневый, лакированный, будто в масле. Срезая ножичком земляной корешок, смеялась и приговаривала: «Мой, мой!..»

Второй был найден тут же, по блеску шляпки. Они вывинтили гриб, как лампочку, стараясь оставить в земле грибницу. Уложили среди сыроежек и рыжиков белым, обструганным основанием вверх.

Дождь шел сильнее, пробивался сквозь кроны стеклянными ровными струями. С берез стекало, зеленая вода шумела в ветвях. И в этом стеклянном свете возникали грибы, один за другим, словно их выдавливала, выдувала земля. Как пузыри, в блеске, появлялись из травы. Оба они жадно, молча, торопливо ломали грибы, наполняли ими корзинки. Рука чувствовала литую тяжесть плотных, скользких грибов.

Он шел по поляне в сильном дожде. Земля под ногами шевелилась и лопалась. В ней возникали грибы, словно открывались глаза. Земля была зрячей, живой, плодоносящей, и он со своей милой и своим еще

нерожденным чадом был порождением этой плодоносящей земли, проявлением бесконечной жизни.

Вернулись домой, поставили посреди избы переполненные корзинки. Скинули на лавку мокрые одежды. Забились под стеганое лоскутное одеяло. Пальцами ног он чувствовал ее мокрые холодные ноги.

— Что ты видишь? — спросила она, засыпая. — Что у тебя в глазах?

Он не ответил. В глазах, под закрытыми веками, блестела трава, мелькали мокрые гераньки и, бесчисленные, красные, смуглые, глянцевиные, появлялись и исчезали грибы.

Он проснулся среди дня в солнечной золотистой избе. В момент пробуждения, когда сквозь веки почувствовал, что на улице солнце, что милая его рядом и две корзины с грибами стоят на половицах, в нем радостно дрогнуло сердце. Вышел наружу, в тепло, в свет, в прозрачную тень березы. Деревня казалась розовой, нежно-туманной, с петушиным голошением, с черно-белой коровой на кудрявой луговине, с блестящим солнечным прудом, в котором плескались утки.

Сосед Геннадий поддевал вилами сено, складывал круглую зеленую копешку:

— Андреич, собрал, нет, грибов? Гриб, он полезный. Его хочешь жарь, хочешь в суп клади, а хочешь суши на зиму.

Старухи медленно шли улицей. В конце ее, в соседнем селе розовела церковь. Озеро, бледное, млечно-голубое, несло на себе несколько лодок, оставлявших ленивые маслянистые следы. Ступая босяком по тропинке, стараясь не наступить на дождевых червей, он спустился к озеру, шлепая пятками по прохладной глине. Берег был усеян коровьими следами, сердцевидными отпечатками копыт. Из воды торчала осока, на гнутой травине сидела хрупкая стрекоза, колыхалась вместе с осокой. У берега, увязнув кормой в глине, лежала лодка, от нее пахло дегтем, илом, рыбьей слизью. По воде медленно расходился, дрожал на солнце круг от плеснувшей рыбы.

Он медленно стягивал с себя рубаху, штаны, глядя на этот слепящий круг, на далекую рыжую кручу, где стояла кирпичная церковь и косо, в садах, темнели избы. За ними тянулись поля, перелески, туманная даль.

Кинулся в воду, раздвигая грудью холодную шумную толщу, проникая вглубь, проталкивая себя сквозь темный струящийся холод.

Ночью они сидели у озера на охапке сена и жгли костер. Подкидывали в огонь ветки сухой сосны. Хвоя начинала трещать, ком красного жара озарял вершины, искры рыжей метлой уносились в густое синее небо, превращались там в звезды, метеоры, носились среди мироздания. Ветви сгорали, пламя опадало, вершины меркли. Оставались освещенными ее руки с дымящейся веточкой, край ее платья. И Белосельцев думал, что новая жизнь так близка и возможна, и чудо любви уже рядом.

Наутро он проснулся раньше нее, поцеловал ее сонное, округлившееся во сне лицо, вышел из избы, желая полить цветы. Перед домом, опрокинувшись на ветхий забор, цвели золотые шары, тонко, всем своим розовым нежным кустом, благоухали флоксы, согнулись на хрупких стеблях тяжелые темно-малиновые георгины. Он стоял, радостно глядя на утренние цветы, поймав глазами алмазную росинку, играл с ней, слегка поворачивая голову, и росинка откликнулась голубыми, желтыми, красными лучиками.

Он увидел, как подкатила черная «Волга», остановилась у ворот, заслоненная березой. Из нее поднялся человек, стал приближаться к воротам. Сквозь вислые ветки березы и прогалы в заборе Белосельцев узнал в человеке помощника Чекиста. И что-то слабо ударило в сердце, не испуг, а тоска, предчувствие стремительных перемен.

— Виктор Андреевич, — произнес помощник, проходя сквозь калитку, останавливаясь под березой. — Меня прислало руководство. Необходимо ваше появление в Москве.

— Почему такая срочность?

— Вы просили о встрече с шефом. Он вчера прилетел и срочно вас вызывает. Началась операция, о которой он вас проинформировал.

— Как?.. Уже?..

— Танки в городе. Бронетехника и войска входят в Москву.

Он почувствовал, что мир, единый и целостный, данный ему в этих днях, как неделимое, благодатное творение, как этот чудотворный мир стал распадаться, словно его поместили на огромную центрифугу, и грозный рокочущий вихрь, сворачивающий в спирали галактики,

стал разделять и расслаивать его, Белосельцева, бытие. Мир распался, и одна его часть все еще оставалась здесь, рядом с цветочной клумбой, розовыми нежными флоксами, играющей бриллиантовой каплей. Другая же была там, рядом с «Волгой», прикатившей из сотрясенной Москвы, где ухала по асфальту бронетехника, выбрасывая из кормовых щелей раскаленную едкую гарь.

Он оцепенел, стоя на границе этих двух несовместимых миров, чувствуя, как один из них перетекает в другой, и цветов все меньше, и озерной воды, и малины, и ночных затуманенных звезд, и шепотов в темной избе, где синяя искорка уснула в стеклянной рюмке. И все громче, заглушая шум ветра в березе, раздается победный грохот брони.

— Еду, — сказал Белосельцев. — На сборы десять минут.

Он вернулся в избу.

— Что случилось? — она протягивала из-под одеяла теплые, сонные руки.

— Я должен ненадолго уехать, — он целовал ее пальцы, винясь перед ней, боясь заглянуть ей в глаза.

— Куда?.. Почему?.. Кто за тобой приехал?..

— Прежние сослуживцы. Мне нужно их повидать, выполнить кое-какие формальности.

Не уезжай, — она села, натягивая на грудь разноцветный лоскутный ворох. — Тебе нельзя туда ехать.

— Пустяки. К вечеру вернусь.

— Не вернешься. Тебе нельзя туда ехать. Там осталась твоя болезнь. Ты заболеешь снова.

— Ну какая болезнь... Поеду на пару часов. Даже машину свою не беру. Ты побудь одна полднечка. Приготовь что-нибудь вкусненькое. Вечером вернусь с бутылкой вина.

— Ты опять заболеешь этой страшной болезнью, которая нас разлучит. Ты сказал, что теперь для тебя самое важное — это я, он. Умоляю, не уезжай.

Глаза ее были в слезах. Он тосковал, боялся смотреть ей в глаза. Сквозь оконце, из-за березы, из-за окрестных лесов, оттуда, где находилась Москва, притягивал своими неотвратимыми силами жестокий магнит. Белосельцев, став железным, не глядя на ее тоскующее лицо, был во власти этого притяжения.

— Мне нужно идти, — сказал он, снимая со своих плеч ее руки.
— К вечеру буду.

Огромный магнит пробивал своей силой ветхие стены избы, ветви березы, прозрачный утренний воздух, в котором летели пушистые семена иван-чая. Черная «Волга» подхватила его, помчала по магнитной линии, туда, где грохотала броня.

***Часть четвертая МОСКОВСКИЙ
КРЕМАТОРИЙ***

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Уже в дороге он почувствовал, что нездоров. Горячая трасса швыряла навстречу глазированные лимузины, шумные бруски трейлеров. Туманная гарь, жаркое размытое полотно вызывали неуверенность и страх. Казалось, в крови кружили тонкие яды, тревожили, лишали сил.

Вдоль обочины, по краю полотна двигались два бэтэра, стянутые тросами. В люках сидели полуголые солдаты. Вид грязно-зеленой ромбовидной брони, башен с пулеметами, упругих, похожих на ящериц военных машин вызвал мгновенное воспоминание об Афганистане — дорога на Герат, редкие пышные сосны, голубоватые предгорья, и туманный, разноцветный город, куда ударят залпы «ураганов», вломятся дымные колонны танков. В этом воспоминании было нечто больное, раздражающее и отталкивающее.

Они догнали колонну военных грузовиков. Машины равномерно катили. Обгоняя их, он увидел горящие фары, бледно-желтые, водянистые при ярком солнце, зловеще выпученные в затуманенном воздухе.

— Бери левее, — приказал помощник шоферу. — Не лезь под гусеницы.

Что-то литое, тяжелое, спрессованное приближалось, занавешенное синим масляным дымом, который дунул в салон знакомым запахом военных походов, когда скрипел на гусеницах песок, чавкали траки, продавливалась и сотрясалась земля от тяжелых угрюмых машин. Они обогнали колонну танков, колыхание длинных пушек, номера на башнях, ребристые шлемы механиков, торчащие из смотровых люков.

— Прут как слоны, — с негодованием и одновременно с восхищением заметил водитель. Повернул ручку приемника, порыскал в эфире. Бесстрастный, поставленный голос штамповал фразы из серой жести. О введении Чрезвычайного положения. О Государственном Комитете, берущем на себя всю полноту власти. О персональном составе Комитета, куда входили Профбосс, Премьер, Прибалт, Зампред, все высшие лица страны, с которыми Белосельцев

еще недавно встречался на полигонах, космодромах, в научных центрах, понимая, что все они связаны незримым решением, необнародованным до времени союзом. Теперь этот союз твердым, отточенным на окончании фраз голосом отштамповывался в жестяной, серо-блестящий знак. В герб ГКЧП, с наложенными одно на другое, повернутыми в профиль лицами.

Город, куда они въехали, казался ошпаренным, воспаленным. Все так же катили машины, свивались рулеты очередей, текла густая, как вар, толпа. Но все было вспухшим, будто на фасады, на троллейбусы, на гроздьё очередей вылили крутой кипяток. И в потоках транспорта, на перекрестках, у порталов министерств, редакций, государственных учреждений, повсюду виднелась грязно-зеленая броня.

Они проскочили к Лубянке, на площадь, где крутился сверхплотный завиток автомобильного потока, омывавшего памятник Дзержинскому. Огромная фигура на постаменте, обычно темная, тусклая, мертвенно-бронзовая, теперь мерцала, светилась, словно ожила, накалилась. Созданная из неведомого металла, из метеоритного вещества, прилетевшего из иных галактик, она проснулась, как просыпается дремлющий уран, наполняя пространство светящейся радиацией.

Перед входом в здание стояли автоматчики. У гранитного портала, расставив пулеметы, застыли бэтэры. Внутренняя охрана была усилена вооруженными постами.

Они поднялись с помощником в приемную Чекиста, где за стойками, похожими на дубовые трибуны, сидели у телефонов порученцы, откликались на непрерывные звонки, отвечали односложно, сразу же хватаясь за другие, настойчиво дребезжащие аппараты. Помощник скрылся в высоких дубовых дверях, докладывая о прибытии. Через минуту появился, приглашая Белосельцева войти.

Кабинет, тяжеловесный, сумрачно-смуглый, в коричневых дубовых панелях, выполненный в эстетике раннего сталинизма, бережно сохранял в себе дух своих первых хозяев, работавших ночами под зеленым абажуром настольной лампы, хватавших крепкими ладонями пластмассовые трубки тяжеловесных телефонов, гасивших папиросы в хрустальных пепельницах. Среди темного дерева стен и стеклянных шкафов, где были запаяны малиновые и синие тома классиков марксизма, под тяжелой, на черных цепях люстрой, на

крупном старомодном паркете стоял Чекист. Белосельцева поразила случившаяся с ним перемена. Он был все так же миниатюрен, с аккуратной круглой головой конфуцианской статуэтки, маленькими, изящными руками, наивно и доверчиво открытыми глазами. Но в белую тонкую кожу щек брызнул сочный гемоглобин, отчего кожа порозовела, млечно дышала, как у младенца. Глаза сияли радостью и влажной перламутровой свежестью, как у птенца, только что прорвавшего тусклую пленку, восторженно и изумленно увидевшего сияющий мир. Это омоложение Чекиста было связано с ферментом, который впрыснули ему в кровь случившиеся события, яростные энергии, прорвавшиеся, наконец, в изнывающий, чахнувший мир. Танки прогрохотали по асфальту, и от их трясения опала окалина, осыпалась ржавчина и труха, и пожухлые, постаревшие предметы, обветшалые понятия обрели первозданный, светящийся образ.

— Благодарю вас, Виктор Андреевич, что сразу откликнулись на мое приглашение, — он пожимал Белосельцеву руку, и тот почувствовал, какая теплая, мягкая, детская у него ладонь. — Кончился дачный сезон. Начинается сезон больших политических дождей, — весело пошутил Чекист, приглашая Белосельцева за маленький столик, перпендикулярно приставленный к огромному мощному столу, напоминавшему фасад Академии имени Фрунзе.

— Я искал вас, — Белосельцев чувствовал, как бурно размножается в его крови загадочный плазмодий, съедая красные тельца его жизни, и каждая убитая кровяная частица превращается в капельку яда. — Я многократно искал с вами встречи, чтобы доложить о проделанной работе.

— Мне докладывали о ваших звонках. Докладывали о ваших поездках в атомный город, на Байконур, в Семипалатинск. Вы прекрасно поработали, выше всяких похвал.

— Я видел вблизи тех, кого мы зовем государственниками. Оценивал их возможности, их интеллектуальный потенциал и способность к волевому решению. У меня возникли большие сомнения.

— Сомнения справедливы. Потенциал невысок. Волевые качества ниже среднего. Но это, как ни странно, является положительным моментом в той операции, которая стала разворачиваться сегодня утром.

Белосельцев боролся с болезнью. Яды гуляли по его кровяным протокам, залетали горячим дурманом в мозг, порождая безумие. Стены кабинета были коричневые, цвета крепкого чая, и если кинуть дубовую щепку в стакан кипятка, от нее поплывут смугло-золотые разводы, запахнет исчезнувшим временем, старыми табаками, былыми марками одеколонов, и над заваркой, как духи, заколышутся грозные наркомы с кубами и ромбами на военных френчах, возникнут тени разведчиков, чьими руками творилась жестокая история века.

— Я был за границей на конфиденциальных встречах, — Чекист доверительно наклонился к Белосельцеву, словно поездки, в которых он был, задумывались ими обоими. — Я был на Мальте, в Швейцарии, в Коста-Рике. Встречался с шефами разведок Америки, Германии, Китая. Я должен был заручиться поддержкой разведывательного сообщества, проинформировать о готовящихся переменах. Мир должен спокойно отнестись к операции «Ливанский кедр». Мы не должны дестабилизировать равновесие в мире. Америка, Европа, Азия, политические круги Израиля должны быть уверены, что их интересы не пострадают. Что все позитивные преобразования в Советском Союзе будут продолжены.

— По дороге к вам я видел в городе много бронетехники, — сказал Белосельцев. — Вам полностью удалось подавить параллельный Центр? Второй Президент арестован?

— Нет, — ответил Чекист. — Он на свободе. Находится в Белом доме, где демократы образовали штаб обороны. Никто из подлежащих интернированию пока что не арестован.

— Как? — ужаснулся Белосельцев, представляя, что на самом же деле подвластное Чекисту подразделение «Альфа» перехватило мчащийся лимузин Истукана, обезоружило охрану, сменило водителя и, утыкая в раздутые бока рычащего от ненависти пленника пистолеты, помчала его на военную базу, где в казармах, под замками уже сидели взятые ночью мятежники. Бурбулис, укрывшись с головою одеялом, тихонько, безостановочно выл, наводя тоску на охранников в камуфляже. — Почему не арестован Второй?

— Мы не можем прослыть в глазах общественности путчистами, насильниками, жестокими советскими Пиночетами, — пояснял Чекист, сияя наивными глазами младенца, чья кожа пахла молоком. — Мир отшатнется от нас, если мы осуществим прямое насилие над

теми, кто годами выкармливался Западом, является его элитной агентурой. Не мы первые прибегнем к насилию. Мы сделаем так, что укрывшиеся в Белом доме заговорщики, доведенные до истерики, нарушат закон, прольют кровь, осуществят противоправные действия. Мы спровоцируем их на насилие. Пусть они атакуют Кремль. Или штурмуют Останкино, где мы станем показывать классический балет «Лебединое озеро», доводящий до умопомрачения. И когда это случится, когда они выступят с оружием, мы их всех интернируем и станем судить за попытку переворота.

Жар в голове Белосельцева разгорался, и это мешало оценивать слова Чекиста. Линия мысли распадалась на отрезки, между которыми возникали паузы. Он усваивал пунктир, где в прогалах исчезало понимание. Старался соединить обрывки линии, похожей на огненные проблески трассеров. Но это было невозможно, лишь выявлялось направление цели, вокруг которой мелькали колющие проблески.

— Окружение Истукана состоит из неуравновешенных или просто ненормальных людей, которых легко толкнуть на безрассудство. Сам Истукан подвержен болезни, суть которой в появлении мозговых болей и помрачений, когда он теряет над собой контроль и становится непредсказуемым, как шизофреник. Это состояние устраняется серией уколов в живот, куда ему вкалывают препарат, приготовленный из плацентарной крови. Этот витамин ненадолго взбадривает его, и тогда он способен принимать разумные решения. Все эти дни мы держим его на голодном пайке. Не допускаем к нему врача с вакциной. Это довело его до полного психического истощения. Мы пришлем ему сегодня порцию вакцины, которая снимет ужасную боль. В этот момент вы пойдете к нему и выполните мое поручение.

Белосельцев смотрел на огромный дубовый стол с зеленой лампой. Аккуратной стопкой лежали малиновые папки с документами, на которых темнели литеры: «Секретариат ЦК КПСС», «Правительство», «Комитет государственной безопасности». Тут же стопка газет. Стакан с отточенными цветными карандашами. Коробка с фломастерами. Все упорядочено, скупое, безличностно. Ограниченный набор технических средств, явно недостаточных, чтобы управлять огромной планетарной системой, которая тайно, подобно невидимой грибнице, проросла континенты, пустила щупальца во враждебные

армии, проникла в правительства сильнейших мировых держав, уловила в сети виднейших политиков, ученых, артистов, едва заметно воздействуя на их поступки и мнения. Не этими папками и фломастерами обеспечивалась безопасность страны. Белосельцев искал на столе признак могущества. Предмет, указывающий на непомерную мощь системы. Фетиш, выдававший хозяина кабинета. И увидел его. Маленькая литая фигурка, которой прижимался к столу скромный бумажный конвертик. Серебристая печатка в виде белки, поднявшейся на задних лапках. Эта белка была из того же металла, что и памятник на площади. Слабо светилась, мерцала, теплая, живая на вид. Эту белку он видел на зеленой поляне, куда привел его Чекист, рассказав о «Ливанском кедре». Она же, прикинувшись печаткой, сидела теперь на стопке секретных бумаг, слушая их разговор. Несла в себе магическую мощь, управляла мировыми процессами.

— Что я должен сделать? — спросил Белосельцев.

— Вы отправитесь в Белый дом и отдадите Истукану мое письмо. В его окружении вас знают как двойного агента, осуществляющего связь между двумя заговорами. В письме я пишу, что штурма Белого дома не будет и его безопасности ничто не угрожает. Это должно раскрепостить безумную энергию Истукана, побудить к безответственным действиям. Мы внедрили в число защитников Белого дома наших людей, которые, дождавшись пика истерии, поведут толпу на Кремль или в Останкино, спровоцируют Истукана применить оружие...

Белка, несмотря на свои малые изящные формы, казалась бесконечно тяжелой. Под ее устрашающим весом потрескивал старинный стол. Она была раскаленной, источала тепло. Помимо теплового излучения от нее исходили невидимые, обжигающие волны, словно это был реактор непомерной мощи, способный освещать электричеством целый город. Белосельцев, подавив болезнь, испытывал слабость. Нуждался в источнике, который бы возвратил ему силы. Белка и была этим источником.

— Вы получите от Истукана письмо, адресованное Первому Президенту. Он отдыхает в Крыму, в Форосе. С безопасного расстояния наблюдает за развитием ситуации. В письме Истукан заверяет форосского сидельца, своего недавнего недруга, в искренней дружбе. Возлагает вину за их недавний конфликт на группу

консервативных политиков, противодействующих реформам, собравшихся в ГКЧП, толкнувших страну к диктатуре. Он обещает Первому Президенту, если тот отречется от ГКЧП, полнейшее взаимодействие, сохранение главенствующей роли, совместную реализацию реформ....

Белосельцев чувствовал, как просветляется его разум. Как сильно, исцеленно бьется в нем сердце. Белка, прижимавшая к столу бумажный конвертик, вернула ему бодрость и веру. Он снова был суперразведчиком, наделенным высшим доверием. Осуществлял комбинацию, способную малым усилием сдвинуть гигантские массивы истории. Легчайшим толчком круто развернуть ее вектор. Внимал Чекисту. Угадывал невысказанное. Слышал непроизнесенное. Чекист налагал ему схему, хрустальную и простую, как «Маленькая серенада», и он, Белосельцев, был музыкантом, который виртуозно ее исполнит.

— Быть может, вы не знаете, но списки ГКЧП утверждал Первый Президент, вменяя Комитету убрать опасного конкурента. Это значит, что в случае удачи этот болтун и прохвост снова вернется во власть, продолжит идиотизм перестройки, окончательно разорит государство. Он должен быть вычеркнут из игры. Но наши товарищи, — вы их видели вблизи, знаете им настоящую цену, — они слабаки, пляшут под дудку Первого. Поэтому нам необходимо рассечь их связь с Президентом. Сделать так, чтобы Президент не вернулся в их круг, отторгнул их. Этому и послужит письмо Истукана. Вы доставите его завтра в Форос. Мои люди сделают так, чтобы вам не чинили препятствий... Бывают моменты истории, когда бессильны армии, недейственны деньги, информационные удары, снайперские пули и чашечки с ядом. Все зависит от нескольких встреч, нескольких тихих слов, нескольких строчек на маленьком листочке бумаги. Теперь тот самый случай. Вы, Виктор Андреевич, находясь под пристальным моим наблюдением, оберегаемый мною все эти месяцы и недели, подготовлены для проведения операции. Я очень на вас надеюсь. На вас надеется система, надеются страна и народ. Хотя, конечно, что знает город и государство о нашей с вами работе... «Урби эт орби» — эти послания не в наших традициях...

Чекист поднялся, подошел к окну, приглашая жестом Белосельцева. Тот приблизился. Сверху открывалась площадь,

похожая на огромный волчок, в проблесках стекла и металла. Словно вращалось сверкающее колесо, разгоняемое тугим напором. В центре площади, как ее мощная неколебимая ось, возвышался Дзержинский. Высокий, гордый, отлитый из загадочного металла, раскаленной каплей упавшего на землю из глубин мироздания.

Чекист, придерживая тяжелую штору, кивнул на площадь.

— Здесь, в этом клубке, свиваются главные коммуникации Москвы, построенной, как известно, по принципу концентрических колец. Эта площадь — сердце города, сквозь которое прогоняется вся система транспортных потоков. Эти потоки на окраинах Москвы превращаются в главные дороги страны, ведущие в Европу, за Урал, в Азию, к Тихому океану. Поэтому наша площадь является коммуникационным центром государства, а по некоторым представлениям, и всего мира. Именно здесь установлен памятник Дзержинскому. Он, в сакральном смысле, контролирует страну, замыкает на себя артерии государства, не дает им затромбироваться. Мы, чекисты, являемся истинными руководителями страны, хранителями ее гена, ревнителями ее истории. Я хочу, Виктор Андреевич, чтобы вы, выполняя задание, постоянно ощущали свою историческую роль. А я сделаю все, со своей стороны, чтобы вы достигли успеха.

Белка на столе Чекиста и памятник на туманной площади были сделаны из одного драгоценного материала. Были тайными символами власти. Сакральными идолами, охраняющими строй и систему. Чекист вернулся к столу, приподнял печатку, извлек из-под нее бумажный конвертик.

— Вот письмо, которое вы отдадите Истукану. Возьмете взамен другое. Оно уже написано нашими людьми, ждет вашего появления.

Белосельцев принял конверт, пожал маленькую изящную руку Чекиста и вышел из кабинета с той мессианской отвагой, с какой космонавт выходит в открытый Космос.

Он заехал в институт, откуда собирался сделать несколько телефонных звонков. Перед институтом у стеклянного входа с керамической абстрактной эмблемой, изображавшей, по замыслу художника, непознанное мироздание, стоял броневик, грязно-зеленый, с расчехленным пулеметом. Усталый экипаж сидел на броне. Рубахи

солдат были расстегнуты. Перед молодым офицериком собралась группа прохожих, и один, пожилой, в кепке, с седыми усами, бил себя кулаком в ладонь:

— Молодцы, хлопцы! Давно вас ждали! Наведите порядок! А то, суки, страну, как половую тряпку, размазывают! Всех их к стенке ставить надо!

Офицерик, смущенный, растерянный, улыбался, отводил взгляд. Солдаты на броне вяло шурились на толпу, и было видно, что им хочется пить. Белосельцев благодарно и нежно оглядывая утомленных солдат, подошел и молча, сильно пожал командиру броневика узкую ладонь.

Бодро вошел в свой кабинет, молодо оглядел знакомое убранство комнаты, где все казалось посвежевшим, помолодевшим, словно сменили воздух и свет. Черно-зеленый махаон, пойманный на Рио-Коко, сочно блестел изумрудом. Белая оплавленная чешуйка космического аппарата сверкала свежей незастывшей каплей металла. На обломке иконы алое крыло ангела огненно пламенело.

В дверь постучали. Вошел, почти впорхнул возбужденный, ликующий Трунько, социальный психолог, тот, кто, казалось, совсем недавно встречал его у входа в шереметьевскую усадьбу, где при свечах и масляных лампадах проходил магический карнавал. Теперь глаза его сияли, рот не переставал улыбаться. Он прикладывал палец к губам, убеждая себя молчать, но не мог. Делился с Белосельцевым переполнявшими его эмоциями:

— Ну наконец-то, Виктор Андреевич, свершилось! Я всегда догадывался, что вы знаете, что вы причастны! Но понимал — раньше времени нельзя было себя выдавать! Восхищаюсь вами!.. Этот пятнистый кот, целлулоидный Президент заболел. А я-то думал, что он уже драпает на самолете в Америку, а его с земли ракетой, как Чаушеску, на дно моря, рыбам на корм!.. Думали, в игрушки с нами играют! Государство хотели свалить! Рассчитывайте на меня, Виктор Андреевич! Надеюсь, вы не восприняли всерьез тот забавный спектакль, который мы разыграли в Останкино? Все это талантливые актеры, лицедеи. Но сейчас не до этого... Нам нужно, я полагаю, собрать сотрудников института! Демократы как тараканы попрятались! Представляете, никто из них сегодня не пришел на работу! Только мы,

государственники! Но мы их призовем на наше общее собрание, хоть под конвоем! Пусть отвечают!

— Не станем торопиться с выводами, — уклончиво заметил Белосельцев, стараясь не выдать своего энтузиазма. Трунько был коварный враг. Испытывал, утонченно обманывал его, надев на себя личину государственника. Ему, Белосельцеву, предстояло проникнуть в тыл неприятеля, где его считали своим. Трунько был приставлен к нему. Парапсихолог и маг, исследовал его истинные чувства. — Нам нужно быть очень осторожными. Я не приветствую грохот танков на московских бульварах.

Трунько приложил палец к губам. Выскользнул из кабинета на цыпочках, чтобы не хрустнула ветвь, не спугнула затаившихся врагов. Белосельцев смотрел, как Трунько выпадает из фокуса, словно погружается в глубину огромной студенистой медузы.

Он позвонил матери. Услышал ее измученный, с потаенными рыдающими интонациями голос:

— Почему не звонил так долго?.. Жив, здоров?.. Я так волнуюсь... Мимо нашего дома танки идут. До чего мы дожили!.. Думала, хоть старость у меня будет спокойная! — сквозь трубку Белосельцев уловил всколыхнувшиеся в ней страхи, гибельные тревоги, связанные с давнишними ссылками, ночными арестами, повестками в военкоматы, судами. С похоронками, бегством по военным дорогам, среди горящих в ночи деревень. — Витя, когда я тебя увижу?

— Мамочка, быть может, сегодня зайду... Ничего не бойся... Все, что случилось, — во благо!.. Не могу по телефону... Зайду и все расскажу... Целую!..

Когда повесил трубку, вокруг нее, затухая, все еще звучал материнский голос, исполненный слез.

Позвонил друг-писатель Глеб Парамонов. Парамоша, кажется, был навеселе. Похохатывая, сообщил:

— Слушай, Виктор, ну такая красота! Танки на Садовом кольце! Наши в городе!.. Ты ведь все знал, признайся! Ты у нас специалист по переворотам! Ну какая красота! У нас сейчас проходит писательский пленум. Я встал и сказал: «Место русских писателей не в актовом зале, а в танках! Предлагаю послать приветствие патриотам в Кремль, положившим предел предательству!»

В дверь кабинета просунулась круглая стриженная голова, оттопыренные красные уши, чуткий лисий нос с длинными, вынюхивающими прорезями. Тележурналист Зеленкович, в неизменных джинсах и курточке, с маленькой кожаной сумочкой на животе, втек в кабинет.

— К вам можно, Виктор Андреевич? Такие события, исторические!.. Не откажите в коротком интервью!.. Никто лучше вас не скажет!..

Белосельцев хотел отказать, отмахнуться, избавиться от назойливого посетителя, который еще недавно мучил престарелого маршала, выводил на экран певца-наркомана, от хрипатых песен которого отламывались верхушки кремлевских башен. Но слишком велик был триумф. Слишком ликовало истосковавшееся сердце. Понимая, что явился перед ним искуситель, Белосельцев, в нарушение всех заветов и правил, кинулся головой в сладкий омут. Позвал Зеленковича, ерничая над собой, над незванным визитером, над которым уже занесен праведный меч возмездия:

— Входите, мой друг!.. Вы требовали перемен?.. Вот они!.. Дарю вам пять минут!.. Если они у вас еще есть!.. Только для вас!.. В знак особого расположения!..

Зеленкович благодарно, подобострастно закивал. Просунулся в кабинет, затягивая за собой множество, как показалось Белосельцеву, своих подобий, таких же стриженных, красноухих, в поношенных джинсах, с колючим ворохом штативов, треножников, осветительных ламп, телекамер. Пришельцы быстро и деловито распространились по кабинету, уверенно находили розетки, передвигали мебель, запахивали шторы, включали едкие слепящие светильники, бесцеремонно направляя свет в глаза Белосельцеву.

— Виктор Андреевич, — Зеленкович уже сидел перед ним, протягивая микрофон, похожий на маленький орудийный банник или на толстый камыш. Оператор целил черным зеркальцем камеры. — Как вы, конфликтолог, оцениваете случившееся?.. Чрезвычайное положение... Танки на улицах...

— Советские танки на улицах городов — это всегда хорошо. Люди радуются краснозвездным танкам, кидают танкистам цветы. Танки идут по Садовому кольцу как по красной ковровой дорожке, которую постелили им москвичи.

Пористая губка микрофона жадно впитывала слова. Они, как живые соки, пробегали по темному стеблю, по кулаку Зеленковича, капали в его кожаную сумочку, накапливаясь там до времени.

— А как вы относитесь к лицам, взявшим на себя всю ответственность? Вы многих знаете лично.

— Члены ГКЧП — это честные, справедливые люди, у которых не дрогнет рука остановить предательство. Дело, которое они защищают, призвано остановить кровь, разрушение. Их поддерживает Москва, поддерживает Советский Союз.

Зеленкович благодарно улыбался. Губка засасывала слова в свое пористое нутро. Белосельцеву казалось, что он кормит жадное, глотающее существо.

— И последнее... Что бы вы пожелали народу в эти тревожные часы?

— Народ пойдет за своим правительством, за своей партией и армией. И наградой нам будет мирная счастливая жизнь — нам и нашим детям.

Зеленкович убрал микрофон. Похлопал себя по кожаной, туго набитой сумочке. Благодарил, улыбался, униженный и поверженный враг, раздавленный червь. Его помощники быстро сматывали кабели и удлинители, сдвигали треноги. Исчезли как наваждение, оставив после себя ералаш потревоженных стульев, обрывки бумаги, загадочную пустоту пространства, которое было сожжено их появлением.

Белосельцев чувствовал себя победителем. Заставил врага работать на победу. Презирал этих наемных слуг, готовых служить любому хозяину. Успокаивался, гасил в себе неуместное торжество. Сосредоточивался на предстоящем деле, которое напоминало о себе тонким конвертом в кармане. Покидая институт, прошел мимо броневика, у которого все так же клубился народ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Приближаясь к Белому дому, он увидел на Новом Арбате танки. Колонна застыла вдоль тротуара, а мимо неслись лимузины, чуть шарахаясь от бугристой брони. Толпа лилась, отражаясь в витринах. Чуть задерживалась, залипала у стальных серо-зеленых брусков с красно-белыми, лакированными гвардейскими эмблемами. Валила дальше. Клоки и сгустки ее отрывались, приклеивались к танкам, окружали каждую машину живой оболочкой.

Белосельцев чувствовал стальное вторжение танков в городской ландшафт. Пушки были ровно вытянуты в единую линию, в сторону Садовой. Танки угрюмо и мощно встраивались в суетливое мелькание улицы, в хрупкое стекло витрин, в сухие стеклянные плоскости высоких фасадов. Были связаны друг с другом жгутами воли, способностью дрогнуть враз гусеницами, окутаться синей гарью, двинуть, качая орудиями, вдоль мишуры витрин, женских шляпок и зонтиков, нарядной скорлупы лимузинов. Колонна танков была как железный штырь, вбитый в рыхлую материю города, скрепляла ее, предотвращала распад. Белосельцев радовался танкам. Колонна была созвучна ему своей стальной непреклонной волей.

У хвостового танка, окружив его, не приближаясь к пыльной броне, стояли люди. Один, немолодой, весь из жил и морщин, в мятой одежде, кричал на танкистов, истошно бил себя в грудь, пульсировал набрякшей на горле веной:

— Ах вы, суки!.. На народ!.. На отцов, матерей!.. Ублюдки!.. Ну стреляйте!.. Вот она, грудь!.. Вот оно, мое сердце!.. Сколько вам заплатили, фашисты проклятые?..

Он вытащил из кармана червонец, скомкал, кинул в люк, из которого выглядывал хмурый водитель. Купюра упала на броню легким красноватым комочком. Ее сдуло ветром, унесло по асфальту.

У второго танка, вплотную к нему, опираясь на фальшборта, стояла молодежь. Нарядные, свежие, с красивыми прическами молодые люди. Экипаж, в сапогах, в черных комбинезонах, сидел на броне. Они переговаривались, спорили, были не враждебны друг другу.

— Ну а если скажут стрелять! Будете?

— Если прикажут подавить огневую точку, то будем.

— А если в окне мать с ребенком?.. Ну, мать молодая выставит ребенка в окне. Никакая не огневая точка, а мать с ребенком...

— Да кто же даст приказ по ребенку стрелять!

Рассматривали друг друга. Танкисты вглядывались в нарядные, с наклейками и иностранными надписями рубахи горожан, в их свежие чистые лица. А те — в грубые комбинезоны, танковые шлемы, закопченные белобровые лица танкистов.

У третьей машины столпились женщины. Протягивали танкистам бутылки с молоком, кульки с пирожками. Одна, немолодая, в платочке, тут же, на броне, делала бутерброды.

— Сыночки вы наши! Вы-то чем провинились?.. Ну старики дерутся, а вас-то зачем запутали?.. Небось не евши, не пимши... Вы ешьте, ешьте... Матки ваши небось не знают, где вы теперь находитесь...

Танкисты осторожно принимали из женских рук бутерброды, бутылки с молоком, солидно жевали. У стриженного рыжего парня, запрокинувшего бутылку, стекала по щеке молочная струйка, капала на брезент комбинезона, на крашеную шершавую сталь.

У четвертого танка играла гитара. Подвыпившая молодежь пританцовывала. Накрашенная хмельная девица шлепала ладонями по броне, оставляя на пыльной поверхности отпечатки. Подмигивала офицеру, сидевшему наверху, у пушки.

— «Раздайте патроны, поручик Голицын!.. Корнет Оболенский, налейте вина!» — Девица вдруг стала карабкаться на танк. Ее подсаживали с земли. Офицер, поколебавшись, протянул ей руку. Она заголила длинные смуглые ноги, влезла на танк, замахала с него. Сделала несколько сильных движений бедрами. Танкист, боясь, что она упадет, ухватил ее за пояс, на мгновение прижал к себе.

Белосельцев смотрел на бруски зеленых машин, на красно-белые гвардейские эмблемы. Танки были выстроены по единому вектору. Единая воля выставила их пушки, направила их прицелы.

Но эта стальная, неколебимая воля здесь, в толпе, словно увядала, умягчалась, чуть провисала. Мощь колонны казалась мнимой, угроза удара была поддельной. И это тревожило Белосельцева.

Он вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Стал искать в толпе, среди экипажей, в стеклах близких витрин. Вдруг увидел на мгновение исчезающее лицо, внимательное, зоркое, скрывшееся за другими возбужденными лицами. Ловейко, разведчик, наблюдал за ним из толпы. Его вели. Его действия отслеживали. Провожали к Белому дому.

На Краснопресненской набережной, куда он вышел под морозящим дождем, у белого дворца он увидел баррикаду. Поваленный, палуперевернутый грузовик обнажил закопченное подбрюшье, уродливый картер, из которого изливалось липкое масло. Впритык к грузовику был подогнан автобус, двери настезь, сиденья выдраны, в разбитых окнах из мешков с землей сделаны амбразуры. Грузовик и автобус были засыпаны, обвалены грудami мусора, арматурой, кирпичами, досками, мотками проволоки, контейнерами для помоев, лавками и щитами фанеры. К баррикаде со всех сторон, из дворов и проулков сносили хлам, по-муравьиному упорно и непрерывно складывали частицы городского мусора, встраивали в хаотическое сооружение, придавая ему уродливо-осмысленную форму. Вся баррикада шевелилась, хрустела, звякала, росла ввысь и вширь.

«Вавилонская башня демократии»,—думал Белосельцев, наблюдая фантастическую архитектуру баррикады, в которой мерещился образ побеждающего нигилизма, торжество распада, жуткое упрямое богоборчество отпавших от света людей.

— Ну что встал, давай помоги! — окликнул Белосельцева небритый человек в робе, один из тех, что ухватили сваренные, склепанные трубы, служившие строительными лесами. — Давай подхватывай!

Белосельцев машинально подхватил край ржавой мокрой трубы, понес ее вместе с другими возбужденно дышащими строителями.

Шмякнули ношу к подножью баррикады. Стали заталкивать, затаскивать трубы наверх, цепляя проволоку, расщепленные доски, осыпая на себя сор и ошметки. Укрепив обломки лесов, люди удалились, сутулые, отряхивая руки, растекались по окрестным дворам, выискивая материал для строительства. Белосельцев остался стоять, держа на весу ладони в мокрой кислой ржавчине, отирая об асфальт подошву, измазанную машинным маслом.

«Вавилонский столп, возводимый гордыней безумцев, будет повержен, а эти вольные каменщики будут рассеяны. Разбегутся, бормоча на невнятных, похожих на бульканье языках», — думал Белосельцев, глядя на нелепую магическую пирамиду, возводимую в центре Москвы.

Баррикада двигалась, жила и дышала, имела свой запах и звук. От нее пахло кислым железом, мокрым камнем, зловоньем покинутого жилья, тлеющей мертвой материей, сырой известкой и деревом. Она пахла трупом. Звук, который она издавала, был звуком оползня, когда отваливается и осыпается склон, скатываются бесчисленные частицы вещества и возникает шуршащий, шелестящий шум скорого обвала. Ее цвет был цветом лохмотьев, сумерек, блеклых покровов, среди которых ярко и сочно вспыхивали обрывок плаката, куртка строителя, лицо женщины, похожей на жрицу неизвестного древнего культа, совершающую на капище обряд таинственной веры.

Баррикада из рухляди не выдерживала удар танка, который промнет в ней, как в сене, пустой коридор, проползет сквозь мусор, вынося на броне гнилые доски, путаницу арматуры. Баррикада имела иной смысл, ритуальный, магический. Она была храмом демократии, сооружаемым среди поверженной, сокрушенной страны.

Руководил строительством энергичный, с бронзовым лицом человек, чьи смоляные волосы были перехвачены тесьмой, а черная блестящая борода казалась отлитой из стекла. На нем был клеенчатый фартук. Он цепко перемещался по баррикаде, уверенно ставил ноги на шаткие уступы, подталкивал мускулистой рукой обломок доски, обрезок железа. Его горящие глаза летали по сторонам, вдоль набережной, пустой и безлюдной, по реке с морозящим дождем, по мосту с мелькающими автомобилями, к белому, смутно парящему дворцу, где в отдалении клубилась толпа. Он был архитектор, строитель храма, ведающий его замысел и чертеж. Строил вместилище таинственным духам. Алтарь для жертвоприношений.

— Арматуру вперед валите! Штырями навстречу! А следом песок и кирпич!.. Танки на штыри наткнутся, в песке увязнут! А мы их бутылкой с горючкой!..

Он был стратегом, понимал законы пространства, направление ударов, траекторию пуль, движение бронеколонн. Баррикада складывалась по его чертежу и замыслу. Этот замысел касался

таинственных законов мироздания, в котором совершалось извечное единоборство Света и Тьмы, Любви и Ненависти, Красоты и Уродства. Пирамида, сотворяемая в центре Москвы, была престолом жестокому неизвестному богу, чей лик туманно витал в дождливом московском небе.

— Да уберите вы это тряпье! Оно же первым вспыхнет!.. Рельсы, рельсы вперед!.. — понукал он строителей, которые повиновались его властному окрику.

В автобусе, чьи разбитые окна были заложены мешками с песком, сидели молодые люди и девушки. Расставили на полу бутылки с винными наклейками. Сквозь воронку из канистры лили в них бензин. От баррикады веяло горючим, женскими духами, и все это мешалось с тлением помоек, сладковатыми ветерками распада.

Белосельцев угадывал в баррикаде остатки машин, механизмов, обрывки газет и книг, детали городской архитектуры, обертки консервированных продуктов, — следы распада огромного города. Город разрушался, терял свои формы и контуры, лишался площадей и бульваров, высотных зданий и памятников. Баррикада жадно вбирала в себя фрагменты распадающегося города, ломти умирающей цивилизации. Возвышалась и пучилась за счет гибнущей Москвы, расширяясь в безграничную свалку.

Среди работающих на баррикаде выделялся молодой, с красивым изможденным лицом человек. Вскарabкался на вершину баррикады, среди досок и обрезков металла устанавливал трехцветное знамя. Полотнище отсырело, отяжелело, обволакивало его. Он отлеплял его от плеч, распускал, старался, чтобы оно заиграло трехцветьем. Телевизионная группа японцев ловила его в объектив, а он, заметив, явно позировал. Был похож на актера, игравшего роль героя. Белосельцев вдруг с облегчением подумал, что все они — юнцы в обшарпанных джинсах, бритоголовые, с петушиными хохлами панки, старик в гимнастерке с засаленными колодками, немолодая женщина с распущенными цыганскими волосами и грозный, блистающий взором вавилонский строитель — все они не более чем актеры. Баррикада была всего лишь декорацией, изображающей баррикаду, город — декорацией, изображающей город, а танки — декорацией, изображающей танки. К вечеру зажгутся софиты, придет съемочная группа «Мосфильма» с талантливым режиссером, и все они — и сам

Белосельцев, и Главком, и Зампред, и Партиец, и все остальные, кто вошел в грозный Чрезвычайный Комитет, талантливо сыграют сцену с бутафорской стрельбой из деревянных ружей, неправдоподобным рокотом фанерных танков, фальшивым падением мнимоубитых, а потом все разойдутся по гримерным, смоют грим, совлекут театральные облачения. И он, Белосельцев, вернется в деревню, в сухое благоухание близкой осени, в смуглую золотистую избу, где ждет его любимая женщина.

Он наблюдал за баррикадой. Люди сменяли друг друга. Каждый что-то приносил, бросал и больше не появлялся, словно совершал какой-то обряд, прикладывался к магическому алтарю, приобщаясь к новой религии. Священник в черной рясе, в скуфейке, с серебряным крестом, осенял баррикаду, но его знамение казалось неполным, каким-то треугольным. Он развешивал в воздухе треугольники, сдвигал их по кругу, и они превращались в хоровод загадочных звезд.

Возникли женщины, молодая и старая, с одинаковыми глазами армянских мучениц, мать и дочь, вместе подтащили обломок доски, кинули и тоже исчезли. Мускулистые, шумные рабочие в спецовках подволокли срубленное дерево, закинули его шелестящей кроной на баррикаду, занавесив листвой окна автобуса, и парни, изготавливавшие зажигательные бутылки, сердито закричали. Рабочие сдвинули дерево, освободили оконные проемы, а потом бесследно исчезли.

Баррикада напоминала курган, и все, кто ни появлялся, кидал в него горсть земли. Курган разрастался. Кто-то лежал под землей, то ли князь, то ли царь, чья смерть уже состоялась. Белосельцев подумал, что это он сам лежит в глубине кургана, его засыпают, на него наваливают железо и камни, перевернутые машины и рельсы. И он будет лежать здесь века, погребенный, замурованный, и никому никогда не узнать, что он, любивший, страдавший, так и непознавший Бога, лежит окаменело в кургане.

Ему начинало казаться, что многие из тех, кто появлялся на баррикаде, были ему знакомы. Он их где-то встречал — в домах ли, в салонах, на конгрессах, в мастерских художников, в телевизионных программах. Здесь были кришнаиты с голыми бугристыми черепами, в апельсиново-оранжевых несвежих хламидах. Приходил раввин с седой бородой и кольчатыми пейсами в бархатной, как воронье перо, шляпе.

Несколько минут напряженно работал, набрасывая стержни, известный атлет в спортивной блузе с гербом СССР.

Он увидел, как к баррикаде подкатил нарядный лакированный микроавтобус, похожий на жука-плавунца. Задние дверцы растворились, на землю прыгнули два молодца, стали выгружать картонные ящики, устанавливать раздвижные столики. Из кабины вышел человек в широкополой ковбойской шляпе с пышным трехцветным бантом. Его коричневое сморщенное лицо показалось Белосельцеву знакомым. Он узнал Ухова из благотворительного фонда. Углядел на дверцах микроавтобуса знакомую эмблему — Богоматерь с младенцем и надпись: «Взыскание погибших».

— Защитники свободной России! — Ухов приложил ладони ко рту, трубно, с аффектацией взывал к баррикаде. — Примите даяние от предпринимателей Москвы, которые не жалеют ни денег, ни сил, ни самой жизни в борьбе с диктатурой!.. Подходите, подкрепите силы, которые вам понадобятся для борьбы с коммунистами!.. Просим от души!.. Подходите, подкрепляйтесь, чем Бог послал!..

Молодцы вскрывали картонные ящики, извлекали связками банки с пивом, выгружали на столики горы бутербродов, пачки сигарет. И все, кто строил баррикаду, повалили к столикам. Вылезали из щелей и ниш, набегали из соседних дворов. Подходили к столикам, хватали пиво, вскрывали чмокающие банки, жадно жевали бутерброды, рассовывали по карманам сигареты. Молодцы радушно, с улыбками вытягивали из ящиков новые связки пива, вываливали на скатерку новые горы бутербродов.

— А вы что ж не подходите? Милости просим! — Ухов вдруг узнал Белосельцева, изумленно воздел брови, приводя в движение всю сложную систему морщин, напоминавших дельту древней иссохшей реки. — Виктор Андреевич, и вы здесь? С нами? Значит, чудо свершилось и Савл окончательно превратился в Павла?

Появление Ухова вернуло Белосельцева к реальности, в которой он был разведчиком, выполнявшим задание, а Ухов — врагом, который мог его выдать и которого необходимо было ввести в заблуждение.

Ковбойская шляпа Ухова едва не задевала полями лицо Белосельцева. Пышный красно-бело-голубой бант источал едва уловимый запах духов.

— Так, значит, вы окончательно с нами? С вашим тактом, Виктор Андреевич, с вашим чувством истории этот выбор был неизбежен. Вы должны отправиться в Кремль, к своим бывшим друзьям, которые прислушиваются к вашему мнению, к этим дуракам и преступникам, и сказать, что они проиграли. Пусть сдаются. Пусть выйдут с повинной к народу. Наденут на шеи веревки и босиком выйдут из Кремля на площадь. И тогда, быть может, мы их простим и не тронем. А иначе — казним!

Он пульсировал морщинами, и каждая из них щупала Белосельцева, пыталась проникнуть в подкорку. Умные, твердо-холодные глаза пытливо всматривались в него, не верили, искали признаков вероломства.

— К сожалению, вы правы. В Кремле нет стратегов. Они действительно проиграли, — Белосельцев маскировался, экранировал свои истинные чувства и мысли. Скрывал свое торжество. Ухов был враг, который подлежал уничтожению, как и эта бутафорская, из отбросов и хлама баррикада. Но сейчас надлежало скрывать свой триумф. Письмо лежало у сердца. Враг был введен в заблуждение.

— Я вас поведу в Белый дом, — Ухов кивнул полями шляпы на бело-туманную громаду дворца, окруженного вялым колыханьем толпы. — Вы увидите напряжение борьбы и включитесь в нее. Там есть наше радио, ваши слова к народу будут услышаны. Оттуда вы отправитесь в Кремль и скажете этим преступникам, чтобы они сложили оружие. Их время прошло. Мы посмеемся над ними, отпустим на пенсию и оставим в покое. А иначе — мы их уничтожим!

— Я как раз собираюсь пойти в Белый дом.

— Мы присутствуем при сотворении новой истории. Участвуем в историческом творчестве. Мертвечина уходит, а новое, могучее побеждает. Мы, предприниматели, бросили клич: «Все для новой России!» Как Минин и Пожарский, мы соберем свои миллионы, кинем под гусеницы танков, и те остановятся. Развернут свои пушки и станут долбить по Кремлю, где засели преступники.

Белосельцев смотрел на трепещущие морщины Ухова, и в этих щупальцах бился пойманный город. Каждая морщина протянулась по проспектам и улицам, залегла в концентрические кольца. Пойманный город корчился, его переваривали, спрыскивали едкими соками, размягчали мутными ядами. И следовало пустить по улицам танки,

чтобы траки раздавили коричневые щупальца, освободили плененный город.

— Надо удержать события в рамках политического процесса. Ужасно, если прольется кровь, — произнес Белосельцев.

Глаза под шляпой остановились, сузили диафрагму. Сделали моментальный кадр.

— А что так бояться крови? Россия стоит на крови праведников, — усмехнулся Ухов. — Только то и останется жить в истории, на что капнет кровь... Прощаюсь с вами, Виктор Андреевич. Сходите в Кремль и скажите им про веревки!

Он отвернулся к лакированному грузовичку, стал поторапливать молодцов. Те кинули на баррикаду разорванные картонные ящики и пустые пивные бутылки, погрузились в автобус и все вместе укатили прочь от баррикады, которая отдыхала, окутывалась сладкими табачными дымами, чмокала и сосала пиво. Белосельцев поймал последнюю фразу про кровь. Прозорливый Чекист был прав — враг терял бдительность и рассудок. Был готов к пролитию крови.

Белосельцев подошел к Белому дому, к высокому ступенчатому парапету, на котором разрозненно, редко слонялись люди, собираясь в небольшие группки. О чем-то спорили, кого-то клеймили, кого-то призывали на помощь. В одной группе неразборчиво и надсадно гремел мегафон. Над другой развевался трехцветный флаг. Белый дом с мраморным огромным фасадом, хрустальными окнами, золотым циферблатом на башне величаво и отрешенно смотрел на туманную реку, словно тяготился наполнявшими его обитателями. Белосельцев раздумывал, как, под каким предлогом проникнуть в громадное здание. На каком подъезде легче пройти сквозь посты охраны и в лабиринтах и коридорах дворца отыскать Истукана, добиться с ним встречи.

Он подымался по ступеням наверх к центральному подъезду, и у гранитных, грубо отесанных стен, увидел танки. Их было несколько, прорубивших на асфальте насечки, вставших на въезде, повернувших пушки вдоль фасада, мимо дворца, к мосту. Вокруг танков собралась молодежь, расхаживали автоматчики. Белосельцев подошел к ближнему танку, увидел сидящего на броне могучего прапорщика, а внизу, облокотившегося на корму офицера в погонах полковника, с лицом, похожим одновременно на молот и наковальню, — тяжелый

подбородок, крутые скулы, приплюснутый нос, оспины, словно маленькие кратеры на снимках луны. «Полковник Птица», — узнал Белосельцев того, кто спустился на парашюте во время маневров, бежал в противогазе к площадке, где разместился Главком, содрал с головы очкастую резину, открыв потное красное лицо, напоминавшее огромный помидор, выращенный в кубической банке. Часы в золоченом тяжелом корпусе, командирский подарок Главкома, красовались на запястье военного.

— Полковник Птица, не так ли? — Белосельцев приветствовал офицера кивком. Тот всматривался, щурил холодные злые глаза, выпячивал нижнюю губу, еще больше утяжелявшую подбородок. — Я был на площадке, у белорусского хутора, когда вы десантировали дивизию. Главком назвал вас гроссмейстером победы, и вы так напугали противника, что тот вынужден был сделать ход конем.

Полковник, кажется, вспомнил Белосельцева. Глаза его чуть потеплели, и нижняя губа слегка убралась, оставив на лице выражение тяжелой усталости.

— Какая обстановка? Не боитесь истребителей танков? — Белосельцев кивнул на группки людей, сновавших вокруг машин.

— Истребители танков не здесь, среди этой шушеры. А там, где красные башни. Одним телефонным звонком могут дивизию положить. Что и делают с нами, дураками, несколько лет подряд... Столбенский!.. — он повернулся к прапорщику. — Ты почему не на рации?.. Нет ли какого дурного приказа?

— Все дурные приказы отданы, товарищ полковник, — нагло и весело ответил могучий прапорщик, ходивший, по-видимому, в любимцах у командира.

— Ты на время смотришь? Ньюру пора выгуливать. Сам, небось, вылез на свежий воздух, а ее заставляешь в броне печься. Давай выводи на прогулку.

Прапорщик по-медвежьи мощно и мягко метнул свое тело в люк. Повозился в глубине танка. Вылез из железной берлоги, осторожно вынося на свет картонную коробочку с просверленными отверстиями и какой-то штырек, закрепленный в подставке. Установил штырек и подставку на броне. Осторожно раскрыл коробку и, действуя грубыми, толстыми пальцами, извлек из коробки живое, трепещущее лапками существо.

— Нюра, Нюра, ну погоди, ну потерпи... — приговаривал прапорщик, оглядывая со всех сторон существо, дуя на него толстыми губами, словно сдувал пылинки. Существом оказалась большая черно-синяя жужелица с пупырчатым панцирем, на котором играл радужный отсвет, будто термическая радуга. Белосельцев знал, — такие жужелицы водились в полупустынных предгорьях Средней Азии. Внезапно переползали тропу, застывая на горячей земле, словно темная капля металла, упавшая с неба.

Все так же ловко и точно, несмотря на толщину своих зазубренных грязных пальцев, прапорщик накиннул на грудку жука нитяную петельку с поводком. Другой конец с такой же петелькой надел на штырек. Отпустил жука на броню, и жужелица, часто перебирая лапками, натянула поводок, побежала по кругу, быстро, привычно, безостановочно, как вокруг коновязи. Полковник и прапорщик, сблизив свои грубые лица, зачарованно смотрели на бегущего жука, вовлеченного в бесконечное круговое движение, словно часовой механизм.

— Наша Нюра, почетный десантник, сержант сверхсрочной службы, кавалер ордена Боевого Красного знамени, отличник боевой и политической подготовки, дочь полка, — полковник Птица, шевеля одутловатыми губами, обнажая крепкие желтые зубы, взирал на насекомое, и в его сиплом голосе чудилась странная нежность. — Состоит на довольствии. Совершила тридцать прыжков с парашютом. Награждена почетной грамотой Верховного Совета Азербайджана.

Белосельцев не удивился, увидев жужелицу. В боевых колоннах нередко держали собак и кошек, иногда петухов, иногда живых кроликов. В Афганистане он видел варана, посаженного на поводок, которого солдаты держали в бэтээре. Забирали на операции, на перехват караванов, на столкновения в кишлаках и ущельях. Животные приносили удачу, берегли от смерти, были подобием тотемного зверя, которому поклонялись солдаты.

— Что ж, сразу видно, солдат в хорошей форме, — похвалил Белосельцев, наблюдая неустойчивый бег жука. — Накормлен, напоен. Совершает марш-бросок по пересеченной местности. Выполнит приказ командования по поддержанию порядка в Москве.

— Нюра любит столицы. Чуть какая заваруха, и десантуру посылают грязь подтирать за политиками, Нюра всегда с нами. Я ее в

часть принял, когда она еще целкой была. А теперь две нашивки за ранение. В дембельском альбоме снята в обнимку с самим Шеварднадзе.

— Такому солдату может позавидовать Суворов, Жуков, маршал Язов, — поддерживал разговор Белосельцев. — В каких кампаниях участвовал славный солдат?

Огромный белый дворец возвышался на набережной, зеркально сияя окнами, наполненный смятенными людьми. Танки стояли вдоль фасада, нацелив тяжелые пушки, готовые ахнуть по железной дуге моста. Москва кипела страстями и страхами. Собиралась бежать и стрелять. Выпрыгивать их окон, присягать, предавать. Работали штабы и секретные службы. Посольства рассылали депеши. Политики, боясь проиграть, упражнялись в вероломстве. А здесь, посаженная на тонкую нить, бежала по кругу жужелица, отмеряя лапками крохотные отрезки пространства, и ее маленькое вещее сердце содрогалось в такт мирозданию.

— Ее Столбенский в спичечном коробке в часть доставил, когда входили в Алма-Ату, — полковник Птица любовался жужелицей, на которой сверкала солнечная медная точка. — Там, понимаешь, косоглазые пацаны и девки на улицы вышли, стали советскую власть свергать. «Русские собаки, домой!.. Казахам — казахскую власть!..» С палками, с камнями, русских баб вылавливали и в подворотнях насиловали. Партийное начальство приказывает: «Десантники, в город! Подавить беспорядки!» Мы в город вошли, толпу оцепили. Мне один щенок песок в глаза метнул: «Русские палачи!» Ах ты, сука, думаю, мы вас стоя ссать научили, а вы нам за это спасибо?» Взял его за шкурку и об стену легонько. Мозг, конечно, потек, потому что жидкий. Кто виноват? Кто бедных казахских мальчиков-девочек обидел? Конечно, армия! Партия — в кусты. У нас командира — под суд. Мужик Афган прошел, а тут на тебе — застрелился. Я тогда первый раз Нюру спросил: «Нюра, скажи, как быть? Тоже, что ли, стреляться?» Нюра мне отвечает: «Служи, командир, у тебя впереди большие дела. Большое назначение будет». Ну я и продолжил служить. А Нюру вместо замполита назначил. Совета у нее спрашиваю...

Белосельцев смотрел на жужелицу, совершающую орбитальное кружение, словно крохотная планета. Ее молчаливый бег проходил среди смятенного города, и казалось, она ведает об их общей судьбе.

Темное тельце, похожее на шкатулку, хранило в себе тайну их появления здесь, у этого белоснежного здания. Торопливые лапки, чуткие тревожные усики старались поведать людям их будущее. Белосельцев хотел понять таинственный бессловесный язык, которым одна жизнь пыталась объясниться с другой. Не мог. Взирает на плененное существо, ведающее об их жизни и смерти.

— На другое хорошее дело партия послала десантников. Армяшки сдурели, стали провозглашать независимость. В Ереване сползлись их тысячи. Орут, железными палками машут. «Русские, убирайтесь в Россию!.. Да здравствует дашнак-тютюн!..» Я им говорю: «Мужики, да вас без русских турки до последнего вырежут... На всех ваших баб чадру наденут». А они: «Шовинист!.. Империалист!..» Прапорщик наш ехал в автобусе, жену на самолет провожал. Вытащили обоих. Прапорщика застрелили, а жену его всей толпой насиловали. Я дал команду: «Вперед!» Мы их там месили не хуже турок. Скандал на весь мир. В газетах: «Палачи в кровавых тельняшках». Кто виноват? Партия, конечно, в кусты. Армия виновата. Командира в отставку. Едва от суда отмотали... Я к Нюре: «Что делать? Может, валить из армии, пока цел?» — «Нет, — отвечает, — служи. У тебя впереди предназначение». Ладно, буду служить... Еще одно хорошее дело сделали во имя партии и правительства. В Тбилиси шашлычники решили выходить из Союза. Видеть их не могу. Наглые, волосатые, как обезьяны. На курортах русских баб ебут. Деньгами каминь топят. На наших слезах богатеют. А тут: «Слава свободной Грузии!.. Кавказ без русских!.. Русский Иван, кончай хамить!..» Собралось их на площади тьма! Дни и ночи гудят, в армейские машины бросают камнями. На третий день Москва приказывает: «Свернуть митинг». Мы, конечно, пошли, без оружия, тихонечко их подталкиваем, выдавливаем с площади. А они выслали вперед спортсменов накаченных. Бицепсы, морды, ногами в висок бьют. Одного десантника вырубил, другого. Парням надоело под ботинки виски подставлять. Достали саперные лопатки и маленько их порубили. Хороший шашлык получился. Опять вой! Собчак обоссался от злости. Комиссию присылали. Как водится, Москва в кусты — армия во всем виновата. Командующего округом сняли. Я к Нюре: «Что скажешь?» — «Служи, — говорит. — Большое предназначение». Во, бляха- муха!.. Далее со всеми остановками. Ночью вошли в Баку.

По колоннам из окон азеры кидали гранаты. Я приказал: «Пушки, пулеметы — елочкой! Ебашим по снайперам!» Так с огоньком и прошли, ихние легковушки давили броней. Воя не оберешься. Опять десант виноват, а партия в стороне. Меня к прокурору таскали, слава Богу, нормальный мужик, вологодский. Я к Нюре: «Ну что, бляхмуха, служить?» — «Служи, — говорит, — станешь первым человеком в стране...» В Вильнюсе этот гребаный телецентр! Прибалты хуже эсэсовцев, «зеленые братья» с красными мордами. Женщин со свечами вперед поставили, а снайперов рассадили по крышам. Партия сказала: «Вперед!.. Не дадим войскам НАТО оккупировать советскую Прибалтику». Ну мы, конечно, вперед. Пули по броне — жиг, жиг! Ротного срезало, у него накануне жена родила. Ну мы, конечно, постреляли немножко, штукатурку отбили на ратуше. Кто виноват? Десант! У партии ручки в перчатках. Меченый Президент опять где-то в поездках скрывался. Нашего генерала под трибунал. А Нюра свое: «Служи!» И вот опять двадцать пять. Партия сказала: «Вперед!.. Даешь Москву!.. Даешь Белый дом!.. Подавить врагов коммунизма!.. Выполнить приказ Комитета!..» Ну и что же мне делать прикажете? Долбить из пушек по окнам? Стрелять в упор по толпе? Рубить девчонок лопатками? Давить пацанов гусеницами? А может, послать всех на хуй? Может, двинуть танки на Кремль? Армия устала от партии!.. Устала от вранья и подставок!.. Может, включить стартеры и херачить на Красную площадь? И что же мне делать, Нюра? Скажешь опять: «Служи»? Врешь, безмозглая гнида! Верил тебе, да изверился. Буду сам решать. А ты теперь отдохни!.. — полковник Птица сжал кулак и ударил жужелицу, которая тихо хрустнула и расплющилась. Взял раздавленного жука, у которого чуть подрагивали лапки. Кинул в люк танка, отирая кулак о броню. — Мы теперь сами — партия... А значит, подставы не будет...

— Виктор Андреевич, — позвал Белосельцева голос. Оглянулся — рядом стоял скромно одетый мужчина с невыразительной блеклой наружностью. — Мне сказали вас встретить. Вас ждут в Белом доме.

Полковник Птица, забыв о Белосельцеве, повернулся к фоторепортеру с эмблемкой «Нью-Йорк Таймс». Позировал, сидя на танке.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Блеклый незнакомец провел Белосельцева в Белый дом сквозь боковой подъезд, охраняемый вооруженными милиционерами. Им в подкрепление стояло несколько штатских в бронежилетах с автоматами ближнего боя. Едва он вошел в вестибюль, как столкнулся с мясистой дамой, известной депутаткой, напоминавшей индейку малиновым вислым носом и грузным оплывшим животом. Именно такие индейки, только без платья, появлялись на столах американских семей в праздник Благодарения. Дама строго, оценивая мужские достоинства Белосельцева, осмотрела его с ног до головы. В лифте вместе с ним оказался министр иностранных дел, получивший должность из рук российского Президента и уже пообещавший Курилы японцам. С влажными, женственно-выпуклыми глазами, с таким же влажно-розовым, чувственно приоткрытым ртом, он держался за крупный, пористый нос, прочищая его сильными, чуть сиплыми выдохами. Они вышли на четвертом этаже и просторными коридорами, по алым коврам, мимо одинаковых дубовых дверей, достигли приемной, где на диванах восседали суровые автоматчики, а высокая закрытая дверь скрывала какую-то важную, тщательно оберегаемую персону.

— Подождите минутку, Виктор Андреевич, — произнес провожатый. — Я доложу Коржику о вашем прибытии. — Доверительно кивнул автоматчикам, бесшумно скрылся за дверью, оставив Белосельцева гадать, не является ли Коржик личным телохранителем Президента, его душеприказчиком и спасителем.

Двери открылись, и к Белосельцеву вышло лысенькое, белесенькое, подслеповатое существо, похожее на морскую свинку, с чутким розовым носиком. Приблизилось и стало не разглядывать, а обнюхивать каждый кусочек его одежды и открытого тела, составляя о Белосельцеве какое-то свое, присущее морской свинке представление. С помощью обоняния определяло, есть ли под его пиджаком оружие, или взрывчатка, или отравляющие вещества. Унюхало находящееся в кармане письмо, казалось, прочитало его, двигая влажным слизистым носиком, и осталось довольное его содержанием. Лишь после этого

бледная, заросшая пушком кожа у переносицы раздвинулась, и на Белосельцева глянули жестокие красные огоньки лазерного прицела, вычисляющего, в какое место черепа надлежит послать пулю.

— Вы можете передать мне письмо. Я доставлю его Президенту, — шелестящим голосом произнес Коржик, стараясь быть любезным настолько, насколько это удастся грызунам.

— К сожалению, пославший меня поручил передать письмо из рук в руки и тут же получить письменный ответ Президента, — ответил Белосельцев, чувствуя, как на шее испуганно забилась незащитная жилка, в которую вот-вот вонзятся резцы.

Коржик молчал, чуть наклоняя голову из стороны в сторону, словно примеривался, как бы ловчее прокусить соблазнительный, пульсирующий кровью сосудик.

— Тогда подождите. Президент занят. Вас пригласят, — и ушел мелкими цокающими шажками, показав розовые, просвечивающие на солнце ушки. Белосельцев покинул приемную и стал разгуливать по коридорам, исподволь наблюдая множество наполнявших дворец людей.

Все они были крайне возбуждены. Сталкивались, сходились, сцеплялись друг с другом как колючки репейника и вновь распадались. Готовились к отражению штурма, который казался неминуемым, ожидался в любой момент. Кто как мог готовился к обороне.

В длинном коридоре каппелевцы в черных мундирах, с цветными шевронами, с георгиевскими крестами и серебряными черепами осуществляли психическую атаку. Шли плотной цепью со штыками наперевес, в ярко начищенных сапогах. Впереди — офицер со стеклом, маленькие аристократические усики, золотые часы на ладони. Поглядывал на циферблат, повторяя: «Левой!.. Левой!.. Ать, два, три!..» В другом коридоре на красном ковре белоказаки в мундирах Войска Донского, в папах, с газырями, все как на подбор усачи, занимались рубкой лозы. Лихой наездник на разгоряченном дончаке, согнувшись в седле, держа наотмашь шашку, несясь тяжелым галопом. Вылетал в вестибюль и, сверкнув острием, срезал стоящий торшер. Другие казаки кричали: «Любо, есаул!.. Оросим воды Тихого Дона жидовской кровью!..» Новый жеребец, роняя пену и дико всхрапывая, несясь по коридору. Всадник, распушив усы, с визгом взмахивал

шашкой, и стеклянная головка торшера разлеталась вдребезги. «Любо, батько!» — кричало казачество и било шапками оземь.

Белосельцев теснился к стене, обходя дымящиеся яблоки конского навоза, на которые уже начинали слетаться степные птички.

Под мраморной лестницей, особняком, сидели хасиды в остроконечных черных колпаках, траурных балахонах, с металлическими синеватыми бородами. Многие в очках, крепко укрепленных на решительных носах. Все они читали вслух рукопись Шнеерсона, чудом извлеченную из книгохранилища Ленинской библиотеки. Укоризненно качали бородами на антисемитские выкрики буйствовавших казаков. Красногубый раввин в двойных окулярах взмахивал черными рукавами, восклицая: «О дети Израиля, станем молить Всевышнего Бога нашего о спасении избранного народа от побиения и гибели, дабы семя его бессчетно разлетелось по миру...» Он трепетал рукавами, из которых вылетали пушистые семена иван-чая, летели по коридорам и лестницам, засевая землю сынами израилевыми.

Белосельцев испытывал к защитникам презрение и сострадание. Они не ведали, что штурм не будет. Не будет громоподобных танковых выстрелов, прошибающих болванками мраморные стены дворца. Не будет бойцов «Альфы», похожих на инопланетян, в стратосферных бронированных шлемах, с дальнобойными автоматами. На всех экзотических обитателей Белого дома накинута ловчую сеть и как пойманных щеглов, снегирей и синиц, весь щебечущий, шуршащий крыльями ворох, повлекут наружу и выпустят на волю. Лишь нескольких, самых беспощадных и злобных, таких как Истукан и его телохранитель Коржик, доставят в тюрьму «Лефортово», где оба, обливаясь слезами раскаяния, подпишут покаянные отречения.

Он двигался по коридору, вдоль витринных окон с видом на Москва-реку, по которой странно, с безлюдной палубой, без капитана и команды, плыл речной трамвайчик. В коридоре толпились разные группы защитников, каждой из которых, по замыслу неведомого, но несомненно талантливого стратега, отводился свой сектор обороны.

В глаза бросались представители партии «зеленых». Взявшись за руки, они окружили кадку с фикусом, давая понять, что не пропустят к ней неприятеля. «Спасем русский лес от большевистских преобразователей природы!.. — выкрикивали они хором, заслоня

фикус. — Уйдем в тайгу от гонений коммунистических варваров!.. — они прятались под развесистым фикусом, невидимые для ищеек ОГПУ. — Хлорофил — это молодость мира, и его добывать молодым!..» Белосельцев с опаской прошел мимо их зеленых, изможденных вегетарианскими диетами лиц.

По соседству разместилась живописная группа. В кресле восседал величавый длинноволосый мужчина, закутанный в простыню, к которой были пришиты кусочки черного сатина, изображавшие хвостики горноста. Мужчина царственно протянул руку к другому, в нижнем белье, почтительно склонявшему благородную седую голову. Торжественно произнес:

— Милостивый государь, я дарую вам княжеский титул. Отныне вы можете называться «светлейшим».

«Светлейший» принял от монарха гербовую грамоту с дарственной на имения в Херсонской губернии, с благодарным поклоном отступил.

— Барон, — государь подзывал к себе другого, румяного и жизнелюбивого, остзейского типа толстяка в одной набедренной повязке. — Ваши заслуги перед государством столь велики, что я жалую вас орденом Станислава Второй степени. Носите эту награду с честью, достойной вашего рода, — государь протягивал награжденному бумажную звезду, и тот благоговейно, послунявив, приклеил ее на голую грудь.

— Господа, в этот трудный для империи час я буду нуждаться в ваших советах, а если понадобится, то и в жизнях, — царствующая особа озидала своих подданных, явившихся на Государственный Совет, и все они, кто босиком, кто в больничных шлепанцах, окружали монарха, поправляя камергерские ленты из газет, ордена из серебряных бумажек, и лица их были торжественны и благоговейны.

К ним подошел санитар в несвежем халате. Пересчитал по головам. Произнес:

— Братцы, Христом Богом прошу, не разбегайтесь. Главврач отпустил вас до восемнадцати ноль-ноль.

Тут же толпились филателисты, ратующие за свободный обмен марками. Все с альбомами, с каталогами и с пинцетиками, которыми они выхватывали из конвертов редчайшие марки Третьего рейха.

Белосельцев торжествовал. Публика, населявшая дом, была неуравновешенна и взвинченна. Легко поддавалась гипнозу. Ее можно было спровоцировать на безрассудные действия. И тогда все, кто здесь был, — казачья сотня, каппелевцы, члены Государственного Совета, молящиеся хасиды, а также защитники окружающей среды с фикусом в руках, пойдут на Кремль, штурмуя твердыню Спасских ворот. И последует, как поведал ему Чекист, ответный разящий удар, обеляющий государственников в глазах мирового общественного мнения.

Его шествие по коридору было остановлено длинной нетерпеливой очередью в кабинет, на котором красовалась рукодельная надпись «Ухо Москвы». Здесь работала подпольная радиостанция, возвещавшая из осажденного Белого дома идеи свободы и демократии. Люди в очереди торопились послать на волю, сквозь кольцо осады, витки колючей проволоки и жестокие шеренги палачей, несколько вольнолюбивых слов, обращенных к согражданам. Станцией руководил молодой, но уже известный журналист, порождение эпохи гласности, который был хозяином станции, ее диктором, редактором, директором и одновременно радиопередатчиком, что облегчало перемещение радиоточки по осажденному городу. Сквозь приоткрытую дверь Белосельцев наблюдал этого смелого, изобретательного человека, рискующего ради свободы самой жизнью.

Посреди кабинета сидел голый, похожий на карлика человек с недоразвитым, коричневым телом, маленькими скрюченными ножками, которые были опущены в два эмалированных таза, с холодной и горячей водой. За счет разности температур вырабатывалось электричество, питавшее радиостанцию. Складчатый коричневый живот человека бурлил, верещал позывными эфира. Вздутый пупок мигал красноватым огоньком, давая понять, что генератор в желудке работает на полную мощность. Вместо правого соска была пластмассовая ручка настройки, а на левом помещался циферблат со стрелкой. У человека была огромная, в полкомнаты голова с гигантским лбом мыслителя, на котором вспухшие вены сами собой нарисовали слово «свобода». Волосы человека, превосходящие по густоте и пышности гриву Карла Маркса, стояли дыбом, заполняли все помещение до потолка, выдавливались сквозь окно наружу. Трепетали, насыщенные электричеством, шуршали, осыпались

полупрозрачными искрами. Были антенной, с которой срывались позывные свободы и радиосообщения из осажденного дома. Микрофоном служило кожаное коричневое ухо человека, вокруг которого волосы были выстрижены, не мешали припадать очередному, вызывавшему о помощи защитнику. Когда же требовались комментарии диктора, человек ловко вытягивая длинные губы и жарко, с легким грассированием, говорил сам себе в ухо, отчего шевелюра его раздувалась еще больше, витала над белым фасадом, словно хвост воздушного змея.

Людям, попавшим в страшную западню осажденного дворца, поминутно ожидающим смерти, было важно выговориться, послать в эфир слово прощания.

Говорила черная, как ворона, колдунья:

— Всем магам и экстрасенсам Москвы, именем Астарты и Гекаты!.. Навесим сообща экстрасенсорное поле над городом, и пусть наши пассы остановят моторы танков, ослепят солдат и их командиров, а у главных заговорщиков Кремля свернется кровь!.. Сатурн повернулся к Юпитеру, и оба победно входят в созвездие Лебедя!.. Братья по вере, наш совместный выход в астрал начнется в восемнадцать часов!.. И да поможет нам мать богиня Изида!..

Ее сменила полненькая расторопная бабенка, прижавшая к уху торопливые губки:

— Женщины-демократки, поможем нашим героическим мужчинам, вставшим на баррикадах!.. Готовьте тесто из блинной муки!.. Лучшее средство от танков!.. Залепить смотровые щели и дула орудий!.. Диктую рецепт приготовления теста!.. На стакан воды два стакана муки!.. И не забудьте яичко, для вязкости! — Она расколола перед ухом-микрофоном яйцо, чтобы Москва слышала хруст скорлупы. Желток растекся по бороде владельца станции, и тот сердито отогнал говорившую.

К микрофону подошел инвалид на двух костылях, слепой, со слуховым аппаратом, весь фиолетовый, в белых тапочках, с жетоном на груди, какие прибывают в учреждениях к казенной мебели:

— Братья, к вам обращаюсь я в эту роковую минуту!.. Все, кто слышит меня в доме престарелых номер шестнадцать, приходите сюда для спасения демократических ценностей!.. Особенно вы, Марк

Ильич!.. Вам не удастся на этот раз отсидеться, как в дни убийства Михоэlsa!.. И пожалуйста, не пользуйтесь моим катетором!..

Ему наследовал изможденный длинноволосый актер, игравший на сцене авангардного театра:

— Я обращаюсь к творческой интеллигенции — не смиряйтесь с диктатурой!.. Не живите по лжи!.. Думайте о Боге, о священном огне свободы!.. Я болен спидом!.. Но я нашел в себе силы бороться!.. Я отдаю мою кровь защитникам Белого дома!.. Диктатура не пройдет!.. — и он в изнеможении отошел от микрофона. Хватаясь за стенку, отправился на донорский пункт.

Вне очереди прорвался старый, осыпанный перхотью поэт. Отставил ножку в стоптанном башмаке. Воздел вверх ручку с заостренным, желтым от никотина пальцем, изображая Пушкина на выпускном экзамене в лицее. Стал декламировать:

И мы, восторженные птенчики свободы,
Вспорхнем, и ради счастья на земле
Во все концы измученной планеты
Благую весть на крыльях понесем...

У него выпала челюсть, звякнула о таз с горячей водой. Хозяин станции ловко схватил ее скрюченными пальцами ног, любезно вернул владельцу.

Белосельцев изумлялся обилию людей, явившихся на защиту Белого дома, разнообразию их взглядов и устремлений, которые все были объединены идеями свободы и демократии. Значит, была в этих идеях неведомая ему сладость, одинаковая для инвалида с фарфоровой «уткой», экстрасенса с засушенной лягушачьей лапкой, поэта с недописанной поэмой «Птенчики свободы». И почему же он, Белосельцев, оставался глух к этой возвышенной музыке, нечувствителен к этой медовой сладости? Терзаемый сомнениями, он продолжал всматриваться в губы, носы, подбородки, один за другим прикидывавшие к «Уху Москвы».

Дородный господин в бархатной куртке, широкополой дачной шляпе, с самшитовой тростью, напоминающий ухоженными усами и бородой Тургенева, откашлялся перед микрофоном:

— Нуте-с, милостивые государи, пора вам, наконец, вспомнить, что вы потомки благородных дворянских родов. Так извлеките из своих сундуков гербовые грамоты на владение именьями в Курской,

Тверской и Ярославской губерниях! Вернитесь в свои разоренные усадьбы и дайте плетей внукам революционных крестьян, сжигавших ваши фамильные библиотеки, черт бы вас всех побрал!.. — отошел, величаво покручивая душистый ус, помахивая тростью.

— А я хочу жениться! — немолодой лысоватый мужчина, с виду младший научный сотрудник, оттянул пальцами коричневую мочку уха-микрофона, отчего владелец радиостанции болезненно сморщился. — Мой рост метр шестьдесят восемь, размер ботинок сорок первый, умею читать по-английски, хобби — клею фигурки из хлеба... — поспешно отошел, забыв сказать адрес проживания.

— Делаю конфиденциальное сообщение, — его сменил бородач в поддевке, в сапогах бутылками, с цыганской седоватой головой. — Великая Княгиня Анастасия жива. Благодаря Богу она спаслась от жидов в Ипатьевском доме. Скрывалась все годы в Сибири, будучи женой Колпашевского секретаря райкома. Теперь же находится в Грузии под надзором верных людей. Да здравствует монархия! — бешено сверкнул черно-лиловыми, навывкат, глазами, трижды осенил себя крестным знаменем, а потом ухватил владельца радиостанции за пластмассовую ручку, чем на время сбил настройку.

Владелец станции скосил глаз на свой стеклянный, в виде циферблата сосок, повертел другой сосок, в виде пластмассовой ручки, находя необходимую волну. Подтянул к губам собственное ухо и прокричал:

— Москва, ты слышишь меня?.. Люди, вставайте с колен!.. Все на защиту Белого дома!.. Вместе — мы сила!.. С нами Америка!.. Мы победим!.. — В желудке его сильнее заработал передатчик, замерцал рубиновый индикатор в пупке, волосы наполнились синими молниями и зарницами, и с них во все стороны понеслись призывы сражаться.

К микрофону приник молодой, владеющий собой человек в ничем неприметной одежде:

— Я — «восьмой»!.. Я — «восьмой»!.. «Первый», как слышите меня?.. — и сделав обычную в этих случаях паузу, передал в открытый эфир шифровку: «Над Мадридом безоблачное небо...»

Это был агент Чекиста. Белосельцев перестал испытывать мучительное одиночество. Белый дом был наполнен тайными единомышленниками. Ситуация была под контролем. Он двинулся дальше по коридору.

Но не каждый, кто попадался Белосельцеву на пути, являлся рядовым защитником, самозабвенным ополченцем, бескорыстным ратником, поднявшимся на бой по зову сердца. Здесь были стратеги и полководцы, опытные военачальники, кто создавал план обороны, вырабатывал тактику отпора и наступления. Белосельцеву встретились двое, переходивших с этажа на этаж. Их громкие голоса разносились в гулком пространстве.

— Приказываю бомбить Кремль!.. Вызвать Четвертую воздушную армию!.. Бомбоштурмовой удар по Министерству обороны и КГБ!.. Сверхточным оружием по памятнику Карлу Марксу!.. Напалмом по Библиотеке имени Ленина!.. В случае, если войска не уйдут в места традиционной дислокации, приказываю нанести ядерный удар по ЦК, где расположен штаб путчистов!.. Выполняйте!.. — это говорил в переносную рацию генерал в авиационных погонах, чей рот, произнося эти грозные приказы, улыбался. Чем беспощаднее были приказы, тем шире улыбалось лицо, словно зубы генерала грызли железные удила, а раздвинутые кончики губ задирались вверх, изображая улыбку. Что-то милое, мягкое было в этом лице, на которое хотелось смотреть и смотреть. «Улыбка Джоконды», — замороженно подумал Белосельцев.

— Педерасты!.. Суки паршивые!.. Яйца им оторву!.. В унитаз головой!.. Бутылку взад!.. Уши отрежу!.. — эта сдержанная мужественная речь принадлежала Летчику, которого Белосельцев уже видел не столь давно в засекреченной подмосковной усадьбе.

Оба авиатора, удачно дополняя друг друга, посылали приказы авиационным соединениям. Подымали стратегическую и фронтовую авиацию. Направляли на цитадель путча, приказывая разбомбить опостылевшие башни и соборы Кремля.

Едва они исчезли, как на лестничной площадке появились трое. Их можно было бы принять за Бурбулиса, Полторанина и Шахрая, если бы не благородные и задумчивые выражения лиц. Они держали на весу карту Москвы, предлагая каждый свой план противодействия путчу.

— Мне кажется, было бы вполне уместно, в силу трудно осмысливаемых и слабо предсказуемых факторов, на изучение которых история просто не оставляет нам реального социального времени, затопить Московский метрополитен, — произнес тот, кто был

похож на Бурбулиса костяными, вываренными добела глазами и хрящевидными, тихо пощелкивающими губами.

— Тут, бляха-муха, одной водой, бляха-муха, не обойтись, бляха-муха, — говорил благообразный господин с утонченным лицом преподавателя Сорбонны, чем-то похожий на Полторанина. — Тут, бляха-муха, надо взорвать, бляха-муха, цистерны с хлором, бляха-муха, которые стоят, бляха-муха, на «Москве-товарной». ПротивогАЗами вас обеспечу. У меня их два. Только не тебе, бляха-муха, — он сердито ткнул в грудь маленького человечка в камуфляже, чьи чуткие усики, желтоватые резцы и розовая капелька носа делали его похожим на крысу. Этот третий пропустил мимо ушей обидные слова и деловито заметил:

— Надо связаться с Академией наук. С Институтом физики Земли. Пусть включают установку «Комсомолец», с помощью которой можно создать над Москвой озоновую дыру и вынудить путчистов сдаться.

Так, размышляя, они неторопливо прогуливались по коридорам Дворца, и тот, что напоминал Полторанина, грациозным движением аристократа извлек из кармана початую бутылку водки и огурец, и они на ходу подкрепились.

Другая троица, не слишком удачно загримированная под Гайдара, Чубайса и Явлинского, кралась тихонько, сторонясь встречных, прячась в тень.

— Они ведь не могут меня повесить? — жалобно вопрошал тот, что был подобием Гайдара и напоминал надутую соску с пипкой на голове. — Ведь мой дедушка был пламенным революционером и один пашкой зарубил двадцать пленных белых офицеров. Ведь есть же, в конце концов, родовые заслуги перед советским строем? — Он издал странный пукающий звук, от него отделился розовый прозрачный шарик, полетел под потолок и там приклеился к люстре.

Мой благородный друг, — произнес тот, кто чем-то напоминал Явлинского. — Вы успели своей оппортунистической деятельностью перечеркнуть заслуги вашего деда и отца перед советской властью. Не думаю, что вы заслуживаете снисхождения. Другое дело я. Мои «500 дней» являются развитием экономической теории социализма. Ко мне, как я узнал, нет никаких претензий со стороны Чрезвычайного

Комитета, который, слава Богу, покончит, наконец, с экономическим хаосом и подрывным оппортунизмом.

— Мудаки вы оба, — сказала рыжая копия Чубайса, у которой каждая пора лица вскипала розовой каплей пота. — Нас если не повесят, то утопят в канализации. Если не утопят, то заживо сожгут в крематории. Если не сожгут, то разорвут тросами, привязанными за бэтээры. Так что кончайте пиздеть. Вот три билета на рейс «Люфтганзы». И молитесь ГКЧП, чтобы не пустил в нас зенитную ракету.

Все трое крадучись прошли мимо Белосельцева, и тот увидел, что двойник Гайдара сотрясается от рыданий.

Белосельцеву хотелось оценить истинные силы защитников. Понять, возможно ли реальное сопротивление штурмующим регулярным частям, спецподразделениям и танковым ударам.

Он видел несколько автоматов, двуствольных охотничьих ружей и казачьих сабель, две-три деревянных рогатины, несколько кос и крестьянских молотильных цепов. Видел метательные устройства, изготовленные из деревянных рогулек и резиновых лент. В одном месте заметил ящик перезрелых помидоров, чье попадание в танк оставило бы эффектную алую кляксу. Арсенал был внушительный, однако явно недостаточный для перехода в контрнаступление. По-видимому, существовали и другие силы отпора.

Белосельцев обходил вестибюли, и в главном, парадном, где мраморная лестница с пунцовым ковром вела от роскошных входных дверей вверх, в центральные апартаменты Дворца, под потолком, на высокой люстре, на кованом обруче с хрустальными подвесками, сидели демоны. Нахохлились как беркуты, ссутулив горбатые спины, сжав грубые, могучие крылья, приспустив оперенные хвосты. Их лысые головы с загнутыми костяными клювами были недвижны. Лишь мерцали крохотные злые глазки, на которые опускались желтоватые кожаные веки, вдруг яростно вспыхивали, словно видели жертву. И тогда демоны склоняли вниз складчатые голые шеи, раскрывали язвительные рты, готовые выдыхать длинное шипящее пламя. Под люстрами, где сидели демоны, на красном ковре скопились белесые зловонные кучи помета, о которые неминуемо споткнется башмак атакующего десантника.

В одном из коридоров до Белосельцева донеслись чарующие звуки виолончели. Он узнал этюд Вивальди, который любил с юности. Пошел на эти сладостные, томные звучания. В уютном холле, среди гортензий и олеандров, окруженный поклонниками, играл Ростропович. Он сидел на канапе, поджав босые ноги. Его сильные бедра облегалo полупрозрачное розовое трико с кружавчиками. Рука мощно и трепетно водила смычком. Глаза были закрыты от страсти. В уголках большого знакомого рта мелко пузырилась млечная пенка. Виолончель работы старинного итальянского мастера, казалось, пела человеческим голосом. Иногда она обретала пышные формы Галины Вишневской, которая протягивала к Ростроповичу руку и ловко хватала за нос. Маэстро кончил играть. Все аплодировали, кидали цветы. А он в изнеможении произнес:

— Революция должна себя защитить... Меняю «Страдивари» на «Калашникова»... Прошу меня простить за минутную слабость... — и по уставшей ноге музыканта из-под кружавчиков побежала прозрачная струйка.

Белосельцев кружил по Дворцу, который казался бесконечным лабиринтом, разворачивающейся спиралью, в чьих завитках начинались галлюцинации, возникали видения. Так, например, он не мог понять, привидилось ему или нет — распахнутое окно, розовая громада гостиницы «Украина», на подоконнике стоит толстая женщина-революционерка в пеньюаре и говорит снимающим ее телеоператорам:

— Если коммунисты ворвутся сюда и захотят меня изнасиловать, я выброшусь из окна. Я девственница, и только мой жених Гамсахурдиа коснется целомудренных ланит...

Внезапно все загудело, зашевелилось. Множество людей кинулись к главному входу. Оттуда, снизу вверх, по парадным ступеням, упруго подымая натренированное тело, ступал полковник Птица. Его взор был надменно-торжественным. Руку он прижимал к сердцу, давая присягу на верность Президенту России.

— Ура!.. — несло по этажам и лестничным маршам. — Армия перешла на сторону народа!.. Все на улицу брататься с солдатами!..

Стоящий рядом с Белосельцевым косматый старик с холщовой сумкой через худое плечо, тихо произнес:

— Проклятое место. Здесь раньше бойня была. Коров резали. Дом-то этот на коровьих костях стоит. Стало быть будет бойня, — и побрел, похожий на богомольца, обходящего с сумой святыне места.

Белосельцеву вдруг стало худо. Его посетило страшное прозрение. Он сидит в холле среди разбитых стекол и развевающихся занавесок. На улице, на камнях, лежит убитый священник. С моста пятнистые танки бьют прямой наводкой по горящему Дворцу.

флагом^[1], кричит в металлический мегафон. Видение было необъяснимо. Не из этих, а из будущих дней, где он сам — защитник проклятого дома. На мраморной стене разрастается малиновая клякса — отпечаток его разбитого в кровь лица.

— Виктор Андреевич, — кто-то тихо тронул его за плечо. — Вас ждут. Вас готовы принять.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В знакомой приемной к нему вышел Коржик, похожий на милую морскую свинку, которая только что с аппетитом изгрызла морковку. Но коготки ее лапок были почему-то в крови, и к розовому рыльцу пристало перышко птички.

— Президент готов вас принять, — произнес Коржик, просвечивая Белосельцева рентгеновыми лучиками глаз, угадывая умонастроение каждой отдельной клетки и кровяной частицы, в которых могла притаиться угроза его господину. — Следуйте за мной...

Они двинулись не в кабинет, как предполагал Белосельцев, а по коридору, до вестибюля, клифту, глубоко вниз, на цокольный этаж, и ниже, по грубым бетонным переходам с бронированными дверями, шершавыми гулками коридорами с мертвенными, зарешетчатыми светильниками — в подземный бункер, в бомбоубежище, куда не достанет прямое попадание десятитонной бомбы, ударная волна атомного взрыва. Здесь, перед стальной плитой с поворотными штурвалами запоров, стояли охранники с автоматами — могучие, плохо выбритые чеченцы с пламенными глазами. Держали пальцы на спусковых крючках, и на этих пальцах, ласкающих спуски «Калашниковых», блестели золотые перстни.

Подходя к бункеру, Белосельцев слышал глухие удары, сотрясавшие бетонный фундамент, от которых мерцал свет в светильниках, дрожали потолки и полы и ноги чувствовали угрюмое трясение преисподней. Коржик повернул рукоять замка, дверная плита отворилась. Весь бункер был в зеленоватых смердящих испарениях, в которых, едва заметные, носились нетопыри и косматые демоны. Истукан сидел за столом, и вид его был ужасен. Лицо распухло, в синих трупных потеках, как у утопленника. В мясистые щеки, в разбухшие уши под спутанными мокрыми волосами впились раки. Будто его так и не поднял из-под моста верный страж Коржик, и он остался лежать на дне реки, среди подгнивших свай, в мутной тине, пока не всплыл, наполненный трупными газами. Он издавал глухие рыки и стоны, испытывая страшную, невыносимую боль, которая корчила его. Чтобы заглушить страдание, он грыз себе пальцы. Два

пальца уже были отгрызены и валялись на столе с пучками сухожилий, а он, по-собачьи скаля зубы, примеривался к третьему, держа перед собой окровавленный кулак.

Звук, который он непрерывно издавал, состоял из одних тягучих мычаний: «Аа-о-уу-ээ-аа-ыы!..» Вслушиваясь в этот жуткий, нескончаемый стон, в котором чудилось то — «Аваакум», то «вакуум», Белосельцев подумал, что такое страдание дается человеку за ужасный, неотмолимый грех, совершенный в роду или еще предстоящий. Это земное страдание есть лишь слабый намек на то, что ожидает грешника в аду. И само предчувствие и ожидание ада усиливает нестерпимую боль.

Истукан тряс головой, из уха его текла на стол желтая жижа, и он умоляюще глядел на вошедших.

— Сейчас, батюшка, сейчас... Мы мигом... Сразу полегче станет... — голосом хлопотливой нянюшки произнес Коржик. Приблизился к Истукану. Подставил плечо. Перекинул окровавленную лапищу хозяина. Помог подняться. Повел к стене. Там, привычно и ловко, движениями опытной медсестры, расстегнул Истукану штаны, выпростал его мертвенно-синий отросток и со словами: «Давай, батюшка, давай...» — помог помочиться. Истукан мочился долго и шумно, как застоялый жеребец. Коржик бережно, помотав, убрал в глубину штанов иссякший отросток. Застегнул брюки Истукану, вернул к столу. Тому стало легче. Он склонил голову и тихо, по-детски всхлипывал. Жалобно взглядывал на Коржика как беззащитный больной ребенок:

— Ну когда же придет Айболит?..

Белосельцев еще минуту назад испытывал мучительное искушение приблизиться к мочившемуся Истукану, от которого исходили страшные угрозы и беды многострадальному Отечеству, подойти и ребром ладони ударить в затылочную кость. Переломить позвонок. Прекратить страдание мученика и избавить Родину от грядущих бед. Теперь же, слыша детские всхлипы и робкие мольбы, он чувствовал к нему сострадание и жалость, как к собаке, которую переехало огромное, кованое, со скрипящими спицами колесо Истории.

— Когда же придет Айболит?..

— Идет, идет, батюшка... — Коржик погладил страдальца по голове и устремился к дверям, открывая их.

На пороге бункера появился невысокий человечек в белом халате с веселой мохнатой мордочкой смышленной обезьянки. Белосельцев узнал его — это был доктор Адамчик, тот, кто вкалывал бодрящий эликсир в хладеющую кровь корейского певца. Все та же смуглая лысинка, умные глазки, саквояж, который доктор сжимал в скрюченных ручках, словно орех кокоса.

— Ну давай живее, доктор... — торопил взволнованный Коржик.

— Простите за опоздание, — извинялся Адамчик. — Такие перебои с транспортом... Такие препятствия... Представляете, женщины с перепугу не идут на аборт...

Он раскрывал свой саквояж, извлекал большой стеклянный шприц, крупные темно-алые ампулы цвета вишневого варенья. Истукан с помощью преданного слуги, стелая, заваливался спиной на стол. Коржик, своими бережными легкими движениями напоминая няню Арину Родионовну, задирает Истукану рубаху, оголяя живот.

Белосельцев испугался вида этого впалого, мертвенно-серого живота, напоминавшего осевшую могилу. Словно кинули лопату могильной земли, не выдавшей света, и она рыхло, сыро проседала, источая холодный пар. По ней ползло несколько молчаливых улиток, желтел черепок старинного горшка, из пупка, как из каменной трещины, топорщился кустик травы.

— Так-с, так-с... — весело приговаривал доктор Адамчик, ломая у малиновых ампул стеклянные носики. Окунул в глубину капсулы толстую иглу, засасывая в матовый цилиндр драгоценную вакцину. Шприц наполнялся как огромный стеклянный комар, напоенный темной кровью. — Сейчас будет немножко больно, а потом мы станем молодыми, как аленький цветочек...

Он нажал на живот Истукана, выдавливая из него струю застоялого газа. Весело, точно прищурился и всадил иглу так глубоко, слово пронзал ею печень. Истукан взревел, словно медведь, попавший на рогатину. Пытался вскочить, но Коржик умело сдавил ему горло, и тот затих, хрипя и постанывая. Поршень шприца медленно вдавливал рубиновый сок в глубину землистого чрева. Доктор Адамчик облегченно ахнул и картинным движением фехтовальщика выдернул шприц из бездыханно поверженного тела.

Белосельцев смотрел, пораженный. Перед ним совершалось чудо. Рыхлый землистый живот, напоминавший остывшую печь крематория, полную холодного пепла, начинал на глазах светлеть. Наливался телесной силой. Обретал мышечную рельефность и крепость. Дряблость исчезла, плоть порозовела и задышала. Те же чудесные перемены коснулись лица Истукана, будто с него сдирали отвратительную липкую маску мертвеца и под ней обнаруживался живой румянец, сильные молодые черты, темные брови, розовый рот, энергичный взгляд проснувшегося поутру человека, переполненного свежими силами, накопленной за ночь бодростью, жаждой творить и действовать.

— Вот и славно, и ладно... — похихикивал доктор Адамчик, любуясь на пациента, как на свое изумительное творение. — Как сказал Иисус Христос: «Встань и иди!» Теперь мы вполне можем встать и идти, куда нашей головушке заблагорассудится...

— Ладно-ладно, не хитри, — Истукан поднялся со стола, оправляя рубаху. Легонько пошлепал по щеке Адамчика. — Обещал, значит сделаю. Назначу тебе президентом Академии медицинских наук... В следующий раз не опаздывай, а то башку оторву... Ну кто там ко мне записывался? — обратился он к Коржику, который деревянным гребнем расчесывал его спутанные волосы, поправлял воротник рубахи, вдевал в манжеты золотые запонки. — Вы ко мне, товарищ? — заметил он Белосельцева. — Я вас помню... Ну как нынче хлеба на Дону?.. Как рыбалка?.. Как пишется Михаилу Александровичу Шолохову?.. Обязательно приеду погостить к нему в Вешенскую...

Белосельцев не удивлялся, понимая, что слишком долго Истукан пролежал в земле, и теперь, воскреснув, начинал жить с той минуты, когда его погребли. Коржик наклонился к уху господина и что-то нашептал. Видимо, кратко рассказал о тех событиях, что совершились на земле, пока господин почивал мертвым сном.

— Где письмо? — Истукан усилием неутомленного разума мгновенно наверстал упущенное не по его вине время. И это усвоенное, мгновенно прожитое время брызнуло ему в щеки ярким гемоглобином. — Давайте сюда письмо!

Белосельцев протянул конверт. Смотрел, как умело и нежно обращается Истукан с заклеенным конвертом, пользуясь тремя оставшимися, неотгрызенными пальцами. Как извлекает исписанный

Чекистом листок. Жадно читает, подставляя письмо свету запрятого в потолке светильника.

Опустил письмо, торжествуяще оглядел собравшихся:

— Я знал, что так и будет!.. Штурм не состоится!.. Они испугались!..

Он соскочил со стола и пошел ходить по бункеру, из угла в угол, вдоль стен, круто поворачиваясь, делая овалы, острые углы, рассекая их биссектрисами. Подымался по стенам к потолку, кружил по нему вниз головой, вращался вокруг оси, создавая своим движением таинственную геометрию. Сотворял иное, неэвклидово пространство. Помещал Белосельцева в головокружительный мир, от которого темнело в глазах и закладывало уши, словно его поместили на центрифугу.

— Жалкие трусы с матерчатой волей и целлулоидными сердцами!.. Тусклые наймиты, получившие власть от бездарных за бездарность, от бесцветных за бесцветность, от беззвучных за беззвучность!.. Серое на сером!.. Тихое в тихом!.. Недвижное в недвижимом!.. Мертвое в мертвом!.. — он хохотал своими афоризмами, белозубый, молодой, как футболист, которому нет равных. — Они не знают, что такое воля!.. Не знают, что такое власть!.. Что такое добыть власть и ее удержать!.. — он глумился над жалкими кремлевскими пораженцами, которые, испугавшись пролития крови, не решились атаковать Белый дом, обрекая свое бездарное предприятие на провал. — Ленин знал, как добыть власть, утопив в кровавой Гражданской войне пол-России!.. Сталин знал, как удержать добытую власть, настелив от Урала до Эльбы русских костей в десять слоев!.. А эти выродившиеся внучатые племянники Сталина, уродцы номенклатурных кровосмесительных браков роняют власть как ночной горшок!.. Уж поверьте, если б я оказался на их месте, я развернул бы танки и стрелял в каждое окно, в каждый подъезд, пока не превратил их гнездо в смоляной факел, а потом бы пустил автоматчиков, чтобы они в каждой голове оставили пулевое отверстие с красным пузырьком мозга... Вот что нас отличает!.. Отличает силу от слабости, волю от безволия, храбрость от трусости, власть от безвластия, победу от проигрыша!.. — Он продолжал хохотать, открывая белозубый рот, как на рекламе чудодейственной зубной пасты, чем-то похожий на Валерия

Чкалова, после того как тот промчал самолет под пролетами моста.

Белосельцев был ошеломлен явленным преображением. Отвратительный, мерзко-больной Истукан, необразованный и свирепый, поражающий дурным косноязычием и тупой сосредоточенностью на маленькой злой мысли, это порождение партийного варева, в котором, как в бетономешалке, вращается неодухотворенная, тяжелая смесь, этот полу- труп на глазах превратился в энергичного, обаятельного красавца, привлекавшего сердца, пленявшего неукротимой энергией. Белосельцев поддался его природной притягательной силе, от которой сам воздух вокруг ее обладателя розово и нежно светился.

— Я получил мою власть не от пятнистого ставропольского зайчика Горбачева, набитого туалетной розовой ваткой. И не от угрюмого филина КГБ Андропова, успевшего только однажды ухнуть в крошечной ночи застоя, да тут же и сдохнуть. И не от Брежнева, воевавшего на Малой земле, столь малой, что вся она помещалась в кадке от фикуса, что стоял в его кабинете. И не от крепкого, как капустаная кочерыжка Хрущева, который тайно, в период оттепели, начал учить еврейский язык. И не от Сталина, который на малой даче в Кунцево держал коллекцию банок с заспиртованными головами Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Бубнова, Тухачевского и который умер оттого, что разбилась банка с головой Михоэлса и кавказец задохнулся от ядовитых испарений. И не от Ленина, который напрочь был лишен гениталий, о чем написала в докладной записке в ЦК Надежда Константиновна. Я получил мою власть от Государя Императора Николая Второго, который на станции «Дно» подписал отречение не в пользу брата своего Великого Князя Михаила, а в пользу еще неродившегося отрока из уральской деревни Будки, коим оказался я. Свидетельством тому служит неопубликованная беседа Гучкова со своей возлюбленной, баронессой фон Зильберштейн, урожденной Рильке...

Белосельцев плохо понимал смысл речей, произносимых энергичными губами. Убедительность их была не в содержании, а в поразительно достоверной интонации, в искренности прекрасного молодого лица. И хотелось слушать, верить, следовать за ним по пятам, радуясь тому, что наконец-то пал груз собственной, источенной

сомнениями воли, и судьба его отныне находится в крепкой длани великого человека, небольно сжимаемая тремя, сохраненными от изгрызания перстами.

— Вот как это было, мой друг.. — рассказчик присел и задумался, готовясь к долгому повествованию, как это бывает в купе несущегося по равнинам поезда или в сумрачной, освещенной лучиной избе, среди бесконечных русских снегов, когда не надо никуда торопиться, хлеб засыпан в амбары, и до первых весенних проталин остались долгие месяцы.

— Пошел я раз по грибы, маменьку хотелось побаловать. Уж больно она красногловики и моховички уважала. А грибников, надо сказать, в тототшем году была тьма, и в ближнем лесу все грибы вчистую подобрали, одни черенки торчат. И надумал я идти в дальний, Романовский лес, на котором лежал запрет. Нашему брату, деревенскому, никак нельзя было в тот лес ходить, потому как работники НКВД приезжали и строго заказали туда мужикам и бабам наведываться. А иначе — в острог. И правду сказать, некоторые мужики, которые в Романовский лес совались, пропали без следа. А которые бабы туда забредали, у тех случался родимчик, и они роду своего не помнили. Потому что в этом лесу Романовском, как старики шептались, был царь похоронен, которого большевики расстреляли и в овраг вместе со всей семьей и придворными дамами бросили. А я, надо сказать, отчаянный был, всюду совался. «Эх, — думаю, — была не была! Царь не царь, а грибков матушке на жарево нарежу». Прошел я все ближние леса, и дальние, и которые на горах, и очутился в Романовском лесу. Лес черный, еловый, елки до небес, солнца не видать. Хожу-брожу, то в болоте застряну, то в кустах запутаюсь. Ни гриба, одни мухоморы. И совсем я, что называется, заплутал. Испугался. Ну, думаю, пропаду, не от зверя, так от голода али от работника НКВД, который чудился мне под каждой корягой. Не знаю сколько плутал. Мож, два часа, мож, три. Только гляжу, в елках будто старинный колесный след проложен, едва колея намечена. Вся мхом поросла и черникой. Я к этой колее привязался. Иду, думаю, куда-никуда, а выведет. Шла-шла и в овраг уткнулась. Тут и пропала. Стою, смотрю в овраг, а там кости лежат, будто их кто из мешка высыпал. Страшно мне стало, кричать охота. Вдруг, глядь, дедок передо мной стоит, невысоконький, в плащике брезентовом, с балахоном, какой наш

сторож в сельпо носит. «Здравствуй, — говорит, — милый мальчик. Долго же ты добирался. А я тебя здесь тридцать лет поджидаю». А у самого голос добрый, и лицо так и светится. Борода и усы пшеничные, а глаза голубые. «Вы, дедушка, часом, не сельпо сторожите? — спрашиваю. — Покажите дорогу, а то я совсем заплутался». — «Покажу я тебе дорогу, милый мальчик, одну на всю твою жизнь. А кто я такой, спрашиваешь? Никакой я не сторож сельпо, а Государь Император Николай, самодержец всея Руси; невинно убиенный жидками и комиссарами. Вот, смотри!» Сбросил он брезентовый плащик с балахоном и стоит в мундире, в орденах, в крестах, с золотыми погонами, в меховой накидке, белой с черными хвостиками. На голове корона в алмазах, и от него на весь лес свет дивный. «Теперь ты веришь? Тогда слушай, что скажу. Тебе на роду написано сослужить великое дело. Поручить богомерзкий коммунизм, освободить Россию от большевистского ига, чтоб от него ни следа не осталось. А которая грибница глубоко залегла, ту вырвать во всю глубину, даже ежели для этого в центр Земли залезть придется. Дело это жуткое, страшное, одному тебе не под силу, да я тебе помогу и никогда не оставлю». Тут он исчез, а я оказался на околице. Вечерняя заря над деревней, корзинка полна красноголовиков и моховичков, и матушка моя на меня ругается, где это я долго так пропадал...

Древними сказаниями веяло от повествования. Пророчествами, преданиями и знаменьями, что звучат по сей день на церковных папертях, куда на ночлег собираются тихие богомольцы, расстилая на каменном полу ветошки, подкрепляясь корочкой хлеба, передавая из уст в уста слышанное в дальних монастырях и приходах. Белосельцев чувствовал сладкую обморочность, какую, быть может, чувствовал Пушкин, выпытывая у няни «преданья старины глубокой», о коих не прочтешь у Карамзина, не выведаешь из Несторовой летописи, но натолкнешься в дремучем списке старообрядца, в несвязном бормотании деревенского колдуна. Сидящий перед Белосельцевым человек был осенен, призван. Действовал по данному на всю жизнь завету, в согласии с промыслительной волей. И поэтому был выше их всех. Был в служении.

— Моя политическая программа проста. Я уничтожу Советский Союз — эту жуткую большевистскую химеру, на которую искусились лежковерные народы, и в первую очередь русские. Я запрещаю

Коммунистическую партию, этого коллективного палача в красном колпаке, положившего на плаху Россию, начав этот страшный счет с казни Государя Императора. Я устрою на Красной площади сожжение миллионов партийных билетов, вынесу из Мавзолея и кину в этот костер полуистлевшую мумию Ленина, от которой осталась лишь сморщенная кожа и стеклянные глаза, вставленные изготовителем чучел. Я сколю с кремлевских башен красные звезды, наполненные кровью умертвленных дворян, священников, казаков и крестьян. Я верну прежние названия русским городам и улицам, которым присвоили имена коммунистических убийц, садистов и олигофренов, и люди должны были жить на улицах, носящих имена палачей их отцов. Я уничтожу советскую науку, ибо она учила скотскому атеизму и зверским отношениям человека к человеку, человека к природе и человека к Богу. Я разрушу советскую индустрию, ибо она превратила страну в примитивную и жестокую машину, производящую рабство, ядерные отходы и белые тапочки. Я уничтожу без остатка всю советскую литературу, музыку и кино, ибо они хуже срамных частушек, которые распевает богохульник на оскверненной могиле праведника. Я выскоблю из Кремля отвратительные, похожие на ангары залы, где коммунисты семьдесят лет принимали свои садистские решения, аплодируя своим преступным вождям до кровавых пузырей на ладонях. Верну Кремлю блеск императорских дворцов, которые дождутся своего монарха. Я погребу кости царских мучеников, вернув их из глухого оврага в Романовском лесу в усыпальницу Петропавловской крепости, веря, что вскоре они будут собраны в серебряную раку святых. Я стану выкорчевывать коммунизм из каждого человека, даже если для этого потребуется уменьшить население вдвое. Зато очищенный, исцеленный от коммунизма народ начнет свое возрождение. Но это возрождение станет возможным только тогда, когда на Руси будет построено миллион церквей. На месте ядовитых заводов, сатанинских космодромов, губительных электростанций. Об этом мне поведал Государь Император в Романовском лесу. Продолжал напоминать всю остальную жизнь, являясь в сновидениях...

Нечеловеческой, неодолимой силой веяло от могучего человека, который, казалось, был способен выдавливать из земли горы, сдвигать материи, сжимать геологические платформы, переливая воду из

океана в океан. Он был способен действовать вопреки вялой, нерешительной истории, меняя ее русло, выплескивая ее из обмелевшего ложа, наполняя опустевший желоб бурлящими водопадами событий. Он сам был история. Был ее ураган и потоп. Огромная аэродинамическая труба, в которой ревело будущее. Белосельцев крутился в этом урагане как крохотное пернатое семечко, летящее в неизвестность. И от этого слепого полета было жутко и сладостно.

— А теперь я расскажу тебе то, что прежде никому не рассказывал. Государь знал, что его расстреляют. Об этом поведал ему один из охранников, внедренных в большевистский отряд тайными сторонниками монархии. И с этим стрелком у Государя был уговор. Как спустят их всех в подвал, Государь возьмет на руки сына своего царевича Алексея и закроет грудью, а стрелок не станет стрелять в царевича и вынесет его из проклятого дома. Так и вышло. Когда комиссары перебили беззащитных мужчин и женщин, этот верный стрелок чудом вынес царевича на волю и укрыл у верных людей. Комиссары же, хватившись пропажи и не найдя ее, подбросили в кровавый грузовик, увозивший обезображенные тела, труп мальчика из сиротского приюта. Царевич же был сохранен и жил все большевистские годы под другим именем. Воевал, дослужился до чина полковника, брал Берлин. Был женат на простой девушке, работнице ивановской ткацкой фабрики. У них был сын, который узнал о своем происхождении от отца за несколько минут до его кончины. Он хранил свою тайну, был примерным членом партии, служил в ответственном учреждении, ведавшем продовольствием для партийной элиты. У него тоже родился сын, который учился языкам, служил в КГБ, работал в Германии. По сей день не ведает, чья кровь течет в его жилах. Это мой будущий Преемник, за которым я негласно наблюдаю, оберегаю, тайно помогаю. Когда исполню данное Государю Императору слово, очищу Россию от коммунистической скверны, я призову Преемника. Открою ему тайну его рождения и передам власть. Патриарх извещен о моем намерении. Высшее духовенство согласно. Мы возродим в России монархию, и продолжателем романовской династии, прекратив все династические споры, станет новый молодой царь Владимир Первый. Он поведет очищенную мною Россию к свету. Россия восстановит свое былое величие. Русские плотно заселят всю Сибирь и Дальний Восток.

Численность их превысит население Китая, и к России вновь отойдет Аляска, Польша, Финляндия, и многие новые земли в Африке и Латинской Америке. Но я этого, увы, не увижу. Ибо работа, что мне предстоит, не предполагает долгий век человека...

Белосельцев верил в это ослепительное русское будущее, которое неизбежно наступит после великих падений. Великолепный, пленительный в своем обличье человек, радетель и подвижник, берущий на себя страшное бремя истории, заставлял в себя верить, поклоняться себе, вел за собой сметенное, потерявшее прежних поводырей человечество. Белосельцев был готов ему подчиниться, пожертвовать ему свою жизнь, стать травой под его ногами, бриллиантовой росинкой на его алмазном венце.

Он вдруг услышал слабый горестный звук. Плакал ребенок. Еще один. И еще. Белосельцев различал жалобный детский плач, от которого разрывалось сердце. Звук исходил из человека, который восседал перед ним на стуле. Истошные детские крики блуждали в человеке, приближались и удалялись. Исходили из его румяных сочных щек и розовых говорящих губ. Погружались в глубину груди и укрытую одеждой утробу. Снова усиливались, перемещаясь в пунцовую мочку уха. Таяли, забиваясь под череп с красивыми расчесанными волосами. Это плакали убитые дети, превращенные в крохотные клочки материи, которые попали в мертвенную кровь человека и теперь пожирались им. Сидящий перед ним человек был людоед, вампир. Он только что сожрал невинных младенцев, накормленный из рук доктора Адамчика, что смешливо, с любопытством наблюдал за происходящим из темного уголка.

Белосельцев очнулся в ужасе. Он был обольщен Сатаной, взят в плен, почти уже начал ему служить. Теперь же, открыв ужасный обман, был готов кинуться на оборотня и убить.

Невероятным усилием удержал себя, ясно вспомнив зачем и к кому был послан Чекистом. Он, Белосельцев, был разведчиком, реализующим стратегический план «Ливанский кедр». Ни бровью, ни дрожаньем зрачков не должен был себя обнаружить.

Между тем Истукан вернулся к письму Чекиста, разглаживая его на столе.

— Ваш шеф хочет, чтобы я написал письмо пятнистому ставропольскому зайчику? Предложил ему руку дружбы? Отчего не

предложить? Я люблю симпатичных плюшевых зайчиков, из которых торчит розовая туалетная ватка. «Бедный зайчик в лес пошел и морковку там нашел...» Эй, слуги, авторучку, конверт, лист бумаги!..

Коржик тотчас предоставил господину требуемые предметы. Истукан быстро, любуясь своим почерком, написал письмо. Вложил в конверт.

— Послунявь, — приказал он Коржику. — У тебя слюна как столярный клей.

Через минуту Белосельцев спрятал в нагрудный карман драгоценное, с таким трудом добытое послание.

— Ну что, вперед! — воскликнул Истукан. — Где Манифест? Зови сюда этих трех придурков!

Коржик хлопнул в ладоши, двери бункера растворились, и возникла знакомая Белосельцеву троица. Двойники Полторанина, Шахрая, Бурбулиса. Только теперь Белосельцев понял, почему они неразлучны. Их соединяла общая для всех троих тонкая кишка, выходившая наружу сквозь специальную прорезь в штанах. Розовая, пульсирующая, проталкивала сквозь себя комочки пищи, распределяя ее равномерно между всеми тремя.

— Где Манифест? — грозно повторил Истукан.

Двойник Шахрая, поводя острым носиком, топорща мышинные усики, положил перед Истуканом бумагу.

— Отлично! — прочитав ее, загоготал Президент всех демократов. — Теперь, когда я уверен, что штурм не будет, мы объявим ГКЧП вне закона!.. Переподчиним себе силовые министерства Союза!.. Позовем народ на улицы!.. Вперед, за мной!..

Мощно, раздвигая плечом воздух, двинулся к выходу. И все, кто был рядом, Коржик, прикрывавший хозяина от возможного покушения, суровые чеченцы с золотыми перстнями, держащие натренированные пальцы на спусковых крючках, неразлучная троица, соединенная одной кишкой, и Белосельцев, хранивший на сердце драгоценное письмо, вышли из бункера. Вверх по лестнице, в вестибюль, на выход. Толпа защитников Белого дома, узрев своего предводителя, кинулась следом, нарастая, увеличиваясь, выкатываясь на свежий воздух, на набережную, где к ним присоединялись новые толпы. Кричали: «Ура!.. Свобода!.. Наш Президент!..»

Истукан увидел танк, решительно направился к грозной машине, устремившей свое орудие вдоль белых мраморных стен. Ловко, как атлет, вспрыгнул на броню. Следом за ним влезли Коржик, чеченская охрана, Ростропович, несколько казачьих есаулов, два хасида, колчаковский подпоручик, косматый карлик из «Уха Москвы», все инвалиды дома престарелых № 16, коллекционер марок китайской империи эпохи Дзин, виолончель с крутыми бедрами и бюстом Галины Вишневской, вся «региональная группа», несколько отделов ЦК, переметнувшихся к демократам, несколько рок-ансамблей, включая «Задолбанных кузнечиков», полковник Птица, демон, отвечающий за бесплодие женщин, экстрасенс, накануне прилетевший с Луны, представители молодых, только что образованных партий, среди которых выделялся кудрявый, с носом дятла, долбоеб, с оксфордской наружностью. Все они залезли на танк, окружив своего кумира. Троица, напоминавшая Полторанина, Шахрая, Бурбулиса, стала карабкаться, но места для всех не хватало. Тот, что напоминал Бурбулиса, больно щипнул двойника Шахрая, плюнул в красивое лицо двойника Полторанина, и те полетели с танка. Кишка, соединявшая их с обидчиком, натянулась, и они сволокли его вниз с криками: «Мы проучим тебя, негодяй!»

Истукан, между тем, встал рядом с пушкой, возвышаясь над танком, сливаясь с ним, наполняясь его стальной мощью. Превратился в могучий, зловещий гибрид человека и танка. Стальной кентавр шевелил сгустками тяжелой брони. Извлек Манифест, затрепетавший в его стальных кулаках.

— Граждане свободной России!.. — гудел его голос, вырываясь из жерла пушки. — Преступная группа предателей... — Хрустела литая башня с белым намалеванным номером. — В этот грозный для Родины час... — Крутились катки и лязгали гусеницы. — Вся полнота власти в стране... — Из кормы вырывалась синяя едкая гарь. — Как Президент России приказываю...

Человеко-танк ревел, скрежетал, разбрасывал из-под траков комья асфальта. Тронулся в облаке зловонного дыма. Пошел вперед, проламывая стены домов, давя толпу, подминая деревья, памятники, не успевшие свернуть «лимузины», — вперед, в туманную, мгlistую даль, оставляя за собой мертвый, дымящийся коридор.

Белосельцев смотрел ему вслед. Был спокоен. Знал, что тот далеко не уйдет. Он, Белосельцев, был истребитель танков. Охотник на железных кентавров. Смерть Истукана помещалась в конверте, лежащем у него на груди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Он выиграл, не погиб, не сошел с ума, не поддался искушению. Блистательно, прикидываясь то демоном, то блаженным, среди оборотней, сам как оборотень, первоклассный разведчик, выполнил задание и теперь спешил на Лубянку доложить о результатах встречи.

Чекист немедленно пригласил к себе. Двигаясь по высоким безлюдным коридорам, среди однотипных дубовых дверей, каждая из которых вела в свою преисподнюю, он увидел впереди человека. Освещенный красноватым вечерним солнцем, тот наблюдал за его приближением: Ловейко, его сотоварищ, загадочный соглядатай, что многие годы следовал за ним по пятам, встречаясь неожиданно на различных перекрестках судьбы, — то на вилле в Зимбабве, то в джунглях Латинской Америки, то на симпозиумах в университетах Вашингтона и Беркли. Белосельцев, увидев Ловейко, заторопился навстречу. Но тот сделал шаг в сторону, пропадая в боковых дверях. Белосельцев толкнул дубовые створки, но они оказались заперты. На них висела пломба, словно Ловейко ушел сквозь стену. Это повергло Белосельцева в минутную задумчивость. Однако было не до пустяков, ибо он уже переступил просторный кабинет Чекиста, предстал перед его хозяином.

— Виктор Андреевич, я отложил все дела, чтобы немедленно встретиться с вами, — Чекист шагнул из-за стола, протягивая руку. Белосельцева поразила происшедшая с ним перемена. Они виделись утром, и Чекист напоминал птенца, пробившего скорлупу энергичным некрепким клювом, наивно-восторженный, с перламутровым отливом круглых радостных глаз, еще полный младенческих калорий усвоенного желтка, с непросохшим боевым хохолком. Теперь же, за прошедшие часы, он возрос, окреп, возмужал. Еще недавно нежная, млечно-розовая кожа посмуглела. Черты, утратив детскую округлость, вытянулись, возмужали. Глаза жестко сузились, смотрели резко и точно. Нос, казавшийся непримечательной мягкой выпуклостью на лице фарфоровой китайской статуэтки, теперь увеличился, стал волевым, властным, на нем появилась гордая горбинка. И весь его облик обрел странное сходство с античным бюстом гордого строгого

римлянина. Изумляясь перевоплощению, Белосельцев мысленно примерил на его широкий выпуклый лоб лавровый венец императора.

— Вот письмо, — Белосельцев передал Чекисту конверт. Тот положил его под пресс, где на конверт воздействовали температура и прозрачные химикаты. Клейкая, ядовитая слюна Коржика растворилась, и письмо было извлечено на свет. Чекист читал его внимательно, строго, все больше напоминая императора...

— Виктор Андреевич, вы блистательно справились с заданием, и, я уверен, это было под силу только вам. Затаив дыхание, мы наблюдали за вами. Несколько раз вы были на грани провала. Несколько раз вам угрожала смерть. Казак, который занимался рубкой лозы, был подкуплен британской разведкой и должен был снести голову вам. Вы увернулись, и удар шашки пришелся по торшеру. Двойник Бурбулиса, а на деле агент Пакистана, имел при себе отравленную иглу, которой намеревался незаметно уколоть вас. Только благодаря двойнику Полторанина, проказнику и сумасброду, который не вовремя дернул своего товарища за нос, вам удалось пройти мимо. Вам благоприятствуют боги, Виктор Андреевич. Я отдал приказание жрецам молиться за вас и за судьбу империи...

Эта последняя фраза не была произнесена вслух, а лишь угадана Белосельцевым по движению властных губ императора.

— Теперь, когда позади самая сложная, рискованная часть операции, я объясню, почему мой выбор пал на вас, Виктор Андреевич. В вашем досье, в разделе «Особые свойства натуры» значится: «Метафизик. Обладает мистическим опытом». Только это, редкое среди разведчиков, качество помогало вам в течение всей вашей профессиональной деятельности, где бы она ни протекала. В Афганистане, в Анголе, в Кампучии, в Никарагуа, в Эфиопии, на Ближнем Востоке. Этим вы спаслись и сегодня. Должен вам сообщить, по донесению нашего американского резидента, сейчас в Балтиморе проходит съезд колдунов и волшебников мира, которые все ориентированы на Москву, на происходящие здесь события. Их концентрированный экстрасенсорный удар может последовать в любую минуту. В нем примут участие мексиканские ведьмы, кельтские друиды, шаманы народов Севера, турецкие дервиши, несколько тибетских монахов, эзотерики Европы и Штатов, черные колдуны Африки и дрессированные дельфины, выращенные в

парапсихологических лабораториях ЦРУ. Экстрасенсорной атакой руководит посвященный, полковник американской военно-морской разведки Джон Лесли, главный маг Солнечной системы, специально для этой цели прилетевший на Землю с Венеры. Магические поля страшной разрушительной силы настраиваются на Москву. Нами выявлены медиумы-ретрансляторы в среде Союза писателей, Союза кинематографистов и в Академии наук. Их действие уже начало сказываться на атмосфере в Белом доме. Музыкант Ростропович, например, утратил физический вес, преодолел гравитацию и летает по коридорам, перевертываясь и резвясь, как космонавт в невесомости. Вы же, Виктор Андреевич, обладая сверхчувствительностью, способностью экранировать свою психику от этих страшных, травмирующих воздействий, побывали в Белом доме и вернулись в здравом рассудке. Хотя, я вижу, как это на вас сказалось. У вас за три часа совсем поседели виски...

Белосельцев только теперь почувствовал, как устал. Он побывал в фокусе несущихся из-за океана излучений, которые разрушают нейроны, путают в мозгу нервные связи и лишают пигмента волосяной покров. Еще два-три таких похода, и он станет белым как лунь.

— Мы добились главного. Они поверили, что штурм не будет. Истукан произнес свою историческую речь, и его уже показывают по каналам мирового телевидения. Только что у них в Белом доме состоялось заседание штаба. Принято решение перейти к активным действиям. Завтра в двадцать один ноль-ноль, на Садовом кольце, в районе туннеля под Новым Арбатом они намерены сделать засаду на колонну бронетехники. Приготовлены бутылки с зажигательной смесью, одеяла, которые они станут набрасывать на смотровые приборы и люки. Мы воспользуемся этим. Покажем миру горящие бронемашины, нападающих на армию мятежников и ответим решительными действиями. Завтра же вечером проведем аресты. И тогда никто, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Риме, не посмеет обвинить нас в жестокости...

Белосельцев, внимая Чекисту, испытывал странное ощущение, подобное тому, что пережил минувшим утром в деревне, когда сквозь стены избы, ветки березы, льняные легкие занавески потянуло страшным притяжением, невидимой неодолимой силой. Будто за горами, лесами включили гигантский электромагнит, и он стал тянуть

к себе Белосельцева, словно тот был железным. И теперь, в кабинете Чекиста, он вновь ощутил жестокое притяжение, валившее его на бок, сдвигавшее с дубовых планок паркета. Расставил упруго ноги, борясь с невидимым давлением. Стал искать источник притяжения.

В углу кабинета на каменной тумбе, напоминавшей постамент для бюста, стояла знакомая статуэтка белки. Печатка, увенчанная поднявшимся на задние лапки зверьком, чуть мерцала загадочным металлическим блеском. Состояла из крохотных рудных кристалликов неведомого вещества, попавшего на землю вместе с метеоритом. Неизвестный мастер отлил из металла фигурку, и это она тянула к себе Белосельцева. Белка была сверхмощным магнитом, источником гравитации. Вбирала в себе летающие пылинки, частицы материи, искривляла и поглощала лучи.

— Теперь, Виктор Андреевич, вам предстоит вторая, не менее ответственная часть операции. Вы знаете, как восторженно встретил советский народ меморандум ГКЧП. Его поддержали партия, рабочие коллективы, деревня, научная и творческая интеллигенция, лидеры союзных и автономных республик. Начались митинги в поддержку, сбор средств. Например, как мне сообщили, состоялся митинг работников цирка шапито в городе Рыльске Курской области, на котором выступили не только акробаты, жонглеры, канатоходцы и дрессировщики, но и сами животные, такие как саблезубые тигры, гиппопотамы, карликовые мамонты, и даже рыба-пила, привезенная с дружественной Кубы. Теперь, когда успех ГКЧП гарантирован, необходимо отсечь Меченого Президента. Не позволить ему воспользоваться политическим ресурсом ГКЧП, возглавить его и вернуться в Москву триумфатором. Необходимо немедленно ехать в Форос, передать ему это письмо, после которого он, по своей наивности, возомнит о вечной дружбе с Истуканом. Откажется принимать делегацию ГКЧП, которая завтра к нему вылетает. Вы видели наших товарищей, знаете им истинную цену. Они, если так можно выразиться, носители «бархатного советизма». В них совсем отсутствует сталинское железо. Они готовы безропотно подарить Президенту добытый ими властный ресурс. Поэтому завтра утром вы сядете в самолет, и вас доставят в Форос. Там вы передадите письмо. Вы должны это сделать раньше, чем туда прилетят наши товарищи. На этом ваша роль в операции завершится...

Белосельцев ощущал непомерную гравитацию белки. Его притягивала мерцающая статуэтка, в которой, спрессованные, гибли миры и галактики. Черная дыра, куда его вовлекало, имела контуры маленького лесного зверька, в котором сплющивалось мироздание, проваливалось в иной мир, превращалось в ничто. Стоял, упираясь ногами в паркетный пол, чувствуя, как лишается плоти, которую сдирает с костей сосущий сквозняк.

— Ваш полет не будет вполне безопасным, — Чекист заклеивал конверт с посланием Истукана. — По дороге в аэропорт вы можете попасть в автомобильную аварию. В салоне вам могут подать отравленную пищу. В конце концов, самолет может быть сбит, если не ракетой, то экстрасенсорной посылкой, которая настигнет вас из Балтимора. Но я верю в вашу звезду. Мистическую и ту, которой вас наградит страна после вашего возвращения. Я сам подпишу указ на звание Героя Советского Союза. Позвольте я вас обниму, — Чекист подошел, вернул письмо Белосельцеву. Притянул его к себе. И тому показалось, что их обоих подхватил огромный ветер, понес среди мерцающих звезд, туда, где в бархатном Космосе мерцало бесконечно далекое облако звездной пыли с черной пустой сердцевинкой, напоминавшей контур поднявшегося на лапки лесного зверька.

Он пришел домой. Была еще мысль поехать в деревню, вернуть в Москву Машу, которая мучится там одна, не знает о нем ничего. Но столь велика была его усталость, столь неодолима накопленная за день немочь, что он едва нашел силы раздеться и рухнул в постель.

Утром машина мчала его по солнечной теплой Москве в аэропорт «Внуково». Помня предостережения Чекиста, он откинулся в угол салона, стараясь не приближать лицо к стеклу. Из любой обгонявшей машины мог последовать пистолетный выстрел или бросок гранаты. Находясь на заднем сиденье, он крепко пристегнулся ремнями на случай, если со встречной полосы прянет на них тяжелый самосвал. В белоснежном лайнере, пустом, с любезными стюардами, он отказался от напитков и завтрака. Поднявшись в небо, среди перламутровых облаков, летел, создавая вокруг самолета защитный экстрасенсорный экран, о который разбивался плазменный луч врага, направленный с другой половины планеты.

В Крыму, среди волнистых холмов, самолет опустился на розовое бетонное поле, за которым нежно пламенело лазурное море. Веяло сладким ветром сухих горячих предгорий, ароматом пряных южных растений. И хотелось прямо из-под белого крыла самолета пойти наугад в цветущие холмы, продираться сквозь душистые заросли, разрывая ногами тугие стебли выюнков, распугивать клетчатых нежно-коричневых бабочек. Но уже подкатывала кофейного цвета «Волга». Из нее подымался статный загорелый охранник, брал под козырек.

Президентская резиденция на берегу моря, окруженная пальмами и магнолиями, которая, по слухам в Москве, находилась в кольце военной осады, блокирована путчистами, с отрезанными линиями связи, на самом деле дышала волей, красотой, легкостью открытых веранд, изяществом стройных деревянных конструкций с вкраплениями мрамора, желтоватого песчаника и розового ракушечника. Били шелестящие фонтаны, раздавалась негромкая музыка, вилла была полна праздных гостей. Мажордом, предупрежденный о визите Белосельцева, вежливо сообщил, что хозяин с супругой купаются в море и скоро вернутся. Ему же, желанному гостю, предложено подождать, и он может насладиться прогулкой по парку или обозрением апартаментов, куда купающемуся Президенту доложат о его появлении. Белосельцев поблагодарил мажордома и, предоставленный самому себе, неспешно двинулся по верандам и галереям чудесного, открытого солнцу и морским дуновениям дворца.

И парк, и двор, и внутренние апартаменты были наполнены людьми, где каждый предавался отдохновениям и неумолимным забавам, как если бы вся их пестрая толпа, наученная многим играм и потехам, позировала художнику Брейгелю, изобразителю народных нравов.

Перед домом, на детской площадке, в песочнице сидели советники Президента. Там, в Москве, чопорные, величавые, в темных костюмах, с упрямыми благородными лысыми и многомудрыми морщинами, они умно рассуждали о социал-демократии, о сближении с Европой, о создании новой просвещенной элиты. Здесь же, на благословенном юге, они сидели полуголые, выставив порозовевшие животы, приклеив на горбатые носы листики платана, и строили из песка Дворец Мира. Елозили босыми ногами, запускали в глубину

песочного сооружения волосатые руки, выкладывали с помощью узорных формочек затейливые пирожки и куличики. Уже был создан зал Братства Мира, выложенный изнутри фарфоровыми черепками, стеклышками и конфетными фантиками. Завершался концертный зал, где должна была звучать Музыка Мира, для чего песочные стенки были оснащены ракушками. Обустраивался зал Экономики Мира, украшенный монетками — русскими копейками, американскими центами, английскими пенсами, китайскими юанями. Был готов принять паломников новой веры зал Птицы Мира, куда один из советников, тощий, с английскими седыми усами, положил мертвого воробья. Другой советник, весь в складках прозрачного жира, ловил бегущих вокруг муравьев, заталкивал внутрь сооружения, мешая покинуть песочный замок. Сооружение росло, наполнялось обитателями, а советники, счастливые, неустойчивые, воплощали в жизнь свой сокровенный проект.

На открытой веранде, перед блюдом с черно-красной вишней, сидели послы Франции и Великобритании, в легких костюмах, в проищаемых для воздуха рубашках, но при галстуках, ибо оба, уполномоченные своими правительствами, явились с наградами Президенту. Один привез орден Почетного легиона, другой — орден Святого Патрика. Награды в драгоценных ларцах дожидались своего кавалера, который нежилась в таврических водах. Послы же, коротая время, ели вишню и пуляли друг в друга косточками. Делали они это с шутливой любезностью, продолжая тем самым Трафальгарскую битву, хотя при метких попаданиях вскрикивали. Степень их неприязни друг к другу росла, готовая вылиться в крупный европейский конфликт.

Две французские косточки угодили в высокий английский лоб, оставив розовые метины. А одна британская ударила в гордый галльский нос, отчего на веранде прозвучало французское ругательство: «Черчилль — жирная свинья». И в ответ английское: «Де Голль — общипанный петух». Их помирила молодая служанка с открытой грудью, несущая на плече корзину с фруктами: «Господа, Европа — наш общий дом», — прощепетала она на ходу, и француз успел ущипнуть ее за ягодицу, а англичанин отвел глаза и мысленно представил ее верхом на пони, гарцующую в Гайд-парке.

Белосельцева забавляли эти живые картинки, и он, несмотря на опасность и непредсказуемость своей секретной миссии, испытал

вдруг детскую радость и освобождение, как если бы вдруг зазвучала «Маленькая серенада» и ему поднесли игристый бокал шампанского. Здесь ничто не говорило о мрачной московской реальности, о танках на улицах. Люди на вилле были очаровательны, любезны друг с другом. Открыты радостям и удовольствиям.

Проходя мимо спальни, в приоткрытую дверь Белосельцев подглядел, как массажистка супруги Президента, шаловливая и кокетливая, пользуясь отсутствием хозяйки, облеклась в ее вечерний туалет. В длинное, со скользящим шлейфом, бальное платье. В лайковые до локтей перчатки. Надела на открытую шею бриллиантовое кольцо. Украсила запястья золотыми браслетами с изумрудами и сапфирами. Усыпала пальцы перстнями. Водрузила на голову изящную алмазную диадему, делающую ее похожей на богиню. Копируя госпожу, царственно выступала, оглядываясь в зеркало, будто бы обращаясь к принцу Лихтенштейна: «Ваше высочество, велите своему камергеру принести мне стакан томатного соку. Больно пить охота». И, понравившись себе, заулыбалась, размечталась и присела задумчиво на биде.

В просторной столовой, за длинным столом, на котором стоял лишь один прибор, в одиночестве вкушал известный писатель, приглашенный в Форос, дабы вместе с Президентом начать книгу его мемуаров «Музыка перестройки». Книга не слишком писалась, писатель много спал и ел. Сейчас он поедал цыпленка-табака, распластанного на фарфоровой тарелке, поливал его острым красным соусом, и одновременно дразнил и мучил кудрявую собачонку. Подносил к ее носу обглоданную куриную косточку. Быстро отдергивал руку, когда собачонка пыталась схватить лакомство. Пуделек сердился, страдал, раздраженно скалил маленькие белые зубки, досадливо повизгивал. Наконец, писатель кинул на пол косточку, и, когда животное радостно ее ухватило, он из фарфоровой соусницы полил любимую собачку хозяйки густым красным соусом с кусочками чеснока.

Белосельцев, блуждая по дому, набрел на просторную комнату, сплошь уставленную стеклянными шкафами, в которых хранились подарки, преподнесенные хозяину во время его зарубежных странствий. Его внимание привлекли хорошо выделанные, из кожи мустанга, ковбойские сапоги на высоких каблуках, на которых по-

русски было вытеснено: «Американец и русский — два сапога пара». Тут же лежал выкованный в Глазго стальной меч, завязанный в узел, на котором по-английски было начертано: «Не в силе Бог, а в правде». Рядом красовалась забавная электронная божья коровка, которую хитроумные японцы использовали как массажную щетку, электробритву, флакон для одеколона, музыкальный проигрыватель, портативный компьютер, мотороллер, складной летний дом, небольшой авианосец и удобный нож для харакири. На другой стеклянной полке была выставлена шаловливая французская безделица — золоченый футляр в виде яблока, внутри которого на сафьяновой подушечке прятались усыпанные рубинами мужские яички и фаллос с надписью по-русски: «Люби меня, как я тебя». Трудно было оторваться от чучела австралийского дикобраза, чьи иголки были украшены флажками стран мира. Поразительное впечатление производил пернатый головной убор вождя ирокезов, ибо воображение рисовало хозяина, выходящего в этом боевом облачении на трибуну партийного съезда. Милым и незатейливым был хрустальный шарик, в котором, если его приставить к зрачку, был виден Сингапур. Выставка была разнообразна и познавательна. У выхода из комнаты висела табличка: «Взял, положи на место».

Белосельцев не скучал в ожидании хозяина. Забыл об ограниченности срока, в который должен был передать письмо. О Возможном появлении депутации ГКЧП. Да и можно ли было скучать в этом чудесном месте, раскрепощающем чувства и желания.

В лазурном бассейне с затейливыми фотами, раковинами, обломками дорических колонн и замшелыми амфорами Белосельцев увидел известную певицу, исполнительницу русских и советских песен. Певица была немолода, с распущенными, покрашенными в черное волосами, с тучными обнаженными телесами, в которых круглились огромные груди, складчатый живот, крутые, обремененные отложениями бедра. Она как наяда резвилась в прозрачной воде, а вокруг увивались дельфины, очарованные ею. То один, то другой дельфин, выставив клюв, издавая курлыкающий звук, подлетал к певице, страстно ударялся о нее, обнимал лапами, увлекал на дно. От них струились вверх серебряные пузыри, темные космы волос певицы. Дельфин, утолив неземную страсть, отплывал в изнеможении. А певица подымала в шумном буруне свои могучие плечи, победно

трясла грудью и от переполнения чувств запевала: «Течет река Волга, а мне шестнадцать лет», — отчего листья южного дерева начинали осыпаться в бассейн.

Белосельцев, смущенный античным зрелищем, поспешил вернуться в дом. Там все дышало гостеприимством, которым пользовалось множество людей.

В белоснежной форме, блистая золотом, командующий Черноморским флотом пояснял мажордому порядок боевых кораблей, которые, по просьбе хозяйки дворца, станут принимать участие в празднике на воде. Корабли задерживались с отправкой на Средиземное море, где в составе эскадры они должны были противодействовать 6-му Американскому флоту. Мирные инициативы Президента позволили отказаться от патрулирования, использовать крейсера, эсминцы и противолодочники в качестве плавающей иллюминации, которая развернется на море напротив дворца, с чудесными фейерверком и салютом.

Профессор-археолог, раскапывающий древнее колхидское поселение, принес Президенту окаменелую сандалию, которая, по его мнению, принадлежала Одиссею. Пусть Президент примерит эту обувь древнего героя, больше всего на свете любившего путешествовать.

Тут же веселая стайка пионеров в красных галстуках распевала мелодичными голосами песню, посвященную любимому Президенту, другу советских детей. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка...» — вопрошала песня, и окрестность звенела счастливыми голосами детворы.

Два крепких загорелых агрария, представляя колхозников Крыма, принесли в дар Президенту огромную желтую дыню, едва помещавшуюся на столе. На ее золотистой кожуре было точно такое же родимое пятно, что и на голове Президента, повторявшее контурами архипелаг Малайзии. Аграрии пощелкивали пальцами дыню, и она издавала гулкий барабанный звук.

Тут же скромно сидел директор Крымской обсерватории, держа на коленях фотографии двух недавно открытых астероидов. Лишенные всяческой жизни, напоминавшие обломки сгнивших зубов, небесные тела теперь были занесены на карту звездного неба и носили имена

«Миша» и «Рая», скрепляя счастливый земной брак узами беспредельного Космоса.

Сквозь открытое окно был виден фонтан, в котором резвилась и шалила танцевальная группа лилипутов, вызванная для услады президентских глаз. Маленький озорной человечек направил струю фонтана на свою подругу, окатил ее с ног до головы, и та радостно визжала, издавая комариный писк, а потом разделась, ничуть не стесняясь посторонних, и стала сушить мокрое платье. Один из советников, игравших в песочнице, отвлекся от строительства песочного храма, достал увеличительное стекло и стал с любопытством рассматривать голую лилипутку.

В тени акации, независимо и надменно, шевеля раздвоенной бархатной губой, стоял белый верблюд по кличке Горби. Белосельцев невольно залюбовался его величавой, готовой к плевку осанкой.

— Виктор Андреевич, — тихо окликнул его мажордом. — Президенту доложено о вашем приезде, и он зовет вас на пляж. У вас есть плавки? Если нет, вы можете их взять в кабинке для раздевания.

Его проводили сквозь сад, полный птичьих песнопений, вдоль косматых пальм, вековых эвкалиптов, пятисотлетних секвой, которые, по повелению властительной хозяйки, были выкопаны из Сухумского ботанического сада, а также завезены из африканских и индийских джунглей. Море возникло внезапно, как нежная лазурь, кидающая стеклянные плески на белый песок. У горизонта туманился заостренным железным корпусом сторожевой корабль, охранявший с моря подступы к дворцу. Вблизи, среди волн, похожие на нерп, то там то здесь всплывали боевые пловцы в масках и аквалангах. Оглядывали поверхность, вновь, сверкнув глянцевитыми ластами, погружались в пучину, ставя надежную преграду морским злоумышленникам. Недалеко от берега купалась президентская чета. Она — в стороне, то плыла, раздвигая сильные руки, ярко светясь алой шапочкой. То ныряла, открывая на мгновение белые пышные ноги. Он стоял в море по грудь, круглолицый, круглоглазый, мгновенно узнаваемый по фиолетовой аккуратной кляксе, которую бессилён был смыть морской рассол. Рядом в прибое, безнадежно замочив черный морской мундир, стоял флотский офицер. Держал на руках раскрытый «ядерный чемоданчик», из которого свисал провод, соединенный с трубкой радиотелефона. Президент сжимал мокрой рукой трубку и по

космической связи разговаривал с Маргарет Тэтчер. Белосельцев, успевший раздеться в кабинке, облачившись в слегка просторные плавки, осторожно приближался к Президенту, держа над водой конверт с заветным письмом.

— Маргарет, дорогая, как поживает твоя мозоль? Ты воспользовалась рецептом, который я направил тебе по дипломатическим каналам?.. — Он умолк, слушая трубку, где звучал далекий голос мужественной женщины, наотрез отказавшейся носить ортопедическую обувь. — Да нет же, дорогая, нужно выполнить все рекомендации полностью, и мозоль отпадет, как с белых яблонь дым... Да нет, дым ни при чем, это слова нашего знаменитого поэта Есенина... Нет-нет, у него не было мозоли, у него была Айседора Дункан... Да нет, Маргарет, у нее тоже не было мозоли. Не делай вид, что не понимаешь. Ты прекрасно знаешь, что начатое дело нужно доводить до конца, как это было с Мальвинскими, в скобках, с Фолклендскими островами... Да, если угодно, это тоже была мозоль, только геополитическая, и ты с этим прекрасно справилась, дорогая... Но, Маргарет, пора подумать не только об интересах Великобритании, но и о своем здоровье. Я смотрел вчера хронику из Букингемского дворца, и ты заметно прихрамывала... Нет, я не перестану, потому что ты мне дорога... Нет, возьми карандаш и записывай, я настаиваю... Взяла? Тогда слушай!.. Растапливаешь русскую баню по-черному... Записала?.. Идешь в нее ночью одна, после третьих петухов... Записала?.. Больную ногу окунаешь в таз с настоем ромашки, горчицы, меда, яда гадюки, слезы ребенка, молока летучей мыши, туалетной воды принца Уэльсского, талька из башмаков принца Оранского... Записала?.. Держишь час, покуда баня не вытопится, и при этом повторяешь, можно по-английски: «Ты, мозоль, моя мозоль, распроклятая ты боль, спрыгни с моей ножки, пристань к кошке...» Записала?.. «К воробью летучему, к страусу бегучему, к волку рысучьему...» Записала?.. «Плыви, мозоль, по Темзе, а выплыви в Пензе...» Это город такой в России, а рифма поэта Евтушенко... Записала?.. «Плыви по Ла-Маншу, найдешь девочку Машу...» Это рифма поэта Вознесенского... Записала?.. «Ты, мозоль, моя мозоль, превратись в аэрозоль...» Это рифма Ахмадулиной... Записала?.. «Пусть будет мозоль у Рейгана, пусть будет у Буша, пусть у Коля, пусть у Помпиду, а я к вам больше не приду...» После этого вынь ногу

из таза, обмотай полотенцем и держи на открытом воздухе до рассвета... Солнышко встанет, посмотри на ногу, и никакой мозоли, поняла?.. Ну вот и хорошо... Больше не могу говорить, телефон будет нужен, у нас начинаются пуски баллистических ракет... Делай, как я сказал, дорогая... О результатах сообщи диппочтой... Пока...

Президент положил трубку в «ядерный чемоданчик». Флотский офицер с облегчением закрыл крышку и стал выбредать на сушу, стряхивая с мундира прилипших медуз. Президент заметил Белосельцева и сделал ему знак подойти. Держа над водой заветный конверт, осторожно щупая дно, Белосельцев подошел, убеждаясь, что под ногами отменный песок.

Приблизился к Президенту. Некоторое время они стояли рядом и молчали. Белосельцев заметил, что Президент слабо покачивается в такт набегавшим волнам, и подумал, что это проявление особой чуткости и пластичности, позволявшей ощущать малейшие колебания мира.

— А теперь я расскажу вам мою историю, — задумчиво произнес Президент, будто они уже провели с Белосельцевым не один час совместного стояния в море, присматриваясь, привыкая друг к другу, и теперь наступило время откровений. — Я был мальчиком, рос в ставропольском селе.

Ходил в среднюю школу, был пионером и комсомольцем. Помогал отцу работать на комбайне. Полюбил первой любовью соседскую девочку Катю. Был прилежен в школе и трудолюбив на работе. Однажды пошел на пруд ловить пескарей. Есть, знаете ли, такая забава у наших ставропольских детишек. Насадил червячка, забросил удочку, жду. Час жду, другой. Не клюет. Хотя бы раз дернулся поправок. Огорчение, сами понимаете, огромное. И с детским суеверием, вы ведь тоже, не сомневаюсь, были ребенком и меня поймете, стал я Бога просить: «Боженька, сделай так, чтобы рыбка поймалась. А я исправлю «четверку» по истории на «пятерку»!» Не клюет. «Боженька, — говорю, — пусть рыбка поймается, а я вернусь и забор покрашу, как отец велел». Не клюет. Я взмолился что было сил: «Боженька, пусть рыбка поймается, а я от Катьки Скверенко отстану и ее Федьке Панфилову уступлю». Не клюет все равно. И так велика была жажда поймать рыбку, увидеть, как дернется поплавочек, пойдет в глубину пруда, где на крючке водит его серебряный пескарь, так велико было

мое искушение, что я обратился уже не к Богу, а к дьяволу: «Дьявол, дьявол, сделай так, чтобы рыбка поймалась, а я тебе за это душу продам». Только сказал, как поплавок дернулся и вниз пошел. Я подсек, и на берег к моим ногам вылетел из пруда небывалых размеров пескарь. Огромный, серебряный, с красными глазами. Колотится у моих ног, о башмаки трется. А во мне все перевернулось, будто меня подменили. И радость, и жуть. И счастье, и ужас. И могущество небывалое, и слабость в душе. И понял я, что теперь душа моя принадлежит дьяволу, и он теперь мой господин...

Президент раскачивался на волнах, словно бакен. Белосельцев слушал, держа над водой письмо, и голова его слабо кружилась от этих непрерывных покачиваний, словно качался горизонт вместе с туманным боевым кораблем, и у него начиналась морская болезнь.

— И с тех пор стало мне все удаваться. Школу окончил с медалью. Орден получил за уборку урожая. Стал первым секретарем райкома комсомола. Сразу же, не успел опериться, перевели в крайком инструктором. А там, почти сразу, секретарем комсомола, а затем и партии. Тут и благоверную мою повстречал, Раю мою ненаглядную, розу мою терновую, песню мою задушевную, рубль мой неразменный. Словно кто-то мне ступеньки строит вверх по лестнице и красным ковром выстилает. А я-то знаю кто. Это мой хозяин и благодетель с длинным хвостом и рогами. Но пока ничего плохого не чувствую, а только одно удовольствие. Как стал я секретарем крайкома партии, так сразу сблизился с большими людьми из Москвы. Все они к нам на курорты приезжали. Все члены Политбюро, члены ЦК, министры, прокуроры, командующие. У кого гастрит, у кого колит, у кого язва желудка, у кого запоры и несварения. Оно и понятно, плохо питались, урывками, все на работе, все на ответственных заданиях партии. Ну, конечно, я их встречал. Провожал до Кисловодска, до Пятигорска, до Минвод, до источников и горных курортов. И, конечно, среди них Михаил Андреевич Суслов, Юрий Владимирович Андропов, Андрей Андреевич Громыко, и Черненко, и Зимянин, и Пономарев, всех я встречал, всем оказывал почетный прием. И они меня полюбили как сына. Бывало, сидят на веранде, отдыхают, целебную водичку пьют и ведут свои государственные разговоры. Кого на какой пост определить. Кого сместить. Как американцев в космосе обогнать. Какую ракету построить, чтобы незаметно подлетала к Нью-Йорку. Какого писателя

премией наградить, а какого маленько пострадать мордовскими лагерями. Слушал их молча, водичку им подливал, учился у них управлять государством. Раз на рыбалке Михаил Андреевич Суслов с другими секретарями ЦК выпили немножко водочки, разругались, расшалились. Кинул Михаил Андреевич в озеро палку и говорит: «А ну, Трезор, плыви и достань!» Я шутки понимаю, люблю. Разделся, кинулся в воду. Палку зубами схватил, рычу понарошку, плыву по-собачьи. А надо мной вдруг появился дьявол, крылья отточенные, перепончатые, глаза огромные, черные, и на лбу алмазный рог. «Твой час! Готовься!» Я на берег вышел, палку из зубов прямо к ногам Михаила Андреевича положил. Он задумчиво так на меня посмотрел и сказал: «Ну, тезка, пока ты плавал, мы тут кое-что между собой обсудили. Собирайся с нами в Москву...»

Белосельцев видел вблизи круглые рыжеватые глаза Президента, белесые волоски на жирной груди, зеркальца воды в ключицах, загорелую безволосую голову с фиолетовым родимым пятном. Плечи и голова Президента покачивались, словно это был поплавок. Фиолетовое пятно покачивалось. Белосельцев, испытывая головокружение, борясь с этими дурманящими колебаниями пространства, вдруг обнаружил, что пятно являет собой прозрачную, затемненную оболочку, подобие светофильтра! Из головы Президента сквозь этот светофильтр вырывается едва заметный луч, устремляется вверх, пропадая на солнце. Президент посредством прозрачно-фиолетового, излетающего из темени луча был связан с загадочными объектами неба и Космоса. Быть может, с летающими тарелками, окружавшими Землю таинственными эскадрильями.

— И вот началась моя московская жизнь. Лишь внешне, для посторонних глаз, я занимался вопросами сельского хозяйства. На деле же все мое свободное время посвящал общению с интеллигенцией. Мне было лестно оказаться в обществе таких значительных людей, как академики Арбатов и Примаков. Произнося грузинский тост или еврейский анекдот, они умели так тонко сформулировать политическую мысль или кремлевскую интригу, что мне хотелось расцеловать их в губы, но я удерживал себя. Поэты Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, оба мученики советской эпохи, под пытками КГБ сочинявшие поэмы о Ленине, обучили меня красоте глубоких и неполных рифм, которые сыпались из них, как орешки из

горных козочек. Я очаровал мою ненаглядную Раису, мою терновую розу, мою задушевную песнь, мой неразменный рубль, написав первый в жизни стих, где были такие слова: «Настанут времена и сроки и полетят смертельные сороки...» Конечно же, это было предчувствие перестройки. Я любил проводить вечера в обществе писателей и режиссеров, среди балерин Большого театра, среди бывших узников ГУЛАГа, многие из которых знали Бухарина, Радека и Зиновьева. Тогда же мы обменялись тайными письмами с Солженицыным и телефонными звонками с Андреем Сахаровым. Солженицын писал, что у него такое чувство, будто бы мы с ним уже двести лет вместе. Андрей Дмитриевич Сахаров просил меня звонить чаще, рассказал историю о Мутанте и просил прекратить ядерные испытания, которые могут повредить его другу. Казалось бы, чего еще желать человеку моих лет и моего положения? Но счастья не было. Мысль о дьяволе, о моей несвободе угнетала меня. Сначала стали сниться кошмары про какого-то жуткого уральского мужика, который хочет меня скинуть с моста, а потом начинает затаскивать на танк. Потом случилась бессонница, и я не мог заснуть даже на заседаниях Политбюро и за чтением книг замечательного ленинградского писателя Даниила Гранина. Потом началась чесотка, словно меня кусала тысяча блох. Следом экзема, будто меня облили соляной кислотой. Моя Рая, моя терновая роза, моя задушевная песня, мой неразменный рубль, перестала меня подпускать к себе, и я, смешно сказать, спал в коридоре на простом тюфячке как собачка. И что самое ужасное, у меня началось недержание. Стоило мне сделать глоток воды, как он тут же из меня вытекал. Чего я только не предпринимал! Пользовался клеенкой, носил брезентовые трусики, вставил себе катетер, скрытно опустив его в банку. Ничего не помогало. А тут еще открылось недержание речи. Только скажу одно слово, пусть самое незначительное, например, консенсус, и начинается извержение слов. Тысячи, миллионы, все быстрее и быстрее, как будто у меня внутри раскрываются один за другим словари русского разговорного языка, и весь словарный запас изливается наружу, подряд, в алфавитном порядке, включая матерные слова и слово «жид». Я не знал, что делать, куда деваться, когда, например, начинал материться в обществе белоэмигрантских князей и княгинь. Мне становилось страшно, когда ко мне входили мои замечательные еврейские друзья, а из меня, как из

охотнорядца, неслоь это отвратительное «жид». Я пробовал бороться с недержанием речи. Когда оно начиналось, я разбежался и с силой бился головой об стену. Это помогало, но только на время сотрясения мозга. А потом все начиналось заново. Пятно, над которым многие позволяют себе смеяться, — след от бесчисленных ударов о стену, когда я боролся с ужасным недугом....

Белосельцев держал над водой письмо. Убаюканный покачиваниями Президента, наблюдал, как колеблется излетающий из его темени фиолетовый луч. Словно это был сигнал маяка. Указывал направление неведомым космическим кораблям. Возникнет над морем темная точка, превратится в серебристый диск, и тарелка со свистом пролетит над головой Президента, опустится на побережье.

— Меня лечил академик Чазов — безуспешно. Лечила Джуна — напрасно. Лечила баба Маня из подмосковной деревеньки Кроты — не помогло. Помощь пришла неожиданно. Академик Гвишиани явился ко мне на прием, и я по обыкновению сказал ему: «Жид». Он все понял с порога. С ним случалось подобное. Он рассказал, как продал душу дьяволу, страстно возжелав доказать теорему Ферми. Доказал, но стал заложником своей страсти к познанию. «Вы должны, — сказал он мне, пока я безостановочно его материл, — немедленно отправиться в Ватикан, добиться аудиенции у Папы Римского, открыться ему и получить от него исцеление». Сказано — сделано. Я в Риме. Собор Святого Петра. Швейцарские гвардейцы в полосатых трико. Мне устроили встречу с Папой Иоанном Павлом Вторым. Я бухнулся ему в ноги, и, обзывая всеми матерными словами, упомянутыми в словаре Даля, чувствуя, как увлажняются мои штаны, поцеловал папскую туфлю и открылся в моем горе. «Встань, сын мой, — услышал я тихую величественную речь, которая до сих пор звучит в моем сердце. — Ты исцелен. Когда достигнешь высшей власти, передашь под мою юрисдикцию сто приходов в Западной Украине и откроешь костел в Москве. Однако, чтобы закрепить свое исцеление, ты должен поехать в Англию и там повидаться с Маргарет Тэтчер. Дерзай, сын мой... Урби эт орби... Ин вино веритас... А остальное — Ванитус ванитатум...» И прямо из католической исповедальни он позвонил в Лондон, чтобы меня там ждали...

Видимо, так же, плавно покачиваясь на волнах, пели Одиссею сирены, убаюкивая, лишая воли, увлекая в погибель. Сколько раз

Белосельцеву мечталось ударить в это ненавистное пятно, вонзить молоток в этот круглый череп, направить снайперскую пулю в плоскую переносицу между круглых оранжевых глаз. Но все это прежде. Теперь же, стоя в море, которое соединяло их с мировым океаном, с дельтами великих рек, со всей мировой водой, что таилась в подземных глубинах и была рассеяна в тучах небесных, теперь он зачарованно слушал исповедь кающегося человека. И даже не хотелось макнуть его в море, как Белосельцев нередко поступал в детстве с купающимися друзьями. Тем более что в руке он держал письмо, стараясь, чтобы на него не попали брызги.

— И вот я в Лондоне, в ночных покоях Вестминстерского аббатства, где меня принимала божественная Марго. Представьте себе готические своды, бронзовые светильники, пылающие свечи, пышный балдахин над царственным ложем. Она была в полупрозрачной ночной рубашке, с распущенными волосами, босиком, и на ее маленькой ножке еще только намечалась мозоль, что будет так мучить ее впоследствии. Она играла на арфе. Музыка была дивной, небесной. Под эту музыку она открыла мне учение о всеобщем братстве и земной любви. Об открытом сердце, которое объединит всех людей мира, ибо человечество едино, и надо преодолеть грех разделения, границы государств, расы, народности, языки. «Тебе, о рыцарь, — сказала она, проводя нежными пальцами по серебряным струнам, — выпала священная миссия остановить вражду в человечестве. Когда ты станешь правителем Советского Союза, ты должен будешь объединить две Германии, распустить Варшавский договор, отказаться от смертоубийственных советских ракет, отдать Америке часть Берингова моря, и за это тебя примут в избранное братство посвященных, для чего сначала позовут в Рейкьявик, где ты станешь командором Ордена Света, а потом на Мальту, где тебя возведут в ранг магистра». Так говорила она, и ее светлые волосы струились по обнаженным плечам, и яркие свечи позволяли видеть сквозь прозрачную ткань прелестное тело. «Пусть не смущает тебя наша близость, — сказала она. — Раиса, твоя терновая роза, твоя задушевная песня, твой неразменный рубль, она твоя земная жена, а я — небесная. Ступай ко мне». И она поманила меня на ложе. С тех пор я чувствую себя счастливым и просветленным. Я выполнил все ее заветы. Мы, человечество — единая семья с открытыми любящими сердцами, и нам не нужны атомные бомбы,

ракеты, погранзаставы, партии. Планета — наш общий дом, и все мы станем жить во Дворце Мира, макет которого вы можете увидеть в песочнице, где играют мои помощники Шахназаров и Черняев. Вот мой путь, от простого ставропольского комбайнера до посвященного рыцаря, о котором, оказывается, было предсказание в тибетском манускрипте шестого века, и мой портрет, полное подобие, словно писал Шагал, найден в Кумранских пещерах. Итак, зачем ты ко мне пришел? — спросил Президент, похлопывая ладошками по воде. — Что у тебя в руке?

— Велено передать, — Белосельцев встал по стойке «смирно», прижал конверт ко лбу, а потом протянул депешу Президенту.

Тот вскрыл пакет. Читал, чуть отстранившись, слегка напоминая Наполеона, получившего известие из Парижа.

— Боже мой!.. Борис!.. Он простил меня!.. Благородная, чистая душа!.. Я всегда верил в его кроткое сердце!.. Ну конечно же, мы будем вместе как братья!.. Мы сделаем народы мира счастливыми!.. А эти злобные, с затемненными сердцами люди, которых я приблизил к себе и которые оказались столь неблагодарны, что перестали мне звонить, они никогда не поймут нас с Борисом!.. Отвергаю их!.. Больше не подам им руки!..

На его глазах сверкнули слезы умиления. Белосельцев и сам был готов разрыдаться. Увидел, как плавающая на мелководье властительная супруга сняла с головы алую шапочку. Поднялась в рост и направилась к ним. Она была прекрасна, как морское диво. Обнаженная, загорелая, с коричневыми, сильно виляющими из стороны в сторону грудями, глазированными плечами без белых следов бюстгальтера, с могучими круглыми бедрами и густым, как морская кипучая водоросль, лобком. Он закрывал половину живота, словно это была набедренная повязка. В этой влажной кудрявой растительности переливались медузы, трепетали крохотные яркие рыбки, шевелили усиками розовые креветки, поблескивали ракушки. Белосельцев залюбовался и невольно подумал, что ночью все это светится, словно планктон. И если поднести к зеленоватым фосфорным отсветам книгу, то можно читать ее без свечей.

Властительница подошла, схватила Президента за плечи и легко оторвала его от воды. Белосельцев с изумлением увидел, что у Президента нет торса и ног, он представляет из себя легкую, полую

внутри, пластмассовую отливку. Безногий манекен, который выставляют в витрине парикмахерской.

— Дорогая, ну что ты... — смущенно лепетал Президент, пока его выносили на берег. Белосельцев видел, как капает с плоского днища вода. Как мощно, словно жернова, двигаются ягодицы властительницы. И только теперь понял, почему Президент покачивался в такт волне, словно целлулоидная утка в детской ванночке

Белосельцев был трезв и спокоен. Задание Чекиста было выполнено. «Истукан» был заверен в недопустимости штурма и наивно шел в западню. Пятнистый Президент был отчужден от своих соратников в ГКЧП и выключен из игры. Та часть операции, за которую отвечал Белосельцев, была завершена. Теперь дело было за партией, армией, оперативным аппаратом спецслужб.

Не оглядываясь, слыша сзади какие-то мокрые шлепки и шипенье, он оделся в кабинке и по горячему песку направился в сторону дворца.

Его проводили к самолету, и когда белоснежная машина с могучим счастливым рокотом вырулиwała на взлет, другая, точно такая же, садилась на бетонную полосу. Там находилась депутация ГКЧП, искавшаяся с докладом к Президенту. Но она опоздала. Белосельцев торжествующе улыбался, слушая свистящее вращение турбины...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В самолете ему стало худо. Болезнь, остановленная усилиями воли, преодоленная яростной деятельностью, теперь, когда операция завершилась, стала выплывать из темных закоулков организма. Отрава вернулась в кровь, потекла, заструилась в кровотоках, омывая ослабевшее тело, и не было сил противодействовать мучительным ядам. Он замер у иллюминатора, глядя на белые башни облаков, чувствуя, как множатся в нем странные больные тельца, сталкиваются с кровяными частицами, поедают их, и эти бесчисленные столкновения, крошечные беззвучные смерти медленно накаляли лоб, туманили глаза, порождали ломоту и слабость.

В аэропорту он ожидал, что его встретит машина, искал ее среди холеных лимузинов, отыскивая знакомый номер. Но машины не было, и это неприятно поразило его. Он позвонил в приемную Чекиста, но телефоны молчали, помощники отсутствовали. Чувствуя, как начинается жар, как ухает сердце, как стынет под горячим дневным солнцем спина, Белосельцев подхватил попутную машину и двинулся в город. Заглянул в зеркальце заднего вида. Отраженное лицо припухло и покраснело, словно побывало в кипятке. Покрылось нездоровым румянцем, как тогда, в Чернобыле, у четвертого блока, когда лица людей покрывались смугло-розовым, цвета персика, загаром, и ночью щеки и лоб горели, словно после пляжа.

Ему становилось все хуже. Болезнь разрасталась, была частью болезни, которая поразила город. За те несколько часов, что он отсутствовал, город преобразился. Казалось, на улицах, в транспорте, в подземном метро, в квартирах и учреждениях размножается неведомый ядовитый плазмодий. Циркулирует в системе городского водоснабжения, в электрической и телефонной сети, передается при рукопожатиях, через дыхание. Болезнь взбухала, город температурил, приближался к бреду и обмороку. И в недрах этого подступавшего бреда, из автомобильного приемника рокотал баритон, бесконечно и однообразно читающий воззвание ГКЧП.

Он смотрел на Москву. Среди шумных торжищ, людских столпотворений шел распад невидимых молекул жизни. Распадался

воздух, камень фасадов, горячий асфальт дорог, распадалась очереди, толпа, одежда на людях, деревья в скверах. Распадалась, шелушилась и морщилась броня на танках, танковые шлемы механиков, кожа на измученных лицах офицеров. И черный стремительный лимузин с лиловой мигалкой промчался мимо танков, распадаясь, теряя вещество в пульсирующих мертвенных вспышках.

Казалось, в городе, и дальше, за его пределами, и дальше, в полях, на дорогах, в пригородах и предместьях совершается химия смерти, погибает огромное безымянное существо, выброшенное на отмель. Жизнь отступала как вода в океане. Существо умирало, издыхало. В нем еще пульсировали последние биения, но плоть уже распадалась, сгнивала, расслаивалась на волокна и нити, и в мертвой гниющей плоти сновали и копошились нарядные жучки-трупоеды.

Расплатился с шофером, вышел на Пушкинской площади. Стоял, задыхаясь, беспомощно поводя глазами. Воздел их вверх, мимо высоких фасадов, иссыхающих на бульваре деревьев, над бронзовой головой памятника. Высоко, в затуманенных, бесцветных небесах, сквозь перекрестья проводов, над жестяными крышами города летел косяк демонов — мерные взмахи заостренных перепончатых крыльев, вытянутые головы с козлиными бородками, скрюченные на груди когтистые лапки. Впереди летел вожак на огромных, словно черные перепончатые зонтики крыльях, в темном атласном сюртуке, в цилиндре, вытянув назад тощие ноги в узких, трубочкой, брюках. Это был главный маг Солнечной системы, полковник американской военно-морской разведки Джон Лесли, десантирующийся из Балтимора в Москву. Борясь с обмороком, Белосельцев добрался до лифта, поднялся домой.

Жар усиливался, бред подступал. Он лег и накрылся пледом. Воздух в комнате распадался на атомы, издавал непрерывный вибрирующий звук, словно множество невидимых цикад начинало вдруг звенеть, создавая дребезжащее, не имеющее направления звучание. И чтобы заглушить этот звон гибнущего пространства, он, не поднимаясь, из-под пледа, нажатием кнопки включил телевизор.

Бред был и там, на экране, где в синей водяной глубине, как в аквариуме, танцевали балерины. Белые невесомые существа парили в луче прожектора, слетались, падали ниц, выстраивались в длинные живые гирлянды и вновь разлетались.

Он понимал, что это бред, такого не может быть. Распадаясь, мир не может танцевать. Это напущение, плод страдающего, гибнущего рассудка. Слыша звуки знакомой, раздражающе-красивой музыки, глядя на танцующих балерин, Белосельцев чувствовал, под этот танец исчезает, уходит ко дну, пропадает в бездонной голубой глубине целое мироздание. И он вместе с ним.

Медленно, как огромные, оседающие на корму корабли, тонули образы великого времени. Днепрогэс, словно стеклянный драгоценный кристалл. Города и заводы в дымах и заревах, возведенные на сибирских реках. Сражения минувшей войны и победный салют в Москве. Улетающая в космос ракета и юное лицо космонавта. И его собственная жизнь, когда мальчиком шел в многоцветной толпе, вглядываясь в далекое на Мавзолее лицо вождя, и позже, когда утомленный, в потной одежде, тащил на плече миномет в никарагуанской сельве, давая отдохнуть щуплому новобранцу. Все это исчезало, тонуло. Прозрачные балерины танцевали свой танец, и это был танец смерти, и смерть почему-то избрала для себя именно этот балет и танец. Погружались в глубину корабли. Висел на стене афганский ковер, и из него на Белосельцева смотрели живые, влажно-мерцающие глаза.

Очнулся. В комнате было солнечно. Сознание возвращалось к нему, как расплескавшаяся, натекавшая обратно лужа. Он снова позвонил к Чекисту. Того не оказалось на месте, но помощник любезно ответил:

— Быть может, он поехал на пресс-конференцию, которую дают члены ГКЧП?

Чувствуя непроходящий жар, Белосельцев заторопился в здание журналистского центра, где должна была состояться пресс-конференция.

Когда он явился в пресс-центр, зал был переполнен. Все ряды были плотно забиты. В проходах стояли треноги телекамер, похожие на глазастых пауков. Операторы раздраженно пикировались, отвоевая места поудобнее. На подиуме длинный стол был накрыт малиновой скатертью. Темнел стебелек микрофона. Торчали спинки стульев. Пустая сцена, на которой должны были появиться члены

ГКЧП, освещенная оранжевым светом, казалась воспаленной, жаркой, словно сковорода, куда упадут ломти сырого шипящего мяса.

Белосельцев с трудом отыскал свободное место, устроился среди шелестящих, гудящих рядов. То и дело щелкали холостые вспышки, прицеливались нетерпеливые фотоаппараты, мигали огоньки диктофонов. Ему по-прежнему было худо. Мучили жар, духота. Хотелось прохлады, глотка чистого свежего воздуха.

На сцену вышла женщина. Поставила на стол графин с водой, несколько стаканов. И этот простой стеклянный графин, установленный на голом столе, произвел впечатление суровой аскетической правды, во имя которой совершалось дело ГКЧП.

Белосельцев ссутулился в кресле. Сопrotивляясь недугу, мучаясь духотой, осматривал зал. Лица журналистов были возбуждены, нетерпеливы, полны необъяснимого злорадства то ли по поводу новых жестких веяний, полагавших предел их собственному журналистскому вольнодумству, предвещавших эру отсечения вольнолюбивых голов. То ли по поводу хунты ГКЧП, которая через несколько минут окажется на виду у глазастой, умной и едкой публики и начнет тлеть, дымиться и таять, как тряпица, брошенная в кислоту.

Среди морщин, бровей, говорящих губ, мигающих глаз, усиков и бородок Белосельцев заметил в разных концах зала странные лица, неподвижные, бледно-застывшие, одинаковые, словно маски из папье-маше с нарисованными ярко-алыми губами, черно-жгучими бровями, выразительными горбатыми носами. Некоторые из них неподвижно застыли у телекамер. Другие туманно белели в рядах среди суетливого журналистского множества. От этих голубовато-белых лиц, среди духоты и жара, веяло таинственным мертвенным холодом, как от света мглистой зимней луны. Белосельцев, обнаружив их сходство, стал исследовать закон, по которому разместились в зале загадочные двойники. Мысленно соединял их линиями, мерил между ними расстояние, вычерчивал кабалистический знак, предчувствуя скрытый зашифрованный смысл. Составив из двойников сложный геометрический рисунок, нашел того, кого искал и предчувствовал. В сумраке зала, заслоненный телекамерами, укрываясь за другими головами и лицами, в черном атласном сюртуке и цилиндре, с горбом, в котором были укрыты сложенные перепончатые крылья, восседал

полковник американской военно-морской разведки, главный маг Солнечной системы, Джон Лесли из Балтимора.

Это открытие ужаснуло Белосельцева. Зал был наполнен магами. Пресс-центр был захвачен. Пресс-конференция, куда собрался народ, была казнью тех, кого через минуту выведут на эшафот, кинут головами на длинную плаху, покрытую малиновым сукном. Надо было встать, пойти за сцену, предупредить, отвлечь несчастье. Но болезнь вдруг резко усилилась, словно маги угадали его намерение, вбили ему в стопы и ладони длинные раскаленные гвозди, и он остался в кресле, прибитый гвоздями, тараща выпученные от страдания глаза, хватая душный, без кислорода, воздух.

Пространство на подиуме колыхнулось, и в оранжевый воспаленный свет, один за другим, стали входить члены ГКЧП. Решительные, деловые, не глядя в зал, что-то договаривали между собой на ходу, демонстрировали занятость, властность, легкое отчуждение от зала, в котором было много язвительных недругов. Теперь эти недруги вынуждены будут смириться, вновь послушно и преданно выполнять неколебимую волю очнувшегося государства.

Белосельцев видел, как они рассаживаются, двигают стулья, поправляют малиновую скатерть. Профбосс, Зампред, Премьер, Технократ, Аграрий, Прибалт, все, с кем недавно совершал путешествия на космодромы, атомные центры, военные полигоны, душевно беседовал, подымал рюмку водки, догадываясь по мимолетно брошенным фразам, по оговоркам, по умолчанию о близком заговоре. Теперь этот заговор всплыл на поверхность, как всплывает медленный пузырь газа из недр лесного темного озера. И все они, сидящие за столом, были вынесены на поверхность этим донным, булькнувшим пузырем. Только не было среди них Чекиста, в ком так нуждался сейчас Белосельцев.

— Товарищи господа! — Профбосс, говорун, председатель многих собраний, тамада долгих застолий, открыл пресс-конференцию, делая светский свободный жест, переводя его в твердый, волевой взмах руки. — Позвольте открыть нашу встречу с краткого заявления для прессы, которое позволю себе зачитать... — непринужденно полез в нагрудный карман, извлек листик бумаги. Шелестя перед микрофоном, начал чтение: «Исходя из острейшей политической ситуации... Сообразуясь с Конституцией СССР..

Неуправляемость производства и угроза общественному и социальному строю... Многочисленные письма трудящихся... Воля советского народа, высказанная на референдуме... Подрывные действия иностранных спецслужб... Взяли на себя ответственность... Вся полнота политической и государственной власти... В интересах всего советского общества...» Кончил читать, слегка откашливаясь, озабоченно и деловито, как опытный оратор и полемист. — А теперь прошу задавать ваши вопросы, на которые мы с удовольствием ответим...

Белосельцев вслушивался в металлический, уверенный голос, принадлежавший теперь первому лицу государства, председателю властного Комитета, отстранившему от управления двух враждующих между собой, никчемных Президентов. Этот голос вначале лишь щупал акустику зала, еще неуверенно облетал ряды. Но потом окреп, наполнил собой все пространство, рокотал в барабанных перепонках, отпечатывался на магнитной ленте, сливался с рокотом мировых энергий. Профбосса снимали телекамеры, записывали магнитофоны, он мерцал и трепетал от бесчисленных серебряных вспышек. Подчинял себе зал. Воплощал в себе мощь очнувшейся державы, ее необъятных пространств и океанов, громадной индустрии, непобедимой армии, плавающих в мировом океане лодок, несущихся по орбитам космических группировок. Страна переболела изнурительным недугом. Оживала и крепла, обнаруживая свое исцеление твердыми интонациями властного, не подверженного колебаниям голоса.

Белосельцев и сам оживал. Ему стало легче. Дурнота отступала. Гвозди выпали из пробитых конечностей, и он распрямился в кресле. В зале стало прохладней и чище.

Он осматривал телеоператоров, водивших глазками камер, их азартную точную работу. И вдруг заметил, что из нескольких камер, из стеклянных окуляров, вырываются и уходят к сцене голубоватые прозрачные лучи, наполненные туманными переливами и тенями. Такие длинные, расходящиеся снопы лучей исходят из кинопроекторов в зрительных залах, озаряя экран, насыщая его непрерывными, сменяющими друг друга картинками. Их было несколько, этих голубоватых пучков, из разных точек зала, из телекамер, которыми управляли загадочные люди-маски с мертвенной бледностью лиц. И по

мере того как эти лучи зажигались, летели к сцене, сходились на говорящем Профбоссе, голос его начинал тускнеть, блекнуть, словно кончались батарейки в диктофоне и лента замедляла вращение. Профбосс опустился на стул, смущенный, растерянный. И все они сидели, молчали, озаряемые голубыми пучками, словно были изображениями, спроецированными на экран.

Из зала посыпались вопросы. Подымались руки, тянулись гуттаперчевые набалдашники микрофонов, ящички записывающих устройств. Корреспонденты зарубежных агентств, газетчики, телерепортеры спрашивали о возможности штурма Белого дома, о здоровье обоих Президентов, о продолжительности пребывания в городе войск, о настроениях в провинции, о возможности новых репрессий.

Сидевшие за столом отвечали невнятно, невпопад, используя для ответов тусклые неубедительные слова, словно их головы были наполнены дымом. Едва кто-то начинал говорить бодро и резко, как из зала протягивался к нему еще один голубоватый пучок, освещал, как освещают прожекторы летящий в ночном небе самолет, не выпускал, вел, подсвечивал, покуда самолет не сбивали зенитки. Отвечавший гэкачепист сникал, начинал бормотать, заговаривался, беспомощно умолкал.

Зал сдержанно роптал. Начали раздаваться смешки. Никто не понимал происходящего. Никто, кроме Белосельцева. Он видел, как маги направляют на свои жертвы пучки экстрасенсорной энергии, и те сникают, становятся дряблыми и пустыми. Он почувствовал странные изменения в зале. Словно среди жаркого лета приблизилась осень.

Стало прохладней, свежей, как в осенних просеках, в которых одиноко и беззвучно падает последний осиновый лист. Таинственные пучки, наполненные туманом, продолжали светить, в них клубилась холодная синева, прозрачная чистота предзимних утренников, когда на лужи ложится стеклянная хрупкая корочка, земля становится твердой и сизой, а небо похожим на оперение дикого голубя. Белосельцев почувствовал стремительное наступление холода, ощутил жестокий озноб.

Из зала поднялся известный демократический журналист, тучный, неопрятный, с толстыми мокрыми губами и вислыми усами, словно только что отставил кружку пива. Он был известен своими

симпатиями к государству Израиль и, напиваясь в пивном зале Дома журналистов, вслух мечтал о том, как станет послом в Тель-Авиве. Обратился из зала к Аграрию с веселой хмельной развязанностью:

— Вася, дорогой, ты-то как, деревенский человек, затесался в эту честную компанию?

Аграрий хотел ответить, но на нем скрестились лучи. Белосельцев увидел, как лицо Агрария, его волосы и пиджак покрылись инеем. Стол перед ним стал пушистым от морозной шубы, сквозь которую дымчато просвечивала малиновая скатерть. Он открыл для ответа рот, но изо рта вырвался морозный пар, и Аграрий стал отирать себе плечи, дуть на застывающие ладони.

Зал загудел, из него понеслись неясные выкрики. Профбосс, волнуясь, поднял графин, желая наполнить водой стакан. Но вода в графине замерзла, превратилась в глыбу льда, а сам графин был опущен белесым инеем, словно был вынут из морозильника. Зал замер, Профбосс растерянно держал графин над стаканом, и было слышно, как упала и звякнула в стакане ледышка.

Там, на сцене, была зима, дула стужа, члены Комитета в легких летних костюмах замерзали. Было видно, как их бьет колотун. У Профбосса дрожали ладони. Он не мог отставить стакан, не мог придвинуть микрофон. Пальцы его содрогались.

Из зала наперебой неслись вопросы: «Как?.. Что?.. Кто именно?.. Какого числа?.. Какое количество дивизий?.. Сколько лет тюрьмы?..»

Люди за столом замерзали. Над ними висели огромные тяжелые сосульки. Их окружали сугробы, над которыми неслась поземка, туманила их окоченелые тела. Зампред силился подняться, расправить плечи, сломать ледяной панцирь, но на нем сходились лучи, и он, как генерал Карбышев, на которого лили ледяную воду, превращался в окоченелого идола.

Белосельцеву было жутко. Он смотрел на сцену, где погибали страшной мученической смертью последние государственники. Лампы над ними, словно зимние фонари, были окружены жестокими морозными радугами. Из глубины зала поднялся, встал ногами на кресло, распростер над рядами черный перепончатый купол крыльев главный маг Солнечной системы, полковник Джон Лесли из Балтимора. В атласном сюртуке и цилиндре, в белых перчатках, похожий на циркового чародея, махнул рукой в сторону подиума,

прогоняя гэкачепистов, и сидевшие за столом люди, лишенные воли, согбенные, послушно поднялись и пошли прочь, увязая в сугробах, оставляя в снегу рыхлые следы, падая, поддерживая друг друга, словно застывающие в зимней степи путники. Зал гудел. Операторы складывали треноги. Журналисты валили к выходу.

«Где Чекист?» — помраченно думал Белосельцев, пробираясь домой. Город напоминал огромного, покрытого испариной лося, у которого на задних ногах были подрезаны жилы, — рвался, дыбился, катал под кожей горы могучих мускулов и не мог совершить прыжок. Оседал на подрезанных, лишенных силы хрящах. Еще он напоминал высоковольтную линию с рядами стальных мачт, по которым красиво, туго были натянуты провода, однообразно и строго, от пролета к пролету, соединявшие могучие электростанции и заводы. Но вдруг у одной из мачт провода обрывались, лежали на земле уродливыми комками, перекусанные, спутанные. И было видно, что трасса отключена от генераторов, провода холодны и мертвы, и мачты подобны огромным крестам на могилах.

«Где Чекист»? — вопрошал Белосельцев, взирая на раненый город. Ранеными были застывшие у стен колонны бронетехники. Ранеными были черные, панически метавшиеся «Волги» с мигалками. Из Москвы, из ее концентрических колец, радиальных линий был вырван стержень, выломан Кремль, выхвачен самый главный златоглавый собор. Осуществлялся и разворачивался какой-то умный и жестокий план, связанный с извлечением стержня, устранением собора. Белосельцев брел под морозящим дождем по городу, развалившемуся на множество бессмысленных, не скрепленных обломков.

Промокший, больной, он добрался до дома, не зная куда себя деть, страшась провалиться в бездонную болезнь. Шторы были задернуты. В комнатах стоял душный сумрак. Снаружи доносился ровный шум убиваемого города, словно в стуках и скрежетах развивчивали огромное сооружение, разбирали на куски огромную, переставшую работать машину. И этот звук механического распада мучил Белосельцева.

Он чувствовал себя обманутым, догадывался о страшной тайне. Рукопись неоконченной книги, посвященной «оргоружию» — его главное выстраданное открытие — лежала на столе рассыпанной

стопкой. Открытие опоздало, оружие сработало раньше, чем книга оказалась написанной.

Скрежет за шторами был звуком запущенного, убивавшего город оружия.

Чтобы забыться, одолеть болезнь, скрыться от нее в кропотливом, отвлекающем деле, он решил заняться расправлением бабочек. Но это заняло не много времени. Он пошел по комнатам, натываясь на стулья, книжные полки. Пошарил среди книг и на ощупь в сумерках вытащил, угадав прикосновением пальцев, томик Гумилева с оборванным, плохо заклеенным переплетом. Поблагодарил кого-то, пославшего ему в это мгновение книгу. Лег на диван, включив в изголовье торшер. Стал читать:

Как странно — ровно десять лет прошло
С тех пор, как я увидел Эзбекию,
Большой каирский сад, луною полной
Торжественно в тот вечер озаренный...

Слова казались каплями горячей смолы и густого пчелиного меда, тягучие, благоуханные, с таинственным золотом запечатленного солнца. Он больше не мог читать, положил книгу на грудь. Разбуженные звуками чужой поэзии, двинулись видения.

Тот загадочный одинокий порыв ветра на вечернем рынке в Равалпинде, когда небо в аметистовых тучах, повсюду горят маслянистые площадки, торговцы золотом закрывают свои лотки, на бело-голубом минарете печально прокричал муэдзин, и тогда из глубин мироздания дунул загадочный ветер, будто оторвался и прилетел от иной планеты, загнул в одну сторону седые бороды старцев, вялые балахоны одежд, пламя в крохотных чутких лампадах, и все, кто двигался, бежал, торопился, вдруг замерли, оглянулись на небо, откуда дунул порыв. Та железная ржавая колея в Кампучии, нагретые, пахнущие креозотом шпалы, рывина, полная теплой воды, из которой торчало желтое сочное соцветье. Высотный пост в Гиндукуше. Ночной студеной ветер с хребта. Запах ледников, остывших камней, крохотных горных полынй, источающих пряную горечь.

Он лежал, видения рождались на дне глазных яблок, под веками, медленно, как грунтовые воды, спускались в глубину груди и оттуда сквозь невидимые порезы просачивались, испарялись наружу как облака. Покидали его навсегда. Он знал, что расстается с образами прожитой жизни, отпускает их обратно в пространства, где они изначально обитали. А он сам, освобождаясь от видений, остывал, утихал, превращался в каменеющую, отпускавшую свою атмосферу планету.

Восемь дней из Харрара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы...

Золотые, с киноварью пагоды Пномпеня и горячая, с шуршащей травой Нигерия. Красная после ливня земля, фонтанчики жидкой грязи, из которых возникали жирные, слепые головки личинок, и было страшно стоять на шевелящейся скользкой земле. Сине-зеленая звонкая вода Средиземного моря, когда кидался с открытыми глазами в чудесную солнечную глубину, в серебряные пузыри и, выныривая, видел близкий флагманский катер, солнце на медных деталях, далекий, серо-туманный эсминец. Стриженный влажный газон в Зимбабве, и он, отыскав араукарию, целовал ее зеленые благоухающие ветки, словно персты любимой женщины, и дерево позволяло себя ласкать.

Он все это видел вновь. Каждое видение мягко касалось изнутри его век, губ, и он с прощальным поцелуем отпускал их к далеким пространствам, где его помнили деревья, камни, белые кости умерших животных, голубые холмы в таинственных влажных лесах.

Вдруг под слоями памяти, среди зрелищ чужой земли, запахов чужой природы возникло видение. Он, еще мальчик, стоит на лыжах среди солнечной, еловой поляны, в зеленоватом студеноем небе пролетает сойка, и он с земли остро, страстно, ожидая для себя бесконечной жизни, неизбежного чуда и счастья, видит высокую птицу, чувствует ее жизнь, ее маленькое, бьющееся в небе сердце, в котором и заключено его будущее счастье и чудо.

Давнишняя сойка, чьи кости истлели в подмосковном лесу, смешанные с перегноем и мхом, снова летела над ним. И он понял, что тайна, за которой всю жизнь гонялся, чудо, которое весь век ожидал, были заключены в маленьком птичьем сердце. Остались для него недоступными. Лишь поманили из мерцающего зеленого неба.

Он лежал и беззвучно плакал. Его жизнь завершалась, исходила слезами, и ему казалось, что он плачет последний раз.

Он проснулся, как будто его ударили металлическим острием в затылок. Звук металла о кость, проникновение кованого наконечника под костяную коробку черепа — вот что его разбудило.

Было темно. Город за шторами шумел и ворочался, и звук железа о кость был звуком гарпуна, входящего в загривок кита, звуком разящего, добивающего город удара.

«Что сказал Чекист?.. В двадцать один ноль-ноль, в туннеле у Нового Арбата... Бутылки с зажигательной смесью... Переход к активным мероприятиям...»

Вскочил, зажег свет. Бабочки беззвучно, многоцветно сверкали. Рукопись книги была рассыпана по столу. «Оргоружие», о котором писал, действовало в городе, а он, проигравший разведчик, уставший больной человек, был обязан идти и смотреть. Использовать уникальный, дарованный ему напоследок случай — увидеть действие «оргоружия», умертвляющего его государство. Оделся, выбежал в ночь, чувствуя гарпун в спине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Он шагал по Садовому кольцу, по черной дуге, и в мокром асфальте отражались огни светофоров, стремительные ртутные фары. Машины как лезвия секли асфальт. Пахло танковой гарью, кислой броней и чем-то теплым, парным, тошнотворным, свежей, вываленной из коровьей туши требухой.

У Зубовской площади пульсировали мигалки милицейских машин. Постовые полосатыми светящимися жезлами останавливали транспорт, не пускали. Машины злобно, трусливо огрызались бамперами, разворачивались, уносились в окрестные переулки, прогрызаясь сквозь камень, патрули и заторы.

Белосельцев двигался по липко-глянцевитой Садовой, сместившись на опустелую проезжую часть. Одинокий, накрываемый дождем, торопился и думал: «Он сказал — в двадцать один ноль-ноль... Приду и увижу... Свидетель конца...»

Впереди в тумане мигало, мерцало. Мутно светили прожекторы. Грязно желтели костры. В жерле туннеля клубилась толпа. Сновали, тащили, звякали железом, закупоривали въезд в туннель. В горловине уродливо, перегородив проезд, стояли два развернутых, сцепившихся троллейбуса. Их усы нелепо топорщились, а борта, покрытые рекламными наклепками, липко блестели, как переводные картинки. Толпа толкала их, теснее вгоняя в туннель.

Белосельцев смешался с толпой, втиснутый в сырое дышащее скопище, в запах мокрой одежды, сигарет, зловонного дыма горячей резиновой шины, в парное тепло требухи. В полутьме, под зонтами, в красных отсветах костра, в перебегающих лучах прожектора, лица казались изможденными, с увеличенными тревожными глазами. И во всех глазах, мужских и женских, молодых и старых, было ожидание. Белосельцев, ударившись о толпу, влипнув в нее, проникся ее ожиданием.

Он прижался к мокрому холодному парапету, за которым начинался туннель и стояли сцепившиеся троллейбусы. Какие-то расторопные юнцы укладывали на парапет каменные бруски, склянки, бутылки, одинаковые обрезки труб, словно готовились к распродаже,

но было непонятно, кому и зачем может понадобиться этот странный товар. Один из торговцев обрезал о железо руку, высасывал кровь, и казалось, он целует себя долгим страстным поцелуем.

Парень с мокрыми патлами держал в руках букетик цветов. Рассыпал его, вкладывал в глубину букета обрезок железной трубы. Перевязывал аккуратно тесемкой. Возвращал на бетонный парапет, где уже лежали похожие, стянутые тесемкой букеты. Японский оператор, светя лампой, наводил камеру на букеты, на патлатого парня. Тот поднял голову, обернулся, и Белосельцев увидел его длинную, дрожащую улыбку, пупырышки и мелкие волоски на коже, в косом свете лампы.

— Говорят, на Октябрьской площади статую Ленина завалили! Подогнали кран и свалили! Сейчас поволокут на тросах. А зачем валить-то! Кому он мешает, бронзовый! Сейчас повезут в переплав! — старик в косоворотке, с седой бородкой, похожий на сельского батюшку, укоризненно качал головой, всматриваясь в туман Садовой. И все кругом всматривались — вот-вот забелеет мутный свет, медленные движущиеся огни, и в чернильной ночи возникнет вереница тяжелых, окутанных дымом машин, осевший плоский прицеп, и на нем, притороченный тросами, памятник, головой вперед, с шагающей в небо ногой и заостренной торчащей рукой.

Патлатый парень на своем гранитном прилавке рядом с цветами расставлял бутылки. Казалось, он, пользуясь скоплением людей, открывает торговлю напитками, разворачивает ночной лоток. Цветы, напитки, жевательная резинка, сигареты — все, что нужно ночным гулякам, молодым волокитам. Другие юнцы столпились рядом. Закурили, запалили зажигалку. Белосельцев разглядел худое, с запавшими щеками лицо, дрожащие веки, закрытые в наслаждении от длинной затяжки.

— А я слышала, по радио передали, этих-то, в Кремле, под стражу взяли! Арестовали и в наручниках всех в Бутырку! И правильно, хватит народ мутить! — молодая изможденная женщина с мокрыми обвислыми волосами всматривалась во мглу, вытягивала худую шею, и Белосельцев повторял ее движение, ожидая, что в темноте начнет мерцать лиловая вспышка, покажется милицейская машина, а за ней, на колесах, в окружении мотоциклистов, появится огромная клетка, Где, стоя, держась за мокрые прутья, возникнут знакомые лица —

Профбосс, Премьер, Технократ, Партиец, Зампред. Все они, в мятых одеждах, движутся по дождем по Москве в ржавой холодной клетке.

«Где же Чекист»? — мелькнула больная мимолетная мысль и канула. Он увидел, как подтаскивают к парапету свернутый рулон брезента. Несущие его парни сгибались под тяжестью отсырелой ткани. Было непонятно, зачем брезент, зачем укладывают его на парапет рядом с букетами и флаконами. Быть может, это ковер, и его станут стелить навстречу какому-то желанному гостю, грядущему в этой ночи, и он, неведомый, ступит на узоры ковра, на разбросанные цветы, на землю, политую из флаконов благовониями.

— Все не так! Все обман! Никакой не Ленин! Никакой не арест!.. Сейчас колонны пойдут! Наши, демократы!.. Сто тысяч от Белого дома!.. Наш Президент впереди!.. — женщина с седыми волосами нервно курила сигарету, заглатывала жадно дым, усмехалась, подергивала плечами.

Белосельцев смотрел вдоль парапета вверх, в сторону Нового Арбата, светившего тусклой желтизной высоких дождливых окон, среди которых призрачно вращался голубой глобус «Аэрофлота». И вдруг увидел Машу. Не поверил, решив, что обознался в сумерках московской ночи. Но нет, это Маша проходила, окруженная группой возбужденных людей, махающих трехцветными флагами, с рукодельными транспарантами. Она несла какой-то бумажный плакатик, торопилась, стараясь не отстать от спутников.

— Маша!.. — крикнул он, устремляясь к ней. Она услышала, испуганно оглянулась. Увидала его, подбегающего, и ее испуганное лицо становилось отчужденным, враждебным. — Маша, это я!.. Подожди!..

Она стояла перед ним в застегнутом плаще. Знакомый шелковый шарф вокруг шеи. В руках плакатик с надписью: «Войска — в казармы!» Пораженный встречей, своим беспамятством, не понимал, как мог в эти дни совершенно забыть о ней, оставленной в полупустой деревне.

— Машенька, какое счастье... Как ты добралась?.. Знаешь, я совсем замотался!..

— Ты обманул меня... Приехал сюда, чтобы довершить свое ужасное дело...

— Маша, подожди... Я собирался вернуться... Хотел завтра утром... Тут были неотложные хлопоты...

— Твои неотложные хлопоты навели пулеметы и пушки на мирные дома и квартиры... Ты солгал мне!

— Это рок... Все, что случилось, ужасно...

— Ты говорил, что у тебя только я... Что начинаешь новую жизнь... А я-то, дура, поверила... Убаюкал, запер в избе, а сам вернулся и принялся за свое старинное дело... Танки, солдаты... Опять будет бойня?.. Там, где ты появляешься, всегда случается бойня...

— Машенька, послушай меня...

— И что же теперь начнется?.. Аресты?.. «Воронки»?.. Опять нас всех в лагерь, в Магадан?.. Как мою бабу Маню, деда Игната, дядю Ивана?.. Ты меня арестуешь?.. Поведешь на Лубянку?.. Ведь ты темный гений Лубянки?..

— Маша, родная, ты что говоришь... Пойдем отсюда...

— Снова в деревню?.. Грибы собирать?.. У озера костер разводить?.. Сладкие ягодки кушать?..

— Мы должны отсюда уйти... Здесь будет кровь... Будет страшная провокация... Они хотят крови... И те и другие... Мы должны сейчас же уйти...

— Ты разве боишься крови?.. Ты всю жизнь провел среди крови... Куда ты приходишь, там проливается кровь... Она и здесь прольется, потому что ты здесь...

— Побереги себя... Вспомни, ты не одна... Ты с ребенком... Побереги нашего мальчика...

— Вспомнил про нашего мальчика?.. Тебе мало того, что сеешь ужас вокруг, ты и в меня вселился как ужас... Я беременна твоим ужасом...

— Машенька, умоляю...

На них смотрели. Вся, идущая с флагами и с плакатами, группа взидала на них.

— Маша, — к ним приблизился рослый мужчина, видимо, вожак демонстрантов, державший трехцветный флаг. — Нам нужно идти.

Услышав этот властный спокойный приказ, не желая слушать его, Белосельцева, Маша отступила. Ее тут же окружила, спрятала в глубину сплоченная группа демонстрантов. Еще минуту был виден плакатик с надписью: «Войска — в казармы!», а потом всех поглотила

липкая мокрая мгла, сквозь которую летели туманные вспышки проспекта.

Белосельцев не знал, где ее искать среди каменного жуткого города, глотавшего людей, превращавшего их в черные брызги. Он вдруг увидел Зеленковича. Ловкий, азартный, тот торопливо пробирався в толпе, бесцеремонно расталкивая нерасторопных ротозеев. За ним двигался рослый оператор, неся на плече телекамеру.

— Ближе, ближе! — торопил его Зеленкович. — Вот с этого ракурса!.. Да нет же, захватывай проезжую часть, а потом глубь туннеля!..

Он не замечал Белосельцева, выбирал позицию, как выбирает ее гранатометчик в засаде, уверенный, что добыча не минует его, подставит под выстрел ромбовидную броню. Зеленкович был хищный, голодный, как гриф, и его появление предвещало пададь.

Толпа зашевелилась, раздвинулась. В нее въехал длинный «пикап», Бог весть каким образом проскользнувший сквозь посты и препоны. Дверцы растворились, и на асфальт выпрыгнули трое юношей, гибкие, подвижные, с пластичными движениями натренированных тел. Все в джинсах, в одинаковых кожаных курточках, отличаясь один от другого цветом спортивных картузов — белого, красного, синего, под стать трехцветным флагам в толпе. Белосельцев узнал героев, которых впервые увидел в подвале старинной усадьбы, среди светильников и поющих дев. Тогда они стояли в ладье, очарованные, готовясь к волшебному странствию. Второй раз он видел их в толпе демонстрантов, — заколдованные, с недвижными восхищенными глазами, они ступали, едва касаясь земли, словно видели сквозь теснины домов чудесную даль с божественной нежной зарей, куда устремлялись их души. В обоих случаях им сопровождал жрец, тот, что зашивал себя магической раскаленной иглой, а потом, голый, скрученный в морской узел, без головы и конечностей, лежал на носилках, разноцветный, как выловленный из океана осьминог, и его несли по Москве черные эфиопы в тюрбанах. Он и сейчас был здесь, рослый, прекрасный лицом, с черными кудрями, рассыпанными на ветру. Вокруг сочных румяных губ, выпуклых смуглых век, на щеках и на лбу были следы от швов, напоминавшие ритуальные надрезы африканского вождя.

Юноши подошли к парапету, где были разложены букеты, расцветшие на железных стеблях. Трогали мокрый гранит, перебирали цветы, переставляли с места на место флаконы. Белосельцев видел, как странно светится воздух над их головами, как легчайшее ртутное зарево окружает их пальцы, словно с них стекало холодное электричество. Три их картуза, белый, синий и красный, появлялись и исчезали в толпе, над которой возвышалась чернокудрая голова жреца, его властный надменный лик.

Белосельцев чувствовал охватившее толпу ожидание. Ему казалось, что наступают последние времена, уходит в небытие эра Земли и кто-то невидимый, всемогущий грядет, чтобы завершить ее и отвергнуть, произнести заключительное громогласное слово. Люди не знали, кто он, этот грозный посланец, в каком обличье возникнет, какую кару несет. Ждали его. И он приближался, огромный, ступающий по ночной Москве. Стопы — в половину улицы, голова — выше крыш, тяжкая, сотрясающая город поступь.

Донесся невнятный рокот и гул. Белосельцев подошвами ног почувствовал вибрацию земли. Вдалеке, на пустой Садовой, во мгле и мокром тумане, забелело, замутнело, возникли огни. Белые, размытые, сливались, блуждали, превращались в белый туман. Шарили в потемках, и оттуда, из этих огней, шло металлическое трясение. Толпа замерла.

В том месте, где ожидалось чудо, возникли боевые машины пехоты. Бронегруппа, шесть гусеничных машин, плотно, в два ряда, рубя металлом асфальт, приближалась, издавая железно-каменный звук. Светила прожекторами, высвечивала ослепительно ртутный клин земли, наезжала на этот клин черными брусками головных машин. Пушки на башнях отливали тонкой пленкой света. Дым из кормовых щелей казался синим.

— А-а-а!.. — тонко, отчаянно пронеслось над толпой, и этот крик недвижно держался в воздухе, пока остроконечные машины двигались к туннелю. Лучи с брони уперлись в троллейбусы. Пестрые цветные рекламы, приклеенные к бортам, сочно вспыхнули, словно их лизнул мокрый язык. — А-а-а!..

Ветер нес на толпу едкую гарь. Белосельцев почувствовал, как запершило в горле, и знакомое по войне кислое дуновение металла и теплое, душное зловоние топлива донеслись до него.

Женщина с седыми волосами вдруг стала приседать, заслоняясь зонтом, а маленький, похожий на лилипута человечек стал, наоборот, приподниматься на цыпочках. Две испитые, с голубоватыми лицами куртизанки прижались друг к другу, а бородач, похожий на сельского батюшку, закашлялся, поперхнулся. И множество Бог знает откуда взявшихся репортеров с телекамерами и фотоаппаратами кинулись к парапету, навели окуляры на колонну, засверкали вспышками. Зеленкович понукал оператора, вытягивал длинную руку в сторону боевых машин, и телекамера, повинаясь его властным взмахам, водила стеклянным глазом. Парни торопливо разбирали с парапета букеты, перехватывали их поудобней. Куда-то разом делись флаконы. Три белосине-красных картуза мелькали в толпе, и над ними белел истовый лик, развевались черные кудри. Машины внизу продолжали работать механизмами, упирались лучами в троллейбусы. Рекламы сигарет и напитков сочно, липко сверкали, словно покрытые лаком.

Белосельцев чувствовал толпу, ее многоликое, испуганное скопище, множество бьющих дымом железных моторов. Чувствовал невидимые экипажи, укрытый броней десант в тесных кормовых отделениях. БМП переговаривались, сносились друг с другом, колыхали хлыстами антенн. Головная машина пошла, выбросив над кормой коромысло дыма. Приблизилась к троллейбусам, застыла, елозя гусеницами, упираясь прожектором в лакированные клейма рекламы. Двинулась на троллейбус. Белосельцев услышал хруст сминаемого металла. Жестянка троллейбуса прогнулась под давлением брони. Машина, отведя назад пушку, давила, сдвигала троллейбус, буксуя, высекая из асфальта искры. Продиралась сквозь завал, протачивала проход для других машин. Из люка выставилась голова в круглом танковом шлеме, мелькнуло стиснутое шлемом лицо.

— Суки!.. Убийцы!.. Не пройдут!.. — взревел невидимый мегафон. Толпа засвистела, заулюлюкала, озарилась блицами. В машину с парапета по всей длине туннеля полетели камни, зазвякали, рассыпались по асфальту, среди них раскололся, вспыхнул прозрачно-желтым огнем флакон. Рядом другой, третий. Вокруг машин на асфальте затрепетали липкие факелы. Два из них вцепились в корму, стали растекаться по броне, и из люка, отжимаясь на руках, вылезла, выдавилась фигура. Человек заметался на броне, размахивая бушлатом, сбивая огонь, в него летели камни, бутылки, и еще одна

ударилась о катки. В гусенице побежала, потекла капающая бахрома огня.

Головная машина стала пятиться, оставляя в борту троллейбуса грязную вмятину. Человек на башне махал бушлатом, бушлат горел, и вторая машина, на помощь первой, двинулась в горловину туннеля.

— Бей их!.. Суки проклятые!.. Убийцы!.. — мегафон гудел в толпе, управляя ее страхом, фокусируя ненависть. Толпа, клубясь, кинулась к туннелю, побежала по асфальту, на котором горели шмотки огня. Белосельцев устремился, желая бежать, но остановил себя, вцепившись в каменный парапет, где лежал свернутый мокрый рулон брезента. Внизу, окруженная толпой, елозила гусеницами боевая машина с кругляками закупоренных люков, с гвардейским значком на броне.

— Давай!.. Помогай!.. Шевелись!.. — к парапету подбежал косолапый, ловкий, похожий на обезьяну мужик. Стал ворочать сырой брезент, злобно оглядываясь на Белосельцева. — Помоги, тебе говорю!..

Ему на помощь сбегались юнцы, какая-то простоволосая женщина, какой-то мусорщик в оранжевой робе. Разворачивали брезент, спихивали его вниз с парапета. Рулон, раскручиваясь, упал, шлепнулся на машину, накрывая чехлом башню, люки, триплексы. Ослепнув, машина забилась, закружилась под брезентом, люди вокруг обтягивали ее грубой тканью. Двое уже скакали, танцевали на броне, заматывая брезент вокруг пушки. Белосельцев с ужасом следил за смертельно опасной охотой, за уловлением машины. Мегафон металлически вещал и учил:

— На корму горючку бросай!.. Поджаривай их как карасей!..

Белосельцев видел, как чернокудрый жрец обнял юношу в белом картузе, что-то прошептал, вдохнул ему в ухо. Тот восхищенно взглянул на учителя. Легко, невесомо, словно на крыльях, перемахнул парапет, приземлился на горящий асфальт, где пламенели оранжевые жертвенные огни. Огибая их, достиг машины, которая бугрилась, ходила ходуном под брезентом, как пойманный рычащий зверь. Взлетел на броню, смешался с остальными ловцами. Только мелькал в темноте его белый картуз. Зеленкович направлял оператора вниз, понукая его:

— Давай крупный план!.. Гусеницы снимай, гусеницы!..

Перекрикивая дребезжание мегафона, протыкая его длинным острием, раздался истошный, восходящий и ниспадающий вопль, замирающий в хрипе и клекоте, в чавканье и рокоте гусениц. Боевая машина дергалась под брезентом, стряхивая с загривка оседлавших ее охотников. Продрала чехол, цапнула траками асфальт, вцепилась в поскользнувшееся, упавшее тело, от которого отлетел белый легкий картуз. Затолкала под гусеницу, дробила, рвала, накручивала, хрустела костями. И из этой гибнущей, расплющенной плоти вырвался последний вопль жизни, улетел в дождь и копоть. Белосельцев видел, как крутилась, скользила по асфальту металлическая гусеница, отталкивая от себя кровавый мешок с жижей и мякотью, и оператор, ловкий как большая обезьяна, подсвечивал месиво огоньком телекамеры.

На горящей машине солдат продолжал махать бушлатом, шлепая по броне. Бушлат превратился в ком пламени, и солдат, охлопывая себя по горящим бокам, спрыгнул на землю.

Белосельцев видел, как жрец возвысился над толпой бледным, надменно-прекрасным лицом. Открыл объятья, и в эти отеческие, растворенные объятья упал молодой герой в голубом картузе. Жрец прижал его к своей могучей груди, накрыл клубящейся черной копной кудрей. Поцеловал, отпуская на подвиг. Юноша, счастливый, озаренный, побежал вдоль парапета, хватая на бегу букетик с тяжелой стальной сердцевиной. На горящего солдата набегали, кричали, взмахивали букетиками, тяжело опускали на солдата. Горящий, он сгибался под ударами, заслонялся руками, а его добивали, валили, топтали. Белосельцев увидел, как из люка машины просунулось обезумевшее, в танковом шлеме лицо с выпученными, отражавшими пламя глазами. Протянулась рука с пистолетом, и негромко простучало два выстрела. И следом — крик, жалобный, детский. Мольба пробитого пулей человека, не желавшего умирать. Юноша в синем картузе упал рядом с горящим солдатом, и над ними обоими скакала черная гибкая обезьяна, водила глазком телекамеры.

Третья боевая машина пехоты отделилась от колонны, ринулась на толпу, втискиваясь в скопище. В корме отворились двери, солдаты с автоматами, стволами вверх, зажигая пузырьки пламени, стреляя в воздух, кинулись на толпу, пробивались к упавшему товарищу. Толпа отхлынула. На асфальте лежал дымящийся обожженный солдат и

убитый парень в синем картузе, кругом валялись растрепанные букеты цветов. Десантники подхватили солдата под руки, понесли, головой вперед запихнули в десантное отделение. Толпа валила за ними, свистела, орала, кидала камнями.

Белосельцев увидел, как лицо жреца в ритуальных швах озарилось грозным багровым светом. Он притянул к груди третьего героя, в красном картузе. Указал ему рукой в черной перчатке на отъезжающую машину, и тот, счастливый, вдохновленный, бесстрашный, кинулся следом.

Солдаты заскакивали в десантное отделение, машина разворачивалась, начинала уходить. Дверь в корме оставалась открытой. Парень в красном картузе, набегая, прыжком ныряльщика, кинулся в открытую дверь, в черный зев кормы. Нырнул и исчез. Машина уходила, отрывалась от толпы, увеличивалось за кормой пустое липкое пространство асфальта. И на этот асфальт выпало, ударилось, перевернулось, застыло в нелепой позе тело. От головы отвалился красный картуз. В груди торчал утонувший штык-нож. И к убитому, на полусогнутых сильных ногах, подбегал оператор, переводя камеру на зарезанного героя.

Жутко сверкали на машинах слепящие прожекторы. Ударили пулеметы, тупо, страшно, всаживая трассеры в тусклое небо, прогоняя рубиновые угли в туман среди крыш и домов.

Толпа, та, что была в туннеле, и та, что клубилась у парапета, разом побежала. Молча, шумя башмаками, шаркая подошвами, бросая зонты, кинокамеры, хлынула прочь от долбящих пулеметов.

Белосельцев увидел, как спокойно, торжественно проходит мимо жрец с развеянными кудрями.

Властно приказывает двум послушным служителям:

— Доставайте фобы... Уложим мальчиков... Героев понесем по Москве...

Белосельцев бежал, стиснутый в толпе, спасался от пролитой крови, а она, как удар цунами, гналась за ним нарастающей красной волной, на которой, как водные лыжники, мчались трое юношей в разноцветных картузах. Очнулся в каменном пустынном дворе. Встал, задыхаясь, ощупывал руками лицо, грудь, колени, словно искал на них липкие пятна крови. Какой-то человек в шляпе двинулся к нему от

помойки. Приблизился, заглянул в глаза. Белосельцев увидел, что у человека вместо лица огромная дыра, полная гнили и сукрови.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Наутро он не мог подняться от слабости, от непроходящей болезни и еще от чего-то, что, подобно чугунным гилям, держало его в постели. Сзади, за спиной, стояла жуткая ночь, словно огромная, черная, в липких отсветах, стена. Впереди маячила такая же громадная, тупая преграда, и обе они сближались, оставляя ему малый зазор тусклого утра. Вся его плоть, измученные суставы и кости ждали, когда сдвинутся грозные станины, превращая его в плоскость, в ничто.

Он не включал телевизор, не открывал шторы, за которыми брезжило жидкое розоватое солнце. За шторами, в городе, в Кремле, завершалось жестокое действие, добивалась беспомощная группа обреченных государственников, стреляло, гвоздило из всех стволов и калибров «оргоружие», распыляя по Москве розовую эмульсию пролитой крови. И все звонки, приказы, бестолковые совещания и встречи не достигали цели среди розоватого парного тумана. Черные лимузины, правительственные телефоны, посыльные были в легчайшей розовой росе, опустившейся на капоты, мигалки, телефонные трубки, кокарды фуражек. Страна, которой пытались управлять, гарнизоны, которым отдавались приказы, надышались розовым отравленным воздухом, лишавшим воли и разума. Члены Чрезвычайного Комитета в кремлевских кабинетах, в желтом дворце, метались беспомощно, кидались друг к другу, упрекали, ссорились, винили один другого, а на них сквозь окна, из-за Кремлевской стены, из-за соборов и башен, брызгал пульверизатор, кропил мельчайшими розовыми брызгами, и они замирали, похожие на задохнувшихся насекомых. И он, Белосельцев, был парализован, задышался в сладковатом розовом воздухе.

За шторами раздался тяжелый грохочущий звук. Вибрация достигла шкафа, в котором стояли африканские резные скульптуры — черные тонконогие воины с копьями, женщины с косицами и длинными козьими грудями. Они закачались, откликнулись на трясение стен. Белосельцев знал этот гул проходящих танковых колонн. Тяжело качались длинные пушки, из люков смотрели усталые

злые лица командиров, била коромыслом гарь. Колонна, потеряв ориентиры, блуждала в розовом тумане, натываясь на фасады домов, на церкви и памятники.

Он нехотя встал, включил телевизор как раз в тот момент, когда на черном экране металась тень, вспыхивали клочья огня, молниями по мокрой броне пролетали прожекторы. Толпа била горящего солдата, дергались гусеницы, кровавый ком костей бугрился на асфальте. Большая винно-красная лужа, липкий след, трассеры в ночном небе, рассыпанные букетики цветов, а потом все погасло, и появилось его, Белосельцева, лицо, торжественное, вдохновенное, источающее власть и всеведение:

— Советские танки на улицах городов — это всегда хорошо. Люди радуются краснозвездным танкам, кидают танкистам цветы. Танки идут по Садовому кольцу как по красной ковровой дорожке, которую постелили им люди...

И снова липкая, как вишневая наливка лужа, стальной блеск гусеницы, изорванный ворох брезента, оружие лица толпы, и лежащее, наполовину изжеванное тело.

Из этой черной крошечной гущи опять выступило его светлое, торжествующее лицо, отдохнувшее, с налетом загара:

— Члены ГКЧП — это честные, справедливые люди, у которых не дрогнет рука остановить предательство. Дело, которое они защищают, призвано остановить кровопролитие, разрушение. Их поддерживает Москва, поддерживает Советский Союз...

И вновь — жуткие взрывы огней, трепещущее пламенем пулеметное дуло, бегущая, роняющая зонтики толпа, чей-то истошный крик, блестящая сталь, изъедающая живое тело, оскаленные зубы и лежащий на мокром асфальте беззащитный белый картуз.

И снова лицо, исполненное торжества:

— Народ пойдет за своим правительством, за своей партией и армией. И наградой нам будет мирная, счастливая жизнь — наша и наших детей.

Бегущая, охваченная ужасом толпа. Выпученные глаза, растрепанные волосы, пунтиры пулеметных трассеров. Стальная машина врубается в борт троллейбуса. Комья брезента. Тело, похожее на куклу, рыхлое, без каркаса, мимо которого, елозя по асфальту, рокошет гусеница БМП.

На экране появилось лицо Зеленковича, трагическое, с вздымающимися бровями, словно вырванное из гибнущей, бегущей толпы:

— Вот люди, которые хотят раздавить демократию!.. Вот оно, лицо палача!.. Запомните его и передайте потомкам!.. Это они расстреляли из танков наших детей!..

Белосельцев, теряя сознание, успел нажать на пульт, выключая телевизор, и несколько секунд падал в пустоте, как если бы ему в лоб ударили обухом топора. Шатаясь, слыша в голове страшное гудение, расплющенный, с перемолотыми костями, как если бы столкнулся с электричкой, Белосельцев поднялся.

Разведчик, гордившийся силой своего интеллекта, он был обыгран, побежден и обманут. Его правда, вера и страсть были нужны, чтобы победила неправда, погасла вера, одолели уныние и немощь. Теперь он сам стал частью чудовищной неправды. Его личность, его роль были нерасторжимо соединены с пролитием крови, с ночной бойней. Он с экрана благословлял эту бойню, освящал пролитую кровь. Этот ком костей, липкий ворох брезента, эта красная жижа были навеки с ним, и теперь его станут клясть, казнить, проклинать в домах и семьях, на площадях и амвонах.

Он вспомнил недавний визит Зеленковича в институт, его льстивость, назойливость, подобострастие. И свое чувство превосходства, торжество реванша, затмившее разум, усыпившее бдительность. Глазок телекамеры хищно мерцал, губка микрофона жадно всасывала слова, а он, в затмении, велеречиво вещал, и его слова, попадая в лаборатории «оргоружия», обретали обратный смысл, печатались наизусть, читались слева направо. И теперь, когда он выполнил свою жалкую, подсобную роль, он подлежал устранению. Только что с телеэкрана был оглашен приговор.

Он кинулся к телефону звонить. Не Чекисту, которого наверняка не было на месте и чья роль начинала страшно проступать, словно фиолетовое пятно смерти. Он звонил Зампреду. Знакомый помощник ответил:

— К сожалению, нет на месте. Обязательно передам о вашем звонке.

Звонил в штаб Главкому, но из трубки, из глубины огромного тяжеловесного дома на набережной, с каменными знаменами на фасаде, ответил голос порученца:

— Передам о вашем звонке. Командующий находится в городе, объезжает войска.

Невозможно было оставаться дома, где в тесных комнатах металось беззвучное эхо телепередачи и пустой экран был готов воспаленно загореться, ударить, как установка залпового огня. Белосельцев торопливо собрался, выскочил из дома на улицу.

Город напоминал гематому. Фасады были красно-лилового цвета. Толпа как мокрый фарш. Лица в синяках, губы разбиты, на щеках царапины, белки в лопнувших кровяных сосудах. Он сам распух и не помещался в одежде. Внутри, среди разбитой печени и расплющенного сердца, хлюпал жидкий кровоподтек.

Он бежал ударяясь об углы, водостоки, спотыкаясь о чугунные тумбы. На улицах все еще оставались войска, стояли у правительственных учреждений броневики, расхаживали патрули с автоматами и металлическими бляхами, высовывались из переулков и подворотен танковые пушки. Но город вместе с властными учреждениями, патрулями и танками был захвачен другой силой. Был оккупирован, приведен к повиновению.

Пробегая мимо Министерства иностранных дел на Смоленской он увидел нахохленных горбатых демонов, недвижно сидевших над входом, словно химеры Собора Парижской Богоматери. Их тяжелые крылья были плотно сложены, головы с большими мучнистыми клювами гордо откинута, зобы надуты. Один из них неторопливо поднял когтистую лапу, порылся в перьях на животе, извлек золотые часы и, щелкнув крышкой, внимательно посмотрел на циферблат, после чего снова спрятал часы.

Проходя мимо Триумфальной арки на Кутузовском Белосельцев заметил стаю сонных грифов, угнездившихся на победной квадриге. Птицы дремали, не обращая внимания на автомобильный поток. Лишь время от времени то у одного, то у другого поднимались кожаные желтые веки, и зоркий жестокий глаз смотрел вдоль трассы на запад, откуда могли подойти резервные части Кантемировской и Таманской дивизий. Один из демонов извлек из-под крыла записную книжку и что-то записал в нее маленькой золотой ручкой.

Вся Останкинская башня была облеплена черными гроздьями нетопырей, которые висели вниз головами, цепляясь друг за друга, образуя бугристые сгустки, длинные, вяло колеблемые гирлянды.

Некоторые из них срывались, раскрывали в падении перепончатые остроконечные крылья. Плавно планируя, вновь усаживались на башню, вытягивали шеи, озирались ушастыми шерстяными головами.

Памятники, фасады, фонарные столбы, шпили, церковные купола — все было в белесом известковом помете, которым испятнали город сонные, отяжелевшие от падали демоны, вяло перелетавшие с крыши на крышу.

И повсюду шло разложение войск, умирание армии, расчленение на ломти еще недавно слаженного боевого организма, из которого извлекали хребет, высасывали мозг.

Белосельцев проходил мимо танков, одинаковыми тяжеловесными брусками причаливших к тротуару. Один из них был окружен молодыми офицерами, слегка смущенными, зыркающими по сторонам. Из открытого люка вылезал танкист, выбрасывал на броню ноги, затягивая на брюках ремень. Следом появилась растрепанная женская голова, расстегнутая блузка с тяжелыми белыми грудями, и веселая, похохатывающая девица пьяно улыбалась размазанными красными губами, манила к себе в люк следующего офицера.

На корме соседнего танка молодые торговцы расстелили скатерку, выставили банки с пивом, выложили бутерброды с ветчиной, красной рыбой, колбасой. Угощали солдат, и те охотно раскупоривали банки, прижимали к губам, жевали еду, пересмеивались с благодетелями.

У третьего танка пел известный бард, собрав вокруг себя экипажи, и солдаты начинали ему подпевать, когда раздавался дурашливый, энергичный припев: «Я — Чебурашка, я — плюшевый мишка, я не хочу воевать...» В дуло танковой пушки был втиснут букетик цветов.

У четвертого танка ловко двигались молодые люди и барышни, оснащенные разноцветными спреями. Обрызгивали танк радужной, цветистой росой, превращая шершавую грязно-зеленую броню в цветущий луг с алыми, золотыми, лазоревыми разводами. И танкисты позволяли раскрашивать свою запыленную угрюмую машину.

Он увидел длинную правительственную машину, похожую на черную осу. Она промчалась, пружиня и шелестя. Остановилась, застряв в кучах хлама, перекрывавших дорогу, в колыхавшейся толпе, в колонне бронетехники, медленно проползавшей по улице. Сквозь стекло машины Белосельцев увидел Главкома, его генеральский

мундир, тусклый золотой погон, седые подстриженные усы. Кинулся к машине:

— Остановитесь!.. Откройте!.. — он прижался лицом к стеклу. Болезненно-раздраженное лицо Главкома повернулось к нему. Охранник из машины наставил ствол автомата. Главком узнал его, опустил стекло. На сиденье, за Главкомом, сидел Маршал, тот самый, которого в своей телестудии мучил Зеленкович.

— Объясните, что происходит?.. — воскликнул Белосельцев. — Почему бездействует армия?.. Еще есть время!.. Необходимо немедленно действовать!..

— Поздно, — сказал Главком. — Нас подставили... Уходите домой... Если можете, уезжайте из Москвы... Войска уходят из Москвы...

— Время кончилось, — отрешенно произнес Маршал, и сухое стариковское лицо его было безжизненно-белым как кость.

Стекло закрылось, машина унеслась, а он остался среди мятущихся людей. Какой-то счастливый, с наркотическими глазами юнец размахивал милицейским жезлом, управляя потоками транспорта, и на рукаве его красовалась трехцветная повязка.

Он шел по Кутузовскому проспекту и видел, как войска покидают Москву. Тяжелая колонна танков с хриплым грохотом, продавливая асфальт, огибала Триумфальную арку. Машины шли тесно, выставив орудия, окутанные синей ядовитой мглой. Командиры по пояс стояли в люках. Качались длинные прутья антенн. Мерно вращались катки.

Народ застыл на краю тротуаров, смотрел, как уходят войска. Они уходили вдаль, в синюю стальную мглу, в угрюмое будущее, в никуда, оставляя беззащитный город на разграбление и поругание, без единого выстрела, без боя, словно в головы командиров, механиков, башенных наводчиков и стрелков были вживлены невидимые стерженьки электродов, сквозь которые в усыпленные полушария вводились сигналы команд, изгоняющих из города могучую, непобедимую армию, отдававшую столицу врагу.

Здесь все было кончено. Все было проиграно. Один за другим подымались с Триумфальной арки тяжелые демоны, летели не вслед колонне, а обратно, в центр, где золотились главы кремлевских соборов, краснели на башнях рубиновые звезды. Там, в Кремле, было их главное сборище. Трещали под тяжестью ветки деревьев, скребли

золото куполов когтистые лапы, и один из них, вразвалку, волоча по брусчатке вислые крылья, бежал через Ивановскую площадь, выкаркивая чье-то имя.

Белосельцев шел по улице, и ему казалось, что где-то рядом, захлебываясь, неутешно плачет ребенок, и это плакала его бесприютная душа.

Он был беззащитен, и все искали его смерти. Он подглядел такое, после чего не живут. Он понял столь страшную, невыносимую для сознания правду, после которой кидают в кислоту и растворяют до последнего атома. Он совершил такое преступление, за которым следует неизбежная казнь. Те, в Кремле, проигравшие, отпустившие из города войска, бессильные и безвольные, не были ему защитой, готовились к аресту. Друг Парамонов, милый романтический Парамоша, заседал где-то со своими друзьями-писателями, и они в своем прекраснодушии не понимали глубины катастрофы, были не способны на подвиг. Мать, хворающая, старая, с исчезающими слезами в глазах, сама нуждалась в защите от темной, наступавшей на нее стены, и он был не в силах отодвинуть ее. Маша, любимая, ненаглядная, носившая в своем чреве их сына, одна была для него защита, единственное спасение, красота и добро. И он кинулся к ней за помощью.

Позвонил на работу. Сослуживица ответила, что она вышла, подойдет через пять минут. Значит, Маша была на работе. Он больше не станет звонить, а встретит ее у входа.

Он караулил ее у здания института, у старинной московской усадьбы с колоннами и фронтоном, окруженной узорной чугунной оградой. Рабочий день завершался, и служащие выходили на улицу, поодиночке и парами. Казались обыденными людьми, ничего не подозревавшими о случившемся. Но воздух улицы, напоенный ядами, касался их лиц, и они, словно надышавшись веселящим газом, начинали беспокойно улыбаться, оглядываться. Не знали, куда выбрать путь. Бестолково, как опоенные мухомором, качались на тротуарах.

Белосельцев стоял под старинным деревом, чей ствол отклонялся от каменного, мешавшего его росту фасада, тянулся к середине улицы, вверх, где было больше воздуха, света. Прижался к теплой коре, жалея, что он не дерево, не может спрятаться внутрь ствола.

Он ждал, что она вот-вот появится за оградой, выйдет из узорных ворот. Не знал, что ей скажет, куда вместе с ней укроется от бурь и

опасностей. Где, сберегая друг друга, они переждут ненастье. Знал одно — Россия необъятна, покрыта дебрями, непролазными топями, тундрами, и в ней, необъятной, найдется место для них двоих, убегающих от злых преследователей. Там, вдали от всех бед, она родит ему сына, и, когда минуют напасти, через пять, через десять лет, они втроем вернутся в Москву.

Так думал он с нежностью и надеждой, когда появилась она. Возникла под колоннами, на каменных ступенях, после сумрачных палат привыкая к свету. Легко спустилась во внутренний двор, где в сиреневых бегониях круглилась пышная клумба. Пошла к воротам, и он с нежностью, восхищением смотрел, как она приближается. Любил, обожал ее всю, от легких, светящихся на солнце волос, до стучащих каблучков.

— Маша... — он вышел из-под дерева, остановил ее у ворот. — Какое счастье... Я ждал тебя...

Увидел как увеличились, округлились, потемнели от ужаса ее глаза, губы задрожали, что-то беззвучно выговаривая. — Машенька, нам нужно сейчас спастись... Потом тебе все объясню...

— Ты?.. Объяснишь?.. Посмотри на себя... Ты весь в крови!.. Руки, лицо... За тобой на асфальте кровавые следы...

Он беспомощно оглянулся, чтобы узнать, какие он оставляет на асфальте следы.

— Нет никаких следов...

— Ты убил наших мальчиков!.. Ты палач!.. Смотрел, как их страшно вчера убивают, и спокойно, холодно произносил ужасные вещи... Ты говорил как людоед!..

— Маша, не верь... Это телемонтаж... Все подстроено... Он пришел ко мне накануне, какие-то вопросы дурацкие... А потом соединил со вчерашними сценами... Элемент «оргоружия»...

— Ты — чудовище!.. Вы все — чудовища!.. Обрызганы кровью!.. Как инквизиторы!.. Как палачи!.. Ты хочешь меня схватить?.. Отвести на Лубянку?.. Пытать и мучить?.. Вас все ненавидят!.. А я ненавижу тебя!..

— Маша, нам нужно уехать... Надо спрятаться, переждать... В бору построим шалаш... Никто не увидит... Буду рыбу ловить... Будем бруснику мочить... Я охотник... Спрячемся, чтоб никто не нашел!..

— Не прикасайся ко мне!.. Ты в крови!.. Я боюсь тебя!.. Ты меня зарежешь!.. Или задушишь ночью!.. Ты сатана!..

— Маша, опомнись!.. Наш ребенок!..

— Я беременна от сатаны!.. У него нет головы, нет рук!.. Он покрыт волосатой шерстью и стучит в меня изнутри рогом!.. Не прикасайся ко мне!..

Она ударила по его протянутой руке и побежала. Застучали по асфальту ее каблучки. Рассыпались на затылке легкие волосы. Она оглядывалась, и глаза ее были полны ужаса, а губы дрожали от отвращения. Он кинулся следом, пытался догнать. Но она убегала, все дальше и дальше, пока не скрылась. А он остался один, потрясенный, несчастный, брошенный армией, оставленный боевыми товарищами, кинутый соратниками, отвергнутый любимой женщиной.

Стоял, ухватившись за водосток, и какая-то московская старуха, неопрятная и сердитая, проворчала, проходя мимо:

— Ишь, напьются среди бела дня, а потом в трубу лезут...

До вечера, с помраченным рассудком, он бродил по городу в надежде найти любимую. И повсюду, в разных местах, на разных площадях и улицах, встречал одну и ту же процессию. Огромного роста демоны, выше фонарных столбов, в развеянных плащах, в черных шляпах, в тяжелых серебряных цепях, шествовали по Москве, неся на головах, на уровне крыш, три открытых гроба, в которых лежали убитые герои. Юноши плыли в трех ладьях, усыпанные белыми лилиями. За демонами валила толпа, рыдала, посыпала головы пеплом, целовала следы копыт, оставляемые демонами на асфальте. Одна лилия упала сверху под ноги Белосельцеву. Извивалась, струилась, чернела. Уползла в темную щель подворотни.

Ночью ему снился сон, будто его замотал в себя пыльный смерч и несет по улицам. Он задыхается, глотает колючую пыль, едкую душную перхоть, хочет вырваться, чтобы увидеть дома, названия улиц, но раскаленный балахон заматывает, крутит вокруг оси, мчит в неведомом направлении.

Проснулся от шума и свиста, от ударов в стекло, от металлического грома карнизов, на которые что-то плюхалось, живое, шумное, рассерженное. Вскочил и отдернул штору. Все небо над улицей Горького, все туманные дали с розовыми кремлевскими

башнями, голубые пространства с Шуховской башней и тонким изгибом Крымского моста были в бесчисленных табунах бесов, косматых демонов, перепончатых клювастых птеродактилей, которые неслись на разных высотах, выстраивались косяками, пикировали вниз, взмывали свечой, рушились на Москву темными заостренными клиньями, свивались в клубки, кружили каруселями, мерно усаживались на кровли.

Деревья Тверского бульвара отяжелели от темных тварей. Сучья ломались и рушились. Кроны ходили ходуном от крылатых, беспокойных чудищ. Демоны валились из неба прямо на толпу, выставив вперед напряженные когтистые лапы. Впивались в шляпы, рвали женские прически, долбили клювами лысины. Белосельцев увидел, как идет по тротуару известный исполнитель советских песен, на него падает рыжий, зобатый демон с раскрытыми когтистыми пальцами, вцепляется в волосы и взмывает, держа в когтях дорогой парик, а певец, лишившись волосяного покрова, лысый, с кровоточащей царапиной на темени, в ужасе озирается на нетопыря.

Демоны плотно уселись на здание «Известий», на карнизы магазина «Армения». Разбили витрину Елисеевского гастронома и рвали клювами муляжи осетров, поросят, огромных кремовых тортов. Другие бесы поместились на крышах проезжавших троллейбусов. Третьи замыкали провода, высекая металлическими крыльями длинные зеленые искры. Один из демонов примостился на голове Пушкина, чистил о бронзу костяной клюв, шлепал огромным нечистым крылом по лицу поэта.

Белосельцев, выглядывающий в окно, привлек внимание пролетавшего демона. Тот развернулся в воздухе, прыгнул на стекло, ударился о прозрачную преграду пухлым животом в атласной жилетке, из-под которой неопрятно топорщились перья. Злобно смотрел оранжевыми глазами, раскрывая зев, полный золотых зубов, скреб стекло лапой, на которой красовался перстень с алмазом. Белосельцев сквозь стекло ощутил зловонье мерзкой твари.

Включил телевизор. И отпрянул от kloкочущего экрана. Шла прямая трансляция Съезда народных депутатов. Знакомые, примелькавшиеся лица народных избранников — профессоров, генералов, сельских учителей, хлеборобов, писателей — были искажены страхом, ненавистью, неистовой яростью, желанием

немедленного коллективного действия. Все требовали расправы над узурпаторами, посягнувшими на демократию. Все славили великого Президента России, давшего отпор путчистам, зачитавшего с танка свой исторический революционный манифест.

— Их надо расстрелять прилюдно, принародно, на Красной площади, и пусть их проклятые трупы клюют вороны! — заходила в стенании молоденькая учительница из подмосковного городка, обучавшая ребятишек словесности.

— Всех повесить на фонарных столбах перед зданием Центрального Комитета их кровавой палаческой партии! — наливался праведным гневом видный академик, ударяя тучным кулаком о трибуну, малиновый, грозный, на грани апоплексического удара.

— Сбросить их в шахту, как они сбросили представителей царской фамилии! — переходя на фистулу, выкрикивал генерал из Политуправления армии, который с некоторых пор проникся лютой ненавистью к коммунизму, не стесняясь высказывать монархических пристрастий.

— Товарищи, предлагаю всем добровольно сжечь свои партбилеты, как сжигают гнойные бинты и повязки! — это произнес видный политик демократического толка, предлагавший переименовать Ленинград в Петербург. — Вот так, господа! — он достал партбилет, запалил зажигалку, поднес язычок огня к красной партийной книжке, и та загорелась у него в руках. И множество других депутатов тотчас последовали его примеру. Весь зал был в огоньках горящих партбилетов, которые трепетали, словно огненные мотыльки.

— Товарищи депутаты, — сурово и яростно предложил общественный деятель, возглавлявший Комитет Мира, все годы осуждавший агрессивный американский империализм. — Мы должны осудить кровавую советскую власть, усеявшую нашу Родину костями замученных и невинно убиенных, поставившую мир на грань ядерной катастрофы. В знак презрения к путчистам предлагаю отказаться от правительственных наград, швырнуть их в лицо преступников! — с этими словами он отцепил от пиджака орден «Знак почета» и кинул его в проход между рядами. Следом стали подниматься заслуженные шахтеры, орденосные космонавты, почетные колхозники, прославленные ветераны. Все торопливо отстегивали и отвинчивали

ордена, кидали их в проход. Вся ковровая дорожка была усеяна красной эмалью и золотом трудовых и военных наград. В президиуме, одиноко, окруженный священной пустотой, похожий на божество, восседал Истукан, упивался своим торжеством.

На трибуну выбежал депутат, похожий на Бурбулиса, с длинным щучьим носом, близко поставленными костяными глазами, и, издавая щелкающий звук, как если бы открывалась табакерка или распахивались створки морской раковины, прокричал:

— Товарищи депутаты, начался арест путчистов!.. Бригады демократически настроенных граждан вместе с правоохранительными органами, перешедшими на сторону народа, проводят задержание государственных преступников и препровождают их в «Матросскую тишину».

Весь зал вскочил, бешено заплодировал, неистово воздевая руки, требуя жестокой казни — четвертования, отрубания голов, утопления в Москва-реке — за государственные преступления, за нарушение Конституции, за злодейское убийство трех невинных юношей, чьи тела, покрытые трехцветным флагами, ожидают своего погребения. Проклятых палачей и мучителей нужно казнить тут же, пред ликом убиенных, в знак искупления.

Белосельцев смотрел, пораженный. В каждого из говоривших, исказив их рты, глаза, голоса, вселился демон. Из кричащих оскаленных ртов валил ржавый дым. Из дышащих ноздрей вырывались клубы пара. Из оттопыренных ушей лилась желтая пена. У миловидной депутатки, боровшейся с привилегиями, из-под юбки выпал толстый чешуйчатый хвост, свивался кольцами на полу. У пылкого оратора-демократа, требовавшего запретить компартию, из рукавов вместо рук просунулись кожаные перепончатые крылья, и он хлопал ими, пробираясь к трибуне, похожий на огромного, не умевшего летать пеликана. И повсюду в зале — на люстрах, на лепнине, на головах депутатов сидели демоны. На плече Истукана недвижно и величаво, раздув пупырчатый зоб, лениво поводила выпученными глазами перламутровая жаба.

Он выключил телевизор. Из погасшего экрана продолжала литься ядовитая радиация. В комнате пахло подвалом, в котором разлагался труп.

Раздался телефонный звонок, резкий, верещащий, как хирургическая пила Джингли, рассекающая грудную клетку. Звонил помощник Зампреда:

— Виктор Андреевич, вы хотели повидаться с шефом? Он вас может принять.

— Но ведь он арестован! Только что сообщили по телевизору!

— Нет, он у себя в кабинете. Если хотите, можете приехать. Пропуск заказан.

Белосельцев чувствовал смятение, страх, опасался выходить на улицу, где рассекают воздух яростные нетопыри, ехать к тому, обреченному, кто стал воплощением беды и несчастья, от кого веяло поражением и гибелью. Белосельцев пережил мгновение тошнотворной слабости и острого к себе отвращения. Засобиравшись и выскочил из дома на улицу.

Здание ЦК на Старой площади, с золотыми литерами на фасаде, где обычно толпились машины, отъезжали с шипением черные лимузины, расхаживала зоркая охрана, входили в подъезды респектабельные властные люди, — серый дом был безлюден и мертв. Не было людей и машин. Казалось, сам воздух вокруг него был разрежен, прозрачен, и в нем было невозможно дышать. Зеркальные окна казались вымытыми как в доме покойника. Золотые литеры светились как надпись на могильном камне.

Он открыл тяжелую дверь. Охрана с синими козырьками госбезопасности смотрела, как он входит. Он ожидал, что его сейчас арестуют. Прапорщик вытянул из документа квиток пропуска, окинул Белосельцева холодным взглядом, сказал:

— Проходите...

И он прошел, не ведая, выпустят ли его обратно или возьмут под стражу.

Коридоры, лабиринты, тупики, закоулки с высокими дубовыми дверями были безлюдны. Еще висели на дверях таблички с именами всесильных партийцев, но словно померкли, стали забываться, отлетали куда-то в прошлое вместе со стремительно исчезающим временем.

Он поднялся по лестнице, слыша собственные гулкие шаги, разносимые эхом по объему опустевшего здания. Нашел кабинет Зампреда.

Дверь кабинета была настежь распахнута. Место, где обычно находился помощник и гремели без устали телефоны, было пустым, словно все это вырезали. Телефоны молчали, а сам Зампред в жеваном костюме, небритый, с синеватыми вмятинами на усталом лице, ходил по кабинету как волк в клетке. Шевелил беззвучно губами, и рядом шелестела и чмокала гильотина для резки бумаг, выплевывая лапшу измельченных, уничтоженных документов. Белосельцев с болью, с внезапной нежностью и тоской смотрел на него.

— Вы? — Зампред увидел его. — Вы пришли?

Белосельцев хотел ответить, но молча шагнул, распахнул объятия, и они, обычно сдержанные при встречах, деликатно обходительные, обнялись. Прижимая к себе Зампреда, Белосельцев чувствовал дух чужого табака, исходивший от его пиджака, и какой-то еще запах, то ли бензина, то ли легкого тлена — каких-то тонких болезнетворных веществ, сопровождающих страдание и немощь.

— Что случилось?.. Я пытался себе уяснить... — Белосельцев всматривался в лицо Зампреда, понимая, что сейчас не время расспросов, а время прощания. И все-таки спрашивал: — Почему эта слабость воли? Отсутствие действий? Что вам мешало?

— Неразбериха... Ложь... Не все оказались на высоте... А главное, нас обманули...

— Я вам говорил, вы помните, на Новой Земле... Вы были обречены... Нельзя было действовать...

— Но кто-то ведь должен... Кто-то должен был сказать напоследок «нет» врагам и предателям?

— Аника-воин, я знаю... Вы говорили... Но теперь, когда все полетело в пропасть, вам нужно бежать!.. Я сейчас проходил — никого!.. Сразу в метро, и в толпу!.. А там из Москвы электричкой... В глушь, в глубинку!.. К каким-нибудь верным товарищам... Кто еще не засвечен! В подполье!.. Хотите, в мою избу?.. Переждете первый удар, соберетесь с силами...

— Нет никакого подполья. Все погибло, все схвачено. Теперь предстоит распад. Погибнет государство и строй. Погибнет партия. Погибнет оборона и армия. Погибнет экономика... Здесь будет все сокрушаться. Предстоят огромные траты! Война, разрушенные города, аварии на атомных станциях. Будет много смертей... Мы не могли

противостоять. Мы страшно виноваты. И мы должны погибнуть. Не бежать, а погибнуть... Спасибо, что вы пришли...

— Я хочу вам помочь!

— Вы должны подумать теперь о себе. Вы в опасности. Они вас станут преследовать. Вам нужно уехать. Берегите себя... Прощайте...

Они снова обнялись посреди пустого кабинета, где всегда было столько людей, — генералы, министры, конструкторы, цвет обороны, науки, а сейчас чмокала гильотина, превращая в ничто декреты умирающего строя. «Декрет о мире», перед началом бесконечной войны. «Декрет о земле», отведенной под бескрайнее кладбище.

— Прощайте!..

Белосельцев повернулся, пошел. Через несколько шагов оглянулся. Зампред смотрел ему вслед. И такая боль и тоска родились в Белосельцеве, такая вина перед ним, кого он оставляет одного, обреченного на скорый арест и тюрьму. Мгновенный порыв вернуться, разделить с ним горькую долю. Но Зампред слабо махнул, и Белосельцев пошел по гулким пустым коридорам, мимо дубовых дверей, на которых были начертаны имена недавних вождей и властителей, уже забытых, ненужных, как надписи в колумбарии.

Охрана у выхода проверила его документ. Холодно, молча выпустила на свободу.

Сначала он рассеянно брел, чувствуя плечами, грудью прощальное объятие Зампреда. Потом вдруг показалось, как уже не раз случалось в эти дни, будто чьи-то глаза внимательно за ним наблюдают. Он подумал — за ним следят. Те, кто выпустил его из ЦК, решили не задерживать его там, в подъезде, а отпустили на свободу и теперь следят за ним, чтобы в каком-нибудь тихом переулке схватить и увезти.

Заторопился, заметался по улицам, избегая малолюдья, замешиваясь в гущу толпы. Невидимые глаза не отпускали его, следили из киосков, из проезжавших автомобилей, из витрин и телефонных будок. Он бежал по Москве, путая следы, заскакивая в подземные переходы, выныривая на площадях, затискиваясь в душные магазины, впрыгивая в автобусы.

И среди страхов и бредов, гнавшихся неотступно, была ужасающая, бредовая мысль. Это он, Белосельцев, повинен в

катастрофе. Он стал орудием чужой искусственной воли. Его переиграли в искусной, виртуозной игре, где компьютер одолевает прославленного гроссмейстера. Его мозг оказался слабее искусственного интеллекта, созданного в лаборатории врага. Его дар аналитика и провидца был бессилён перед мощью «оргоружия». Его разум оказался немощней таинственного гриба, возвращённого в банке Чекиста. Он, Белосельцев, был инструментом Чекиста, чья роль начинала вспухать как огромная жуткая опухоль.

Эта догадка требовала подтверждения, но страх, который он испытывал, мешал анализировать.

Он сбежал в метро, и ему показалось, что толпа на эскалаторе смотрит на него, узнает, грозно следит. В звенящем, сверкающем вагоне каждая вспыхивающая в туннеле лампа фотографировала его.

В своей гонке, пугая следы, желая смешаться с победителями, он пристраивался к каким-то уличным шествиям, возбуждённым, скандирующим, во главе которых шагали известные публицисты, депутаты, размахивали трёхцветными полотнищами, а в хвосте плелись оборванцы, спотыкались калеки, болтались подвыпившие гуляки. Он побывал на знакомой баррикаде, где ещё сутки назад шло строительство, готовился отпор. Баррикада была пустой, сдвинутой в сторону, сквозь неё по набережной мчалась торопливая струя лимузинов, а внутри баррикады, среди досок, проволочных мотков и мусора склепились две бездомных собаки, вывалив утомлённые языки. В стороне, у белого дворца, клубилась толпа, гремел ретранслятор, и в неразличимом металлическом гуле слышались грозные, прокурорские слова приговора, обращённые к нему, Белосельцеву.

Он изнемог, плюхнулся в сквере на обшарпанную скамейку, сдаваясь на милость судьбы, не в силах убежать и скрываться. Сидел, пропуская прохожих, чувствуя на себе их скользкие муторные взгляды. Ему показалось, что он оторвался от слежки, скрылся в деревьях сквера, сберег себя на этой скамейке. Пока будет сидеть на ней, останется невидимым. Соглядатай не увидит его, остановится перед непрозрачным экраном. Это открытие поразило его. На этой скамейке-невидимке он был в безопасности. Среди безумного города, где его искали враги, желали ему гибели, оставался крохотный островок, обшарпанная скамейка, где его не достанут, не схватят. И он

сидел, вдавливаясь в деревянные планки, поджав ноги, боясь себя обнаружить.

Зловещая роль Чекиста становилась все очевидней. Хитросплетение обоих заговоров, тайное собрание советников, заседавших в «Золоченой гостиной» — все это управлялось Чекистом. И он, Белосельцев, побуждаемый благородным порывом, бесстрашно действующий в интересах государства и Родины, был использован Чекистом в многослойной операции, погубившей ГКЧП.

Это открытие было ужасным. Он сидел на скамье-невидимке, спасая свою робкую жизнь, в то время когда по его вине гибла страна. Зампред оставался один в огромном здании. И вот-вот загрохают шаги в коридоре, хмурые люди войдут в кабинет, заставят вытянуть руки, защелкнут наручники. Подталкивая, понукая, поведут по пустым коридорам, мимо дверей, на которых таблички с именами тех, кто трусливо скрылся и предал. Внизу, у выхода, несколько черных машин. В одну из них сажают Зампреда, и он, беспомощный, ищет его, Белосельцева, чтобы обменяться последним взглядом, успеть сообщить страшную истину о причинах провала.

Эта картина была нестерпимой. Он чувствовал себя трусом, предателем. Пытался преодолеть свою немощь, успеть к Зампреду. Покуда не поздно, вытащить его из проклятого дома, привести в сквер, посадить на скамейку. Оба, невидимые для врагов, недоступные для жестоких победителей, они переждут безумие и спасутся.

Он чувствовал, как поминутно, посекундно меняется мир. Так на поле набегают тень облака. Вокруг еще солнечно, ярко, но за рекой уже сумрак, серость, тревога, и эта тревога стремительно летит к тебе, накрывает берег, воду, золотую стерню. И вот он, удар тьмы. Свет, в котором ты только что пребывал, отлетает, отбрасывается от тебя, и за ним не угнаться, и ты накрыт холодной и мертвой тенью.

Он чувствовал, как меняется мироздание. Легкой вибрации и трясению подвержен сквер, где он сидел. И улица за чугунной решеткой. И стена дома, заслоненная деревом. Эта вибрация расходилась по городу, и он колебался на своих фундаментах и подземных крепях. Трясение уходило в окрестные пространства, на равнины и реки, где вода начинала рябить и плескаться от подземных толчков. Ожившая, наполненная гулом Земля качала на себе города, трясла и ломала границы. Хребты начинали налезать на хребты,

долины морщились и сминались, материки лопались по великим разломам, терлись один о другой, на кромках горело, дымило, вырывался огонь преисподней. Мир разрушался, гибли народы и страны. Крушение охватывало Землю. В грозном скрежете поворачивался Болт Мира, и Белосельцев, сидя на скамейке, чувствовал спиной хруст планеты, неизбежность конца, в который вовлекалась Земля.

Одолеl помрачение. Увидел, как на его руку уселся маленький, зеленоватый упырек с резиновой присоской. Прилип с легким чмоканьем и начал сосать. Наливался кровью, разбухал, становился сиреневым, сине-черным, в крупных сочных пупырышках. Горячая кровь способствовала плодоношению. В нем раскрылась щель, и из нее полезли крохотные упырьки, похожие на икру минтая. Белосельцев гадливо оторвал кровососа. На месте присоски осталась розовая мокрая ранка. Раздавил упырька. Этот малый поступок вернул ему волю. В час вселенской гибели оставался человек, который нуждался в помощи. Зампред ожидал его в своем кабинете, беззвучно выкликал. Белосельцев устремился на помощь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Он вернулся к зданию ЦК на Старой площади, где час назад было пустынно, а теперь клокотала толпа. Перед порталом с золотыми буквами, где прежде под взглядами патрулей и охраны торопились редкие пробегающие прохожие, сейчас двигалось и взрывалось, накатывалось людское месиво. Белосельцев был втянут в этот рулет, замотан, завернут в крики, вопли, в горячую плотную ненависть.

— Коммуняки, куда попрятались? Выходи, поговорим по душам! — молодой атлет с бронзовым лбом, кольчатой черной бородкой вскидывал к окнам мускулистую загорелую руку, тянул кулак к золоченым буквам. — Куда, как крысы, попрятались?

— Кровопийцы!.. Кончилось ваше палачество!.. Дайте мне на них посмотреть!.. Заглянуть в их глаза!.. — худая растрепанная старуха двигала на шее взбухшей веной, рвалась вперед, больно толкнула Белосельцева. — Пусть выйдут на свет палачи!..

— На фонари их! В Москву-реку топить как псов! Выдайте их народу, башку им сами открутим! — здоровенный детина, дыша перегаром и луком, шевелил плечами, словно разминался перед тем как оторвать своим жертвам головы.

Белосельцев сжимался, старался уменьшиться среди плотной ненавидящей ярости. Горько изумлялся — куда исчезли всемогущие охранники, бдительные стражи, лакированные черные лимузины, зеленые грозные бэтээры? Куда источилась властительная сила, перед которой трепетали враждебные армии, ложились в прах чужие столицы? Здание было голым, без величественных риз. Напоминало военнопленного, босиком, в исподней одежде, над которым глумились захватчики, стараясь побольнее оскорбить и унижить.

— Народ и партия едины! — рыжий юнец с восторженными глазами кинул на дом бумажный надутый пакет, и тот разорвался на фасаде взрывом чернильной грязи, оставил липкую, стекавшую с камня кляксу. — Слава КПСС!

— На прием запишите!.. На прием меня запишите!.. — молодая пышногрудая женщина неловко размахнулась, метнула в здание

камень. Он угодил в окно, стекло со звоном осыпалось. — Жалобы и письма трудящихся!..

— Мы строим коммунизм!.. Не мешайте!.. Мы коммунизм строим!.. — патлатый, с прокусанными, кровоточащими губами парень кидался на здание, бил кулаком в стену, хотел проломить, захлебывался от боли и наслаждения. — Не мешайте мне, мужики!.. Я строю коммунизм!..

Белосельцев ужасался, но не этой истерической глумливой толпе, в которой витал дух разрушения, а тому, куда источилась недавняя всемогущая власть, повелевавшая огромной страной, осуществлявшая невиданные по размаху и мощи проекты, запуская в небо ракеты, покорявшая океаны и горы. Куда исчезла партия, чье святилище намеревались громить, куда пропали миллионы организованных, управляемых по приказу людей. Не было здесь блистательных генералов, вельможных партийцев, изысканных дипломатов, высококолых писателей, напористых молодежных вождей, а только глумливая толпа, поносившая беззащитное здание.

— Пропустите!.. Ударников соцтруда пропустите!..

Толпа расступилась. Сквозь нее двигались два молодца в комбинезонах и картузах, протаскивали лестницу. Установили ее перед входом. Протянули к золоченой надписи «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Один вскарабкался, достал из комбинезона молоток. Радостно скалясь, оглядываясь на толпу, стал сбивать с фасада золотые литеры. Буквы отскакивали целиком или частями, падали, сверкали на солнце. Их жадно хватали, боролись из-за них, отнимали друг у друга. Когда молоток добрался до слов «СОВЕТСКОГО СОЮЗА», саданул по первой букве «С», буква раскололась надвое, ее обломок остался висеть на сером камне, а другая половина свалилась на асфальт, к ногам Белосельцева.

Он почувствовал острую боль в щеке. Провел ладонью. Нащупал колючку. Вынул ее. В его окровавленных пальцах был крохотный золотистый осколок. Он был ранен в щеку осколком, был контужен ударом и взрывом. Слыша над собой звяк молотка, звон отбиваемых букв, продолжал изумляться, — где всеильные коммунисты, правившие семь десятилетий, покорившие фашистов, подпавшие мировой революцией все континенты, заявившие о новой религии, о

непобедимости красного смысла, о неуклонности воли и знания. Жалкие уродцы и святотатцы громили коммунистический храм, сбивали буквы с коммунистических скрижалей, оскверняли красный алтарь, и ни один коммунист не встал на пути осквернителей, не пожелал погибнуть за свои святыни, словно все они превратились в маленьких волосатых гномиков и ушли в расселину земли, из которой когда-то вышли. И это было ужасно. Было торжеством чародейства, триумфом всесильного колдовства. Демоны и нетопыри витали над городом, дули в свои колдовские дудки, стучали в волшебные барабаны, и могучие воины, непобедимые борцы, непреклонные пророки уменьшались на глазах, покрывались шерсткой и, ведомые мерзким карликом в красном колпачке с шутовским бубенцом, уходили под землю, в вечную тьму.

— Чего ждем?.. Брать их тепленькими!.. Пощупать их!.. Дотронуться до них, сук партийных!..

Этот веселый, надрывный блатной крик двинул толпу к подъезду. Надавили, навалились, проломили тяжелые двери, обрушили хрустальное стекло и по осколкам, хрустя, валом покатались внутрь здания. Белосельцев отбивался от потока, цеплялся за фасад, за шершавый камень, чтоб его не внесло, не втянуло в двери. Рядом с ним, хватаясь за уступы, спасался другой человек, в темных очках, с лицом, подвязанным шарфом. Лицо показалось знакомым. Очки с человека упали, шарф сполз на шею, и Белосельцев узнал Партийца. Он смотрел на Белосельцева полными слез глазами. А потом его оторвало, завертело, унесло в водовороте, а Белосельцев остался, ухватившись за камень. Его колотило, швыряло, било затылком о каменную громаду.

Дома он лежал с задернутыми шторами, за которыми сгущался сумрак и что-то непрерывно скрежетало, словно напильник по грубой, зажатой в тиски детали. Он замуровался в доме, как в бункере. С поверхности, по углубленному кабелю, сквозь бетонные оболочки проникали стерилизованные телевизионные изображения мира. Мир был подвержен атомной атаке, погибал в радиационном заражении, а он в бомбоубежище уцелел, наблюдая его кончину.

Депутаты кого-то клеймили, кого-то предавали, кому-то грозили смертью. То и дело голосовали, истово подымая руки, а затем пугливо

опуская. Ликующие гонцы, прибывавшие поминутно на Съезд, докладывали у микрофонов о проведенных арестах. Был арестован Зампред, Профбосс, Премьер. Напали на след Агрария и Технократа. Все покрывалось свистом, улюлюканьем уличной толпы. Поочередно возникали лица обоих Президентов. Зрелища страшной кровавой ночи с горящими боевыми машинами и грудой красных костей. В высоких погребальных ладьях, среди белых лилий, над крышами города, плыли юные мученики.

Он смотрел телевизор, сжимаясь под пледом, веря в то, что бункер его неприступен. От поверхности, где проходило крушение, его отдаляют бетон и сталь, глубина холодной земли.

На экране вдруг появился Магистр, с кем, казалось, еще недавно встречались в мастерской художника. Теперь Магистр был в домашнем кабинете, среди книг и бумаг. Положил на стол пухлые руки. Жирная грудь выдавливалась из манишки. Тяжелая лысеющая голова с маленькими острыми глазками занимала весь экран. Были видны старческие морщины, коричневые складки, родинки и наросты.

— Теперь, когда основные преступники арестованы и их ждет суд и возмездие, справедливая кара, как насильников и убийц, мы должны понять — эти бездари и тупицы не могли самостоятельно действовать. У них имелось теоретическое обеспечение, интеллектуальные центры, идеологи путча. Это они вынашивали проекты военного переворота. Они хотели превратить стадионы в концлагеря. Хотели отправить в Сибирь товарные составы с миллионами политзаключенных. Погрузить страну во мрак и кровь. Среди этих идеологов путча, интеллектуальных режиссеров насилия на первом месте стоит генерал Белосельцев, плоть от плоти Лубянки. Помните его недавние статьи, где он прямо оправдывает военную диктатуру? Как стало известно, за несколько дней до путча Белосельцев вместе с группой заговорщиков летал на Новую Землю, где они, в стороне от глаз, составляли подробный план переворота. Уверен, народ призовет к ответу этих апостолов репрессий. Спросит с них сурово и беспощадно...

Магистр исчез с экрана, появилась площадь, полная людей, деревянный помост, на котором кричал оратор, выпучивая глаза, какой-то публицист, чье лицо неузнаваемо исказила истерика:

— Преступников мы найдем!.. Выкурим из нор!.. Палач Белосельцев, проливший кровь наших мальчиков, убивший наших

юных героев, ответит!.. Мы его отыщем и вздернем на фонарь!..

Он хрипел, взмахивал кулаками, и толпа ревела в ответ:

— На фо-нарь!.. На фо-нарь!..

Белосельцев решил отправиться на Лубянку, разыскать Чекиста и, перед тем как погибнуть, узнать, в чем причина его неминуемой смерти, в чем жуткая красота и дьявольская простота комбинации, погубившей страну.

Засобирался, заторопился. Сутулясь, хоронясь, выскочил в сумерки разворошенного, гудящего города.

Он вышел из метро на площади Дзержинского и оказался в черной кипящей смоле. Площадь шевелилась, взбухала, лопалась вязкими пузырями. В каждом лопнувшем пузыре открывалось искаженное, с выпученными глазами, перекошенным ртом, лицо, кричало, требовало. Здание КГБ воспаленно горело оранжевыми окнами от земли до крыш, словно был полный сбор, кабинеты были переполнены сотрудниками, шла яростная, неутомимая работа. Памятник, огромный, вертикальный, поставленный на гранитный цилиндр, уносился ввысь заостренной головой. С обнаженной головой, в ниспадающей долгополой шинели, казался привязанным к столбу, как Джордано Бруно, которого возвели на костер. Толпа накатывалась на него, булькала у подножья, ударялась о гранит тяжелыми липкими шлепками.

Оратор в луче прожектора забрался на каменный цоколь, водил по сторонам мегафоном, выкрикивал:

— Смерть палачам!.. Кровь мучеников требует отмщения!.. Пусть все, кого он убил в застенках, замучил в подвалах чека, застрелил из нагана в затылок, утопил, сжег заживо, уморил голодом в концлагерях, пусть все они встанут из могил и сбросят его с пьедестала!.. Смерть палачам!..

Толпа ревела черными ртами, из которых летел красный пар, выпучивала глаза, в которых лопались кровяные сосуды, выбрасывала вверх кулаки, на которых вздувались фиолетовые жилы. Ловкий малый гибко выскочил, размахнулся, метнул в памятник помидор, и тот расплющился жидкой кляксой. Двое синюшных юнцов в джинсовых куртках вылезли, повернулись к толпе худыми спинами, расстегнули штаны, стали мочиться на памятник. Толпа восторженно ревела, глядя,

как мерцают в свете прожектора слюдяные струйки. Памятник молча возвышался над толпой, гордо воздев подбородок. Оранжевые окна воспаленно смотрели на осквернение кумира, ожидали казни.

— Мы разрушим все памятники большевистским палачам и насильникам!.. — рокотал мегафон, переполненный металлическими всхлипами, булькая скопившейся стальной слюной. — Мы сотрем с карты страны их имена и вернем нашим городам их истинные названия!.. Мы соскоблим со стен памятные доски и барельефы с лицами и именами убийц и напишем на этом месте имена тех, кого они убили!.. Мы свалим этот торжествующий идол зла, отправим его в переплав и из жидкого металла, прошедшего огонь очищения, отольем крест на братскую могилу тех, кто безвестно покоится в рвах и могилах ГУЛАГа!..

Стайка миловидных юношей и девушек подлетела к постаменту, стала радостно скакать и приплясывать, орудуя спреями, выводя на памятнике затейливые вензеля и надписи: «Свобода!», «Смерть палачам!», «Феликс, ты — гад!». В монумент летели камни, бутылки, шлепали в камень, брызгали в лучах прожектора осколками.

Белосельцев созерцал казнь памятника. Высокая обнаженная голова с открытым лбом, с пучком бородки уходила в небо, и там, среди тьмы, оранжевых отсветов, слюдяных фиолетовых вспышек носились прозрачные духи тех, кто слетелся на казнь своего мучителя. Так осмелевшие лесные птицы нападают на дневного филина, не способного видеть, бить крылом, терзать клювом, пищат и царапают разорителя гнезд, поедателя птенцов.

Два белых офицера с золотыми эполетами и георгиевскими крестами трепетали крыльями, ударяя кулаками в бронзовые щеки Дзержинского. Пикировали на него, вытянув сложенные вместе офицерские сапоги с начищенными голенищами, и у обоих во лбах зияли пулевые отверстия, оставленные латышскими стрелками. Царский камергер в длинном, в золоте сюртуке, с алой парчовой лентой через плечо, застреленный в петроградском ЧК, подлетал к бронзовой голове и что есть мочи хлестал ее по щекам. Пухлый, с бородкой, министр Временного правительства, убитый в Самаре, дрожа животом под тесной жилеткой, норовил выцарапать памятнику глаза, обливался слезами, никак не мог вытащить из кармана носовой платок. Косматый архимандрит с клочьями бороды, вырванной

чекистами при допросах, развеивал черной рясой, плевал в лицо своему убийце, по приказу которого баржа тонула в студеное море, и монахи, скрученные проволокой, по пояс в воде, славили Пресвятую Богородицу, и архимандрит прижимал к губам серебряный крест. Бородатый крестьянин из Тамбовщины, застреленный при лесной облаве, в исподних портках, голоногий, костлявый и жилистый, стискивал горло памятника, тоскливо, по-звериному, выл. Кронштадтский матрос, расстрелянный из пулемета при подавлении мятежа, в бескозырке с золотыми буквами «Андрей Первозванный», харкал кровью на шинель памятника, бил его в сердце непрерывными злыми ударами.

Белосельцев смотрел на эти сонмища духов, покинувших заоблачные пределы, куда они улетели из проклятых застенков, зловонных подвалов, черных оврагов, горячих степных бурьянов, где истлевают безвестные сирые кости. Теперь, полупрозрачные, в трепете стрекозиных крыльев, они вились над памятником, торопясь ему отомстить.

Среди метущихся воздушных существ Белосельцев различил Великую Княгиню, сброшенную в шахту Алапаевска, в белом подвенечном платье. Террористку Каплан с изможденным лицом, в кожаной куртке, с браунингом. Поэта Николая Гумилева в овечьей безрукавке, в фуражке гвардейского офицера. Савинкова, заgrimированного под мещанина, в поддевке, с наклеенной рыжей бородой. И среди крылатой толпы — прозрачный, похожий на светлячка, качая в руках маленькую золотую лампадку, витал царевич Алексей, и в его груди чернела страшная рана.

— Граждане свободной России!.. — простуженно, с жестяным кашлем, скрежетал мегафон. — Демократические власти Москвы приняли решение демонтировать памятник преступному палачу!.. Вызвана техника, подъемные краны!.. Не расходитесь!.. Станем свидетелями исторического свершения!..

Белосельцев обогнул хлюпающую, наполненную варом площадь. Приблизился к зданию КГБ, к гранитному portalу. Предъявил документ постовому и оказался в глубине огромного, озаренного лампами дома. Шел по коридорам, подвигаясь к приемной Чекиста, уверенный, что на этот раз застанет его на месте.

Дом, обычно холодный, стерильно-чистый, металлической точностью напоминающий мерно работающую машину, теперь казался ошпаренным, сломанным. Будто в отлаженный механизм сунули лом — повсюду искрило, перегорали обмотки, слышался нарастающий скрежет крушения.

Двери кабинетов, обычно плотно затворенные, теперь были приоткрыты, а иные распахнуты. Белосельцев чувствовал, как оттуда веет чем-то удушающим, обморочным, словно из перегретой бани. Мокрым паром, ядовитым потом, кислым соком размокших веников. Заглядывал в кабинеты как в сейфы, у которых взломали замки.

В одном из них, окнами на площадь, где дрожали стекла и бурлил устрашающий рокот — хозяин кабинета, без пиджака, в подтяжках, с расстегнутым воротом несвежей рубахи, жег в большой каменной пепельнице документы. Кабинет был полон дыма. Горел комок бумаги. На полу шевелился горячий пепел. Человек держал на весу горящий лист, обжигался, ронял капли огня.

В другом кабинете пили водку. Звенели стаканы. Пьяно блестели безумные глаза. Воспаленно краснели лица. Ходили вверх и вниз небритые кадыки. За окном шла казнь памятника. Бронзовый великан подвергался надругательствам. Обитатели кабинета стискивали граненые стаканы. Не чокаясь опрокидывали их в жадные рты. На воспаленных лицах дрожали белые желваки.

В третьем кабинете Белосельцев застал сцену борьбы. Один схватил из угла снайперскую винтовку, проткнул стволом прозвеневшее стекло, пытался припасть к оптическому прицелу. Другой отнимал винтовку, мешал сделать выстрел. Оба матерились, хрипели, а снаружи, сквозь разбитое стекло, редела площадь, на которой умертвляли ненавистный памятник.

В четвертом кабинете, где хранилась агентурная картотека и под шифрами значились глубоко законспирированные нелегалы, Белосельцев увидел Тэда Глейзера из «Ренд корпорейшн». Он просматривал картотеку, приближая свои увеличенные очками глаза к секретной документации. Рядом, в почтительной позе подчиненного, стоял генерал, ведавший нелегальными списками.

В пятом кабинете удобно разместился известный демократ, православный священник, о котором ходили слухи будто он платный агент КГБ. Теперь этот священник, в черном подряснике, в скуфейке, с

серебряным католическим крестом, тщательно просматривал досье агентов, видимо, искал свое собственное. Раскрывал секретные папки, читал доносы, сводки. Что-то выхватил из папки и быстро спрятал в складках подрясника, и глаза его торжествующе сверкнули.

В шестом кабинете на диване, запрокинув голову, откинулся полковник. Из рта текла кровь. Глаза были страшно выпучены от разорвавшейся пули. В кулаке был зажат пистолет, и под люстрой, едва заметное, плавало серое облачко дыма.

Белосельцев шагал по зданию Комитета государственной безопасности, и здание напоминало мозг, ужаленный змеей, которая проползла внутрь черепа и удобно свернулась чешуйчатым толстым кольцом.

Он вошел в просторную приемную Чекиста, где обычно дежурили помощники и порученцы, стояли столы со множеством телефонов. Но вместо ожидаемых лиц, стерегущих вход в кабинет, увидел Ловейко. Приветливый, спокойный, поднялся из-за стола навстречу Белосельцеву, пожимая руку:

— Как вы долго шли, Виктор Андреевич. Я тоже совершил прогулку по зданию нашей дорогой конторы, и теперь лучше понимаю, как проходили последние часы имперской канцелярии. — Он был спокоен, чуть насмешлив, с ясным взглядом голубоватых льдистых глаз, в которые был вморожен кристаллик холодного солнца. И Белосельцев вдруг узнал этот мерцающий кристаллический свет, который все эти дни преследовал его в толпе, в коридорах Белого дома, в столпотворениях площадей, во время тайных встреч и любовных свиданий. Даже в сумрачной вечерней избе, где на спинке деревенской кровати были нарисованы львы. Даже в утреннем морозящем дожде, когда из травы под ореховым кустом появлялась маслянистая шляпка гриба. Ловейко, невидимый соглядатай, шествовал за ним по пятам, наблюдая из пролетающих лимузинов, из телефонных будок, из летучих капель дождя.

— Вы следили за мной? — спросил Белосельцев, отпуская руку Ловейко.

— Я отвечал за вашу безопасность. Слишком ответственное задание вы выполняли. Было много желающих вам помешать. Не стану подробно рассказывать, но два раза мне пришлось стрелять. Один раз я заслонил вас от пули, успев подставить под выстрел

машину. И еще раз агент противника был уничтожен, когда бросился к вам с ножом, но был скинут в реку, — Ловейко мягко улыбался, и Белосельцев припоминал, что, кажется, слышал в лесу, во время грибной потехи, слабый пистолетный хлопок. Однажды отшатнулся на тротуаре, когда рядом, с жутким скрипом тормозов, остановился микроавтобус. Заметил на набережной бегущего к нему человека, на которого набросились двое молодых лоботрясов, и он поспешил удалиться с места потасовки. — Вы слишком дорогой агент, Виктор Андреевич, чтобы мы могли оставить вас без прикрытия.

— Шеф у себя? — Белосельцев не верил Ловейко. Чувствовал веющие от него ветерки опасности. Легчайшие запахи склепа. — Мне нужно сделать доклад. Я звонил, но не мог дозвониться. Поэтому пришел без звонка.

— Он вас ждет. Знал, что вы непременно придете. Вышел на несколько минут, но просил вас подождать в кабинете, — Ловейко раскрыл перед Белосельцевым высокую дубовую дверь, любезно пропуская в глубину просторного, освещенного люстрой кабинета, где все говорило о том, что хозяин только что здесь находился. — Располагайтесь, Виктор Андреевич, шеф скоро вернется, — бесшумно, с милой улыбкой, затворил дверь, оставив Белосельцева среди огромных апартаментов.

Все было знакомо. Дубовые панели, смуглые от старинных Табаков. Тяжелые диваны, продавленные грузом тяжелых лет. Огромный стол, истертый донесениями трех поколений разведки. Высокая люстра с желтизной усталого стекла. Просторное окно, занавешенное недвижимой тканью, напоминавшей стальную плиту. Белосельцев, ожидая Чекиста, медленно пересек кабинет, ступая по клавишам паркета, издававшим чуть слышные скрипы старого клавесина. Отдернул штору. Площадь ударила в дребезжащее стекло ревом толпы, моторами, мегафонным стенанием, вспышками света. Голова памятника была близко от окна — бронзовый затылок, ворот шинели. Дальше — размытые огни Москвы, рубины Кремлевских звезд, окруженных розовым паром, словно они медленно испарялись в синий московский мрак.

Толпа, окружавшая памятник, неохотно раздвигалась. В прогал вдавливались два тяжелых колесных крана грязно-желтого цвета, и

пожарная машина, от которой во все стороны летели фиолетовые, истерические вспышки.

— Добрый вечер, Виктор Андреевич, — Белосельцев оглянулся и увидел Чекиста. Тот вошел бесшумно, приблизился к окну. Остановился, не подавая руки. Лишь сильнее отдернул штору, чтобы ничто не мешало великолепному зрелищу площади. — Извините, что заставил ждать.

— Я искал с вами встречи... Звонил... Хотел доложить результаты... Хотел получить разъяснения...

— Все знаю. Не было возможности вас принять. Теперь она появилась. Угадываю ваши вопросы. Угадываю ваше недоумение. Вы правы, операция «Ливанский кедр», которую вы помогли реализовать, имела абсолютно иные цели, нежели те, о которых я вам сказал. Вы действовали, исходя из одних представлений, совпадавших с вашими ценностями, но достигнутые результаты реализовали иную концепцию, вам неизвестную. Так часто бывает в разведке.

— Но эта концепция связана с разрушением строя, с концом государства, с крахом советской системы! — Белосельцев издал тихий стон, понимая, как страшно его обманули.

— Вы правы. В недрах концепции «Ливанский кедр» лежала задача демонтировать строй и сломать систему, свернуть тупиковый вектор истории, разрушив неэффективные социальные формы, в которых остановилось развитие.

Белосельцев ошеломленно смотрел на Чекиста, успевая сквозь панику помраченного разума заметить происшедшие в нем перемены. Не было и в помине маленького, тихого человечка, похожего на фарфоровую статуэтку с нежным румянцем и круглыми глазами младенца. Черты легионера и римлянина, поразившие Белосельцева в их последнюю встречу, еще больше усилились. Чекист вырос, раздался в плечах, увеличились формы носа и лба, властно выдвинулся подбородок, мощные морщины пролегали вдоль щек. Казалось, тело его привыкло к доспехам в далеких галльских походах. Голова носила тяжелый шлем. Морщины напоминали шрамы от ударов меча. Взгляд, взиравший на площадь, был утомлен видом горящих столиц, разрушенных крепостей, павших империй. И вся его стать была статью победителя, стоящего на триумфальной колеснице, за которой бежали скованные цепью враги.

Краны с двух сторон приблизились к памятнику. Медленно, как длинные стволы, из них выдвигались желтые стрелы. Приближались к бронзовой, воздетой вверх голове. Туда же, из недр красной пожарной машины, словно легкий трепещущий стебель, тянулась узкая лестница. Толпа умолкла, следила, как в ветреном небе к голове исполина сходились стальные конструкции, словно норовили ударить в лоб.

— Схема, которую вы нарисовали «Рэнд корпорейшн», фиксировала наличие двух центров власти, — Чекист спокойно взирал на площадь, как взирают с горы на осажденную крепость, которая должна пасть. — Первый, одряхлевший и усталый, олицетворенный Президентом СССР, Меченым, как его называют в народе. И Второй, агрессивный, набирающий силу, олицетворенный Президентом России, Истуканом. Распад Советского Союза, запрещение Компартии, свертывание коммунизма, как вы правильно рассудили, все это предполагало передачу полномочий от Первого ко Второму. Для этого нужно было встряхнуть ситуацию, создать на несколько дней конституционный хаос, породить краткосрочное безвластие и во время этой паузы передать власть от Первого ко Второму. — Чекист умолк, ожидая, пока Белосельцев усвоит высказанные мысли. Так умолкает человек, кинувший камень в глубокий колодец, ожидая услышать тихий удар о дно. — ГКЧП, созданный при участии Первого, чтобы устранить конкурента, Второго, стал нелегитимным, как только от него отрекся Первый. Дряблый и слабовольный, он решил это сделать, получив от Второго гарантию сохранения власти. Второй был готов дать эту ложную гарантию, убедившись, что не будет штурма Белого дома и его не арестуют. Эту стратегическую информацию в виде двух маленьких писем вы передали Второму и Первому. ГКЧП был отсечен от законно избранного Президента СССР, стал незаконным и попал в тюрьму. Второй, получив свободу рук, при отсутствии в Москве Первого, взял управление страной, замкнул на себя силовые структуры, и теперь, обладая полнотой власти в стране, произведет демонтаж СССР, уничтожение советской системы, свертывание коммунистического проекта, существовавшего семьдесят лет. Операция «Ливанский кедр», в ее технической части, была разработана в недрах КГБ, а вы, Виктор Андреевич, стали инструментом ее реализации...

Площадь радостно гудела, свистела. По хрупкой серебристой лестнице, по легчайшим черточкам взбирался человек. Освещенный прожекторами, цепкий, осторожный, он карабкался в небо, приближаясь к памятнику. Был на уровне его живота, там, где у живого Дзержинского под шинелью был затянут ремень, заправлена солдатская гимнастерка и болела язва желудка, заработанная во время ночных допросов. Человек взбирался на памятник, напоминая гравюру Доре, где лилипут по лестнице карабкается на спящего Гулливера. Белосельцев отрешенно подумал, что этот человек имеет имя, судьбу, которая сделала его в этот вечер вершителем истории, но он будет забыт, как и те, что разрушили Александрийский маяк.

— Почему, скажите, выбор пал на меня? — спросил Белосельцев с тем отрешенным любопытством, с которым, быть может, излетевшая из тела душа смотрит на мертвую плоть, столько лет служившую ей домом. — Почему я?

— Вы ближе всех подошли к истине. Действовали не слепо, а с уверенностью в том, что воплощается ваш замысел, устраняются угаданные вами угрозы. И лишь малая коррекция, крохотная, неизвестная вам деталь привели к обратным результатам. Никто другой не смог бы столь тонко обмануться. Внести в грубую, вульгарную схему утонченный интеллектуализм и жертвенную достоверность. — Чекист был холодно любезен и откровенен, как если бы Белосельцеву предстоял расстрел. — Однако есть и другая, более глубокая причина, отчего выбор пал на вас. Ваше досье, которое мы тщательно изучали, ваши психические и мировоззренческие характеристики показали нам, что вы незаменимы...

Дзержинский стоял на высокой тумбе со связанными руками, а над ним возвышалась желтая виселица, с которой медленно опускался трос. Было видно, как сочно блестит металлический крюк, как вибрирует тонкая лестница. Маленький человечек упорно двигался ввысь, освещенный прожектором, под восторженные клики толпы. Теперь он был на уровне выпуклой бронзовой груди, где у живого Дзержинского под шинелью был карман гимнастерки, лежал партбилет и тлела чахотка. Вторая стрела медленно двигалась в небе, очерчивая дугу. Из нее начинал опускаться второй крюк, словно приговоренного ожидали сразу две петли, две виселицы, и он будет дважды повешен.

— Ваше сознание восприимчиво к мифам. Из разрозненных явлений жизни оно создает мифологический образ, помещая в сердцевину мифа мистическое ожидание чуда. Вы религиозно и страстно воспринимаете миф, с помощью которого эмпирические случайности мира превращаются в ослепительную метафору. В поэтическую метафору, а не в унылую данность начинает верить человечество, воскрешая в себе первобытные представления о замысле Божьем, о замысле истории, о величественном законе развития. Такими мифами движется история. Миф об Обетованной земле. Миф о совершенном государстве. Миф о христианском рае. Миф о коммунизме. Человечеству предлагается миф, в котором оно начинает жить век или тысячу лет. Двигается, обманывается, ожидает обещанного чуда, а потом разочаровывается и принимает другой миф, который уже готов, опускается на человечество как сон, взамен исчезнувшего. История — игра мифов, игра великих обманов, игра иллюзий, в которых пребывает человечество, отделенное от истины своей предрасположенностью к мифам. Истина лишь на краткий миг может сверкнуть на стыке двух мифов. И горе тому, кто успеет ее разглядеть. Он сойдет с ума, начнет реветь как раненый вепрь, не умея выговорить то, что ему привиделось. Я изучал ваши агентурные донесения, ваши аналитические записки, ваши дневники и журналистские статьи, а также ваши ранние прозаические произведения, которые вы написали до прихода в разведку. Я понял вашу предрасположенность к мифу. Специально для вас создал миф о красном смысле, о бессмертии. Вы уверовали в него и действовали как заколдованный, в недрах волшебной метафоры, что и обеспечило успех операции...

Белосельцев, пораженный, смотрел на Чекиста. За окном крохотный человечек на лестнице достиг головы памятника. Гордая, чуть отведенная назад, с голым лбом и открытой шеей, голова недвижно смотрела, как сверху, из желтой стрелы опускается крюк. Человечек, балансируя, словно ловкий циркач, обмотал трос вокруг бронзовой шеи, закрепил на канате крюк, образуя петлю, и она свободно легла на плечи Дзержинского. Площадь, ликуя, приветствовала циркача криками, свистом, и тот, переливаясь в свете прожектора, помахал рукой, упиваясь своей ловкостью и бесстрашием.

— Смысл истории — в последовательном чередовании мифов, каждый из которых, угасая, таит в себе следующий. «Авеста» и «Махабхарата» беременны Торой и Ветхим заветом. Учение Моисея продлевается в христианстве и коммунизме. «Философия общего дела» соединяет единобожие, марксизм и языческие космогонии. Каждый новый миф абстрактнее прежнего, в нем все меньше частного, отдельного, адресованного к отдельному народу, отдельному царству, отдельной территории мира. Сейчас созревает миф о едином человечестве, единой мировой культуре, единой мировой религии. Он уже предложен народам, во многом принят, предстает в ослепительном виде современной техногенной культуры, глобальной экономики, теории управления миром. Это управление осуществляется из Манхеттена, откуда несутся по всей планете могучие управляющие сигналы. И люди им повинуются, верят в то, что наступает долгожданное единство и вселенское братство — торжество человечности. Деньги как великая абстракция превращают мир в игру чисел, историю — в ритм, человека — в знак, соизмеримый с машиной, камнем, электроном, галактикой. Все имеет стоимость — алмаз в глубине кемберлитовой трубки, сердце, пересаженное из одной груди в другую, кладбище на обратной половине Луны, оплаченное политическое убийство или оплаченное бессмертие, достигаемое посредством пересадки органов. Цивилизация денег снимает разницу между природой и историей. Еврейская идея абстрактного Бога, сформулированная пророками, многие из которых были побиты камнями, превращается в идею абстрактных денег. В религию, победившую коммунистический миф. Завтра та же участь ожидает либеральную мечту, которая сегодня, как может показаться, празднует свое торжество. Манхеттен будет разрушен...

Вторая петля была закреплена на шее огромного памятника. Человечек, под восторженные крики толпы, спускался по зыбкой лестнице. С окрестных домов светили прожекторы. Гигантская виселица была сооружена на площади. Приговоренный памятник стоял на высокой тумбе в аметистовых лучах, и к его обнаженному горлу тянулись стальные канаты.

— Земля, в конце концов, сбросит с себя все мифы, все мнимые покровы и религии, последней из которых будет религия человека. Земля превратится в одно нерасторжимое, абстрактное «Я», которое

вернется к сотворившему ее Богу. И этим закончится мироздание. Не огорчайтесь по поводу крушения красного мифа. Это такая малость в сравнении с тем, что еще погибнет. Вам не дано перепрыгнуть в следующий миф, ибо вы состоите из множества красных частичек, которые бесследно исчезнут...

Белосельцев вслушивался в невнятные речения Чекиста, напоминавшие богословские трактаты, рецепты алхимиков, сюжеты литературных фантастов. И вдруг с ужасающим запоздалым прозрением, как если бы увидел вблизи налетающий, грохочущий, в огненной маске тепловоз, — Белосельцев вдруг понял, что перед ним Демиург. Тот, кого он тщетно искал, кто управлял «оргоружием», посылал разящие удары в неуверенных государственныхников, обволакивал их тончайшей ложью, сбивал с пути, подсовывал ложные цели, сеял среди них панику, откалывал группы поддержки, внедрял в их среду предателей, неуклонно, шаг за шагом, толкал их к пропасти, куда они и свалились, обманутые комбинацией, в которую заманил их он, Белосельцев. Чекист был главным стратегом. Главным идеологом и вождем. И это прозрение сделало его зрачки огромными, раздвинуло стены и потолок кабинета, как если бы они стояли в черном огромном поле, где дул жуткий ветер пустых небес.

— Кто вы? — спросил Белосельцев, видя, как странно вибрирует вокруг Чекиста пространство, словно жидкость в колебании волн. — Кто вы такой?

— Я из тех, кто был всегда. Если угодно, я — порождение вашего ужаснувшегося разума. Я тот, кто является на стыке мифов. Тот, кто живет доли секунды, пока рушится один миф и нарождается следующий. Элементарная частичка Вселенной, которую почти невозможно обнаружить, ибо не построен такой циклотрон. Я — носитель великих абстракций. Вы не найдете для меня определений...

Пространство продолжало вибрировать. Образ Чекиста двоился, расслаивался, преображался. Огромного роста, мускулистый, натертый благовониями жрец Египта с фиолетовыми губами и черными смоляными кудрями стоял перед ним. Превратился в саддукея на пороге иудейского храма, подымающего истовое лицо с кольчатой бородой в бледное небо Галилеи. Стал буддийским монахом с голым черепом, в оранжевой линялой хламиде, падающим ниц перед золотым изваянием. Папа Римский в серебряной парче, в драгоценной тиаре,

оперся о пастырский посох, кладя на алтарь пухлую, в перстнях и камнях, руку. Якобинец, нахлобучив фригийский колпак, ловкий и быстрый, подымал за волосы отрубленную голову королевы, и та трепетала, скалила зубы, выпучивала ненавидящие глаза. Комиссар в глянцевиной кожанке, в мерцавшем пенсне, страстно приблизил фиолетовые глаза к бледному лицу Императора, вытаскивая из кобуры парабеллум. Эйнштейн в шлафроке, в шлепанцах, смотрелся в тусклое зеркало, показывал сам себе воспаленный желтый язык.

Образы сменяли друг друга как быстро растущий эмбрион, проходящий сквозь стадии роста.

И вдруг из-под сюртука хасида, из-под черной шляпы, сдирая косую бороду и кольчатые длинные пейсы, глянуло шерстяное сильное тулово, заостренная голова, оскаленные резцы, торчащие, опущенные уши. В паркет упирались сильные когтистые лапы, другие две были прижаты к груди и в них был стиснут огромный прозрачный изумруд. Громадная белка сидела посреди кабинета, улыбалась Белосельцеву, и тот, теряя рассудок, шагнул ей навстречу.

За окном на площади толпа ахнула в тысячу изумленных ртов. Тоскливо захрустело, заскрежетало. Белосельцев обернулся к черному стеклу, за которым, озаренная лучами, желтела гигантская виселица. Краны тянули стальные канаты. Крюки впились в скрученные тросы. Две петли рвали ввысь голову. Памятник качнулся, отделился от тумбы, пошел вверх, закачался в пустоте. Было видно, как дергаются его связанные ноги, выгибаются скрученные за спиной руки, бьется в петле огромное страдающее тело, открываются под бронзовыми веками выпученные глаза, и что-то металлическое и страшное хрипело в глубине монумента, в бронзовых растворенных губах взбухал липкий красный пузырь.

Краны поворачивались, относили памятник прочь от постамента, подтягивали его ввысь. Теперь голова Дзержинского качалась почти на уровне окна, и Белосельцев видел мертвое, искаженное мукой лицо, розовую слюну на бороде, выпученный белок огромного близкого глаза с лопнувшим красным сосудом.

Тонко вскрикнул, оборачиваясь к Чекисту. Но кабинет был пуст. Шатаясь, Белосельцев вышел в приемную, где из-за столика предупредительно поднялся Ловеико:

— Виктор Андреевич, шеф приносит свои извинения. Он так и не сумел подойти. Его срочно вызвали в Белый дом. Может быть, завтра он вас все-таки примет.

— Конечно, конечно, — пробормотал Белосельцев. Оставил приемную. Спустился на лифте в вестибюль. Покинул здание, не выходя на клокочущую площадь, над которой раскачивался громадный бронзовый висельник. По улице Кирова, хоронясь, прижимаясь к стенкам, заторопился прочь, не понимая, где теперь его место в обезумевшем городе, где сдвинулись с места площади, перепутались улицы, и повсюду, падая из неба, качалась тень мертвеца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Гонимый, он метался по городу, не находя убежища. Вдруг вспомнил приглашение Парамоши, который вместе с писателями заседал в своем дворце на Комсомольском проспекте. Вышел из метро «Парк культуры» на влажный после летучего дождичка пустынный проспект. Качнулся в сторону от стальной кардиограммы Крымского моста. Миновал хамовническую Никольскую церковь. Днем она казалась языческой женщиной в полотняных одеждах, в бусах, ожерельях и гривнах. Теперь же в темноте отрешенно и мрачно блеснула черным золотом. В Хамовнических казармах трусливо пряталось робкое воинство. Он пересек проспект, приблизился к бело-желтому дворцу, чьи высокие окна янтарно светились сквозь стройные колонны. Белокаменный въезд был завален мусором, рухлядью, обрезками труб и фанерой. Напоминал одну из баррикад, засоривших город. Белосельцев осторожно, пачкая башмаки об известку, пробрался к высокой дубовой двери. Она была заперта, хотя за ней раздавался шум, слышались голоса. Он долго звонил, желая поскорее укрыться за стенами, подальше от черного ночного проспекта, по которому проносились невидимые вихри опасности.

Дверь приоткрылось. Сквозь цепочку выглянуло молодое светлобровое лицо, уставило на него стриженные золотистые усы, настороженные глаза:

— Вам чего?

— Мне Парамонова, друга... Он пригласил... — Белосельцев боялся, что тяжелая дверь захлопнется, исчезнет золото бровей и усов, и он останется один на черном проспекте среди летящих вихрей опасности.

— Белосельцев!.. Витя!.. — раздался знакомый голос Парамонова. — Это свой!.. Пропустите!..

Белосельцев оказался в освещенном людном вестибюле, где курили, бродили, шаркали. Кажется, некоторые были пьяны. Обнимались, ссорились, что-то писали, какие-то плакаты и росписи. Среди пожилых и помятых людей двигались молодые и крепкие, с казачьими бородами и офицерскими усами. Парамоша, потный,

хмельной, с прилипшим ко лбу завитком, в расстегнутой на груди рубашке, сквозь которую виднелась цепочка с крестом, обнял Белосельцева, потянул за собой в глубину дома, подальше от двери. Окружил винным горячим дыханием.

— Съехалась писательская братия со всех волостей... Сидим, заседаем... Ну, как водится, витийствуем... Сибирь о сибирском, Вологда о вологодском... По радио, телевидению чушь отвратительная, сатанинская!.. Шабаш!.. Вдруг является какой-то префект — тьфу, слово-то какое!.. С ним хлыщи патлатые, гвардейцами называются... И прямо на трибуну!.. «Вы, — говорят, — шовинисты, путчисты, русские фашисты! Мы прекращаем ваш пленум и вообще вас всех прекращаем. Будем вас судить, а ваш дом опечатаем!» Мужики сначала молчали, пыхтели, а потом как засвистят!..

Префекта этого под микитки, и вон!.. Дверь на замок, и баррикадуемся!.. Держим осаду!.. Вино есть, продовольствие есть!.. Разведчики выходят на улицу, добывают белое и красное!.. Идем, угощу!..

Он обнимал Белосельцева, смеялся, обдавал пьяным жаром. Белосельцев был благодарен за этот смех, хмель, объятия. Здесь не было отчаяния, не было предательства и позора. Он прижимался к другу, шел за ним по высоким ступеням дворца, вверх, где усиливался гул голосов.

В просторной комнате с дорогим дубовым столом, резными тяжелыми стульями былолюдно, чадно. Мокро блестели бутылки. На тарелках неопрятно, тронутая, разворошенная, лежала снедь — какая-то зелень, ломти колбасы, ломаный хлеб. Люди за столом жевали, лили в стаканы водку, чокались.

— Любите и жалуйте, мой друг генерал Белосельцев, — Парамонов подвел Белосельцева под свет люстры, ближе к столу. — Он, как утверждают враги, готовил переворот... Его хотели сегодня повесить на фонаре...

Лица повернулись к нему, продолжая жевать. Худой, испитой, с лиловыми подглазьями, произнес:

— Значит, плохо готовил...

Другой, косматый как леший, с могучей сутулой спиной, блеснул молодыми зубами, рыкнул:

— А на фонари мы этих демократов сами поддержим. Над русским человеком сколько можно глумиться? На фонарь, и свет зажжем, чтоб виднее было.

Он протянул Белосельцеву огромную лапищу, дал стакан водки. Белосельцев жадно выпил, захлебываясь, заталкивая в рот зеленые лепестки. Горечь и огонь проникли в грудь, вспыхнули шаровой молнией, сожгли колючий ком страха как кучу сухого хвороста, и она, сгорев, оставила в груди горячую пустоту.

Тяжело, упираясь в спинку резного стула, поднялся худой, изможденный писатель с остатками редких белесых волос. Его лицо было в темных пятнах, словно сгорела на щеках и на лбу россыпь пороха. Глаза крутились в орбитах, и на жестких губах белела высохшая накипь.

— Они нас будут к стенке ставить, а мы им харкнем в лицо! Они нас на колени станут валить, а мы не упадем! Они столько мучили русских людей, топили, пули вгоняли, а мы не покорились! Если они сюда к нам придут, я их зубами рвать буду! Выпьем за Россию, у которой нет начала и нет конца! — он протянул стакан с водкой, и все чокались, гремели стеклом, булькали водкой. Белосельцев тоже тянулся, торопился ударить стеклянной гранью, через касание набраться силы, веры, несокрушимости: «За Россию!.. Пусть пули, пусть пытки!.. Россию не сгубить, не замучить!..»

Поднялся маленький, в косоворотке, в потешном, необычного покроя, сюртуке. Притопывал сапожками, сиял золотистой бородкой:

— Вот... Я сейчас... Вам стих прочитаю...

Стал читать торжественно, истово, песенно возвышая голос, как на молитве. О России, о поваленной колокольне, об отчей заколоченной избе, где стареет мать. Все внимали серьезно, насупившись, уставив глаза в дубовый стол, залитый вином, в корках ржаного хлеба. Белосельцев пьянел, чувствовал, как остро, сладко вливаются слова чужого стиха, как важны они ему и желанны, и хотелось подойти к читающему, упасть лицом в его сюртучок, в ситцевую косоворотку, и рыдать, не от горя, а от полноты безымянной любви, благодарности к ним, здесь сидящим.

Все хвалили стих, хвалили поэта, а тот строго принимал похвалы, отряхивал с себя крошки хлеба. Усаживался, сияющий,

удовлетворенный, знающий о мире нечто такое, что неведомо никому иному.

Молодой красавец, поросший щетиной, покачивался на стуле, улыбался румяным ртом. Потянулся длинной гибкой рукой, ухватил за шейку желтую лакированную гитару, уложил ее на колени. Повел над ней длиннопалой, с золотым кольцом кистью, слабо, нежно ударил. И этот сложный, нежный, рокошующий звук окропил, оросил Белрсельцева, и он, как от живой воды, стал исцеляться. Раны его закрывались, поломанные кости срастались, он чувствовал, как в нем собираются, копят силы, растроченные в эти дни, как восстанавливается его поверженный дух. Звуки кропили, словно волшебная роса, красавец смотрел на него туманным невидящим взглядом.

Песня была про далекий офицерский поход, про белое знамя, про светлое белое воинство, уходившее с Руси прямо в небо.

Все, кто сидел в застолье, качали хмельными головами. У мохнатого, похожего на лешего верзила текли по бороде слезы:

— Коленька, милый, ну как же так можно!.. Как же мы можем, родные!..

Худой, долгоносый, в жеваной рубаше, приподнял твердые как доски плечи, вонзился глазами в угол, где стояли старинные часы и качался медный тяжелый маятник. Не видя циферблата и маятника, запел глухо, сипло, проталкивая звук сквозь жилистое прокуренное горло: «Ой, туманы мои, растуманы...»

И от этого звука давнишней, угрюмой родной песни у Белосельцева похолодела спина и озноб прокатился по телу, словно в усталой, состарившейся плоти дрогнула молодая жизнь, молодая воля, угрюмая сила. И все, кто сидел за столом, испытали то же. Напряглись, насупились, набрали в грудь воздуха и хором запели, издавая глухой рокот, напоминающий гул огня в печи: «Ой, родные леса и луга...»

Оглядывали друг друга, словно убеждались, что все свои, все охвачены угрюмой могучей волей, неодолимой силой, глухой и тягучей песней. Распрямлялись в плечах, приподнимались в застолье: «Уходили в поход партизаны...»

Белосельцев пел песню своего детства, песню великой народной войны, той, на которой погиб отец, погибло в славе великое воинство, и дух того воинства сквозь удаление лет, пласты его собственной

жизни, ужас нынешних дней, этот дух настиг его, охватил, исполнил силой и свежестью: «Уходили в поход на врага...»

Они пели песню лесной партизанской войны. Здесь, сегодня, в Москве, торжествовали враги, летали по улицам их лакированные лимузины, врывались в квартиры охранники, слабые духом генералы покинули в страхе свои полки. А в озаренной комнате писательского дома пели песню угрюмого сопротивления, неизбежных жертв, неизбежной через все жертвы победы.

— Братие! — из-за стола поднялся тучный бородач с растрепанными, до плеч, волосами. — Помолимся, братие, для укрепления духа, ибо сидящий в осаде нуждается не токмо в оружии, в питье и яствах, но и в укреплении духа!

— Давай, отец Сергей, помолись за нас! — поощряли его.

Отец Сергей, в полосатых штанах, в полотняном пиджаке, встал, отошел в угол, раскрыл маленький кожаный саквояж, похожий на те, в которых чеховские земские врачи носили медицинские инструменты. Извлек из саквояжа серебряную епитрахиль. Облачился, спустил негнущуюся, шитую серебром ленту на грудь и живот. Вернулся к столу, держа на весу маленькую красную книжицу и стал читать: «Господи, Боже наш, великий в совете и дивный в делах, всея твари содетель...»

Все поднялись, и одни стали креститься, наклоня головы в сторону читающего священника, а другие недвижно, опустив по швам руки, внимали дивным, малопонятным словам. Белосельцев смотрел на блестящие бутылки, на серебряное сияние епитрахили, и рука его тянулась ко лбу. Он крестился истово, благодарно, повинуюсь рокочущим напевам бархатного баритона, готовый каяться, благодарить Его, глядящего на них, смертных, Кто собрал их в роковой час в старинном московском Доме, чтобы уберечь, не дать погибнуть, сгнать поодиночке, а укрепить, наставить, чтобы они приняли свою судьбу достойно и мужественно.

— Господа! — Парамонов встал, серьезный, бледный, с блистающими глазами. — Мы станем вспоминать об этой ночи как о самой прекрасной в жизни! Здесь, в нашем дворце, начинается святое извечное русское дело! Если мы не дрогнем, не упадем перед врагами ниц, значит Россия жива, государство российское живо! Пока жив хоть один русский, российская история жива! Мы переживем этот смутный

момент и снова, как было не раз, восстановим Государство Российское! Выпьем за Империю!

Он поднял стакан. Все поднялись, чокались, гремели и хрустели стеклом. Белосельцев верил — пока жив хоть один, в ком осталась красная частичка Империи, до этих пор его страна, его великая Родина сохранится.

Застучали за дверью башмаки. В комнату вбежал возбужденный, с золотыми офицерскими усиками человек, тот, что впустил Белосельцева:

— По донесению разведки, в городе неспокойно. Толпа, до двадцати тысяч, движется в нашем направлении. Командир просит «добро» на повторное баррикадирование!

— Баррикады! — Парамонов возрадовался, гибкий, веселый и яростный. — Мебель, диваны — в щепки! Перегородим проспект!

Писатели, отяжелевшие и хмельные, подымались из-за стола, гурьбой валили из комнаты в вестибюль, на выход.

Проспект был черен и пуст, без машин, с размазанными отражениями желтых фонарей. Толпы не было. Белосельцев ждал ее появление, знал, что станет биться насмерть, до последнего вздоха, рвать зубами, когтями, не пропустит во дворец ненавистных губителей.

— Нету супостата, — ежась на ветру, произнес поэт, похожий на косматого лешего. — Айда допивать, мужики!

— Я белый шаман, — сказал маленький круглолицый алтаец, своей литой коренастой фигурой напоминавший ожившую каменную бабу. — Я вызвал сюда нашего горного бога, и он не пустил толпу, отвел ее в сторону.

Вдалеке на проспекте появилась машина. Остановилась перед белым дворцом, едва не наехав на нестройную гурьбу подгулявших писателей. Дверцы машины растворились, и из них вышел высокий худой человек в красном костюме, цветом напоминавшем стручок перца. Его истощенное, морщинистое лицо с остроконечным носом и круглыми изумрудными глазами рассерженной птицы выражало яростную энергию победы. Вслед за ним вышли слуги, один нес китайский фонарь с горящей свечой, другой — огромную ручку «Паркер» с золоченым пером. И то и другое служило символом поэтического мастерства, признаком высшей власти в писательском

сообществе. Белосельцев вспомнил, что видел знаменитого поэта на маскараде в шереметьевской усадьбе, где тот был облачен в бирюзовую тунику, с венком целомудренных роз и с томиком своей любимой поэмы «Братская ГЭС». Теперь же поэт был в ином облачении, напоминавшем наряд палача. Явился карать и властвовать.

Он шагнул в сторону насупленных писателей, гордо выставил ногу, сделал сильный жест декламатора, воздев украшенную перстнем руку, и надменно произнес:

— Я явился к вам сказать, — идите вон! Этот замечательный аристократический дом больше не может быть вместилищем лапотников, сивушников и фашистов от литературы! Своими книгами, частушками, злой клеветой на свободомыслие вы приближали путч и, когда он разразился, встали в его ряды! Среди вас я вижу отпетого путчиста, ему место в тюрьме. Демократические писатели отбирают у вас этот дворец, и здесь отныне будет не овин, не амбар, не сеновал и не скотный двор, а собрание демократических писателей «Пен-клуба». Сейчас же несите мне ключи от дома! — он требовательно топнул ногой, и его слуги угрожающе подняли, один — китайский фонарь, а другой — огромную самописку «Паркер». Он напоминал себе победителя, явившегося за ключами от города, которые побежденные вынесут ему на бархатной подушке. Он так уверовал в скорое появление сивобородых, согбленных мещан, купцов, воевод, выносящих на пухлом бархате тяжелые золотые ключи от врат, что невольно в нем проснулись дремлющие остзейские гены, и он начал коверкать слова: — Ви есть глупый русски мушук!.. Очень плохой малчик!.. Матка, курки, яйки!..

Писатели хмуро смотрели на незваного гостя, дожидаясь, пока холодный ветер проспекта не просветлит их хмельные головы.

— Может, навешать ему пиздюлей? — задумчиво произнес косматый здоровяк из лесного сибирского края.

— Нет, лучше в мешок, и в реку, — возразил красавец гитарист, певший про белый поход.

— Мужики, давайте его скрутим, внесем в помещение и там кастрируем, — предложил автор исторических романов о древней Руси.

Все набросились на пришельца, схватили его за руки, понесли в дом. Тот отбивался, пронзительно кричал, а следом, чуть поодаль,

шествовали слуги с китайским фонарем и огромной авторучкой. Их не пустили в дом, оставили снаружи. Пришелец же, невзирая на отчаянные визги и сквернословие, внесли в вестибюль, скрутили грязными полотенцами и содранными с окон занавесками и уложили на продавленный диван. Там он и лежал в своем огненно-красном костюме, извивался как червь, требуя свободы. Лицо его было ужасным на свету — в морщинах пороков, в складках вероломства, в пятнах предательства, в буграх болезненного честолюбия, в бородавках сластолюбивых мечтаний. Он продолжал кричать, открывая черный, с синим пламенем зев, и провинциальный поэт из Вятки сказал:

— Заткнись, а то в рот нассу! — после чего пришелец замер и только поводил по сторонам ненавидящими, полными адреналина глазами.

Все столпились вокруг, не понимая, что делать дальше. Некоторые подходили и осторожно трогали красную ткань костюма, словно желали убедиться в подлинности этого существа. Так рыбаки рассматривают диковинную, попавшую в невод рыбку, вынесенную к поверхности из донных глубин.

— Может, его на цепь посадить? Пусть брешет, дом сторожит?

— Кормить еще эту суку, выносить за ним!..

— Давай разденем его и выбросил нагишом на хуй! А камзол его на портянки пустим!

— Нехорошо говоришь, — укоризненно произнес маленький, похожий на скифскую бабу алтаец. — Он больной, его лечить надо. Ему на лицо медведь наступил. Его в огонь положить надо, чтобы очистился.

— Ответите перед законом! — злобно верещал пришелец, пугаясь маленького, плотного как изваяние, азиата, который, не желая зла, из лучших пробуждений и сострадания, хотел положить его в огонь. — Брандой, одумайся, мы когда-то были друзьями!..

Однако алтаец не слушал. Он уже вызывал своего горного бога, слегка притопывал, приплясывал, нащупывая сокровенные ритмы Евразии, в центре которой находилась его мистическая горная Родина. Под гулы бубна, под звуки священного танца он делал чучело. Умело, с присущей языческим народам достоверностью, воспроизводил в чучеле черты лежащего на диване пришельца. На половую щетку с

длинным древком была навьючена грязная, в старинных чернильных пятнах скатерть, повторявшая малиновую хламиду пришельца. К ней были подвязаны чьи-то прохудившиеся порты, которые были набиты газетами. Голову соорудили из мусорного ведра, приклеив к ней остроконечный бумажный нос и рыжую бахрому от занавески. Сходство было полным. Подлинник молча созерцал свою копию, затравленно поводя глазами.

— Водку давайте, — приказал алтаец. Послушные, повинующиеся ему как кудеснику, писатели принесли бутылку. Алтаец, священнодействуя, бормоча заклинания, вызывая души ущелий, лесных чащоб и потаенных урочищ, окропил хламиду водкой. Воздел щетку, и все направились к выходу, на проспект, вслед за гремящим ведром и шаманскими выкриками алтайца. Поверженный пришелец с ужасом смотрел вслед процессии, уносившей его чучело, в котором уместилась часть его существа.

Белосельцев вышел со всеми. Слушал позвякивание ведра, топот ног, бормотание шамана, похожие на тетеревиное бульканье. Кто-то запалил зажигалку, поднес к пропитанному водкой чучелу. Оно ярко вспыхнуло. Пылало огромно и жарко, роняя огненные капли, горящие комья газет. Шаман воздевал его. Ветер шумел в пламени. В очистительном огне сгорал демон, корчился, кривлялся, страдал. И все, кто был, без шуток, без насмешек, отдавались священнодействию.

Чучело сгорело. Алтаец стряхнул со щетки обугленное тряпье, пнул ногой накаленное, полное дыма ведро, положив на плечо щетку, и направился в дом. Остальные двинулись следом. Вернулись и были поражены явленным чудом.

Пленник, стреноженный, поваленный на диван, преобразился. Его лик очистился от волдырей и болезненных пигментных пятен. Злые морщины разгладились. Жесткие непримиримые складки умягчились, и он стал похож на утомленного, рано постаревшего юношу. Глаза утратили сатанинский адреналиновый блеск, смотрели печально и жалобно.

— Огонь унес твои похоти, и ты исцелился, — произнес алтаец, кладя свою маленькую ладонь на влажный лоб пришельца. — Теперь тебя развяжут, и ты можешь удалиться.

— Еще не время, — возразил отец Сергей, щупая укрощенному гордецу пульс, для чего ухватил его за горло огромной пятерней. — Ты

— язычник и исправил плоть. Я же — православный священник и должен исцелить душу... Братие, — обратился он к писателям. — Встаньте поодаль и повторяйте за мной слова молитвы на изгнание беса.

Священник раскрыл маленькое евангелие, перекрестил вздрогнувшего пленника и стал читать, держа над ним книжицу, время от времени совершая ею крестное знамение: «И бесы просили его: если выгонишь нас, пошли нас в стадо свиней...» — пленник стал изгибаться, корчиться на диване. Замычал, закричал, требуя, чтобы священник прекратил чтение. Но тот продолжал: «И он сказал им: идите. И они, вышедши, пошли в стадо свиное...»

Пленник издал страшный вопль, как если бы ему в пищевод вогнали суковатый кол. Этот вопль перешел в жуткий, нечеловеческий рев, будто он рожал великана. Он забился в припадке. Из ноздрей пошла зловонная пена. На губах запузырилась кровь. Из этой липкой как варенье крови, расталкивая губы крепкими членистыми лапками, стал вылезать большой жук. Вылез, стряхивая с хитинового панциря сгустки крови. Приподнялся на задние лапки. Быстро пробежал по распластанному, в красном пиджаке, поэту. Спрыгнул на пол и стремительно юркнул в темный угол, оставив на грязном паркете черточки красных следов.

— Вот теперь, раб Божий, ты здоров, — отец Сергей по-отечески вытирал губы поэта чистым полотенцем.

— Где я? — слабо спросил исцеленный. — На станции Зима?

— Ты в России, милый. Встань и не греши. Но лучше бы тебе уехать подальше.

Поэта развязали, бережно проводили к выходу, снабдив на дорогу хлебом, сушеной воблой и картой мира, по которой он мог теперь выбрать маршрут в далекую Америку, в штат Иллинойс, где станет до окончания века преподавать черным и белым детишкам русскую словесность. Белосельцев смотрел, как ночной ветер треплет географическую карту в руках исцеленного литератора, и было ему печально.

Белосельцев покинул дом с его духотой, перезвоном гитары, хмельными бородачами, которые приютили его, дали передышку, помогли не пасть духом. Он брел по пустынному Комсомольскому проспекту, где под каждым фонарем был размазан яичный желток.

Мимо Хамовнических казарм, с их голубоватой известковой белизной. Мимо Дворца молодежи, на котором висели афиши недавнего, навсегда исчезнувшего времени. Мимо магазина «Океан», в котором, словно в аквариуме, чернели стекла, и за ними притаился огромный сонный налим. Впереди мост через Москву-реку подымался в небо огненным коромыслом. Под ним, еще невидимая, текла река, высились неразлично-черные, в ночных деревьях Ленинские горы с туманной сосулькой Университета.

Он был один на пустынном проспекте, откуда почему-то исчезли автомобили, неутомная толпа, шумящая неутомимая жизнь, которая вдруг кинулась врассыпную, забила в углы и норы, оставив его наедине с черным ветреным небом. Недавний ужас его миновал, но вместо него возникли немое страдание и недоумение. Как случилось, что великое красное государство, которому он служил, за которое проливал свою и чужую кровь, вдруг отхлынуло, отбежало и кануло, оставив его одного. Он один как часовой, которого забыли убрать с поста, все стоит на страже империи, а ее самой больше нет. Нет миллионной партии с проверенными вождями. Нет непобедимой армии с прославленными генералами. Нет могучей промышленности с директорами заводов-гигантов. Все исчезли, а он один стоит на оставленном рубеже, и где-то далеко за спиной рокочут моторы прорвавшихся враждебных дивизий.

Он роптал на империю, которая его предала. На Первую конную, которая, блистая саблями, не примчалась на помощь. На строителей Магнитки и Депогэса, которые не явились со своими тачками, телегами, пылающими кумачами. На покорителей Берлина, не приславших ему на помощь армии Жукова и Рокоссовского. На космонавтов, которые не прыгнули к нему с орбит в малиновых от жара кораблях. Роптал на героев, которых не увидел в толпе. На писателей, чей голос не рокотал в мегафоне. На вождей, что в страшный для Родины час не обратились к народу со словами: «Братья и сестры...» Роптал на свою святыню, на своего Красного Бога, который от него отвернулся.

Вышел на мост, лакированно-черный, с двойной гирляндой убегающих ввысь огней. За стальной балюстрадой мрачно сверкнула вода. Он смотрел в пустоту холодного неба. Ропот срывался с губ и вместе с ветром летел в небеса. И в ответ, в черноте бессмысленного,

неодушевленного мира, начинало брезжить, светиться. Нежно-розовое виденье, похожее на крылатую стрекозу, наполнило небеса. Распростерло прозрачные крылья над Ленинскими горами, над Нескучным садом, вознесло туманно-светящуюся голову высоко над мостом. Это был ангел в лучистых одеждах, таинственно опустившийся босыми стопами на мокрый асфальт. Раскрыл просторные крылья над широкой излучиной реки, похожий на розовое зарево, сквозь которое виднелись огни моста, блеск черной воды, озаренный Университет. Белосельцев смотрел на ангела, который наливался алым горячим светом, будто вставало солнце. Теперь на него было больно смотреть — такими ослепительными были его босые стопы, так сверкало лицо, окруженное пылающим нимбом, так трепетали крылья, обнимавшие город. Он вытянул руку, приставил палец ко лбу Белосельцева. Его уста шевелились, и из них лилась громкая молвь: «Твой ропот напрасен. Ты — последний солдат империи. Ты и есть — носитель красного смысла. Ты — Первая конная армия. Ты — Днепрогэс. Ты — штурмовая группа Рейхстага. Ты — Гастелло, пикирующий в подбитой машине. Ты — Матросов, закрывающий грудью дот. Ты — Гагарин, взлетающий в Космос. Ты — пехотинец, хлебобоб и рабочий. Тебе нести красную империю в сердце. И, пока ты жив, она не умрет. А она не умрет, значит, ты будешь вечен. Я — твой Красный Ангел-Хранитель. Люблю тебя и целую. Стою у тебя за спиной».

Видение исчезло. Белосельцев стоял потрясенный. Не понимая, что это было и кто явился ему в московской ночи на темном пустом проспекте.

***Часть пятая. ОТРУБАНИЕ СПЕЛЫХ
ГОЛОВ***

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В кремлевском кабинете у высокого светлого окна сидел Маршал, положив сухие стариковские руки на край стола, где были рассыпаны бумаги. Худой, чуть сутулый, с голым черепом, он был облачен в парадный мундир с погонами, на которых золотом были вышиты маршальские звезды и гербы СССР. За окном близко белел каменный чудесный собор с круглыми, слегка помятыми главами, на которых, прозрачные, сквозные, словно кружева, светились кресты. Напротив Маршала сидел экстрасенс Трунько, моложавый, белесый, приветливый, и неотрывно смотрел в голубые стариковские глаза, не позволяя им моргнуть. У дверей стояли два молодца в кожаных куртках и темных перчатках.

— Товарищ маршал, вам хорошо, вам легко, вы у себя на даче, на улице солнце, цветы, чудесно поют птицы, и вам так легко и свободно... Сохранилась ли у вас папка под грифом двести сорок четыре дробь два, где вы храните записку, переданную американским другом?.. — Трунько погружал свой взгляд в глубину водянистых стариковских глаз, где возникали картины любимого сада, деревянного крыльца, клумбы с душистыми табаками и флоксами, и длинное, пергаментно-желтое лицо старика счастливо улыбалось.

— У меня есть папка под грифом двести сорок четыре дробь два, с запиской моего друга из ведомства объединенных штабов армии США, — отвечал Маршал, блаженно улыбаясь, вдыхая сладкий запах цветов.

— Вы отдыхаете, в легкой рубахе идете по тропинке, берете лейку, начинаете поливать цветы, и вам хорошо... Та ли эта записка, где перечислены имена агентов, завербованных ЦРУ среди советских военных, дипломатов, работников оборонных предприятий?

Тонкие губы Маршала улыбались, немигающие голубые глаза видели солнечные струйки воды из лейки, отяжелевший от влаги розовый куст и пчелу, на которую попали брызги, сердито улетающую с цветка.

— В этой записке действительно перечислены имена агентов, которые нанесли и еще нанесут непоправимый вред государству.

— Вы ставите лейку на землю, идете в глубину сада, где ваш любимый пруд, на нем расцвели еще две белых лилии. Вы созерцаете их, вам хорошо, вы счастливы... Та ли это записка, где рассказывается об уничтожении тяжелых советских ракет «Сатана», о потоплении флагмана атомного подводного флота, о сокращении космических орбитальных группировок, о досрочном разрушении космической станции «Мир», о закрытии оборонных заводов, где производятся ракетное топливо, танковые подшипники и электроника для систем наведения?

Маршал не мигая смотрел на Трунько благодарным любящим взглядом, видел заросший пруд, две нежные белые лилии, и рыбки, подплывая к поверхности, сверкали как блески.

— Там перечислены все программы, реализация которых ослабит обороноспособность страны.

— Вы смотрите на березу, на ее белый ствол, на высокие ветки. Видите, как прилетела и уселась на ветку птица с розовой грудкой и чудесно поет. Вы слушаете малиновку, и вам хорошо... Не могли бы вы передать мне эту папку?

Маршал не сводил блаженного взора с Трунько, который, казалось, держит в невидимых щупальцах глазные яблоки умиленного старца, медленно их покачивает, и от этих нежных покачиваний рождаются восхитительные видения.

— Конечно, я передам вам папку, — Маршал, не опуская глаз, на ощупь открыл ящик стола, запустил в него длинные руки, извлек тонкую папку, протянул Трунько. Тот быстро принял, раскрыл. Бегло пролистал несколько листов папиросной бумаги. Пока читал, глаза Маршала остались без присмотра, и в них стала появляться тревога, неуверенность, веки дрогнули, и он собирался моргнуть. Но Трунько стремительно, грозно направил взгляд в глубину стариковских глаз, и они послушно замерли, остекленели, преданно смотрели на экстрасенса.

— Вы герой страны, фронтовик, любимец народа, — продолжал Трунько, пряча папку у себя на груди. — Вы защищали Родину на полях сражений, а теперь защищаете честь армии в своих замечательных телевизионных выступлениях. Вы заслужили отдых. Вы любите природу, птиц, цветы, прогулку по любимой аллее... Прошу вас, возьмите, ручку и напишите...

Маршал, погруженный в волшебное сновидение, внимал мягкому сладкому голосу любящего его человека. Медленно взял ручку, приблизил ее к бумаге. Не опуская глаз, с блаженной улыбкой, приготовился писать.

— Любимые мои, дорогие... — вкрадчиво диктовал Трунько, дожидаясь, когда его слова превратятся в строгие ровные строчки маршальского почерка. — В случившемся прошу никого не винить... Я очень устал и хочу отдохнуть... Я очень люблю птиц, и настало время самому стать птицей... Любящий вас...

Маршал завершил строку и держал над бумагой ручку, ожидая продолжения. Трунько, не отпуская остановившиеся глаза Маршала, приказал молчаливым спутникам:

— Приступайте!..

Один из них извлек из кармана сыромятный кожаный ремешок. Прошел к окну. Ловко вскочил на подоконник. Закрепил ремешок на высоком медном шпингалете. Ременная петля закачалась на фоне окна с белым златоглавым собором. Человек остался на подоконнике.

— Быстрее!.. — торопил Трунько, продолжая улыбаться, массируя взглядом глазные яблоки Маршала. — Вы птица... Вы прилетели на ветку березы... Вы поете... Вам хорошо...

Второй человек в черном подошел к Маршалу и поднял его со стула. Сильно, ловко приподнял легкое стариковское тело, посадил на подоконник, и тот, что стоял наверху, поддержал Маршала, повернул его спиной к белокаменному собору.

— Теперь вам совсем хорошо... Вы на ветке... Кругом зеленые листья... Вы видите далеко... Видите дачу, своих детей, своих внуков... Вы птица и чудесно поете...

Человек в черных перчатках накинул на шею Маршала петлю, аккуратно затянул и спрыгнул. Маршал стоял во весь рост в парадном мундире, высокий, худой, с тощей шеей, на которой была петля. Золотые купола, чуть мятые, переливались роскошным праздничным солнцем.

— Кончайте! — приказал Трунько.

Люди в черном ухватили Маршала за тощие ноги, дернули, срывая с подоконника. Маршал повис, несколько раз трепыхнулся и замер,

* * *

В партийном здании на Старой площади, в гулком и пустом как фоб, в одном из кабинетов находились двое — Финансист и Ухов. Оба за маленьким столиком у открытого окна, перед целлофановым кульком вишен. Брали из кулька черно-красные ягоды, ели, выплевывали косточки в открытое окно, выходявшее на пустой обширный двор, где не было теперь служебных автомашин, деловитых, с папками, аппаратчиков, серьезных, озабоченных посетителей, являвшихся в ЦК со всех концов страны. Розовые косточки летели в пустоту двора, падали на безлюдный асфальт. Пальцы у обоих были розовые от вишен, и время от времени они вытирали их о ненужную, не принадлежавшую никому занавеску.

Финансист, полный, студенистый, просвечивающий на солнце, колыхался, словно медуза, и только легкий, необъятного размера костюм мешал желеобразной массе расплыться по комнате. Недоразвитые маленькие ручки с пухлыми пальчиками брали ягоду, засовывали в отверстие на жидкой водянистой голове, где, казалось, не было черепа, а только упругая пленка, удерживающая в себе холодец. Через некоторое время мокрый отросток выталкивал косточку сквозь маленькие губки, и она летела по розовой траектории в открытое окно. Ухов, морщинистый, желтый, как урюк, виртуозно играл складками лица, создавая орнаменты и рисунки, напоминавшие наскальные руны.

— Ты видишь, я верен обязательствам. Черт-те в какое время явился сюда, чтобы подписать платежки в твой фонд «Взыскание погибших», — Финансист кивнул на рабочий стол, где лежали подписанные финансовые документы и бланк фонда с изображением Богородицы. — В эти дни — много погибших, дальше — больше, — хохотнул он, выплевывая на пальчики мокрую косточку. — Советую приобретать недвижимость в нефтяной отрасли и в электроэнергетике. И при социализме, и при капитализме то и другое всегда будет в цене. Центральный банк на эти дни прекратил операции, но эту платежку тебе проведут.

— Премного благодарен, — Ухов морщинами изобразил благодарность, создав из них подобие ветвистого дерева. — Столько людей вам обязаны. Стольких вы озолотили. Мы все готовы действовать по первому вашему слову.

— А что вам еще остается... Деньги партии никуда не исчезли. Просто мы их рассовали по разным углам — в коммерческие банки, в

корпорации, фонды. Вложили в совместные предприятия здесь и за границей. Создали уставные капиталы газет, телеканалов и будущих политических партий. Все люди, кому передали деньги, известны, на каждого есть компромат, каждый управляем. Пусть как угодно высоко задирают носы, но хвосты их вот здесь, в кулаке, — Финансист показал свой пухленький кулачок, из которого выстрелила в окно мокрая косточка.

— Да никто и не посмеет дернуться. Все вам благодарны. Все будут работать под вашим руководством. Прибыль будем считать до копейки, все отчисления в общую кассу.

Мы ведь понимаем, строительство нового общества потребует много денег. Наш замечательный Президент, который все эти дни так великолепно держится в Форосе, будет иметь средства на завершение перестройки. Вы — контролер, и все вам безгранично преданы, — Ухов изобразил морщинами знак преданности, который напоминал осьминога, вытянувшего в длину чуткие щупальца.

— Я говорил этим дуракам из ГКЧП: «Все решит экономика. Ваши танки подорвутся на колбасе. Торговка из винного магазина авторитетнее в народе, чем космонавт. Этикетка на джинсах ярче всех ваших лозунгов. Нельзя вводить продразверстку в мире, где действуют транснациональные корпорации». Не слушали, дураки. Вот и поплатились. Теперь пусть ими занимается твой фонд «Взыскание погибших». Вряд ли их теперь взыщут, — Финансист хохотнул, заколыхав грудью. Перестал смеяться, а растревоженная грудь все расходилась волнами жира. — Меня тревожат фирмы, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге. Ты передай мужикам, что если они задумают соскочить, мы их найдем, и тогда их родные получают хорошо просушенные и проглаженные скальпы. Пусть помнят, что предателей мы станем жестоко карать.

— Не дернутся, я вам гарантирую. Все знают, что у вас рычаги воздействия. Надо быть неблагодарной скотиной, чтобы предавать благодетеля, — Ухов изобразил морщинами высшее негодование, превратив лицо в древесный срез со множеством радиальных трещин.

— На пару недель, на месяц всем лучше залечь на дно, пока муть не уляжется. Придут новые люди, новые министры, восстановим управление, тогда и выйдем из тени. Я, например, на пару недель махну на Канары. Что-то устал.

— Конечно, отдохните. Работали без сна. Такие нагрузки надо снимать. Морские ванны, массажи, легкая морская кухня и, конечно, девушки. Ничего нет прекрасней в нашем возрасте, чем две-три девушки, которые делают сексуальный массаж — Ухов пустил свои веселые морщины по кругу, и они завертелись как колесо. — Канары — прекрасное место. Не буду вас там беспокоить. Лишь в крайнем случае, если один из хвостов станет рваться.

— Не станет. Все на учете. Все знают, где их смерть. На кончике иглы. А игла у меня в кармане. Ты бери свои платежи и уходи. Вернусь с Канар, встретимся, обсудим проблему более жесткого контроля за вложенными деньгами. Составим электронный банк новых владельцев и компроматов на них, — Финансист съел последнюю ягоду, метнул в окно косточку. Скомкал влажно-розовый целлофановый пакет. Кинул в окно. Пакет не вылетел, зацепился за край карниза. Финансист тяжело выплыл из-за стола, перемещаясь волнообразно к окну. Попытался отцепить прилипший пакет. Навалился на подоконник жирной, поплывшей грудью. Оторвал от пола слоновьи ноги в неправдоподобно маленьких туфельках.

Ухов встал, морщины его изобразили жестокий крест. Просунул руку в промежность Финансиста и с нечеловеческой силой толкнул огромное туловище. Финансист вылетел из окна, издав жалобный всхлип. Пролетел пять этажей и мокро, хлипко ударился об асфальт. Расплющился, стал растекаться обильной желтоватой жижей.

* * *

На даче, среди смолистых сосен, ухоженных дорожек с беседками и павильонами, Прибалт, ожидая ареста, прощался с женой. Уже покинули дачу служители, садовник, повар, почуявшие недоброе, потихоньку ускользнули подальше от проклинаемого всеми хозяина. Верный охранник, неотступно следовавший за ним во всех поездках, охранявший московский дом, рабочий кабинет и эту лесистую дачу, смущенно попрощался. Потупив глаза, сказал, что его отзывают, и ушел, оставив незапертой дачную калитку. В опустелом доме, где молчали телефоны и сгущались сумерки, словно из темных сучков деревянного потолка лилась фиолетовая тьма, Прибалт обнимал жену, гладил ее непричесанные седоватые волосы, белый кружевной воротник домашнего платья, целовал бледное измученное лицо.

— Прости, что я вовлек тебя во все эти тяжкие. Не уберег от напастей... Наверное, в течение часа меня арестуют. Последствия для нашей семьи будут тяжелые. Преследовать будут тебя, детей. Ты почувствуешь, как сразу все от тебя отвернутся. Увы, я не сделал тебя счастливой.

— Я не смогу без тебя, — она горько вздрогнула. Ухватила за рукав его помятого пиджака, от которого пахло чужим табаком, запахом казенных помещений и слабым тленом, как из старого сундука. — Пойду за тобой!.. В Сибирь так в Сибирь!.. Поселюсь поблизости... Ты будешь чувствовать, что я рядом...

— Меня будут судить по статье «Изнаменение Родины» и могут расстрелять.

— Тогда и я себя убью!.. Так и знай, жить без тебя не стану!..

— Ты ведь знаешь, я всегда был честен. Перед страной, перед партией, перед народом. Я виноват лишь в том, что не сумел предотвратить несчастья. Мы все виноваты в том, что не уберегли страну. Вот за это нас нужно судить.

— Что ты мог сделать? Ведь кругом были одни предатели!.. Они приезжали к нам на дачу, садились обедать, льстили тебе, а я видела, что это предатели!.. Говорила тебе, но ты не верил! И главный предатель — Президент, которому ты был так предан!..

— Наверное, у нас в доме и на даче будет обыск. Когда они уйдут, ты пойди в беседку. Там, под скамейкой, отодвинешь доску и достанешь тетрадку. Это мои дневники. Когда-нибудь их издашь, и люди узнают правду.

— Боже мой, что же мы мешкаем?.. Что в этих случаях делают?.. Надо тебя собрать... Спортивный костюм, тапочки, теплый свитер... И я вся такая растрепанная... Не хочу, чтобы ты меня помнил такой... Подожди, я пойду причешусь.... Надену синее платье, которое ты так любил, — она сказала «любил», и испугалась, что этим отодвинула их прежнюю жизнь в бесконечность, куда им никогда не вернуться. Вышла в соседнюю комнату, и он слышал, как стукнула дверка гардероба, звякнули пластмассовые вешалки.

Он был спокоен, готовя себя к самому худшему. Знал, что в тюрьме, до суда, в продолжение тягучего следствия, у него будет время осознать случившееся, установить череду ошибок, что привели к катастрофе. Открыл ящик стола, желая убедиться, что не осталось

документов, которые могли бы кинуть тень на товарищей. Все черновики и записки, телефоны и адреса были уже сожжены под старой сосной за беседкой, и пепел засыпан песком. В ящике, поверх стопки чистой бумаги, лежал пистолет. Ему как министру и высшему партийному лидеру полагалось личное оружие. Теперь его отберут. Он выложил пистолет на стол, чтобы пришедшие гости могли сразу его забрать.

Отворилась дверь, и появилась жена. И он болезненно ахнул, увидев ее в синем вечернем платье, в котором она посещала правительственные приемы и рауты. Волосы она зачесала, закрепив костяным гребнем с небольшими бриллиантами. Вокруг шеи была обмотана нить дорогого жемчуга. Лицо, покрытое легким гримом, посвежело, помолодело, но тем острее была его боль, тем неутешнее горе в глубине ее больших, обведенных тенью глаз.

— Милая моя, — сказал он, шагнув ей навстречу.

Снаружи, у въезда на дачу, слышался шум. Он выглянул — какой-то быстрый молодой человек входил в калитку, открывал ворота. Две черные «Волги» быстро подкатили к крыльцу, наехав на клумбу с ноготками и флоксами. Из них поднялись молодые люди в одинаковых кожаных куртках, и среди них — возбужденный, вихрастый, в элегантном костюме и золотистом шелковом галстуке. Прибалту он был знаком. Говорливый, пылкий, с непокорными кудряшками, настойчивой, назидательной речью, которая, казалось, исходила не из губ, а прямо из упрямого длинного носа, которым он, словно дятел, долбил мозжечок собеседника. Он был славен своей утопической программой, в которой обещал за сто наполеоновских дней преобразовать остановившееся хозяйство социализма в динамичную, обгоняющую мир экономику. Его абсурдная программа была отвергнута, в том числе благодаря и его, Прибалта, настояниям. С тех пор экономист-неудачник, полюбившийся демократической прессе, на каждом шагу бранил консерваторов, не забывая упомянуть и Прибалта.

— Они пришли, — сказал Прибалт. — Давай прощаться, — шагнул и обнял жену.

— Нет!.. — она ахнула, повисая на нем, и было видно, как под смуглым гримом страшно побледнело ее лицо. — Не пушу!..

По лестнице поднимались. Дверь распахнулась, и трое неуверенных и оттого развязно-наглых, появились в кабинете. Следом, пылая румянцем, с черными всклокоченными кудрями, в сбившемся галстуке, бурно вошел экономист и высоким, тонко-крикливым голосом произнес:

— Именем демократической революции, согласно воле Съезда народных депутатов, вы как государственный преступник арестованы!.. Взять его!.. — он обернулся к спутникам, похожий на яростного якобинца, беспощадного комиссара. И сам, обуянный восторгом мгновения, в которое он становился сопричастным истории, кинулся к Прибалту, стал отталкивать, отдирать от него жену, и та страшно, истошно закричала.

Прибалта оглушил крик жены, и словно лопнула в голове набухшая вена, заливая мозг горячей, слепящей ненавистью:

— Руки прочь, негодяй!..

На столе, темный, вороненый, лежал пистолет. Прибалт схватил оружие, слепо, ненавидя, в ослепительном, освобождающем волю безумии, направил пистолет в отвратительное румяное лицо, взбитые кудряшки, круглые, как у испуганной птицы глаза. И пока его палец давил спусковой крючок, экономист пригнулся, спрятался за кричащую женщину, толкнув ее навстречу выстрелу. Сквозь косматый дым Прибалт увидел, как молча, с изумленным лицом, оседает жена, как наполняется темной влагой рана под сердцем и явившиеся люди, давя друг друга, выскакивают из кабинета.

— Я с тобой... — сказал он, прижимая дуло к виску, превращая мир в брызнувшую красную кляксу. Упал, нелепо, в смерти, обнимая шею жены с ниткой жемчуга.

В дверь просунулась осторожная голова с кудряшками, золотистый отвислый галстук...

* * *

Главком сидел за тяжелым столом, в огромном кабинете штаба, чей прямоугольный фасад, украшенный каменными пушками и знаменами, тяжеловесной геральдикой, мощно возвышался над набережной. Главком ожидал ареста, не удивляясь тому, что молчали все телефоны и никто из офицеров и генералов не являлся с докладом. Коридор, ведущий в приемную, был пуст. Люди боялись ступить на

красные толстые ковры перед дверью, будто здесь начиналась зона радиоактивного заражения.

Главком сидел неподвижно, возвышаясь над столом статным стариковским телом, тускло блестя золотыми погонами, оправой очков. Его тревожила язва, ожившая среди нервотрепки последних дней, и ему не хотелось, чтобы караул, явившийся его арестовывать, заметил на лице следы страдания.

В кабинет неслышно вошел порученец, лысоватый, немолодой полковник, с выражением муки и беспомощности на исхудалом лице. Он ступал так тихо, словно у него были мягкие подошвы. И хотя Главком не звал порученца, он был ему благодарен за эти беззвучные, полные сочувствия появления.

Надо было о чем-то говорить, и Главком спросил:

— Скажите, Федор Тихонович, какие последние результаты получены при испытании «Полководца»?.. А то за этой мишурой совсем забыли о деле...

— Академики говорят, что в прогнозе достигнута восьмидесятипроцентная вероятность. Они считают, что результат очень высок, — порученец радовался тому, что его командир спокоен и бодр, готов к унижительной процедуре.

— Вам предстоят неприятности, Федор Тихонович. После моего ареста вас наверняка станут допрашивать. И не один раз.

— Пусть допрашивают, товарищ Главнокомандующий. Я могу им сказать только одно — честнее и благороднее командира я не видал.

— Спасибо.

Они замолчали, глядя, как похрустывая качается медный маятник в высоких застекленных часах и на фарфоровом циферблате чуть заметно движется стрелка, приближая минуту их расставания.

— Теперь для армии наступят очень тяжкие времена, — произнес Главком. — Я думаю, предстоит чистка офицерского корпуса, смена командующих всех округов. На их место придут слабаки или те, кто готов изменить присяге. Я предвижу большие траты, одностороннее разоружение в пользу Америки. Боюсь, министром обороны будет назначен этот улыбчивый летчик, который грозил бомбить Кремль. С его помощью американцы разбомбят наши вооруженные силы.

Он снова умолк, чувствуя, как пульсирует боль в желудке, словно туда вонзился маленький осколок стекла.

— Это правда, что обо мне ходит легенда, будто я повсюду вожу за собою корову, а вы, Федор Тихонович, доите ее и потчуете меня парным молоком? — седые усы Главкома дрогнули в слабой усмешке.

— Ваша легенда, товарищ Главнокомандующий, в том, что вы победили Гитлера. Один лейтенант меня спрашивает: «А верно, что наш Главком взял в плен маршала Кейтеля?»

— Спасибо, — снова ответил Главком, удовлетворенно закрыв глаза, не заметив, как бесшумно вышел полковник.

Маятник хрустел, надкусывая непрерывный **сочный** стебель времени, превращая его в невесомую сухую труху. Время было к нему благосклонно. Он выжил в самой страшной, кровавой войне. Был любимцем войск, баловнем власти. Видел гениальных политиков и полководцев, великих ученых и патриотов страны. Теперь, когда вместо страны раскрывался черный дымящийся котлован, он, генерал-победитель, стоял бесстрашно на краю котлована, готовясь к любой, самой жестокой доле.

Снова бесшумно вошел порученец, неся серебряный подстаканник, в котором белел хрустальный стакан, полный теплого молока. Эта чуткость преданного человека, угадавшего его страданье, тронула Главкома. Благодарно, с поклоном головы, он принял целебный напиток. Оставшись один,пил, чувствуя, как утихает боль.

Шумно, взволнованно в кабинет вбежал порученец. На бледном лице полковника появились два красных пятна:

— Пришли!.. Может, выкинуть их к едрене матери? У меня в шкафу автомат!..

— Пустите их, Федор Тихонович. Пусть будет все по правилам.

В кабинет вошли те, кого называли гвардейцами, — молодые люди в одинаковых кожанках, опоясанные толстыми капроновыми ремнями, на которых висели кобуры. Встали у дверей, не продвигаясь в гулкую глубину кабинета, где в удалении от них, уменьшенный перспективой, темнел стол и за ним возвышался седоусый, с золотыми погонами, генерал, перед которым они испытывали робость.

В кабинет громко, чихнув на пороге, заскочил Зеленкович, торопя и подталкивая оператора. Указывал ему место перед столом, где следовало установить камеру. Не обращая внимания на Главкома, сновал по кабинету, прикасался к шкафам, к полированному футляру часов, тронул книгу на полке, выглянул в окно на набережную.

Наконец, спохватившись, любезно улыбаясь, изогнулся в глумливом поклоне:

— Прошу прощения, товарищ Главнокомандующий... Делегирован к вам пресс-центром Съезда народных депутатов... Как говорится, съемка для истории... Несколько коротких вопросов...

Оператор, нагнувшись, подкрадывался к столу, как охотник к дичи, направляя камеру на неподвижного генерала. Гвардейцы стояли в отдалении, с расстегнутыми кобурами, наблюдая за съемкой.

— Ваше последнее слово перед арестом... Что вы можете сказать в свое оправдание? Что вы можете сказать женщинам, старикам, которых вы собирались давить танками? Что можете сказать нашей молодежи?

— Женщин и стариков жаль сердечно, потому что новая власть станет косить их из пулеметов и расстреливать из танковых орудий и некому будет их защитить. А вашей молодежи... — Главком помедлил, глядя на глумливое лицо Зеленковича, — именно вашей молодежи скажу, — если бы не мы, победители фашистов, вы бы не появились на свет, потому что ваших родителей удушили бы в газовых камерах и сожгли в крематориях. А остальной молодежи скажу — помните о Великой Победе. Мы, коммунисты, русские люди, разбили Гитлера, и новым гитлерам никогда не править в России.

— Но вас, коммунистов, которые когда-то разбили Гитлера, сейчас разбили другие. Так ли уж вы непобедимы? — иронизировал Зеленкович, пылая ушами так, словно в них горели фонарики.

А у Главкома вдруг ожили все его хвори и старые раны, его контузии и немоги, все печали и траты. Время, которое длилось всегда в одну сторону, подобно бесконечно растущему и отмирающему стеблю, вдруг завилось петлей, обратилось вспять, кинулось в сторону, куда его не пустили советские полки под Вязьмой, танковые армии под Курском, победоносные фронты под Берлином. К нему, Главкому, в кабинет явился фельдмаршал Кейтель с серебряным крестом под худым морщинистым горлом, сжимавший маршальский жезл, увенчанный гордым орлом. Эсэсовцы в блестящих плащах, в фуражках с высокими тульями, с черными свастиками в белых кругах на красном поле повязок, держали в руках пистолеты. И его поведут подписывать акт о капитуляции в маленький особнячок на Арбате, уцелевший от бомбежек. В открытом «опеле» они проедут по горящей Москве, и

башни Кремля будут похожи на обугленные кирпичные трубы, из которых летит дым и пепел.

Главком одолел помрачение. Невероятным усилием воли разогнул петлю времени, как силачи распрямляют связанную в узел кочергу. Выпрямил стебель, возвращая его похрустывающим часам.

— Итак, товарищ Главнокомандующий, ваше последнее слово... — настаивал Зеленкович в сладострастном нетерпении. Камера надвинулась на жесткие усы генерала, на золотую оправу очков, на золотой погон мундира.

— Могу повторить одно, — Главком тяжело поднялся, расправляя стариковские плечи. — Враг будет разбит, победа будет за нами, — повернулся и пошел к дверям, высокий, статный, белея сединой висков. Гвардейцы расступились, и он прошел среди них в гулкую пустоту коридора, где еще долго замирали шаги.

Порученец в приемной беззвучно рыдал.

* * *

Арестованный Чекист сидел на заднем сиденье, сжатый по бокам молодыми гвардейцами, исполненными мрачного торжества. Два мелких торговца, промышлявшие контрабандными часами и бритвами «Жиллетт», вооруженные тяжелыми пистолетами ТТ, конвоировали в тюрьму шефа КГБ, некогда могучего и всесильного, а теперь жалкого и беспомощного, чья худая спина болезненно горбилась, а на вялой шее покачивалась круглая, лысеющая головенка с блеклыми синими глазками, как у фарфорового китайского болванчика. На переднем сиденье, рядом с шофером, находился Летчик, пылкий, нетерпеливый, пахнувший вкусным коньяком, покрытый блуждающим румянцем воодушевления. Его великолепные усы раздувались, словно у машины не было ветрового стекла. Выпуклые тюленьи глаза переливались перламутром, отражая город, светофоры, блики солнца.

— Парадокс, не правда ли? — повернулся он к арестованному. — В свое время вы вызволили меня из пакистанской тюрьмы, представили к званию Героя Советского Союза, а теперь, по странному стечению обстоятельств, я везу вас в тюрьму... Се ля ви!..

У Данте в девятом круге ада, в самом центре сидит Сатана и грызет тех, кто предал благодетелей, — тихо ответил Чекист, блеклый и почти равнодушный, покачивая фарфоровой головенкой. — Не

может ли так случиться, что вы опять попадете в тюрьму и вас некому будет спасти?

— Ну нет, снаряды два раза в одну точку не падают. Мне больше тюрьма не грозит.

— Как знать... Ведь вас сбивали два раза. Могут и в третий раз. Природа троична.

Летчик на секунду задумался, и в глубине у него зашевелился противный червячок. Но они проезжали Сокольники с мелькнувшим нарядным храмом, и Летчик попросил у Бога, чтобы его миновала тюрьма.

Перед воротами «Матросской тишины» толпились журналисты, операторы, фотокорры. Как только подкатила машина и Чекист, окруженный конвоем, вышел наружу, тотчас замерцали вспышки, загорелись лучики телекамер, потянулось множество рук с диктофонами. Журналисты тянулись к арестанту, чтобы в теленовостях, на первых страницах газет появился жалкий, согбенный человек, олицетворявший поверженный КГБ.

Конвоиры провели арестанта в железные двери тюрьмы, а Летчик, перевозбужденный обилием камер, остался витийствовать, рассказывая, как смело и ловко действовал, защищая демократию, взяв под арест самого опасного заговорщика.

Чекиста провели сквозь множество зарешетчатых стен и дверей. Прапорщик, принимавший арестованного, записал в книгу имя, отчество и фамилию Чекиста, охлопал его огромными пятернями, отчего щуплое тело арестанта колыхалось из стороны в сторону. Два тюремных надзирателя в камуфляжах, с резиновыми дубинами у поясов, с наручниками и связками тяжелых ключей на ремнях, повели Чекиста по сумрачным коридорам изолятора, в которых пахло железом замков, машинным маслом, прокисшей пищей и зловоньем параш. Подвели к дверям камеры, напоминавшей борт старого броневика со смотровыми щелями и заклепками. Отворили лязгающий замок, пропустили пленника в тускло освещенную камеру. Дверь захлопнулась, и Чекист оказался в тесной комнате с железной кроватью, привинченным столиком и фаянсовым, желтым от старости унитазом. Из неосвещенного угла навстречу ему шагнул человек. Это был Ловеико.

— Все готово? — спросил Чекист, распрямляя сутулую спину, подымая голову, которая теперь крепко и властно держалась на сильной шее. — По времени укладываемся?

— Так точно, — ответил Ловейко. — До отлета три часа. Билеты до Мальты со мной. Вот паспорт, — он протянул Чекисту заграничный паспорт, где с фотографии смотрел темноволосый, с черными усиками человек кавказской внешности. — Я все приготовил... — он развернул маленький сверток, и Чекист нацепил на голову темноволосый парик, приклеил под нос, тщательно прижал и разгладил маленькие усики.

— Можем идти, — Ловейко подошел к стене камеры, в которой, едва заметная, пряталась дверь. Отворил ее. Они с Чекистом прошли узким, слабо освещенным коридором и оказались на дальнем дворе тюрьмы, у других ворот, где их поджидала машина. Уселись, занавесив шторы. Ворота растворились, и они выскользнули в город.

— Прикажете в аэропорт? — спросил Ловейко.

— Нет, на «Объект двенадцать», — отозвался Чекист.

Они прорезали город, вынеслись на кольцевую дорогу и мчались среди голубых перелесков, белоснежных, подступавших к дороге кварталов, среди великолепного летнего Подмосковья.

Машина миновала шлагбаум с военным постом. Вошла в запретную зону. Проскользнула в ворота, от которых асфальт вел к ансамблю, состоящему из ампирного особняка, деревянной старомодной виллы и павильона из золотистого каспийского туфа. Обогнула строения и углубилась в чудесный парк, где в густой тяжелой зелени экзотических деревьев уже собиралась вечерняя синь.

— К поляне Андропова, — приказал Чекист, и молчаливый водитель послушно повел машину по аккуратной ленте асфальта вглубь парка. Они вышли на округлой, травяной поляне, с подстриженной, вкусно пахнущей травой. На поляне лежали длинные синие тени. Сквозь стволы платанов, буков, величественных грабов просвечивало вечернее красноватое солнце.

— Вызовите садовников. Скажите, я здесь, — приказал Чекист.

Ловейко извлек из нагрудного кармана портативную рацию, направил антенну вглубь парка, произнес:

— «Садовник», я — «Белка»... Мы на месте... Приступайте...

Из глубины парка появилась группа садовников, капитанов и майоров КГБ, облаченных в рабочие комбинезоны. Одни несли лопаты, другие — лейки с водой. Несколько человек, взявшись за матерчатые петли, несли чудесное, игольчатое, пышно-серебристое дерево, умотанное в корнях влажным холстом. Остановились посреди поляны, вопросительно взглядывая на Чекиста. Тот шагнул к тому месту, куда доставала тень высокой прекрасной пихты, посаженной по случаю ввода войск в Чехословакию. Тронул ладонью подстриженную траву.

— Здесь!

Садовники быстро, умело работали. Срезали бережно дерн. Стали копать, укладывая вырытую землю на расстеленную мешковину. Когда яма была готова, развернули обматывающую дерево ткань. Опустили узловатые, в комьях чернозема, корни. Чекист кинул в глубину горсть земли. Замелькали лопаты, забрасывая яму. И через несколько минут среди непотревоженной бирюзовой травы возвышался чудесный молодой кедр с дымчато-серебряной хвоей.

Чекист подошел к нему. Прижал одну руку к сердцу, а другую воздел в вечернее зеленоватое небо и поклонился дереву.

— Итак, операция «Ливанский кедр» завершилась, — сказал он Ловейко, когда садились в машину. — Вам остается выполнить завершающий эпизод «Постскриптум». Но это сущие мелочи.

Они примчались в аэропорт, и Ловейко проводил Чекиста сквозь паспортный контроль к трапу самолета.

— Остается «Постскриптум», но это сущие мелочи, — повторил Чекист, уже из салона оглядываясь на Ловейко.

— Так точно, — ответил тот.

Самолет взлетел, взял курс на запад. Москва глубоко внизу в вечерних тенях уже сверкала драгоценными гирляндами проспектов, жемчужными пятнами площадей, бесчисленным мерцанием окон. Чекист смотрел на Москву и видел, как в ее концентрических кругах, обкладывая золотую сердцевину Кремля, залег огромный бриллиантовый змей, ухватив зубами свой малахитовый хвост.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В загородной резиденции Новое Огарево проходила тайная встреча двух Президентов — Первого и Второго. Первый только что прилетел из Фороса. Был встречен у трапа восторженными поклонниками и помощниками. Окруженный журналистами, в домашней рубашке «апаш», в спортивных брюках, измотанный пленом, стоически перенесший угрозу физического истребления, предательство вероломных соратников, он перед телекамерами, прямо у трапа, сдержанно рассказывал ужасающие подробности своего пленения, успокаивал публику, отдавал должное мужеству Второго, сохранившего верность демократии и Конституции. Не заезжая домой, срочно направился в главную резиденцию, где поджидал его Второй. Мчался, прихватив с собой неразлучного морского офицера с «ядерным чемоданчиком», символом президентского могущества.

Круглоголовый, загорелый, с малиновым пятном на лбу, оправдывая данную недоброжелателями кличку Меченый, он бежал глазами по светлой нарядной гостиной, лишь мельком взглядывая на Второго, тяжеловесно плюхнувшегося на узорный диванчик. Рядом, на изящном столике, стояла початая бутылка коньяка, хрустальные фужеры, один из которых был налит до половины, блюдо с маленькими бутербродами — красная и черная икра, балык, сервелат, — дежурный набор для представительских встреч. Тут же лежал лист меловой бумаги и дорогая авторучка с золоченым пером. Второй, набрякший, угрюмый, не перебивал льющуюся, журчащую, словно плоский прозрачный ручей, речь Меченого.

— Хочу тебя поблагодарить за твердость, мужество, верность договоренностям. Представляю, что ты испытал в эти дни! Твоя речь на танке была просто великолепна. Она сравнима с моим заявлением в Рейкьявике. Поверь, я сделал все возможное, чтобы снизить риски. Из Фороса я управлял этими болванами из ГКЧП. Был на постоянной связи с Президентом Америки. Европа была уведомлена о наших планах. Ты мог ожидать штурма, мог переживать ужасные минуты, но знай, я контролировал процесс, не допустил штурма...

Меченый упивался своей ролью тонкого стратега, чей замысел оказался хитрее примитивной интриги допотопных государственников, которых он водил за нос. Истукан был зависим от его мировых связей, беспомощен без его высоколобых советников. Сыграл свою брутальную роль, устранив опасный клубок консерваторов, и теперь, как свирепый набодавшийся бык, не знал, что делать.

Его следовало усыпить, обольстить, и Меченый, искусный ритор, обольщал сидящего перед ним тугодума.

— Наши прежние конфликты — все в прошлом. В чем-то я был не прав, в чем-то ты. Но я никогда не сомневался, что ты человек чести, твои побуждения продиктованы этикой и заботой о моральных ценностях. Я получил твое письмо, и оно произвело на меня огромное впечатление. Я рассказал о нем американскому президенту, и он был глубоко тронут. Пусть те, кто не понимает нас, русских, утверждает банальные истины вроде той, что, дескать, в политике нет ни друзей, ни врагов, а только интересы. Быть может, это справедливо для англосаксов или германцев, но мы, русские, понимаем смысл дружбы. Это осталось в нас от общины, быть может, от первобытных родовых отношений. Теперь нам с тобой предстоит огромная совместная работа по завершению начатой в стране перестройки...

Меченый изящно играл понятиями, гипнотизируя Истукана своей эрудицией, знанием политических тонкостей, пленяя душевной доверительностью. Его фразы как разноцветные целлулоидные шарики летали перед глазами быка, и тот в глазницах водил тяжелыми яблоками, засыпая от этих бесконечных мельканий.

— Полагаю, нам нужно немедленно обсудить план неотложных дел. Уже сегодня, сейчас необходимо назначить проверенных лиц на силовые министерства. У меня есть мои соображения, но готов выслушать твои советы и рекомендации. Затем мы должны наказать изменников, строго и беспощадно, чтобы их притаившиеся сторонники в партии, армии и промышленности сидели набрав в рот воды. Мы должны немедленно собрать в Москве упрямого хохла, брюзгливого белоруса, хитрого казаха и заносчивого узбека, чтобы заключить, наконец, Союзный договор, который нам с тобой развяжет руки. «Не властвовать, но влиять» — вот мой принцип, о котором я тебе говорил. Прибалты, конечно, уйдут, тут ничего не поделать. Такова воля Америки. Но при умной политике они станут проводником

наших интересов в Европе. Я как-нибудь поделюсь с тобой соображениями на этот счет, которые пришли мне на ум в Форосе...

Меченый, после перенесенных тревог, после чудесной встречи в аэропорту, букетов, телекамер и восторженных лиц, чувствовал себя прекрасно. Вся отвратительная, грязная работа, сомнительная с точки зрения европейского парламентаризма, была проделана Истуканом. Как мусорщик, он очистил Москву, прогрохотав по столице мусоровозами. Теперь от него пахло отбросами, с ним было неприятно общаться. Но следовало утолить его свирепое честолюбие, усыпить бдительность и постепенно, пользуясь методами публичной политики, показать народу, сколь он необаятелен, неумен, косноязычен. Не идет ни в какое сравнение с ним, прекрасным оратором, умницей, любимцем просвещенного мира.

— И последнее, прежде чем ты начнешь говорить. Через несколько дней я должен буду улететь в Европу и Америку.

Дать разъяснения нашим друзьям. Заверить их в необратимости перестройки. Договориться о кредитах. Наметить пути дальнейшего разоружения. Предстоит очень важная встреча с Папой Римским. Ты оставайся на хозяйстве. Ты авторитетен в народе. Можешь говорить от имени нас обоих. Люди должны понять — залогом их благополучия является наш союз, наша дружба. Поэтому, я полагаю, завтра же нам следует провести совместную пресс-конференцию...

Он удовлетворенно умолк, поглядывая на аппетитные бутербродики, на хрустальные фужеры, один из которых был наполнен коньяком. Сейчас он наполнит второй, и они выпьют за братский союз. Меченый потянулся к бутылке, переводя взгляд на собеседника, и обомлел. Истукан, покрасневший от бешенства, вытягивал ему навстречу кукиш, и огромный набрякший кулак был лиловый, словно задушенный, перевитый пуповиной младенец.

— А это не хочешь!.. — он приблизил кукиш к носу Меченого, и тому показалось, что кулак пахнет тухлятиной. — Ты — дурак!.. Педераст!.. Ты — никто!.. У тебя больше нет ничего!.. Даже этот бокал не твой!.. Ты иди отсюда босиком к своей бабе пиздеть!.. Она из тебя биде сделала!.. Слышишь меня, дурак набитый!.. — Истукан орал, выпучивая глаза, выворачивая мокрые губы, и слюна летела в отшатнувшееся лицо Меченого.

— Не понимаю... — лепетал он. — Что ты хочешь сказать?..

— Ты уйдешь со всех постов!.. Добровольно!.. У тебя больше нет власти!.. Силловые министерства я замкнул на себя!.. С Америкой я договорился сам, и они тебя больше не примут!.. Через два дня я запрещаю Компартию!.. Через три месяца распускаю Союз!.. Ты будешь президент кислых щей!..

— Не пройдет!.. Не позволю!.. Я обращусь к народу!.. Выйду на референдум!.. — слабо верещал Меченый, над которым нависли огромные фиолетовые кулаки, и пасть с малиновым жарким языком редела на него, выхаркивая страшные слова:

— Ты, педрило, возьмешь сейчас эту ебаную ручку и напишешь при мне отречение!.. Иначе я обращусь к Съезду с разоблачением!.. Скажу, что ты — главный путчист, был в сговоре с этими мудаками, направлял их против меня, против Конституции и народа!.. Тебя ждет тюрьма, холодный пол, клопы, тараканы и надзиратель с железным елдаком!.. Тебя будут судить, как Бухарина, и я выставлю тебя в Колонном зале Дома союзов как английского шпиона, продавшего Родину этой драной кошке Тэтчер!.. У нас есть записи ваших разговоров!.. Есть записи того, как орет на тебя твоя баба, бьет тебя по лысине ночной туфлей!.. Или ты сейчас же напишешь отречение, или я раздавлю тебя как улитку!..

— Но у меня есть власть!.. — возопил Меченый тонким криком раненого зайца. — У меня есть «ядерный чемоданчик»!.. Я — Президент ядерной сверхдержавы!..

— Ты?.. Чемоданчик?.. — Истукан перестал кричать, засунул в рот два пальца и разбойно свистнул. На его свист появился служитель. — Пойди пригласи этого боцмана рыболовецкого флота с его кошелкой!..

Появился моряк в черной форме с серебряными погонами. Он держал в руке символ президентского могущества, черный чемоданчик.

— А ну-ка открой! — приказал Истукан.

Моряк положил чемоданчик на пол, у ног Меченого. Вскрыл замок, отворил крышку. И там, где еще недавно находилась сложная электроника с красной клавишей, способной запустить армаду тяжелых ракет, направить их на столицы Америки и Европы, теперь лежал мокрый купальник президентской жены и маленькая крымская ракушка.

Меченый давился слезами. Ссутулился над столиком, вода по меловой бумаге золотым пером. Писал отречение.

* * *

Памятники переговаривались каменными голосами, обменивались бронзовым шепотом, перемигивались алебастровыми глазами. Маяковский на Садовом кольце говорил Горькому у Белорусского вокзала:

— Вы слышали, Алексей Максимович, что они сделали с Феликсом Эдмундовичем? Жгли грудь автогеном. Обливали нечистотами. Повесили на железных тросах. «Делать жизнь с кого? С товарища Дзержинского?»

— Я давно предупреждал вас, Владимир: «Буря, скоро грянет буря!» Над всеми нами нависла реальная опасность разрушения, переплавки, осквернения. Не стану скрывать, мне бы хотелось сейчас оказаться на Капри.

Рабочий и крестьянка у ВДНХ прятали за спины серп и молот.

— Дуся, тебя в НКВД будут спрашивать: «Кто вывел на демонстрацию?» Отвечай: «Пошли прогуляться, газировку попить, а тут подвернулось». Может, они рабочих и крестьян не тронут? У меня же не оружие — простой молоток!

А чего мне врать-то, Микола! Ты меня и повел. Не хотела идти, а ты заставил. Держишь меня при себе, как женщину востока. А может, мне желательно познакомиться с товарищем Энгельсом. Складный такой мужчина. Он мне знак сделал, по спинке погладил.

Скульптуры вооруженных солдат, матросов и ополченцев, что в метро на «Площади Революции», притаились в нишах:

— Братки, — сипел простуженно революционный матрос. — Может, свистать всех наверх? Рванем и выручим товарища Дзержинского?

— Не время, — осаживал его прокуренный ополченец. — Надо тихонько, околицей, огородами, и в леса. Переходим к партизанской войне.

— Не пойду, — устало произнесла санитарка в косынке. — Я же баба. Мне семью заводить надо.

Алебастровые академики на фасадах сталинских зданий, балерины на пуантах, студенты с раскрытыми книжками робко жались друг к другу:

— Но интеллигенцию они не станут трогать. Мы больше всех пострадали от деспотии Советов. «Кампания против космополитов», «Дело врачей», «Суд над генетиками». Если они действительно демократы, то должны сохранить цвет нации.

— Это он во всем виноват! — указывал нагайкой на памятник Свердлову царский казак, разгонявший демонстрацию у метро «1905 года». — Тогда не добились жидов, хоть теперь добьем!

— Товарищ, — говорил один памятник Ленина другому. — Мне кажется, нужно немедленно собрать Политбюро и вынести постановление об уходе товарища Ленина в подполье. Мы не можем оставлять его на растерзание врагам. Я слышал, существует чудовищный план растопить его в плавильной печи и отлить из полученного металла памятник Николаю Второму.

— А я слышал, товарищ, что металл, из которого я сделан, хотят отдать православной церкви на отлитие колокола. Что лишь подтверждает закон круговращения вещества в природе. Ибо я был отлит из меди большого колокола, переданного прихожанами Вологды в дар революции.

— А где товарищ Маркс? Не вижу товарища Маркса! — патетически вопрошал памятник Юрию Гагарину из нержавеющей стали, приставший на цыпочки, озирающий с высоты Москву.

— Спрятался, — мрачно ответил Тимирязев на Тверском бульваре, кивая в сторону Театральной площади, где стояла огромная каменная глыба, в сердцевину которой, как в пещеру, забился Маркс.

— Суки!.. Гады!.. Фашисты!.. — захлебывался гипсовый летчик в комбинезоне, летных очках, с планшетом, ненавидя захватчиков, готовый направить подбитую, пылающую машину в мастерскую известного скульптора, где уже лепились скульптуры царей, генерал-губернаторов, царских министров-вешателей.

— А я считаю, спорт был, есть и будет. Спорт вне политики. Это здоровье нации, — спокойно рассуждала девушка с веслом, чьи проступавшие сквозь купальный костюм гипсовые соски облюбовали для отдыха два воробья.

— Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои, — памятник Сталину у Кремлевской стены говорил негромко, с сильным грузинским акцентом. — Решение, которое вы сейчас услышите, далось мне нелегко. Политбюро и Государственный комитет обороны

приняли постановление об эвакуации памятников за Урал, в районы Западной и Восточной Сибири. Эвакуацию начать сегодняшней ночью, пешим порядком. Ответственным за выполнение плана назначается князь Юрий Долгорукий, которому предписано передать своего коня в штаб обороны столицы. Я лично, а также памятник Александру Суворову, памятник молодогвардейцам, но без Александра Фадеева, памятник пролетарию с камнем у метро «Краснопресненская», все скульптуры, носящие оружие, остаются в Москве и начинают борьбу за столицу. Каменные танки с Академии имени Фрунзе, бронзовые пушки у Дома Советской Армии, а также доспехи и шлемы с Триумфальной арки должны быть немедленно стянуты к Кремлю. Сюда же, в качестве артиллерийской тяги, должны поступить конь Юрия Долгорукого, квадрига с Большого театра и вся упряжка с Триумфальной арки. Не унывайте, товарищи, и на нашей улице будет праздник!

Слова вождя ошеломили памятники. Они оцепенели, несколько минут никто не мог пошевелиться. Первым, опираясь на клюку, сошел с постамента Горький. Его примеру последовали Маяковский и Фадеев. Затем доска с дома Федина, барельефы Демьяна Бедного и Новикова- Прибоя. Следом тяжелой, тесно сдвинутой толпой двинулись памятники Ленину, поднятыми руками указывая верное направление. Энгельс толкал перед собой каменную инвалидную коляску, в которой опять появился Маркс. Стахановцы, колхозники, спортсмены, женщины с детьми на руках, ученые с крутящимися вокруг пальца электронами — все двинулись через Москву, к шоссе Энтузиастов, на восток, увлекая в свои ряды бетонных оленей с опушек пригородных парков, лепных медведей с дорожных обочин. Уходили дальше и дальше, в туманы подмосковных лугов.

Не повиновались приказу вождя лишь прекрасные девы на фонтане «Дружба народов». Золотые, сияющие, словно языческие богини, держали на головах блюда с виноградом, урюком, яблоками. Окружили шаловливым хороводом памятник Достоевскому, который, в больничном халате, в шлепанцах на босу ногу, прижимал руки к худой груди, взирал на танцующих красавиц, молитвенно восхищаясь: «Господи, неужто я прав и впрямь красота спасет мир?»

Памятники, между тем, все шли и шли на восток. Огибали большие города, перебрехали великие реки. Люди в глубинке видели,

как в утренних туманах движутся по холмам и долам великаны. Некоторые из них простирали вперед руки. Другие несли на плечах громадные отбойные молотки и снопы колосьев. Третьи прижимали к груди огромных младенцев.

Памятники перевалили Уральский хребет. Пробрались сквозь тундры Тюмени. Перешли вброд Енисей в районе Красноярска и там, в предгорьях Саян, превратились в Красноярские столбы.

* * *

Тусклый, обшарпанный корпус больницы. Масляная, пупырчатая краска стен. Изношенная мебель. Тоскливый в своем сиротстве и безвкусице бумажный цветок в пластмассовом стаканчике. Маша пришла на аборт, захватив с собой, как приказала накануне сестра, кулек с чистым нижним бельем, носки и косынку. Ждала своей очереди, сидя в приемной, среди молодых, сосредоточенных, отчужденных друг от друга, с точно такими же кулками, женщин, которых время от времени по фамилиям выкликала сестра. «Так надо... — говорила себе Маша, не думая и не понимая, что именно надо, лишь для того чтобы не пускать, запечатать толпящиеся по другую сторону глаз ужасные видения и мысли. — Так надо...»

— Следующая!.. — немолодая сестра, заглянув в список, назвала ее имя. Маша послушно кинулась на этот безучастный зов, перейдя в соседнюю комнату, с закрашенными наполовину окнами, из которых был виден больничный тополь, далекие дома, слышен невнятный рокот города. «Так надо...» — запрещала она себе думать и чувствовать, отворачиваясь от окна.

— Раздевайся... — отрешенно приказала сестра. — Ложись...

Маша легла на высокую, накрытую простыней каталку, чувствуя, как холодно голой спине, как начинают мерзнуть грудь и живот.

— Подыми ноги, — сестра напаялила ей зеленые выцветшие бахилы, затянув под коленями тесемки, слишком тесно, как показалось Маше. — Готово!.. — крикнула сестра кому-то вглубь открытой двери. Оттуда появились две пожилые крепкие санитарки, ухватились с обеих сторон за каталку и повезли, напрягаясь, напоминая утомленных жилистых лошадей.

Ее ввезли в тесную операционную, и она, лежа, косым взглядом, увидела тесные, блеклые стены, длинный, накрытый клеенкой стол, похожий на гладильную доску, с металлическими стременами,

сидящего в торце стола грузного, с обрюзгшим лицом хирурга в косо повязанной шапочке и в линяло-зеленом, как и ее бахилы, облачении. В углу, спиной к ней, стояла сестра, блестели ножи, блестящие рукояти, что-то клокотало и булькало в хромированном тубусе, словно в большой кастрюле готовились варить суп. И то, из чего готовились варить, находилось в ней, в ее утробе. Жило, нежно трепетало, с каждой секундой наращивало пригоршни розовых клеток. И эта мысль ужаснула ее, но она опять запретила себе: «Так надо...»

— Так... — равнодушно, не глядя ей в лицо, произнес хирург. Легко надавливая холодными пальцами, пощупал ей живот. Взяв за щиколотки ее послушные ноги, установил в стремена. Пойманная в металлический капкан, она лежала, разведя колени, глядя вверх, на хромированную, с тремя глазницами, хирургическую люстру, еще незажженную, где отражалось ее туманное, бело-розовое тело.

— Снотворное, двойную порцию!.. — произнес хирург. Сестра наклонилась к ней, вытянула ее руку, разглядывая на сгибе голубоватую вену. Сильно, больно перетянула руку розовым шлангом, и вена тотчас потемнела и взбухла.

Укол был почти без боли, и там, куда брызнула жаркая струйка, стало разрастаться воздушное облако. Мягко, сладостно возносило ее, как на прозрачном воздушном шаре. Она видела, как кто-то близкий, родной идет по лесной опушке, несет матерчатый легкий сачок. Белые бабочки вяло летят над поляной. Озеро слабо мерцает, отражая туманные звезды. Летит к воде, приближая золотое отражение, огненная головня. На коричневой спинке старой деревенской кровати поднялись и целуются два розовых льва. В тихой церкви, среди бледного солнца, окруженная блеклыми полевыми цветами, Богородица прижимает к груди Младенца.

— Приступаем, — сказал хирург, включая яркую люстру.

Слепящий свет беспощадно, без теней, озарял ее всю.

Запрокинутое лицо с узкой, слезной полоской незакрывшихся глаз. Грудь, слегка оплывшие на сторону, с розовыми маленькими сосками. Неровно дышащий живот с темным углублением пупка. Золотистый лобок с темным, склеенным лоном. Белизна сильных ног в стальных стременах, с крохотным родимым пятном на бедре. Голова хирурга помещалась между бахил. Готовясь к действию, он машинально тронул розовую родинку.

— Случай подходит по всем показателям... Резус, срок беременности, плод мужской... Следи, чтоб она не проснулась... Поехали...

Хирург ввел в лоно изогнутое, стальное зеркало, напоминающее сапожный рожок. Направил в сокровенную тьму луч света. Расширители раздвинули, распахнули темно-алую глубину, в которой притаился плод, — малая личинка, прилепившаяся к материнской плоти. Рука хирурга сжимала кюретку — отточенный, пустотелый резец, соединенный с пластмассовым шлангом. Медленно, осторожно, чувствуя, как трепещут от прикосновения металла нежные стенки, как испуганно вздрагивает матка, он нащупал живой клубенок. Подвел резец. Сильным, выскабливающим движением рванул. По хромированному желобу зеркала брызнул алый ручей. Сливался в эмалированную ванночку, наполняя ее ослепительно-красным. Хирург включил насос, и в прозрачном шланге захлюпала, запузырилась розовая жижа. Насос жадно чмокал, тянул горячую гущу. Хирург ловко орудовал кюреткой. Вталкивал в глубину, вытягивал обратно белую, в розовой пленке, сталь. Лоно, наполненное слепящим металлом, изрыгало из себя красные, набегающие один на другой, языки.

Маша во сне не чувствовала боли, а только один нескончаемый ужас от видения Богородицы, у которой на руках резали на части младенца. Отрывали его крохотные пальчики, рассекали лезвием хрупкую шейку. Вспарывали огромным острием пухлый животик. Этот ужасный сон ей будет не дано запомнить, он останется в ней как безымянный, спрятанный в глубину души кошмар, который она станет носить до смерти.

Хирург извлек наружу влажную кюретку. Длинным пинцетом ухватил тампон ваты, сочно обмакнул его в йод. Ввел в глубину и несколькими сильными круговыми движениями промокнул рану. Вытащил обратно длинный клюв с желто-алым комком. Кинул в ванночку испачканное зеркало, расширители и резцы.

— Увозите!.. — крикнул устало. На его зов появились две санитарки с каталкой. Перевалили со стола вялое, тяжело колыхнувшееся тело, небрежно накрыли простыней. Впряглись и покатали из операционной. Хирург совлекал резиновые перчатки. — Позовите доктора Адамчика, — попросил сестру.

В операционной появился доктор Адамчик в белом халате, с веселым мохнатым рыльцем смышленной обезьянки. Его смуглая лысинка ярко лоснилась, умные глазки приветливо бегали.

— Ваш заказ выполнен, — произнес хирург. — Все в срок, все параметры в норме... — он посмотрел вниз, под операционный стол, где стоял хромированный цилиндр. К его крышке был подсоединен шланг насоса, по которому стекала плацентарная кровь. — Можете забирать...

— Великолечно!.. Вы настоящий партнер!.. — Адамчик полез к себе на грудь, под халат, вытянул пухлый конверт, протянул хирургу. — На этот раз в долларах, исходя из ваших интересов... Предполагается колоссальная инфляция рубля...

Хирург принял конверт. Доктор Адамчик ловко подхватил хромированный, цилиндрический холодильник. Прижимая к груди, как младенца, вынес наружу. У выхода его ждала черная машина с фиолетовой мигалкой, которая тут же включилась, расплескивая безумные вспышки. Машина с плацентарной кровью мчалась в Кремль, где в завоеванном кабинете мучился очередным удушьем Истукан. Рычал от боли, исходил черной пеной. К нему спешил доктор Адамчик, чтобы влить в его гнилые вены алую кровь нерожденного младенца, на краткое время оживить хворую, источенную грехами и пороками плоть.

Маша спала на железной больничной койке, накрытая суконным одеялом. Ее рука бессильно свесилась к полу. Пожилая сестра, проходя мимо, тихо вздохнула. Наклонилась и спрятала руку под серый край одеяла.

Эпилог. ПАРАД 1991 ГОДА

Белосельцев спал не раздеваясь, под пледом, и его ночной сон был чередой неотступных видений. Будто он бежит по московским крышам, в парящих скачках перепрыгивает улицы, ухая на гулкие жестяные кровли. Внизу, на площадях, рушатся памятники, искрятся повсюду замкнутые провода, сталкиваются и горят автомобили. С окраины города, черные, с кромкой грязной пены, отражая в мрачной глубине грозовые молнии, надвигаются воды потопа. И он убегает, желая уцелеть и спастись. Выскочил на крышу собственного дома и увидел внизу, на Пушкинской площади, во всю ее ширину и длину, деревянный ковчег. Из золотистых тесаных досок, с овальными бортами, с укрепленным на стапелях килем, похожий на огромный поморский карбас. Ладя была наполнена строителями, которые стучали топорами, визжали пилами, тесали рубанками доски, торопясь достроить ковчег, пока не ударит в борт фиолетовая жуткая тьма.

Очнулся от стуков, скрипов, визжащих металлических звуков. За окном розовела заря. Звуки неслись снаружи, из утреннего города, где еще не слышны были рокоты проснувшихся моторов. Он подумал, что явь является продолжением сна, под окнами умелые корабельщики строят ковчег, куда он сможет уложить груз своей прожитой жизни и спастись от потопа.

Он скинул плед, подошел к окну. Внизу, в сквере, работали плотники, возводили какой-то помост. Пилили доски, рубили балки, вколачивали гвозди. Их полуголые мускулистые тела светились на заре. Помост и впрямь напоминал палубу корабля, но и что-то другое, тревожащее и болезненное. И он вдруг с ужасом понял, что под его окном строят эшафот, и этот эшафот — для него, и эта заря в его жизни — последняя. Скоро за ним придут. Простучат в коридоре шаги. Войдут палачи, свяжут руки, оторвут ворот рубахи. Поведут по скверу сквозь толпу ротозеев, мимо знакомого фонтанчика, к эшафоту, где будет красная ковровая дорожка, пунцовая, застилающая доски ткань. Его поставят над толпой с голой шеей, и мускулисты: "мужик станет играть топором."

Он стоял у окна, испытывая слабость во всех своих членах. Слабый запах хвойной древесины был запахом его смерти, его неотвратимой казни. И лишь минуту спустя он понял, что строят эстраду для рок-фестиваля, которым победители собирались отметить свое торжество. Пережитая им удушающая волна страха была последней, которую он отогнал от себя. Он больше не боялся. Страх сменился печалью, затишьем, приготовлением к чему-то, что требовало свободы, тишины, белизны.

Часом позже, когда было нелюдно и не было еще той толпы, в которой могли его опознать, оскорбить, разорвать, он отправился к матери.

Она встретила его, оглядывая подслеповато-тревожными глазами, в полутемной прихожей. Касалась его ладони, плеча. Он прошел в ее комнату, где стояла рассохшаяся старинная мебель — коричневый сундук, квадратный, из красного дерева комод, хрупкий стройный буфет, — из неправдоподобной, далекой и прекрасной жизни. Уселся в маленькое глубокое креслице, в котором когда-то сидела бабушка в луче осеннего белого солнца, легкая, чистая как облачко. Мать наклонилась к нему, вглядывалась, что-то старалась различить, разглядеть.

— Мама, — сказал он. — Наверное, меня арестуют. Прости, что тебе придется все это пережить.

Он ожидал, что мать разрыдается, что его слова вызовут в ней потрясение, и все ее прошлое — войны, революции, когда цветущая большая семья исчезла дотла на этапах, фронтах, пересылках — страшно всколыхнется, кинется на нее, опрокинет, и ее старое, любимое лицо станет несчастным, безумным, начнутся ее старушечьи причитания. Но лицо матери стало строгим, посветлело. Под всеми морщинами и усталостью появилась былая красота ее молодости. Ее седые волосы стали светлей, серебристей. Она коснулась его руки и сказала:

— Сын, ты оставайся тверд. Как будет, так будет. Значит, судьба.

И этот свет ее строгого любимого лица укрепил его. Не боясь своей доли, он уже не боялся и того, что сделает ее несчастной. Она родила его и вскормила, наделила родовой, сберегающей памятью. И

сейчас, в своей старости, она дарила ему свои последние силы, укрепляла, окружала материнской любовью...

Уходя, поцеловал мать в лоб, в седые волосы, чувствуя на губах знакомый, любимый запах.

Он вернулся домой. За окном шумел и сверкал город. Все так же стучали топоры, возводили тесовый помост, с которого победители были готовы исполнить свои сатанинские гимны. Но это больше не занимало его. Он был тверд и спокоен. У него еще оставалось время, и он должен был им разумно распорядиться.

Его единомышленники находились в тюрьме. В неведомых казематах уже шли допросы, работали диктофоны и телекамеры, фиксируя показания. А он еще был на свободе. И перед тем как к нему придут, станут рыться, требовать телефонные книги, он должен был уничтожить бумаги.

Рукопись почти завершенной книги лежала на столе. Недописанная страница была прижата к стопке тяжелой зеленой яшмой. «Оргоружие» — свод открытий об интеллектуальной борьбе и соперничестве, об организационных формах подавления противника. Теперь эта книга в руках победивших врагов станет средством угнетения измученного народа, лишённого правителей и государства.

Он снял с бумаг прохладную яшму. Приподнял рукопись. Она была тяжелой, литой. Каждое слово было полновесным и плотным. Пошел на кухню. Раскрыл окно. Поместил у окна на подставке медный, со следами зеленой патины поднос, купленный им когда-то на восточном базаре в Равалпинде. Стал жечь на подносе рукопись, одну за другой страницы. Бумага горела, превращалась в пепел и дым. Пепел морщился, тлел на подносе, а дым улетал в окно, распускался над городом. В этом дыме исчезали африканские джунгли с едкой пылью растений, вертолетная пара, летящая над афганской пустыней, жаркая никарагуанская сельва, по которой по пояс в воде пробирался взвод сандинистов, и липкая тина прилипла к стволу миномета.

На подносе, где когда-то лежали восточные фрукты и сладости, сверкала гора белоснежного горячего плова, теперь горели страницы его недописанной книги. И ему не было больно. Так распорядилась судьба...

Раздался входной звонок, но не дерзкий, нетребовательный, возвещавший об аресте и обыске, а осторожный и вкрадчивый. Белосельцев открыл и увидел Тэда Глейзера, профессора из «Рэнд корпорейшн», его выбритое лицо, большие окуляры, сквозь которые выпукло, влажно смотрели холодные голубые глаза с липкими ресницами и красными прожилками белков.

— Простите, Виктор, не позвонил вам по телефону...

Белосельцев не испытал раздражения, лишь вздохнул, примиряясь с этим неожиданным визитом. Провел профессора в кабинет, где на столе темнел не покрытый пылью прямоугольник — след от несуществующей рукописи.

— Виктор, я считал своим долгом прийти, — произнес профессор. — Здесь все кончено. Не на что больше рассчитывать. Здесь начинается хаос, о котором вы говорили, и который предотвратить невозможно. Я принес вам билет в Америку, возьмите! — он вынул из кармана разноцветное паспарту, на котором серебрился «Боинг» и синела надпись «Пан-Америкен». — Я взял для вас. У вас многократная виза. Завтра рейс. Улетайте!..

Белосельцев смотрел на выбритое, бледное лицо Тэда Глейзера, на окуляры, в которых, похожие на моллюсков, влажно слезились глаза. Не испытывал ни раздражения, ни благодарности, а лишь терпеливое ожидание. Он должен пройти через это, снести и этот визит.

— Я действую не от себя, а от моей корпорации. Мы приглашаем вас в Штаты, оценивая ваш ум, ваши знания как уникальные. Они не должны потеряться в наступающем русском хаосе. Мы знаем, вы патриот, хотите служить России, но для этого вам нужно уехать. Мы хотим спасти вас для будущей России. Вы должны пережить разрушительный хаос в безопасном месте. Когда катастрофа кончится, вы вернетесь. Ваш интеллект, ваш опыт, ваши уникальные знания будут служить свободной России, — он положил билет на стол, и теперь на столе были пустое пятно от сожженной рукописи и нарядное паспарту с надписью «Пан-Америкен».

Белосельцев спокойно ждал, когда его минует это бремя. Голубоватые моллюски в розовых прожилках выглядывали из прозрачных ракушек.

— Вы можете поехать в Лос-Анджелес, получить место в Калифорнийском университете или штаб-квартире «Рэнд корпорейшн». Если пожелаете, оставайтесь в Нью-Йорке, в Колумбийском университете. Или, если хотите пожить в столице, то вас охотно примут в университете Джорджа Вашингтона. Я разговаривал с Принстоном в Нью-Джерси, там вас ждет курс лекций. Вам будут рады и в Денвере, штат Колорадо, где вы побывали в свое время в советологическом центре. Решайтесь, Виктор! Ибо здесь в ближайшие годы — только хаос, деградация, утрата потенциала развития, невосполнимая потеря идей...

Белосельцев не испытывал неприязни, хотя перед ним был победивший противник, добивавшийся его полного поражения. Не испытывал и благодарности, хотя профессор предлагал ему избавление. Хотел привезти в свой стан в качестве трофея. Белосельцев просто ждал, когда это минует.

— Передайте мой поклон вашим коллегам из теплой Калифорнии, — тихо произнес Белосельцев. — И из Принстона. Я помню гостеприимство, оказанное мне в школе Вудро Вильсона. Мои оппоненты из университета Джорджа Вашингтона были не правы, говоря, что возможен демократический Советский Союз, стратегический союзник Америки. Советского Союза больше не будет, и не будет стратегического партнера Америки. Проблемы Германии и Японии вам придется решать без России. Проблему ислама вы почувствуете сразу, как только исчезнет контроль СССР над «третьим миром». И все следующее столетие вам придется соперничать не с нами, а с миллиардным могучим Китаем. Когда я гостил в Денвере, помню, выпал удивительный снег, синий, свежий. Мы гуляли среди стеклянных небоскребов, и они казались заледенелыми в небе озерами. Это было очень красиво. Но, Тэд, я не могу принять ваше предложение. Прошу вас, заберите билет. Не уговаривайте меня, это не имеет смысла!

— У вас есть книга. Я знаю, вы пишете книгу. Где она? — синие глаза в окулярах повернулись, медленно оглядели пустоту, не покрытую пылью. — Здесь ваша рукопись может бесследно исчезнуть!

— Прошу вас, Тэд, возьмите билет.

Профессор взял билет, помедлил, спрятал в карман.

— Простите меня за визит. Я в самом деле желал вам добра. Примите мои сожаления.

Белосельцев проводил его до порога. Пожал на прощание теплую, мягкую, чуть влажную руку. Слышал, как убегает вниз лифт и где-то далеко, на Западном полушарии Земли, слабо хлопнула дверь.

У него оставалось совсем немного времени, и он решил посвятить его уборке дома. Влажной тряпкой стер пыль со стола, ликвидировал прямоугольник, оставшийся от сожженной рукописи. Вымел пол, собрал в совок мусор, ссыпал аккуратно в ведро. Перемыл посуду, поставил тарелки и чашки в решетчатую сушилку и долго держал в струе воды фарфоровую, в мелких трещинках, пиалу, оставшуюся с детства. Теперь дом его был чист, можно было его покидать.

Однако оставалось еще одно, последнее дело, о котором думал мельком со вчерашнего дня, когда лежал в столбе неяркого солнца, озарявшего драгоценных бабочек. Он больше не нуждался в коллекции, как не нуждался в уничтоженной книге. Бабочки, собранные им на всех континентах, вырванные кисеей из цветущих зарослей и душистого ветра, долгие годы прожили вместе с ним в кабинете с окнами на Тверской бульвар. Теперь они могли вернуться обратно, в родные джунгли, саванны и сельвы.

Он раздернул занавески как можно шире, распахнул окно, в которое влетели звуки Пушкинской площади и улицы Горького, наполненной нервным потоком машин. Стал снимать со стены застекленные коробки коллекции. Подносил к окну. Раскрывал в коробках стекло. Бабочки, еще не веря свободе, слабо трепетали на тончайшей, пронзившей их стали. А потом оживали, срывались с хрупких стальных стебельков и летели в окно. На мгновение воздух у окна начинал сверкать, рябить от трепещущих бабочек. Потом их подхватывал ветер, нес над бульваром, и они уменьшались, мерцали как разноцветные брызги.

Теперь оставалось главное дело. Он вынул из гардероба чистую рубашу, облачился в нее, чувствуя ее прохладную душистую свежесть. Снял с вешалки парадный костюм, серый, с металлическим отливом, который надевал в редкие торжества, в дни профессиональных праздников и правительственных приемов. Из рабочего стола, из

ящика, из маленьких красных коробочек извлек ордена. Тяжелые, в позолоте, с разноцветной эмалью, они являли собой геральдику государства, которому он служил и которого больше не было. Медленно, чувствуя пальцами холод и тяжесть металла, он прикалывал и привинчивал ордена. Бережно пробуравливал ткань, укреплял Красную Звезду, ее малиновое остроконечное соцветье с маленьким пехотинцем в центра. Это был он, Белосельцев, последний солдат империи, примкнувший штык, поместивший себя в самый центр катастрофы, вставший перед ней во весь рост. Приколол «Боевое Красное Знамя» с плещущим полотнищем, с венком из дубовых листьев, Знак почета, на котором серебряные стройные люди несли алые пышные стяги, «Трудовое Красное Знамя», где золотом и голубыми эмалями был выложен створ высотной плотины, одной из тех, что перекрыли великие реки, «Дружбу народов», напоминавшую уменьшенную звезду камергера с золотом пышных лучей и гербом государства.

За каждой из этих наград был боевой поход или вклад в науку, подвиг разведчика или открытие интеллектуала. Надел костюм. Стоял перед зеркалом, вида ордена, отягчающие левый и правый борта пиджака. Рассматривал не их, а свое лицо, худое, усталое, постаревшее, с седыми висками, чуть смещенными осями симметрии, пытаюсь вспомнить, каким оно было в юности, — свежесть губ, смуглый румянец щек, наивный, страстно-радостный блеск в глазах. На него смотрело серое, в окалине, в зазубринах и рубцах, лицо измотанного, несдавшегося человека, остановившегося на последнем решении.

Он вышел из квартиры, запер дверь, спустился на улицу. Было тепло, солнечно. На помосте в сквере грохотала, визжала музыка. Какой-то волосатый, неистовый рок-певец метался по эстраде, подпрыгивал, сжимал кулаки, потный, блестящий. Публика ликовала, свистела. Сквозь голубоватую гарь бензина, дым сигарет, запах парфюмерии слабо и странно донеслось дуновение хвойных распиленных досок, источавших смолу.

Он почувствовал, что кто-то смотрит на него. Все тот же неотступный таинственный взгляд, следивший за ним в эти дни. Озирался, искал направление взгляда, но не мог найти его среди бесчисленных набегающих лиц и глаз. Шагал по городу, желая

добраться до Красной площади, где поджидала его поверженная Страна, оставленная защитниками и радетелями, витиями и вождями. Ждала его, своего последнего воина, и он, ее солдат и защитник, надев ордена, шел на последний парад.

Люди оглядывались на него, на его ордена, на его истовое худое лицо. Одни со страхом, другие с мучительным пугливым сочувствием, третьи с ненавистью. Спустился к Манежной площади, за которой великолепно, солнечно, охваченный алыми стенами, белел дворец с рядами окон, окруженных каменными кружевными наличниками. Проход на площадь между башней и Историческим музеем был перегорожен турникетами, охранялся нарядом милиции. Белосельцев приблизился, отодвинул железный барьер. Милицейский сержант преградил ему путь:

— Проход закрыт. Площадь для посещения закрыта.

— Мне надо, — тихо сказал Белосельцев. И так тих, спокоен и тверд был его голос, так блестели на груди ордена, что молоденький милицейский сержант отступил, открывая дорогу.

Медленно, одолевая подъем, Белосельцев шагал по брусчатке. Башня, стройная, женственная, в белокаменном плетении, с высокой звездой, смотрела, как он проходит. Открылся чудесный простор, выпуклый, дышащий как море, с рябью застывшего ветра, где в каждой темной волне отражалась капелька солнца. Вдалеке разноцветным кораблем плыл Василий Блаженный. Мавзолей, кристаллически-строгий, как розовый горный хрусталь, излучал таинственный свет. Высоко в синеве круглились золотые куранты, переполненные ожиданием звонов. Сквозь дымчатые строгие ели нежно розовела стена, и на ней золотились буквы великих надгробий.

Площадь была пуста, без караульных, без часовых и дозорных, и он шел один, чувствуя ее простор и огромность. Тело становилось стройней. Спина выпрямлялась. Грудь с орденами круто выгибалась вперед. Мышцы играли. И все тверже, сильнее били стопы в брусчатку.

Это был победный парад несдавшегося солдата империи. Враги страшились к нему подойти. Ветер шевелил его волосы. Сердце свободно дышало.

Он шагал один, но, невидимые, обгоняя его, цокали конники Гражданской войны. В сыром снегопаде шли полки сорок первого

года. Маршал на белом коне встречал полки из Берлина. Летели в небесах армады краснозвездных машин. Грохотала броня дымящих тяжелых танков. Как серебряные иерихонские трубы проплывали ракеты. И кто-то в розовой дымке, за каменным парашютом, спокойно взирал на парад, сверкая алмазной звездой.

Он прошел через площадь, счастливый, что выполнил завет государства, отдав ему последние почести. Он и был теперь государством. Был Красной Империей, ее бессмертием, ее вечным присутствием в мире.

Спустился к мосту. Устало пошел через реку, оглядываясь на белоснежное диво соборов. Пробирался к метро, чтобы вернуться домой. Желая сократить путь, свернул в небольшой переулок. В одном месте тротуар оказался взломан. Ломти асфальта были сложены в неровные груды, напоминая ковриги хлеба. Рывина была огорожена деревянными стояками с красными тряпками. Белосельцев хотел обойти рывину, прижимаясь к стене дома. Но из подворотни шагнул детина в спортивном костюме, преградив ему путь. Белосельцев отступил и наткнулся сзади на другого, жилистого крепкого парня, тоже в спортивном костюме. Почувствовал запах дорогого одеколора.

— Куда прешь, не видишь? — сказал первый, надвигаясь на Белосельцева. — Ты что, тепловоз?

— Цапки нацепил... Как новогодняя елка... — третий парень, короткий, широкий в плечах, с жирной раздутой шеей, возник сбоку. На нем была ярко-желтая куртка с надписью «Адидас».

— Коля, у тебя есть такие награды? — спросил малый из-за спины Белосельцева, подталкивая его к рывине.

— Я — мать-героиня! — пискляво ответил первый. Выставил широкие упругие ладони, на которые натолкнулся Белосельцев. Почувствовал мощный, мягкий толчок, отбросивший его назад.

— А я — ударник комтруда! — коротыш в желтой куртке выставил плечо, и об это литое плечо, как об угол дома, ушибся Белосельцев. Отлетел в сторону, напарываясь на сжатый кулак, двинувший его по хребту.

— Если бьешь, бей! — сказал кто-то сзади, и оттуда, где прозвучал голос, последовал удар страшной силы, от которого Белосельцев проломил деревянные стояки с красными тряпками, врезался в рывину. Ударился подбородком о край взломанного

тротуара, потеряв на мгновение сознание. А очнувшись, увидел себя сидящим в канаве. Сверху смотрели на него несколько молодых, как в тумане, лиц, и за спортивными куртками не было видно переулка, а только отвесная стена дома с уходящим в высоту водостоком.

— Коля, он тебе должен? Ну и возьми с него! — сказала желтая куртка, и он увидел, как парень поднял в руке обломок асфальта. — Получи с него, Коля!

Удар был страшный, разящий, смял нос, губы, брови, раздробил зубы, вдавил в мякоть и в кость каменную глыбу. Но боль возникла не в черепе, а в паху, откуда вырвали корень, и из зияющей дыры устремилась наружу оставшаяся жизнь.

— Возьми с него, Коля!

Новый удар погасил зрение, накрыл черной каменной коркой, завалил, опрокинул. И, проваливаясь, он продавливался сквозь рытвину в тротуаре, сквозь остатки старой булыжной мостовой, сквозь сгнившую гать старинного посада, пролетал сквозь донные ключи и грунтовые замоскворецкие воды, в самую сердцевину Земли, а оттуда — в иное, узкое как соломинка, а потом раскрывающееся светлым раструбом, пространство.

Из подворотни старого дома вышел Ловейко, взглянул сверху вниз на недвижимое тело. «Постскриптум», — усмехнулся он и исчез.

1991-2002

Торовцево—Афанасово

Белосельцев с глазами, полными слез, смотрел на отстающих красных духов. Слышал завывание зимнего ветра, который нес в себе страшные бураны. Ревел в зубах мертвой стены, стонал в пустых бойницах, рыдал в покосившихся золотых крестах. Музыка ветра напоминала громогласно усиленный гуд громадной раковины, в которой плескался шум древнего, несохшего моря.

Теперь это море возвращалось, выступало из разломов земной коры, накрывало брусчатку черной глухой водой. Часть площади на Васильевском спуске уже была затоплена, и вода подступала к Лобному месту. Когда-нибудь, — думал Белосельцев, отступая от темных волн, — археологи будущего опустят на морское дно батискаф, поплывут среди остроконечных замшелых шпилей, полуразвалившихся белокаменных стен безымянного древнего города. Прочтут на отшлифованном камне таинственное слово «Ленин». Решат, что так назывался корабль затонувшей флотилии.

Он увидел, как на Спасской башне отломилась звезда. Полетела вниз, к его ногам. Ожидал услышать удар расколотого стекла, увидеть острые сухие осколки. Но звезда, не долетев до земли, превратилась в морскую. Мягко шлепнулась, издав чмокающий звук. Стала извиваться, толкалась гибкими лучами. Побежала к воде и с легким шлепком нырнула в волну.

AdMarginem



ТРЭЦ
КОЛЛЕКЦИЯ

notes

Примечания

1

Так в тексте.